УФИМСКАЯ СИРЕНЬ
(Уфа в художественной и мемуарной литературе)

«СУТОЛОКА»

литературный журнальчик
1997-1999 гг.

Уфа 2019

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6-444
С 90

«Сутолока» [Текст] : литературный журнальчик 1997-1999 гг. / ред.-сост. А.Г. Касымов ; вступ. ст. Г.Г. Рамазановой ; ред.-сост. републикации П. И. Фёдоров ; дизайн обложки А. В. Кондрова. – Уфа : Изд-ль А.А. Словохотов, 2019. – 420 с. : 16 ил. – (Уфимская сирень : Уфа в художественной и мемуарной литературе ; вып. 4).

«Сутолока» - один из первых уфимских негосударственных литературно-художественных журналов, издававшихся в 1997-1999 гг. поэтом и литературным критиком Александром Гайсовичем Касымовым (1949-2003) на пожертвования его авторов и читателей. В вышедших 14 номерах журнала начали свой творческий путь многие известные уфимские писатели, такие, как Игорь Фролов, Айдар Хусаинов, Артур Кудашев и другие. Для оформления журнала предоставили работы талантливые художники – Сергей Краснов, Ольга Самосюк, Сергей Игнатенко, Игорь Тонконогий и другие. В 1999 году «Сутолока» прекратила своё существование, влившись в появившийся первый государственный русскоязычный литературно-художественный журнал «Бельские просторы». Но она оставила свой заметный след в русской литературе Башкирии.

Настоящее издание включает в себя републикацию всех 14 номеров журнала, дополненную аналитической вступительной статьёй профессора кафедры русской литературы БГПУ им. М. Акмуллы Г.Г. Рамазановой, статьями 90-х и 2019 годов о журнале, поэзией, прозой и воспоминаниями его авторов, библиографией и авторским указателем.

Редколлегия серии: В.В. Борисова, Р.А. Гильмиянова, В.Н. Макарова, И.О. Прокофьева, С.Н. Сабирова, Я.С. Свице, О.С. Тарасенко, П.И. Фёдоров, А.Л. Чечуха, С.Р. Чураева

ТИПОМАНИЯ, ИЛИ СВОБОДА ОТ КАНОНА

«Сутолока» - интересное и яркое явление башкирской русскоязычной культуры самого конца 90-х годов прошлого века. Редактор Александр Касымов определял статус своего детища неофициально, с особой теплой интонацией, назвав его «литературный журнальчик». «Сутолока» издавалась в течение трех лет, увидели свет всего четырнадцать номеров. Журнальчик получился одновременно и достаточно элитарным, явно предназначенным для интеллектуально подготовленного адресата, и вместе с тем каким-то домашним, говорящим с читателем доверительно и задушевно. Не вызывает никаких сомнений, что «вдыхал душу» в журнал его редактор, Александр Касымов, за каждой строкой издания проглядывает его оценивающий и доброжелательный «присмотр». Очень характерно в этом смысле вступительное обращение редактора к потенциальному читателю, предваряющее первый выпуск журнала:

«Сутолока – речка в Уфе, текущая среди садово-сталкерской промзеленой зоны непосредственно в Белую. Устье речки – там, откуда когда-то пошла Уфа. Причудливое географическое название соединяет в себе нашу историю и наши нынешние беды.

Сутолока – суета, теснота, неудобство. Сутолока – броуновское движение жизни.

В одном слове "для сердца русского (башкирского, татарского) слилось" так много, что лучшего названия для журнала не придумаешь. Мы и не стали придумывать.

Наш малотиражный журнал открыт для всех писателей и читателей. У нас нет иных предрассудков, кроме литературно-художественных. Литература должна быть литературой! Тираж – очень скромный».

Для любого литературного журнала традиционны три составляющих: поэзия, проза и критика. Поэзии в журнале много, палитра чрезвычайно богата, здесь есть все, и этот массив поэзии не поддается никакой классификации и систематическому осмыслению. Мозаичное стихотворное полотно состоит из осколков, фрагментов, каждый из которых по-своему ярок. Здесь и философски-созерцательная лирика А. Касымова, И. Гальперина, А. Столя, и иронически глубокомысленная лирика А. Хусаинова, насмешливые стихотворения С. Кукариной, В. Богданова, А. Кривошеева (особенно хороши «Алкоголики» и «Наваждение»), рисующие сиюминутные зарисовки безрадостного быта. Хорошие стихи А. Застырца, М. Правдюка, А. Юдина, поэтическая эквилибристика Евгения Парфенова, кружащаяся в вечном водовороте любви, воспоминаний, обид и разочарований женская лирика Т. Искандаровой, Ю. Ильясовой (перевод А. Хусаинова), девичья – М. Гальпериной, С. Шамаровой, акварельная и нежная поэзия С. Смирновой. Привлекают внимание переводы с английского М. Фаттахутдиновой. Особо выделяются трагические, наполненные темной безысходностью стихотворения Александра Банникова.

Эта эклектика, отсутствие какой-либо общей концепции вполне сознательна, она – часть проекта сугубо литературного журнала, представляющего

широкий спектр самых разных отражений мира. В рецензии на сборник стихотворений И. Гальперина А. Касымов достаточно отчетливо выражает свое редакторское кредо, отмечая**:** «Что получается у теоретиков, не нам судить. Мы не вычитываем нравственность из литературы. Не вычитаем. Не вгоняем одну в другую и не выгоняем, как в средние века бесов. Нас интересует движение Иосифа Гальперина к искусству от риторики, от проповеди к натюрморту или пейзажу, от логицизмов к художественной логике. Касымов А. «Не оборачивайся к сосне!» (рецензия на сборник стихов И. Гальперина, «Сутолока», № 2).

Эта точка зрения понятна, даже принципиальна, но нельзя не согласиться с мнением одного из критиков журнала Сергея Матюшина, который нелицеприятно оценивал лирику, размещенную в журнале, сказав, что многие из стихотворений «проходные и полунеобходимые по поэтической сути». На наш взгляд, это мнение продиктовано тем, что большинство стихотворений отличает отстраненность, абстрактность, «нездешность», поэтическая продукция, как это ни парадоксально, стала своеобразным перепевом мотивов лирики поэтов «чистого искусства», бытовавшей в XIX веке. Такие стихи могли написать барышня или юноша в середине девятнадцатого столетия, в эпоху серебряного века, да в любые времена.

Девяностые годы, в которые и нам пришлось жить, были сложными, многоликими и непостижимыми. Это было время слома траектории жизни нескольких поколений, потерявшихся в водовороте исторических, идеологических, нравственных, этических и всех других перемен. Обращаясь к стихам, созданным в эпоху этой «смуты», ждешь от них адекватного поэтического осмысления, созвучия эпохе, но этого нет, поэзия словно открещивается от своего времени, демонстративно абстрагируясь от всего происходящего здесь и сейчас. Исключение составляет поэтическая подборка С.М. Шаулова «Мой прототип», где стихотворения «Простая история, или Историческая простота», «Гробы повапленные» (молитва о прощении строителей коммунизма)», «Зарок» и другие стали точным отражением мировосприятия поколения, в одночасье очутившегося на разоренном пепелище собственных представлений о незыблемости социальных устоев и нравственных правил жизни.

Не менее значим и интересен массив прозы, опубликованный в журнале. Открывает новое издание национально-этнографический рассказ «Богатырша», вызвавший у критиков неоднозначный отклик. Представляется, что это действительно самобытное и сильное произведение, стоящее несколько особняком в общем потоке, именно оно прочно запоминается, первым всплывает в памяти. Рассказ ярок, многопланов, в нем присутствует глубокий культурологический и национальный подтекст, произведение потрясает неожиданной концовкой.

Всю прозу журнала можно разделить на несколько смысловых блоков. Это проза об афганской войне («A la Decameron» А. Кудашева, «На охоте» И. Фролова, «Из афганского дневника» Б. Мухаметдинова), зарисовки о природе («Матерый», «Как козел в охотников стрелял», «Заповедный» И. Максимова),

художественно-исторические фантазии (реконструкции) («Узор ковра», «Черный ворон, красное вино», «Древний лес» Р. Ибатуллина, «Письма перед сожжением» Р. Ильясова), иронические зарисовки («Выпили, закусили», «Самоучитель жизни в Советском Союзе» А. Кудашева, «Проза жизни» К. Мурзина, фрагменты из романа «Аждаха» А. Хусаинова). Наиболее зрелыми, многообещающими в творческом плане (из представленного на страницах журнала) представляются произведения Г. Федорова (рассказ «Библиотека»), Б. Мухаметдинова («Из афганской тетради»), И. Фролова («Смотритель», «Пророк»).

Небольшой рассказ Г. Федорова, повествующий о лежащем в больнице семилетнем мальчике-сироте, отморозившем ноги, трогает своей нежной и искренней интонацией. Безыскусное повествование, написанное сдержанными и выверенными штрихами, приоткрывает потаенный мир ребенка. Мальчик бесконечно, с большим напряжением и вниманием читает скучную с точки зрения врачей и медсестер книгу о революционере В.В. Куйбышеве, взрослые теряются в догадках, чем могло привлечь Степушку это суховатое повествование. Ответ на вопрос лечащий врач находит не сразу: она замечает, что на обложке книги изображены отец и сын, смотрящие друг на друга с любовью, и становится понятно, почему мальчик с завистью и надеждой вновь и вновь разглядывает это изображение. Сказочный образ Серебряного копытца Степушка тоже примерил к своей непростой житейской ситуации, он мечтает о том, что «набитые» волшебной козой сокровища можно было бы отдать воображаемым и далеким маме с папой, чтобы они наконец-то приехали и забрали его.

Рассказы Б. Мухаметдинова представляют собой цикл зарисовок о только что завершившейся к тому времени Афганской войне (1979-1989), феномен которой был не понят и не осознан до конца ни ее участниками, ни ее свидетелями. До сих пор остается неясным, были ли оправданны те бесчисленные жертвы, которые были принесены в ходе кровавой бойни, длившейся десять лет. В рассказах Б. Мухаметдинова из цикла «Из афганской тетради» повествуется о разных вариантах этих страшных человеческих жертвоприношений. Рассказы небольшие, документально-лаконичные, но в каждом из них воссозданы яркие шокирующие эпизоды, где главной героиней становится Смерть. Таков рассказ «Месть», где говорится об импульсивном, но вполне объяснимом поступке командира взвода Александра Рюмина, вышвырнувшем пленного старика-душмана из вертолета за то, что тот плюнул в лицо погибшему русскому солдату.

Сильное художественное решение отличает рассказ «Последний». Здесь повествование ведется от имени убитого солдата, который словно излагает историю своей героической гибели. Он, последний уцелевший боец взвода, принимает решение, что его смерть не станет бесполезной, а унесет жизни хотя бы нескольких душманов, для этого он прикрывает собственным телом гранату с сорванной чекой. Повествование построено так, словно еще не покинувшая поле боя душа бойца наблюдает со стороны за происходящим:

«Увидев мое мертвое тело, на всякий случай выстрелили мне в голову. Кровь и серые кусочки мозга брызнули во все стороны и, смешавшись с дождем, потекли по моему лицу. Душманы принялись собирать автоматы, обшаривать убитых. Подошли и ко мне – рывком перевернули на спину. В тишине взрыв прозвучал оглушительно».

На том же художественном приеме – рассказе от мертвого «первого лица» – построен «Рассказ штурмана вертолета». Он начинается словами: *«Вчера, ярким солнечным днем, когда в воздухе висела невыносимая жара, меня убили очередью из автомата».* Предельно натуралистично и жестко описывает автор, как глумятся над телом убитого афганцы. Затем рассказывает о военной операции, предшествующей гибели героя повествования.

В рассказе «Огневая точка» автор обогащает повествование психологическими деталями. В фокусе произведения трое солдат, оставшихся от разведгруппы, спрятавшись в горах от душманов, под прицелом снайперов они «держат» огневую точку, дожидаясь прилета основной группы. У них нет ни капли воды, солнце буквально плавит тела измученных людей. Имя главного героя повествования – Курбан Юлдашев. Исключительно важна в контексте художественного произведения этимология имени Курбан, которое означает на арабском языке слово «жертва». Курбан мыслями уносится далеко – думает о доме, где его ждут. Он молит Аллаха, чтобы тот сохранил ему жизнь. Но, как выясняется в финале, молитвы не услышаны, все трое военных, так и не дождавшись подкрепления, убиты, а Курбан изрешечен автоматными очередями.

Завершает цикл рассказ «Эхо войны», название которого точно отображает эмоциональное и психологическое «послевкусие» войны, которое принято называть «афганским синдромом». Герой, выживший в Афгане, не может изжить войну из себя, отчуждения не происходит. Ужасы войны, казалось бы, забытые, прочно спрятались в подсознании и теперь трансформируются в ночной кошмар, в котором Пашка раз за разом не может достать гранату, которую припас на случай безнадежной схватки с врагами. Каждый раз Пашка кричит от ужаса и собственной беспомощности, просыпается в липком поту.

Интересны ранние произведения И. Фролова, только лишь начавшего свой творческий путь. В «Сутолоке» напечатано несколько его произведений. Загадочное, мистически-таинственное повествование «Смотритель» представляет собой некую апокалиптическую картину покинутого города, оставшегося после непонятных и непостижимых катаклизмов. Повествование написано технически блестяще, очень мастеровито, но в ходе чтения малопомалу начинают возникать недоумение и досада. Задаешься вопросом: к чему этот могучий арсенал неожиданных литературных изысков, роскошных метафор, тонких аллюзий? За профессиональными, часто очень удачными художественными решениями не читается мысль, нет пресловутого единства формы и содержания, понимаешь, что пока нет, хотя все обещает хорошую, добротную прозу.

То же ощущение избыточности, художественной расточительности и нерациональности оставляет эссе-фантазия об А.С. Пушкине «Пророк». Эссе свидетельствует об эрудиции, глубоких познаниях автора не только о биографии поэта, его творческих поисках, но в какой-то мере даже претендует на реконструкцию его эмоций и чувств. Но, как это часто бывает, «недостатки становятся продолжением наших достоинств», и эти сведения превращаются в густую мешанину фактов, свидетельств, домыслов, художественных реконструкций, эмоций. Сложность восприятия текста усугубляется тем, что он оформлен в оболочку некоего нерасчленимого и хаотичного «потока сознания», в которое вплетены факты биографии великого и загадочного Пушкина. Понятно, что повествование адресовано элитарному, очень образованному читателю, который в состоянии «считать» эти многочисленные зашифрованные аллюзии, оперируя знаниями о биографическом и историческом контексте событий.

О бессмыслице, абсурде войны в Афганистане, участником которой был автор, написан рассказ И. Фролова «На охоте». Глубокий, обобщающий смысл несет уже первый абзац повествования: *«...Им было всё равно, кого искать. Летели на восток, всё дальше углубляясь в дикую, неприрученную зону чужой страны. Рыскали над бесхитростными речными долинами, ныряли в тесные, до краёв налитые тенью ущелья и, выпадая в пустыню, неслись, припав к земле и пугая пулемётными очередями летящие мимо мёртвые кишлаки».* «На охоте» – короткий рассказ, но он свидетельствует о незаурядном мастерстве автора. Описана сцена «охоты» на трех безоружных афганцев, волею судьбы попавших в поле зрения солдат «ограниченного контингента» войск. Абсурд ситуации понимают все в ней участвующие, досмотровый взвод методично преследует одного из безоружных путников, оторвавшегося от своих, тот бежит, «отстреливаясь» камнями. Долго преследуют и наконец убивают, справившись с «боевой задачей», берут в плен двух оставшихся. Глубоко символично, что пленными оказываются старик и подросток, не представляющие никакой опасности: *«Привели двоих, затравленно озиравшихся и никому не нужных. Облокотившись на пулемёт и посасывая погасшую сигарету, стрелок изучал их через стекло. Кажется, они уже встречались ему где-то в прошлой, музейной жизни – этот старик с длинными голубыми зубами и этот мальчик в широкой, грязно-лиловой, как зимний закат, рубахе: чумазая мордочка, большие, изюм в шоколаде глаза».*

Об обстоятельствах знакомства в А.Г. Касымовым, своих первых шагах на литературном поприще, публикациях в «Сутолоке» И. Фролов повествует в автобиографическом рассказе «Негасимов и другие», написанном в 2011 году. В этом повествовании в полной мере раскрыты все творческие потенции, которые обозначились в первых произведениях писателя. Рассказ читается с большим интересом, на одном дыхании. Написано умело и «вкусно», здесь есть все: и тонкая лирика, и легкий юмор, и сквозящая самоирония, и выразительные, хотя лишь слегка обрисованные характеры, и точно переданное ощущение того времени. Есть и портрет А. Касымова (Негасимова Александ-

ра Францевича), написанный весьма выразительно: *«Когда я вошел в кабинет, за столом, что был в прошлый раз пуст, сидел усато-бородатый, большеухий и большеротый человек в больших, как окна, очках и без одного переднего верхнего зуба»*.

Автор не раз обращается к яркой и колоритной фигуре своего литературного крестного, пересказывая их беседы о литературе, цензуре, женщинах и вообще обо всем, что позволяет представить живой облик, услышать образную речь А. Касымова, понять, насколько неординарным был этот человек. Есть и несколько строк о затевавшемся именно в тот период журнале: *«Ко мне приходил Негасимов, показывал верстку затеянного им журнальчика. Журнальчик был тонкий, но это не смущало его редактора, - он говорил, что литературный пейзаж должен быть прозрачен, чтобы всех было видно»*.

Настоящей душой журнала, о чем уже говорилось, был А.Г. Касымов, поэтому самым сильным и нетривиальным в нем стал отдел критики. Вот уж в этом сегменте журнала темперамент и эрудиция главного редактора проявились в полной мере. Критика в издании делится на две части: рецензии, эссе, полемика самого редактора с его невидимыми оппонентами и рубрику, названную «Нас КРИтика».

Стиль А. Касымова-критика отличают неистовый полемический задор, безбрежность филологических и прочих знаний, тонкая игра с глубинными смыслами слов, многочисленные аллюзии, порождающие сложность и многомерность содержания его статей. Представляется, что полностью постичь до конца смысл написанного смогли лишь немногие избранные, но читать критическую прозу А. Касымова, безусловно, интересно. Интригуют уже сами названия статей: «Прометей, укравший темноту?», «Не бейте Кальпиди по голове Мандельштамом и водку пейте сами», «Предположения к типологии типомании». Интерес представляет и эссе, написанное о впечатлениях, связанных с поездкой в Германию.

Полемику автора с его литературными оппонентами понять весьма сложно (хотя и возможно), так как отсутствуют тексты первоисточников В. Кальпиди, Д. Быкова, вызвавших острую критическую реакцию. Гораздо более значимы материалы, где продекларированы взгляды автора собственно на литературу (в рецензии на сборник стихотворений И. Гальперина – о поэзии, в «Предположении к типологии типомании» – о литературной ситуации в России в постперестроечное время в целом), его писательское и редакторское кредо.

Некоторые размышления критика актуальны по сей день, словно они были написаны не два десятилетия назад, а вчера, что свидетельствует о двух вещах: о неодолимости кризиса в современной отечественной словесности и о том, что А. Касымову удалось осмыслить универсальные законы взаимоотношений писателя-издателя-читателя в ситуации тотальной коммерциализации литературы. Он отмечает: «*Но издательства – и новые, и старые – вдруг осознали, что им надо зарабатывать. … Оригинальные произведения выпускают, можно сказать, полтора издательства. Все жаждут дотаций. Пи-*

сатели хотят гонораров... И какая тут может быть теория? Текст как идеологема хорош тогда, когда встраивается в другую, большую-пребольшую идеологему. Этот рупор усиливает звук и – в случае мастерского проектирования – позволяет книге выйти на большой конвейер, за работу на котором хорошо платят. ... Проклятые кредитки кроят литпейзаж, как хотят владельцы кошелька. И это нормально. Потому, что не надо продавать рукопись, а надо продавать книгу!».

Поистине уникальна в своем роде рубрика «Нас КРИтика», все в ней оригинально, начиная с названия. Уникальность в открытости, в бесстрашном желании редактора узнать, как «слово отозвалось», и отозвалось ли вообще? Неформальный диалог отображает ракурсы восприятия напечатанного, обмен мыслями по поводу изображенного в произведениях, он получился достаточно честным и человечным. В этой рубрике напечатаны выдержки из писем к редактору, в которых авторы (возможно, близкие приятели редактора) делятся своими соображениями, своими критическими оценками. Чтобы понять всю нелицеприятность и откровенность оценок, необходимо процитировать некоторые выдержки, касающиеся публикаций журнала:

Сергей МАТЮШИН, Салават:

«Название вызывает сомнения: в темноте, в сумерках читается как "склока", –хотя я подслеповатый. Суета, сутолока и проч., а хотел-то, видимо, ручей, приток, – нечто а ля?

"Богатырша" – вполне нормальный текст, но в серёдке – мякина немного, конечно. И главная претензия – нет предчувствия драмы в той же серёдке.

Айдар, как всегда, местами загадочен: что есть такое "руки близ меня"? Смерть на тыканье жердью как-то вроде мало похожа? Или там: как топырить руки? Платье набекрень – это не кепка вроде? Поехать "до тебя"– хохлизм, да? А в общем, всё это – подборка – проходное и полунеобходимое по поэтической сути».

Иосиф ГАЛЬПЕРИН, Москва:

«Мне понравились твои стихи, хотя, возможно, ты их любительски не заканчиваешь, произвольно бросая на излёте ассоциации. По крайней мере в этих – больше энергии, чем в строчках Айдара, мне кажется, он рискует стать профессиональным литератором.

"Богатырша" понравилась, хотя в ней великовато этнографической психологии и маловато – индивидуальной».

В другом номере:

И.В. РАКУШЕВ, Уфа:

«Так случилось, что мне попали сразу пять номеров Вашего журнала. Прочёл их с интересом, местами - с удовольствием, и захотелось поделиться впечатлениями о журнальной прозе.

«Богатырша» Гиззатуллиной - пример того, как последним штрихом можно испортить весь долгий рисунок. Вместе с Тимербулатом повесился

сам рассказ. Логика повествования вела не к трагедии, а к фарсу - тщедушный, униженный муж просто избил бы свою глупую жену…

Касымов пишет, словно говорит. Его тексты живут: хватают за рукав, сердятся. Издеваются. Они то хитры, то простодушны. Часто его рукою водит литературно-географический патриотизм, обида за своих (правда, эта своячностъ довольно ситуативна, и защищаемый сегодня завтра - сам объект критики)….

Кудашев - в преддверии литературы. Пишет, но торопливо. Надкусили, бросили. Могу, но нет времени. Хотя на «Рассказ для детей» время нашлось…?

Фролов - странный жанр литературной математики. Ассоциации: вторая или третья производные, искусственные цветы, езда по снегу на велосипеде, миттельшпиль из партии Фишера. Водит читателя по своей зоне, как сталкер, не показывая явной цели. Читатель устаёт, но не возражает, чтобы не оказаться в дураках. «На охоте» отягощен философско-поэтическим довеском в конце, ничего не дающим...»

Читать эти оценки увлекательно и интересно, сверяешь свои мысли и ощущения с другими мнениями. Это чтение, как это ни странно, создает иллюзию живого разговора с единомышленниками, собратьями по духу, сплотившими плотное кольцо вокруг маленького литературного «журнальчика», наполненного большой любовью и бесконечным уважением к пишущему человеку.

Гюльназ РАМАЗАНОВА

СУТОЛОКА
литературный журнальчик
1997-1999 гг.

1997 год
№ 1

СУТОЛОКА
УФА/1997/1
литературный журнальчик
Редактор-составитель - Александр КАСЫМОВ.

ОТ РЕДАКТОРА

Сутолока – речка в Уфе, текущая среди садово-сталкерской промзеленой зоны непосредственно в Белую. Устье речки – там, откуда когда-то пошла Уфа. Причудливое географическое название соединяет в себе нашу историю и наши нынешние беды.

Сутолока – суета, теснота, неудобство. Сутолока – броуновское движение жизни.

В одном слове "для сердца русского (башкирского, татарского) слилось" так много, что лучшего названия для журнала не придумаешь. Мы и не стали придумывать.

Наш малотиражный журнал открыт для всех писателей и читателей. У нас нет иных предрассудков, кроме литературно-художественных. Литература должна быть литературой!

Тираж – очень скромный.

© сутолока

Гульсира ГИЗЗАТУЛЛИНА

БОГАТЫРША

Бибинур вышла во двор степенно, словно старалась не расплескать спокойствие, какое бывает присуще женщинам, утолившим томительную страсть. Обеими руками она зачерпнула теплый, как молоко, густой туман июньского рассвета, омыла лицо, от радостной, щекочущей нежности рассмеялась. Плавно неся свое большое тело, сняла с плетня ведра. На звон отозвались коровы в хлеву; овцы, блея, повскакали с мест, козы пуховой породы уже толпились у калитки загона. В курятнике послышалось кудахтанье.

Бибинур ласково пошлепала по крупу огромной коровы, которой было тесно в загоне, протиснулась. Присев на корточки, помыла вымя. Уткнулась головой в ее ласковое тело, пошевелилась, а там и ведро зазвенело на все голоса, как шумит народ на майдане.

Дверь чулана заскрипела, и снова радость захлестнула Бибинур - она представила, как ее муж Тимербулат сейчас стоит у двери, деловито наклонив

свою голову. "Скрипит, - думает он. - Вот уедешь ненадолго, так все хозяйство набок валится. Эх-ма!"

И в самом деле, через минуту стало слышно, как хозяин, бодро насвистывая, смазывает петли, двигая дверь туда и обратно. "Хотя бы сегодня поспал, неугомонный", - с ласковым негодованием подумала Бибинур.

-Тимербулат, сынок, как посевная, кончали? - Это сосед-старик голос подал из-за плетня. - В этом году больно долго тянете...

-Вчера вечером и кончали, агай, вот домой нас отпустили. Хорошо, жена баньку истопила. Десять дней на Чувашском хуторе промучились.

-Да, там земля топкая. Чуть польет, пиши пропало... Ладно, в бане помылся да к сабантую поспел, чего еще надо человеку?

Даже во время разговора Тимербулат не стоял на месте - было слышно, как он открыл курятник, посыпал зерно. Потом налил остатки супа Актырнаку, который приветствовал его громким лаем.

"Круглый год эту кирзу таскает ", - усмехнулась Бибинур шагам своего супруга. Она уже закончила доить свою старшую корову и выставила из дверей хлева ведро, наполненное до краев молоком. Быстро глянув на своего мужа, нацепившего старенький пиджачок, отчего он еще больше походил на подростка, Бибинур снова почувствовала прилив нежности. "Ох уж, схватит палку больше себя самого..."

Тимербулат кашлянул и по-хозяйски резко сказал:

-Поторапливайся. Асма-эбей своих уже погнала...

Мягкое вымя, спокойный нрав - доить телушку одно наслаждение. Бибинур, смеясь одними глазами, с любовью посмотрела на мужа, протянула второе ведро.

-Поставь пока в летней кухне. Пойду бычка кералином помажу. Его корова боднула, рана может загноиться.

Тимербулат погнал коров. Бибинур начала хлопотать в летней кухне. Пока нагрела молоко, установила сепаратор, один за другим, как жеребята, притопали проснувшиеся сыновья... Могли бы и поспать малость.

-Как на учебу - вас не добудишься, - приговаривала мать, но словно случайно прикоснулась к каждому и каждому из пятерых уделила частицу своей бесконечной нежности.

Начал пыхтеть самовар. Младшенький и средний сыновья завозились со сметаной в посудине сепаратора. Велев старшему сыну ставить чай (тот возле умывальника усердно приглаживал непослушные волосы), торопя остальных, Бибинур хлопотала по дому: " Пока солнце не поднялось, надо успеть сделать все дела..."

-Мама, ты тоже пойдешь на сабантуй? - Байбулат, второй сын, по-девичьи ласковый, внимательно всматривался в лицо матери. - Почти все кончилось... Осталось только пятно... И второй глаз закрасим...

-Только надень платье с длинными рукавами. Выше локтя синяк заметен... - присоединился было старший, но заметил вернувшегося отца и осекся

на полуслове. Тимербулату, слышавшему слова сына, стало неловко, он залился краской, глаза забегали, смутился.

"Хоть и кается, а слова не скажет", - от этой мысли на сердце у Бибинур защипало.

-Ну, поживее, помогите отцу. Сходи за стулом. А ты принеси брусок, надо бы ножи поточить, пока он дома, - каждому из мальчуганов она нашла заботу, и сама не без дела - взяла чайник с печи, добавила горячей воды в умывальник. Младшенькому дала чистое полотенце, велела стоять возле отца.

Расположились вокруг вздыхающего самовара. Тимербулат нарезал пышный домашний хлеб, раздал по ломтю сыновьям. Те завозились, стали намазывать свежей сметаной, медом. Наконец принялись есть, урча от удовольствия и поглядывая друг на друга.

-Молодцы, что очистили от навоза дальний сарай. И сливную яму хорошо заделали, - хвалил Тимербулат работу сыновей. Те начали громко хихикать.

Старший быстро посмотрел на мать и, прищурив глаза, бойко спросил:

-Мама, рассказать?

Бибинур, пышно, словно стог сена, восседающая возле самовара, смутилась.

-Смейтесь, смейтесь над своей мамой.

-Когда тебя не было, папа, произошла забавная история. Как-то мама принялась посреди ночи мыть полы. Каждую щель скребла. Потом золу из печи вынесла. А на следующий день до обеда чистила подпол. Мы хотели помочь, а она нас и близко не подпускает. Потом все вытряхивала, стиралась. Потом велела нам вычистить загон. Сама каждый кусок навоза мельчила, корыто грузила, мы на картофельные ряды таскали. Сливную яму выгребла, курятник вычистила, двор подмела. Три дня и три ночи бегала, даже ни разу не присела.

Чистить больше нечего, мы ждем, что мама дальше делать будет, а тут приходит Гайнан-езняй. "Машина сломалась, говорит, да и проголодался я. Дай, думаю, зайду". Сели чай пить.

"Ты что-то осунулась, кайынбика, приболела, что ли", - спрашивает он у мамы.

"Да вот, зятек, потеряла золотую сережку, которую мне Тимербулат подарил. Везде смотрела, никак найти не могу", - успела сказать мама, как Гайнан-езне и говорит: "Ну-ка, ну-ка, кайынбика", - и повернул заехавшую за мамино правое ухо сережку. А она из-за нее все хозяйство вычистила.

Мальчики дружно рассмеялись. Тимербулат умиленно глянул на жену, сказал:

-Ох, растяпа, - и улыбнулся.

-Ну вот, хорошо вам смеяться над дуростью вашей мамы, - шумно засмеялась Бибинур. Она была на седьмом небе от этой картины - во главе стола сидит муж с младшеньким на коленке и сияет, словно солнце. Остальные четверо сыновей, словно повернувшиеся к солнцу подсолнухи, сияя глазен-

ками, смотрят на него. Самовар пыхтит, стол завален едой, двор полон домашней птицей, да и в загоне скота немало. "Кто позарится на меня, такую слониху", - огорчалась в девичестве Бибинур. Как же ей теперь не радоваться?

Закончили домашние дела, надели на себя все самое лучшее. Асму-эбей попросили присмотреть за домом и, наконец, все направились на сабантуй. Мальчики чинно шли вместе с папой и мамой до ворот, потом поскакали вперед.

Надевший белоснежную рубашку, черные брюки и лакированные туфли, отчего он стал похож на пионера, собравшегося на сбор, Тимербулат шел, расправив плечи и выставив грудь. Бибинур в переливающимся на солнце блестящем платье, показывая уважение к мужу, шла, отставая на четыре-пять шагов. Отец и мать ее всегда ходили так - впереди большой, как гора, могучего телосложения отец, сзади - худенькая мать. "Вот и мы так, - думает Бибинур. - Только вот ... - и, сама не замечая, трет у себя под глазом, откуда не сошел еще след от кулака Тимербулата. Пробовала закрасить, да все равно заметят. - Вот только Тимербулат ростом не вышел..." - уже в который раз с горечью думает она. Что ж, ей и так хорошо, она согласна терпеть и побои время от времени, лишь бы на душе у отца ее детей было спокойно. Потому и нарожала она Тимербулату, одного за другим, пятерых здоровых сыновей.

Когда Бибинур сватали за Тимербулата, кто-то пошутил: "Слабоватый будет недоуздок для такой кобылы".

"Вот мы и улучшим породу недоуздков, - в тон ответил ныне уже почивший отец Бибинур. - Янгузаровым ума не занимать, да и руки у них золотые". В шутке оказалась правда -все сыновья лицом похожи на Тимербулата, а телосложение у них крупное, как у Бибинур. Только злой язык до гроба доведет - если бы мужики не подзуживали, разве поднимал бы на нее руку Тимербулат? Чувствуют, что он страдает из-за того, что ростом ниже своей жены, науськивают бестолкового, а сами потом потешаются, со смеху валятся. Смеются, повторяя слова Тимербулата: "Ваших щупленьких жен разок ударишь, они тут же падают. А я свою колочу вволю, с наслаждением".

Обогнав задумавшуюся Бибинур, возле Тимербулата остановился кырандас - расписанная выходная телега. На ней ехали на сабантуй друзья семьи - Салимьян и Сакина.

-Идемте, - громко сказал уже подвыпивший Салимьян. - Железный конь Тимербулата не выезжает на сабантуй. Посему добро пожаловать на мою развалюху...

-Если только твоя карета выдержит нас с подружкой, - пошутила его кругленькая жена.

Они быстро доехали до лужайки сабантуя. Все уже готовили табын - обед на свежем воздухе, шумно переговариваясь с многочисленной родней. Бибинур, забрав с кырандаса широкий домотканый ковер-палас, разместилась со своим семейством под кустом буйно цветущей калины.

Аксакалы-старейшины открыли сабантуй. Председатель колхоза говорил недолго, стал премировать передовиков. Одним из самых первых на площадку вызвали Тимербулата. У Бибинур защемило в сердце, она прослезилась, слушая, как высоко оценивает председатель отца ее детей, как захваливает перед всем народом, хлопает по спине. Начали премировать скотников. Бибинур спряталась за кырандас и, хоть не раз выкрикивали ее имя, как передовой телятницы, так и не вышла.

Сакине, которая откуда-то прибежала (ее искала), - только рукой махнула:

-Ну да, буду я там с подбитым глазом стоять.

-А вот жена председателя специально синеву наводит, - засмеялась подруга.

Бибинур радовалась за своих мальчишек, которые побеждали кто в лазании на шест, кто в беге и прыжках. Тут ее подозвали женщины:

-Пока наши мужья развлекаются борьбой, устроим девичник, - засуетились они.

-Подруженька, узнаешь меня? - спросила одна из них. - Ох, жизнь, жизнь - человек, восемь лет сидевший с тобой за одной партой, уже не признает...

Оказалось, что это подруга детства, Гульзиган, живущая теперь в Узбекистане, она сама стала похожа на узбечку. Обнялись. Гульзиган все было интересно, расспрашивала то одну, то другую:

-Ой, девки, скучаю, - поплакалась она. Смахнули слезу и другие женщины, жалеючи то ли ее, то ли себя.

-Ты там скучаешь, мы здесь маемся. Ладно, не плачь. Посмотри на себя и взгляни на нас. Ты все как девочка, а мы уже в старух превратились, - говорили они.

-Ну, чего расхныкались в такой день, - засуетилась шустрая Сакина. - Давайте, держите. От одного глотка ничего не будет. Вон мужики пьют каждый день.

Услышав "эти слова, Бибинур стала высматривать Тимербулата. Не видать.

Может, и он засел за каким-нибудь табыном или уже валяется пьяный?

-И твоего не видать, и моего, хоть бы не напились с самого начала, - с беспокойством посмотрела на Сакину.

-Обмывают дареные часы твоего. Унесли закуску, - ответила та равнодушно.

-Бибинур, тебе ли страдать, что твой суженый свалится?! Тебе что, взяла его под мышку и утащила домой, а если мой увалень грохнется... - гоготали женщины.

-Расскажи-ка, Сакина, как вы шалями торговали, - сказала одна.

-Это когда урусу накостыляли? - оживилась Сакина. - Слушайте, девоньки. Прошлой осенью мы с Бибинур ездили в Кувандык шалями торговать. Слава богу, Тимербулат встречал нас на Хуторе. Дождик моросит. Он

усадил нас на телегу, укрыл брезентом. А мы измотались за целый день, уснули тут же. Проснулись от диких криков, смотрим - два здоровенных уруса пинают Тимербулата, а третий коня держит. Когда один из них подбежал к телеге, Бибинур подскочила к нему да как врежет по одному месту, ну вы понимаете. Тот завизжал, как кутенок, по земле катается. Тут подбегает другой, рыжий-рыжий, который лошадь держал, а Бибинур, недолго думая, хватает его обеими руками, с треском отрывает от земли и бросает через голову в Касмарку. Тот, который пинал Тимербулата, так и остался стоять с разинутым ртом. А Бибинур-подруженька одним пальцем столкнула его в канаву возле дороги, муженька своего подняла, в телегу усадила, и мы поехали домой. Живо потом домчались.

Женщины громко смеялись. А Гульзиган удивленно посмотрела на синяк Бибинур:

-И такому ты позволяешь бить себя?

-Муж ведь ... - не унывая, ответила Бибинур.

В одном этом слове была заложена мудрость, передающаяся из поколения в поколение, от бабушки к матери, от матери к дочери: видеть в муже мужчину и уважать его. И в этом было чувство, что только так можно сделать свою жизнь полной непреходящего смысла.

-Мужики идут, пейте, - с визгом крикнула Сакина. И все, хоть и жеманились до этого, залпом, как по команде, опрокинули свои рюмки.

-Ой, боженьки, я же не хотела пить, - заерзала Бибинур.

-Что, подруженька, уже залетела? - подмигнула ей Сакина.

-Да нет, Тимербулат полтора месяца ходил на посев, не успели. Но уж в этот год надо обязательно. Пока не постарела, дочь нужна.

-Помощница нужна, нужна, - поддержали женщины. - Мальчики, когда подрастут, становятся женины.

В это время вернулась любопытная Сагада, уходившая смотреть борьбу:

-Да ну их, срам один. Тот урус из Магнитки, который и в прошлом, и в позапрошлом году брал барана, опять один на майдане зубы скалит. Срамотища!

-Почему его пускают, этого хапугу. Пусть скажут, что борются только наши, колхозные, и все. Ничего не делает, только ходит от сабантуя к сабантую и баранов собирает, так про него все говорят.

-Нашим мужикам должно быть стыдно. Не могут свалить этого рыжего.

Услышав про рыжего, Сакина встрепенулась и толкнула в бок Бибинур:

-Этот же послабже будет того, которого ты закинула в речку, - сказала она. - Может, решишься?

-Ну вас, выставляться на посмешище...

-А чего смеяться, радоваться будут. Обидно ведь, три года подряд для этого дармоеда барана откармливаем. Если бы я была на твоем месте...

-Отстань, перед всем честным миром исподнее показывать...- сопротивлялась Бибинур.

Услышав их разговор, другие женщины тоже принялись уговаривать. Бибинур, уже бывшую навеселе от рюмки водки, несмотря на сопротивление, потащили к майдану.

Здоровенный русский силач успел завалить еще одного и теперь стоял на майдане с напускным равнодушием. Его издевательский взгляд из-под желтых ресниц и нос картошкой не понравились Бибинур.

Старик Мутагар, главный судья соревнований, пытался зазвать еще кого-нибудь:

-Ну, кто еще испробует свои силы, мужчины? Ямагат, перевелись, что ли, наши батыры? - восклицал он, но желающих не находилось. Сакина возмутилась:

-Смотри-ка, с какой издевкой смотрит на всех, свинья. Эх, мне бы твоя мощь, Бибинур. Я бы ему не то что нос, а такое показала бы!..

-Так-то можно его перекинуть через голову, - сказала неуверенно Бибинур, примериваясь к рыжеволосому здоровяку.

В это время старик Мутагар кивком приказал вывести барана.

-Стойте, стойте! - взвизгнув, выскочила на самую середину Сакина, возмущенная до предела. Снова бросилась в толпу, схватила за локоть колебавшуюся Бибинур. Подскочила еще одна рассерженная женщина, подтолкнула, и они сами не заметили, как оказались на самой середине майдана. Когда люди, не понимавшие, в чем дело, начали смеяться, Бибинур пришла в ярость. Она смахнула все еще виснувшую на у нее на локте подругу.

-Ну-ка, Мутагар-агай, - взяла она из рук старика полотенце. Встала перед ничего не понимающим изумленным рыжим борцом. "Если этот урус зажмет платье полотенцем, подол поднимется", - подумала Бибинур, и старик Мутагар не успел даже засвистеть, как она схватила русского и бросила его через голову. Вокруг майдана начался шум, свист, крики, разошедшийся было народ вновь сбежался узнать, в чем дело. Ошарашенного силача подняли его товарищи и, окружив старика Мутагара, начали доказывать, что поединок был не по правилам. Старику ничего не оставалось делать, как согласиться с ними. Бибинур, спрятавшуюся в толпе, вновь вытолкнули на середину. Но опозоренный силач отказался от повторного поединка.

-Как истинный джентльмен, я отказываюсь от приза в пользу женщины, - он хотел было показать широту своей натуры, но тут разгоряченная женщина выпалила:

-Тогда давай будем бороться по справедливости.

И тут урус, у которого от одного вида этой женщины, смотревшей на него сверху вниз, уже тряслись коленки, был вынужден признать свое поражение...

Баран достался Бибинур. Женщины, визжа, обнимали ее, целовали, старики благодарили, старухи хлопали по спине. Мужчины с шумом начали качать Тимербулата.

-Вы уж дайте попробовать призового барана, - говорили им, и они приглашали всех односельчан на праздничный ужин. Когда с шутками-

прибаутками начали рассаживаться в карындасе Салимьяна, Бибинур заметила вымученную улыбку, исказившую лицо Тимербулата, и у нее защемило сердце. Но ее задергали, и она тут же забыла о нем. Принявший спиртного через край Салимьян всю дорогу несся напропалую, мол, прокачу-ка я победителей как полагается. И тогда не было возможности перебросить словечком с примостившимся у самого края Тимербулатом. По возвращении он сразу же стал затаскивать сопротивлявшегося барана в сарай, а Бибинур зашла в дом переодеться.

-Пусть быстрей зарежет, придется колбасу готовить, надо же накормить столько народа! - суетилась она.

-Отец, - окликнула Бибинур, выйдя во двор с большим ножом в руках, которым резали скотину. - Тимербулат!.. Ты где?

Тишину нарушало только блеянье призового барана. Вдруг встревожившись, Бибинур ворвалась в сарай, чуть не сорвав дверь с петель. Ворвалась и присела от страха. Ее Тимербулат, такой красивый в своем костюме и такой маленький, висел на вожжах под самой балкой сарая.

Перевод с башкирского Зухры БУРАКАЕВОЙ и Айдара ХУСАИНОВА.

Айдар ХУСАИНОВ

КАК БУДТО ЖИЗНИ ДВЕ ПРОШЛО

* * *

Поговори немного скуки,
Затепли ласточки огня.
Смени письмо свое на руки
Не на плече, так близ меня.

Любое дело пахнет смертью,
А после жизни точно смерть,
Как будто в небо тычешь жердью
В стремленье запросто взлететь.

Так вот же — ласточка летает,
Горит костер, идет тепло.
И только ты стоишь пустая,
Как будто жизни две прошло.

* * *

Во сне пойдешь, куда-то выйдешь,
Увидишь надпись на стене.
Что ни привидится во сне?
Но я тебя, тебя увидел,

И привязалась ты ко мне,
Ты мне привиделась во сне.

Что ни скажу, куда ни гляну,
Моргну - перед глазами ты,
Твои прекрасные черты.
Я трезвым был, я не был пьяным,
Когда сбылись мои мечты,
Когда во сне явилась ты.

Я знаю - что-то приключилось,
Что все вокруг в потеках дыр,
И как ты руки не топырь,
Вся жизнь - не большее, чем милость
От той, что посетила мир,
И это - девушка-вампир.

* * *

1
Тебя я вижу выходящей из воды,
С венком из лилий, обнаженной,
И на воде видны твои следы,
Сносимые теченьем напряженным.

Ты приближаешься, сливаешься в пятно
И так стремительно проходишь сквозь объятье,
Что увидать тебя дано
Уже во сне, в зеленом платье.

2
Душа как платье набекрень,
Как подведенные глазища.
Когда на людях целый день,
Когда вокруг событий тыща.

Потом, когда придешь домой
И снимешь то, наденешь это,
Душа не сразу станет тьмой,
Какой-то зыбкой частью света.

3
Когда обнимешь плоть чужую
И к ней прильнешь всем телом сладким,
Когда на кожу неживую,

Как дождь на кожу плащ-палатки
С размаху бросит холод страсти,
До посинения пугая,
Тогда скажи - какого счастья
ты так хотела, дорогая?

* * *

Когда я трезв, когда я просто пьян,
Когда не сплю, когда бешусь от скуки,
Я знаю - есть на свете Себастьян.
Он знает эти муки.

* * *

Кто-то тронул за плечо.
Это снег свалился с древа.
Сразу стало горячо,
Словно выпил для сугрева.

Сразу вспомнил день былой,
День, теперь уже далекий,
Когда я бежал домой
От красавицы жестокой.

И не раз сменился день,
Ничего не изменилось.
Говорить об этом лень.
Все, как водится, приснилось.

* * *

Покидая тебя в нелюбви,
Холодном железе кожи,
Говоря словами "живи"
И уходя, что одно и то же,
Не зная, зачем все то
Тепло, что тебе я отдал,
Зная, что его не возьмет никто,
Так же, как ты, но года,
Проведенного вместе с тобой,-
В моей голове - мне хватит
Ходить с тобою гурьбой
И спать одному в кровати
И видеть острее сна
Лицо, что белее мела,
Которому есть цена

Дороже души и тела.

* * *

Дорогой ты мой товарищ,
Драгоценная моя!
Хорошо бы встать пораньше
И поехать до тебя.

Запродать все то, что было,
За билет до тех краев,
Где меня ты не любила,
Не хотела, ё-мое!

Дорогой ты мой товарищ,
За косой десяток лет
Нет страны, где жили раньше,
И людей, что были, нет.

Только во поле березка
Да ракита над рекой,
Только в поле перекресток,
Только воля и покой.

Дорогой ты мой товарищ,
Мой любименький поэт,
Ничего уж не поправишь
За семнадцать долгих лет.

Можно только неизменно
По утрам вставать с колен
И идти вперед, как Ленин,
От кремлевских красных стен.

Артур КУДАШЕВ

A LA DECAMERON

- Земля промерзла, товарищ подполковник! Невозможно копать! - сказал старший команды. - Эх, жалко, нет напалма! - вздохнул подполковник Шадиев, - полили бы, подожгли. Потом копать легко. Мы в Монголии так и делали. - Может, соляркой попробовать? - с насмешкой в голосе предложил Сабиров, старший лейтенант. - Соляркой вряд ли получится, - Шадиев подул на ладони и шмыгнул носом. - Хотя можно попробовать. Кравченко! - обра-

тился он к старшему команды. - Попробуйте-ка полить и поджечь! - Все четыре бойца дружно бросили лопаты и пошли к "Уралу". Один из них сунул шланг в нутро бака и приложился к нему ртом. Набрав с треть канистры, солдаты вернулись к тому месту, где ставили палатку. Землю полили и подожгли. Солярка сгорела вялым синеватым пламенем. Но это мало помогло. Бойцы выковыряли слой грунта сантиметра в три и снова остановились. - Муйня это все! - сказал Сабиров. - Кравченко! Ну-ка, берите топоры и долбите! - Бойцы обреченно потянулись обратно к машине за инструментом. - Главное - яма под печь, а остальное - хрен с ним! - крикнул им вслед Шадиев. - И давайте живее! Ночевать-то здесь будем! - добавил старлей.

Утром начались учения. Первый за зиму выезд по тревоге. Дивизия была маленькая, сокращенная. В полках было по 600-700 человек и меньше. Кое-какие части состояли вообще из одного человека - командира. Подполковник Шадиев, например, в своем лице являл отдельный батальон связи. Всякий раз на учениях его отправляли на создание пункта приема резервистов. Резервистов призывали редко, но пункт по их приему требовалось имитировать всегда. Группа Шадиева обычно выезжала недалеко от городка на берег реки Толкучки, где расчищала снег на площади квадратов в 100 и ставила там 3-4 палатки. Из них одну жилую, для себя. На этот раз в группе был еще один офицер, закадычный шадиевский друг, старлей Сабиров, начмед малолюдного артполка, и еще четверо солдат, собранных в дивизии по разнарядке.

На место приехали часов в 11 утра и вот теперь, сидя на коленях, солдаты рубили топорами землю. - Что ж так холодно? - спросил сам себя подполковник. Он был лет сорока, чернявый и долговязый. Сабиров же был коренаст, лыс и молод. - Суток трое продлится, - проговорил он сквозь зубы. - И что мы будем делать все это время? - Я нарды взял, - ответил Шадиев. - Эти нарды у меня уже вот где! - Сабиров показал, где у него были нарды. - "Анжелику" почитаем, - голосом искусителя предложил Шадиев. - Говно, а не книга! - отозвался старлей. - На тебя, Марат, не угодишь! Просто отдохнем, байки потравим! - Я эти твои байки, Шадиев, слыхал мильон раз! - Злой ты сегодня, Марат! Не дала, что ли? - Да не выспался я! - буркнул Сабиров. - Лег в четыре, в пять - посыльный. Вставай, война! - Выспимся! - махнул рукой Шадиев. - Айда пока погреемся!

Офицеры залезли в кабину "Урала" и врубили печку. Сабиров сразу уткнулся головой в стекло и закемарил. Шадиев достал "Анжелику в новом свете" и стал читать. Минут через десять старлей поднял голову и сипло сказал: - И сна нет... Хоть бы рассказал что-нибудь, Шадиев! - Ты же все мои байки знаешь! - ехидно объявил подполковник. - А может, не все, - равнодушно отозвался старлей и зевнул. - Расскажи, когда война будет? - Эх, Марат, современная война начнется и кончится незаметно! - Ну да! - хмыкнул Сабиров. - Как это там?.. Ложись ногами к взрыву, держи глаза руками и гляди, чтоб металл с автомата не капал в сапоги. - Современная война, Марат, - торжественно заговорил подполковник, - это столкновение систем связи и систем их

уничтожения и защиты. Кто быстрее вырубит связь противника - тот и победил. - Это как? - еще раз зевнул старлей. - Ну вот, скажем, ты - зеленый берет. Сбрасывают тебя где-нибудь в Иране. У тебя гранатомет. А на прицеле специальная передающая насадка. - Шадиев отложил книгу и стал помогать рассказу руками. - Скажем, навел ты прицел на танк. А с насадки сразу сигнал на спутник, со спутника - в Пентагон, на компьютер. Там цель обработали, ввели корректировку и обратно - сигнал - поправка к выстрелу. Через 3 секунды можешь не глядя жать на курок - и граната сама летит куда надо. - И у наших есть такое? - Есть! - коротко ответил Шадиев. Вот, например, на подлодках... Кстати, хохму вспомнил, - Шадиев фыркнул, - в штабе дивизии рассказали. Короче, один мичманюга служил на Чукотке и собрался на дембель. А ждать корабля или вертолета на большую землю надо было чуть не месяц. А тут из порта подводная лодка собралась в переход до Владика. Капитан оказался знакомый и предложил мичмана подбросить. Тот довольный, соглашается. Как же - через трое суток будет в аэропорту. Отплыли, плывут. И короче, на другой день на лодку радиограмма - приказываю приступить к боевому дежурству. На год - автономное плавание. - Сабиров, откинув голову, засмеялся. - Ну, этот мичманюга, говорят, чуть не повесился. Еле успокоили. Потом вроде даже работу на лодке нашли. Но год еще оттарабанил! - Здорово! - сказал старлей. - Просто отлично! У меня, кстати, однокурсник на подлодке служит. Рассказывал, как он первый раз в жизни операцию делал. Плавали они где-то около Сирии. И бац - у командира приступ. Аппендицит. Приятель мой, конечно, перепаратился - еще ничего толком не умеет. Предложил подплыть ближе к берегу, вызвать вертолет - и в Сирию, в госпиталь. Но капитан уперся - я, говорит, черномазым не дамся! Сам все сделаешь, я верю! - Ну и все тут. Легли на дно. Кореш мой напоил капитана спиртом, перекрестился, взял в одну руку нож, в другую - учебник - и втихаря все сделал. Причем, когда через несколько дней они вернулись на базу, все было нормально, и его похвалили и даже вроде бы представили к медали. - Интересно! - покачал головой Шадиев. - Это где же, в Антарктиде, кажется, один наш вообще сам себе аппендикс вырезал? - Но это неизвестно - байка или нет. А здесь точно. Было с моим приятелем.

Солдаты тем временем вгрызлись в грунт уже на полметра. Один продолжал долбить землю под печь, а трое других уже сколачивали каркас. - Что же они ватные штаны не одели? - спросил Шадиев. - А не выдали еще, наверное. Пока выдадут... У меня один боец, у него ноги 47-го размера. Валенок таких нет. Пока закажем в дивизию и пока пришлют - как раз март месяц. Вот он всю зиму в сапогах и ходит! - Беда! - кивнул Шадиев. - Кстати о штанах. Иванян рассказал. В Афгане, в разведроте, был у них такой прикол. Им часто из Союза на апробацию завозили новые виды полевого обмундирования. И вот как-то раз на зиму к ним пришла партия экспериментальных комбезов. На пуху. Суперпошив. Навороченные. Водоотталкивающие, невоспламеняющиеся. Короче, весь пиздец. И что самое интересное - жопа у них на молнии. Сам понимаешь - зимой и вообще - очень удобно. По нужде пойдешь - не надо все

ремни снимать - зад отстегнул - и привет. Опять же с брони, на ходу... Ладно. Отдали в роту. Проходит месяц. Приезжает проверка - выяснять качество продукции. Бойцов построили и спрашивают всех подряд - Как вам? А как вам? - Все отвечают: - Отлично! Удобно! - Доходят до последнего: - А вам как? - Ну, тот тоже - все хорошо, мол - а сам видно - мнется. Проверяющий говорит: - Вы, товарищ солдат, не стесняйтесь - наказывать за это никого не будут - говорите, как есть. - Боец помялся и отвечает: - Конечно, очень удобно - молния и все такое. Но ведь на кальсонах-то молнии нет! - Офицеры засмеялись. - Слушай, Шадиев, а ты знаешь эту байку про офицера, который уехал в командировку в Монголию, а потом вернулся обратно и пришел к любовнице? - Это старая хохма. Кстати, на самом деле было. У нас, в городке. Правда, давно. По крайней мере, до меня. Офицер этот жил в четвертом доме по Жукова. А любовница в восьмом. Он из Монголии вернулся, пошел не к жене, а к бабе. Пробухал всю ночь. Утром она его отправляет мусор выносить - ну, ты знаешь, где там мусорка. А он с похмела на мусорке замкнул и обратно пошел не к любовнице, а домой. Звонит в дверь. Открывает - жена. А он, бля, в трико, с квадратной мордой. С ведром. Из Монголии. - Да! - хихикнул Сабиров. - Из Монголии! - Но это очень старая история, - повторил Шадиев. - С бородой. Типа того, как один литеха после училища приехал с женой служить к нам. Завел себе дружков. Они ему говорят - завтра блядки устраиваем, приходи. А он спрашивает: а что я жене скажу? Ничего, говорят. Скажешь - заступаю в наряд. Подшейся, побрейся. И к шести давай подваливай. Девочку мы тебе организуем. Он так и сделал. Пришел. Там уже все готово. Музыка, стол. Щас, говорят, твоя придет. Тут звонок. И заходит - его жена. - Эту историю я слышал, - кивнул Сабиров. - Ну, конечно! Я же говорю - она старая. А вот еще, эту ты не знаешь. В Германии наш офицер снял проститутку и пошел с ней в отель. А за ними - полиция, отдел нравов. След в след. Зашли в гостиницу - где тут русский с дамой? - Такой-то номер. Поднимаются. Стучат. Интервал, считай, минут пять, не больше. Стучат, значит, долго. Ну, может - минуту или две. Открывает дверь наш. Полиция заходит, так и так, есть данные, камрад, что в этом номере женщина. Офицер наш - круглые глаза - ничего не знаю, заходите, смотрите. Стали смотреть. На столе - закуска, выпивка, в углу магнитофон играет. Но пусто. Под кроватью - никого, в шкафу - никого, в ванной - никого. Этаж высокий, балконов нет. Короче, кусают локти, но не пойман - не вор, правильно? Знают точно - баба была. Но нету. Что делать - ушли. Оказывается, что наш сделал. Услышал стук в дверь - сразу все понял. Поставил даму к стене раком, накрыл покрывалом и сверху магнитофон. И включил его. И все. - Сабиров захохотал. Шадиев перевел дух и рассказывал дальше. Его уже несло. - Как мы в Эфиопии в водопаде трахались, слышал? - Ну, эту историю я уже сто раз слыхал! - перебил его Сабиров. - Когда это, Марат? - Эфиоп твою мать! Последний раз у тебя дома, на прошлой неделе. - Да? - недоумевая, вопросил подполковник. - Не помню. - Шадиев! Ну его! Давай водки выпьем! - Ну, наконец! Я слышу речь не мальчика, но мужа! - Шадиев потянулся к фляжке. - Стоп! А вдруг проверяющие приедут?

- Да не приедут они сегодня, Валера! - отмахнулся старлей. - А приедут - ты их на хрен пошлешь. Ты же подпол! - Точно! - согласился Шадиев. Они отхлебнули по сто и закусили хлебцами. Настроение Сабирова изменилось к лучшему. Впереди было еще три дня, наполненных удовольствиями.

Александр КАСЫМОВ

БЕГУЩАЯ СТРОКА

Я множу печали, поскольку живу,
я, любящий зерна, деревья, траву.
Я множу печали и в них отражаюсь,
и их отпечаткам в себе поражаюсь.

И волны морские и снежные волны
качают корабль, ощущеньями полный.
И нету свободы, коль время течет
и каплям его не налажен учет.

Теряя себя, то есть жизнь проживая,
откроется в вечность природа живая.
И часть ее мелкая - дух человечий
(тулупчик овечий накинут на плечи)...
Душа прорастает в плохую погоду,
корнями цепляясь за почву-природу.

* * *

Я люблю натюрморты из тряпок моих и твоих.
Эти формы и краски, и в формах - намеки на стих.
И наступит день стирки и глажки. И кончится цвет.
Подари мне на праздник огромный букет.

* * *

Прохожий, как ангел, навстречу идет.
Выходит из тьмы и тьму освещает.
Ночь слово берет и слово крадет.
И вирши слагает, но их не читает.

И птица в ветвях трепыхает крылом.
И ветка под птицею гнется, ликуя.
И горбится кто-то в окне над столом,
дощечку со знаком бархоткой шлифуя.

О, бархат, приятный на ощупь руке,
замызганный, добрый и, может быть, вечный!
Что знаки - их много в бегущей строке!
Тряпица истрется - искусство калечит.

Что бархат! Пространство, где можно писать...
И ветка, и ночь, и безумная птица...
Художник, художник, учись рисовать
на чистой, на ясной, на каждой странице

* * *

И черная умрет луна,
потонет в грязи придорожной.
За буераками страна,
где невозможное возможно.
Где невозможное тревожно,
обманчиво, но непреложно,
неприменимо ни к чему,
как свет погашенный в дому.
Не умирай, душа, в грязи.
Рессор не хватит и резин
тебя тащить, везти, спасать
за буераками, где гать...

* * *

Я не слышал ни звука из музыки спелой,
что развесил божок-орнитолог-дурак
на березе, рябине, электропроводке.
Это тихие птицы летали, летали
и опять улетали, и кружились опять.
И теряли из гроздьев какие-то краски,
как давно потеряли свои имена...

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

1.
Бабочка, летевшая над лугом,
не была мне самым лучшим другом.
И вообще мы не были знакомы –
встретились вдруг по закону Ома.

2.
Орнитологи сумасшедшие

машут крыльями на ветру.
Тяжесть воздуха кто же взвешивал?
Птицы в небе, как на смотру.

3.
И там, где принялась крапива
расти и злости набираться,
как эхо мертвого мотива, -
хруст мокрых от волненья пальцев.

ВЕСЕЛЫЙ ТРИПТИХ

1.
До свиданья на том свете,
где воротца, как в крокете.
До свиданья, где дороги –
через горные отроги.
Молотком по шару бьешь –
прибиваешь к нему брошь.

2.
У каждой из плодожорок
было по сорок жорок,
чтобы плоды пожирать.
Чтобы плоды поджигать,
было по сорок жигалок.
Было по сорок мигалок,
чтоб с самолета видать:
вот она, вражья рать!

3.
Улетайте, улетайки, улетайцы, просто птицы,
в край, где негры и китайцы, тигры, львы и просто львицы.
Пирамиды, пирамидки и Великая стена.
Много рек там протекает, но Янцзы всего одна.
Нил один, но - фараоны, но Хеопс всего один.
Небо, пальмы, а под ними - от загара балдахин.

* * *

Там, где светится вода,
отражая свет небесный,
там без всякого труда
нам приходят в душу песни.

Там, где светится вода,
двигаясь в потоках разных,
там имеется среда
паучков-рачков непраздных.

Там, где светится вода,
проживают там форели.
Ночью там костры горели,
серебрилися свирели...
Там, где светится вода...

* * *

Падает лист еще раньше,
чем он лететь начинает.
Кто это_все понимает?
Старый гранита огранщик
все про гранит понимает.
Он инструмент вынимает
и краскам звучным внимает.

Лист хлорофиловый светом наполнен...

* * *

В паузах птицы живут и пробелах.
В паузах, словно в пазах, и в пробелах,
словно по берегу белому Белой.
Где этот берег? Где эти птицы?
Где-то на южной безумья границе?
Ходит там цапля походкой начальника
в поисках кружки, свободы и чайника.

* * *

Как светел свет во тьме!
Как жизнь жива в Тотьме!
Как горизонт неровен
глядящему вдаль с бревен
(июнь цветет в садовстве!).
Он хмурит строго брови
и водку пьет в сиротстве.

* * *

я умру, как захочется сильно не жить -
только нежить свое бытованье в словах,
лестных мне, но чужих и нелепых, что ах!
И не жить и не нежить, а только лишь брезжить,
протекая сквозь шторы туда, за кулисы стыда...
Уходи от меня! Но зачем и куда?
Но затем и откуда берется вода
в этой яме, где жизни блистает слюда.
перед тем, как начать ей сквозь землю всходить
- стебелек за листом снова в смерть уходить.
Все течет. И вода все покроет и скроет -
и того, что все что-то лопатою роет.

СУТОЛОКА
УФА/1997/1

От редактора..... .1
Гульсира ГИЗЗАТУЛЛИНА. Богатырша..... 2
Айдар ХУСАИНОВ. Как будто жизни две прошло…7
Артур КУДАШЕВ. A la Decameron.....10
Александр КАСЫМОВ. Бегущая строка... 13

№ 2

СУТОЛОКА
УФА/1997/2
литературный журнальчик
Редактор-составитель - Александр КАСЫМОВ.

Кто такие "фраера" русской культуры, почему именно "фраера" и "фраера" ли вообще, и причём тут русская культура?

Тираж - очень скромный
© сутолока

Александр КАСЫМОВ
ПРОМЕТЕЙ, УКРАВШИЙ ТЕМНОТУ?
Письмо Виталию Кальпиди по поводу его сочинения "Фраера" русской культуры"

Любезный Виталий Олегович, решил обратиться к Вам с письмом, дабы прояснить некоторые моменты из восхитившего меня фрагмента "Фраера" русской культуры" ("Несовременные записки", № 3). Восхитил он меня тем, что Вы в этом тексте делаете, кажется, попытку создать аксиологическую поэтику (АП) - эстетическую систему, где бы художественное соотносилось с житейскими, бытово-мифологическими ценностями. Образ - другая сторона медали под названием "представление". Особенно ценно то, что Вы оперируете массовыми представлениями, вытекающими из (втекающими в?) коллективного бессознательного. Хотя, возможно, АП у Вас творится как бы между делом. Так вот, поговорим о деле.

Что такое "фраера"? Вернее, кто такие? До сей поры я полагал, что слово это на арго означает, скажем так, не блатных и не милиционеров. Воровское сознание делит одним словом общество на три части. Делите ли Вы таким словоупотреблением как-нибудь культуру? Скорее нет. Скорее Вы ее переделываете. Образовав на бумаге странноватую команду "фраеров", Вы тут же защищаете себя от всяческих последующих придирок: "...с точки зрения правды эта фраза - ложь". И дальше сообщаете, что правда и ложь - "всего лишь уровни кодирования информации". А кто же такие тогда фраера русской культуры и зачем понадобилось такое кодирование информации о русской культуре, где одним и тем же значком помечаются столь разные сущности, как Булгаков и Высоцкий? К концу сочинения, сработанного под фрагмент, содержится проговорка: неразвернутая инвектива в адрес тех, кто "пофициантски обслуживают темные файлы человеческого сознания". Фраера — обыватели, бюргеры, филистеры? Или (в тексте только намек) речь идет о

невольных представителях темных, глубинных сторон подсознания и чуть ли не самого сатаны?

Мои предположения носят, как Вы любите выражаться, факультативный характер. Мне, читателю, нужна не столько правда, сколько четкость определения. Видимо, темные файлы записаны на тех же дисках, что и светлые. Но тогда как предотвратить распространение вируса темноты? Или Вы только констатируете наличие пятна? Но тогда скажите, какова его типология?

"...само зрение тоже всего лишь аберрация". Слепоты?

А может, это лучше назвать аберративной поэтикой? В которой все есть обман и видимость, но интересно поломать голову над тем, почему обман таков, почему эта среда так обманывает, а эта – так обманывается? "Я сам обманываться рад..."

Список, созданный исключительно Вашей верой: Высоцкий, Есенин, Венедикт Ерофеев, Булгаков, Ильфпетров... Вчитываешься в эти фамилии и понимаешь, что значение термина, придуманного Вами, из арго не выведешь. Хотя трое из названных здесь авторов в какой-то степени представляют своим творчеством блатное сознание, как-то пытаясь перевести его в искусство слова, соединить с ним, присоединить одно к другому. Но Бендер, скажем, - это совсем другое. Тут нет никаких там файлов, тут скорее голая сатирическая схема... А "Белая гвардия" - это просто иные объемы, иные миры. Хотя Вы, наверное, больше Фагота в виду имеете или там Коровьева...

Вслед за термином "фраера" невозможен никакой художественный анализ. Дальше тематики-проблематики никак "не идется". Сразу соображаешь: видимо, я пытаюсь перевести собственную слепоту в зримые образы. "Доказательства всегда появляются там, где не хватает веры. А там, где не хватает веры, я лично вообще предпочитаю не появляться". Здоровы Вы, Виталий Олегович, возможных оппонентов! Но вдруг появится рядом с Вашим текстом кто-нибудь неверующий?

Лично мне чрезвычайно близко Ваше отношение к Высоцкому, день рождения которого у нас превратился в национальный праздник. Но описание этого отношения все-таки странно. Ваш фрагмент местами так похож на черновик. Помогите понять, чем судьба отличается от Судьбы, автобиография от Автобиографии?.. Или посредством заглавной буквы слово возводится в метафизическую степень? Плотные слои Судьбы – звучит красиво, конечно, но в плотных слоях атмосферы сгорают. У Вас в этих слоях, до которых не добрался Высоцкий, видимо, возгорают.

Образ – и представление. Поэзия – и правда. Или неправда, что, как мы выяснили, не имеет особого значения.

Вы анализируете биографию Высоцкого, точнее, массовые представления о ней, как текст.

Для литературы совершенно не имеет значения, какого роста был Пушкин и какой ширины плечи были у Шекспира. Для публики очень даже имеет, она, почтеннейшая, нынче за стихи не возьмется, пока про автора парочку сплетен не прознает.

Возможно, я придираюсь, но это ужасный оборот: "Высоцкий - льстец национального масштаба национальному масштабу". Ясное дело, вера вне стилистики. Чем тяжеловесней, тем больше веришь. Но все-таки символично несовпадение субъекта логического и грамматического. "Борец и боец (короче - воин)" оказывается как бы инструментом для лести. Очеловеченный масштаб (национальный) льстит при помощи этого инструмента самому себе.

Интересная, кажется, мысль верой ли, убежденностью ли (= торопливой поспешностью высказаться) самопародируется. И вся последующая аргументация, вся эта куча мала доказательств (несмотря на "и доказывать это не собираюсь" в начале) - тоже вне стилистики, во всяком случае, тут разговор не о культуре, а об идеологии. И это безумно интересно: Высоцкий - как идеологический символ. Чем больше его пытались пропускать через идеологические жернова, тем более сильный отпечаток, более ясный след этой мельницы на нем оставался. Не вина, но беда. А писать, петь, играть уже можно было как угодно.

"Анти-сакрализация" - так то же самое называете Вы.

В том же номере "Несовременных записок" Константин Мамаев интересно рассуждает про "эйдетические пределы" текстов Рубинштейна и Горнона, начиная с орнаментов.

Вы тоже - с орнаментов. При этом Вы как истинный знаток рассматриваете идеологическую изнанку вышивок.

Как много Вы загрузили в один файл (не берусь сказать, темный или светлый). Потому я и говорю о черновике, что только ему позволительна такая свобода от автора!

Особливо вне дисциплины данного текста Ваша гипотеза о спасении русского народа в войне через смирение: "... подставили другую щеку, и вот - победили смирением. Это бы и было возрождение и освящение нации, восторг света, начало нового мира..." Ничего не буду говорить, но только спрошу: в какой культуре произошло бы это возрождение? Только не в той, конечно, в которой был фраером Высоцкий...

Наверное, можно согласиться с Вами в оценке "военного" творчества Высоцкого, но все-таки, откуда взяться христианской тактичности внутри вполне советской идеологии? И не надо тут говорить о справедливых и несправедливых войнах, о злодеях Сталине и Гитлере!

Тут уже изнанка изнанки.

"Выдавание творца за "прометея" - жутковатая фальсификация".

Как Вы любите словцо "выдавание"! Возможно, его ненатуральность должна подчеркнуть ненатуральность процесса? Но тогда я с Вами не соглашусь. Ведь Вы уже доказали, что Высоцкий в общем-то и не творец, а так, сейсмограф. Может быть, будем последовательны, все-таки Прометей, но укравший темноту? Или — пустоту...

И конечно, ежели говорить о сейсмографах, то должна быть унификация. Но Ваш переход - через очередной пробел - к единоОбразному творчеству кажется аргументом в разговоре о Высоцком. У того-то действительно

единый образ. А вот вообще-то в творчестве (или в литературе, которую не следует путать с творчеством)?..

Не люблю я это слово "творчество" и не понимаю, извините, что у Вас значит "образ". Мне кажется, вера в собственное произведение, его логичность и все-таки точность (хотя Вы отказываетесь говорить о правде) - Ваше достоинство и Ваш недостаток. Ибо в вере всегда есть как элемент мистики, так и некоторый элемент неопределенности: то, во что верят, желает оставаться тайной, не желает открываться-определяться до конца. "Реализованный человек тот, кем наслаждается сама жизнь", - утверждаете Вы. Должна ли наслаждаться реализовавшимся художником культура?

Жизнь даётся только один раз, и это мучительно больно.

НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ К СОСНЕ!

Иосиф Гальперин. Литая сфера. Москва, Издательский Дом Русанова, 1997.
Иосиф Гальперин. Дневник разных лет. - "Новая Россия ", 1997, № 1.

Поэзия - это не проза. Или: не-проза. Хотя бы потому, что ей безразличны отношения слов в прозаическом тексте (или шире - контексте). Она порождает другие связи, и сама состоит из других связей-связок.

"Получается, новые теоретики рассматривают и строят искусство вне нравственности, от эстетики форм переходят к эстетизированию сути, творческого мышления", - заметил Иосиф Гальперин, беседуя с Иваном Ждановым ("Арион". 1996. № 2). Получается ли?

Поэзия, с точки зрения прозы, - сплошной адюльтер. Чего только не позволяют себе всякие там вольнолюбивые синтагмы! И поэт (каждый - иначе) тащит с собой в текст свои веревки-нитки, чтобы похождения слов выглядели пристойно: не проза, но не-проза. И какое мне дело, что в голове у автора, когда шьется или вяжется стихотворение, за красных он или за белых...

Но поскольку Иосиф Гальперин складывался как поэт "в эпоху войн, в эпоху кризисов", его долгое время волновала проблема противостояния гнету этих войн и этих кризисов... Человеку трудно знать, что где-то льется кровь, а он тут живет, тихий и счастливый. И человек выводит пером что-нибудь решительное: "Арестуйте меня, арестуйте!.." - и приписывает этот вопль Христу. Человек (автор, персонаж, некто) начинает прорисовывать, прочерчивать, конструировать позиции и оппозиции, путая риторику и эстетику, пытаясь с помощью своих очков со сложными линзами заглянуть под человеческую кожу и кожицу вещей. Происходят метания от молекулы ко Вселенной и назад... Так много мысли - и совсем не дурной, - но как будто мало песни...

Я бы назвал это проэзией. В ней стихотворение, репортаж, научная статья - один жанр. И все это дидактики (самодидактики) для.

Что получается у теоретиков, не нам судить. Мы не вычитываем нравственность из литературы. Не вычитаем. Не вгоняем одну в другую и не выгоняем, как в средние века бесов. Нас интересует движение Иосифа Гальпе-

рина к искусству от риторики, от проповеди к натюрморту или пейзажу, от логицизмов к художественной логике.

"Последние осы последний сок
сосут из последних цветов...
Последний осень назначила срок -
шиповник еще не готов".

Три "последние" колонны в помещении двенадцатистрочного стихотворения несколько тяжелы. О них стукаешься и царапаешься, ведь ежели это шиповник - то с шипами.

Троекратный (почти фольклорный) повтор - три логических ступеньки, чтоб рук хватило - на колонны прицепить транспарант с поученьем (моралью), которое из-за инверсии выходит неловким:

"Последний осень назначила срок".

Sic transit, по-русски говоря. Он отцветет, она подождет - и август скажет: "Пора"... Тут уж милая мальчишеская невнятица. Жалят-колят-рубят осень, шиповник, осы, пьющие из последних сил... Руки не дотянулись - пришлось пристроить еще ступеньку...

Когда отошла былая (почти диссидентская) фронда, что осталось на белой бумаге?

"Чему сосна учила, следуй,
Не оборачиваясь к ней".

Читатель, как жена Лота, замирает от желания повернуться назад. И причем здесь ученье сосны?

"Но эта бабочка способна на поворот внутри себя..."

Последняя осень - это когда сходят с круга. С того самого, по которому мчатся листья, изображая листопад. В этом "не-прозории" не оборачиваться к сосне, не возвращаться к ней - означает двигаться к новой вершине, к повороту внутри себя... Макромир осмысливается через микрофилософию... И только капельки времени мешают логике поступательно-кругового движения...

"О круг точильный, стрелочный!
Я стачиваю час,
до неразменной мелочи,
но не могу совпасть,
касанием запомниться,
проникнуть, не убив!
Спасибо, друг-бессонница,
за проповедь любви!"

Ужасная недорифма "убив/любви", конечно, портит дело, но, возможно, круг точильный, на котором стачиваются время, жизнь, вечность, - центральный образ поэзии Иосифа Гальперина, тем более центральный, что в нем конденсируются, соединяются, собираются все виды кругового движения. И это соединение намекает на спираль... Может, отсюда и возникает

"Предвиденья литая сфера -
Звезда из темного стекла".

Что тут с астрономическими представлениями? Звезда и сфера - разве это одно и то же? Но если начинать движение раньше, издалека, от осеннего листа, то, возможно, все получится: песочные часы, или звездная сфера (литая), или солнце...

Так вот, поэзия - это не-проза. В движении слова, к которому прикасается Иосиф Гальперин, слова изменяют первоначальные значения, движутся по спирали - ведь автор одержим идеей нравственно-эстетического совершенства... Не-проза!

ИЗ БАШКИРСКОЙ ПОЭЗИИ

Тамара ИСКАНДАРОВА

Моей судьбины темная звезда,
Не даришь ты ни счастьем, ни бедой.
Не светишь и не греешь никогда,
И все же я зову тебя звездой.

Вот так бывает - выйдешь ночью в сад,
И все кругом сияет от зарниц.
Но ягоды, склонившись, не висят,
Когда мороз их выбил из глазниц.

От чудных звезд мерцают небеса,
И до того спокойно на душе,
Как будто воплотились чудеса,
Сиявшие на дальнем рубеже.

***

Мелким горохом идет дождь, которого мы не ждем.
Морщины старого города промыты летним дождем.
Мало нам было осени визгливых, ребячьих слез,
Теперь и старое лето шумит о любви всерьез.

Горячие-струи текут по улицам, смывая пыль.
Небеса, удивляясь, смотрят на города стиль.
А город, освободившись от бремени всех суматох,
Тихо себе вспоминает молний любовный вздох.

Я покрою монетами голое тело,
Темным илом речным я укутаюсь смело.
Поплыву я по водам памяти зыбкой,
Буду пить ядовитую память с улыбкой.

Станут легкие жабрами в то же мгновенье,
И придет под водою ко мне озаренье.
Свет луны мне покажет дороги да плесы,
Буду лунным лучом я расчесывать косы.

Сотни сказок-былин поведу за собою,
Как-нибудь расскажу, как живут под водою.

Юмабика ИЛЬЯСОВА

Желтые листья летят недалеко,
Разве они ошалевшие птицы?
Разве им снилась радость полета,
Было некстати им освободиться.

Листья летят не по собственной воле,
Ветер поднимет, ветер опустит.
Мертвые листья, летящие в поле,
Нам говорят о свободе без грусти.

***

Не спрашивай, обид не одолеть.
Не говори, тоска необъяснима.
Во мне лишь горе, крепкое, как смерть,
И даже вздох теперь уходит мимо.

Хотя бы все сбегутся со всех ног
Любить меня, крича и причитая.
Любой из нас на свете одинок,
Дитя родное даже обнимая.

Перевод Айдара ХУСАИНОВА.

Игорь МАКСИМОВ

МАТЁРЫЙ

- Зайди-ка, зайди на минутку, - сказал мне Саша Соколов, встретив меня на дороге. Я нес ему пачку старых журналов "Охота и охотничье хозяйство". Не дойдя до его дома, мы свернули к небольшому дворику.

- Гляди! - крикнул Саша и распахнул воротцы. Посреди дворика, откинув хвост, лежал здоровенный волчина.

- Вот это да! Где такого добыл?

- Недалеко. За обогатительной фабрикой.

- Неужели и сюда ходят? Вроде бы не наш?

- Ходят. Это пришлый. Степной. Наши серые и поменьше.

- Нетерриториальный, значит? - сказал я и стал рассматривать волка. Бока рыжие, как палый осенний лист; по спине ремень тёмно-серой шерсти, ближе к шее и вся шея, будто шалью, окутана мягкой пушистой гривой. "С такой никакой мороз не страшен", - подумалось мне, и я, сунув в неё поглубже пальцы, так и не добрался до шеи. Но особенно приметились ноги: тонкие, длинные, почти голые, они были прикрыты короткой лоснящейся шерстью желудёвого цвета, а в промежности и под брюхом шерсть была свалявшаяся и какого-то синевато-сиреневого оттенка, сходного с цветом перекалённого кирпича.

- Попробуй подними, - предложил Саша.

Я потянул волка за уши, пытаясь приподнять лобастую голову; уши выскользнули, голова стукнулась о мостовинник, а из загнутого кверху, как у свиньи, носа показалась тёмно-красная сопля. За ухом означилось серое пятно набрякшей шерсти.

- Вот сюда я его - и наповал! - не без гордости пояснил Саша и ткнул ногой в шею. - Четыре дня за нос водили. Жду на сеновозной, конной дороге, они рядом по белазовской, автомашинной пройдут; жду на белазовской, они по сеновозной. Как знают ведь, а? Будто мысли умеют читать.

- Чего другого, а обмануть, залезть, стянуть - пара пустяков. У меня зимой двух собак стащили: один волк по улице бегает, другой в засаде под берегом на речке в ольховнике притаился. Только пробежала моя Ахтурка - цоп и готово! Утром на льду по следам узнал.

- Вот я и решил с этими фабрикантами расправиться. Навязал на шпагат красных лоскутков, тряпочек, протянул через дорогу, зафлажил сеновозную, пусть по белазовской идут. Выбрал местечко поукромней, за комом руды, и домой. Стемнело - пошел. А ветер, сиверка[1]. Хорошо, думаю, только бы не переменился. Посидел - пробирать начало. Терпи, Усман-агай, терпи, как говорит наш охотник Таип. И луна то скроется, то опять выглянет и эти отвалы, и белазовскую дорогу, и косогор обольёт жидким желтушным светом. Жутко сидеть. Медленно тянется время, кажется порой, остановилось. Наконец часа в два зачернилось что-то внизу у дамбы. Тень мелькнула. За ней другая. Замер я. Ближе, ближе тени, скользят, точно призраки. Впереди вожак. Красиво идет. Мощно. Голова книзу опущена, а всё вокруг видит! Таранит сумрак, а кажется, и снег цепляет носом. Принюхивается. "Ну, ну, подходи, - думаю, - хотя бы не повернул обратно".

Когда за матёрым появились два прибылых и чуть подальше волчица, и дрожь пропала, и успокоился, и даже как-то теплее стало. Луна как раз выглянула из-за тучи, я глянул: матёрый остановился перед флажками и повернул голову назад. И тут я дал! Метра на полтора подскочил на месте! Рухнул,

[1] Сиверка (местное) - острый, пронизывающий ветер, с летающей позёмкой.

приподнялся на передних и завыл! Так завыл, как, может быть, никогда: он не просил ни пощады, ни помощи - я ему, видно, зад отшиб, - он прощался с жизнью, он понял, что с этого каменистого, желтого косогора ему уже не уйти. Может быть, за эти мгновенья, как это бывает и с людьми, перед ним прошла вся его жизнь; он увидел себя там, в степи, где он хозяйничал около скотных дворов, на фермах, где вдоволь было и пищи, теперь же, когда ферм не стало, а глубокие снега заставили откочевать в чужие места, он увёл стаю на эти отвалы, в леса, где можно было поживиться зайцем, а то и повалить лося, марала.

Матерый полз. И когда, щелкая зубами, он сделал последний рывок, я дал ещё раз! Вот это пятно. За ухом.

- А как ты дотащил сюда такого?

- На салазках. Сходил домой. На коробушке провёз.

- Здоров! - качнул я головой.

- Гляди: от кончика носа до кончика хвоста, как говорят охотники, от колышка до колышка, два шага с лишком.

И Саша прошёлся вдоль туши.

- Два метра с гаком, - согласился я. И стал переворачивать волка на другой бок. Кровь засочилась из шеи, а по дворику пошла такая вонь, такой смрад, что не продохнуть. Я было направил лыжи обратно, да тут явились молодые таксидермисты (помощники) Руслан и Вадим. Заткнули куда надо волку кляп и с ловкостью заправских охотников начали действовать острыми, как бритва, перочинными ножами. Разрезав пяточные мозоли, отделили когти от ступней вместе со шкурой (так полагается), и теперь задние ноги стали походить на культи, а железные острые когти бессильно повисли на шкуре.

Между тем, в воротах столпились зеваки. Набежали ребятишки, подошли мужики. Кто-то притащил своего Шарика и суёт его под бок волку.

- Не боится, мой не боится! - радуется малыш. - Не пуганый, вот и не боится, - говорит товарищ.

Я беру лыжную палку и начинаю разжимать зубы. Желтовато-коричневые, широкие, с черными поперечными полосами, зубы скрежещут о сталь. Клыки острые, еще не сносились. Сколько же они порезали скота, зверья в лесу!

- А знаете, как они охотятся на лосей? - говорит Вадим. - Они стараются загнать его в болото, в топь, на глинистый обрыв, на лёд, в буреломник. Гонят по паре с боков и два-три сзади. А то и больше. Эти, улучив момент, стараются подкусить сухожилия задних ног. Секунда - и до кости перехватывают. Зашатался лось. Тут на него виснут и валят с боков.

Пять минут - и готово. Набрасываются всей стаей. Горячая кровь, парное мясо, печень, сердце - в первую очередь! Нажрутся - идти не могут. Лягут где-нибудь поблизости и лежат. Потом начнут срыгивать куски.

- Я сам находил срыгнутые кучки, куски чуть ли не по шапке. Как они их глотают? - говорит Засов Иван, старый пастух. - Через день-два всё подберут, лося за три-четыре дня кончают.

- И от овец не отказываются, - добавляет кто-то. - У Якова Гурьяныча в Комарове, - не загнал с вечера, - за баней во дворе порезали.

- У меня из чулана пса украли. Бегают днем под окнами, - говорит Иван с Тары. - За ночь сопрут. Запер в чулан. А там две доски едва держались; ночью пёс замолк. Сунулся я посмотреть - дыра: доски отодвинули, пса утащили.

- А у нас за станцией из ошейника вытащили. Цепь и ошейник у ворот, а собаки нет.

- Облаву надо организовать. Житья не стало. Бабы по утрам боятся на работу ходить.

- Да охотсоюз-то наш на ладан дышит. Денег на облавы нет.

Пока мы так рассуждали, Вадим и Руслан вывернули шкуру наизнанку, мешком. Рядом лежал бывший хозяин. Грудь красновато-синяя, воронкой, живот впалый. Разрезали - пук травы там, кусок заячьей шкурки, кусок прорезиненного шланга.

- Голод не тётка, - заметил Засов. Мы стали расходиться.

- Ты уж не пиши, что я почти в посёлке его застрелил, - сказал Саша. - А то еще оштрафуют.

Майя ФАТТАХУТДИНОВА
ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО

Аллен ГИНЗБЕРГ
РЫНОК В КАЛИФОРНИИ

Я вспоминаю тебя вечером, Уолт Уитмен,
Когда устало иду по улице, залитой лунным светом,
В котором причудливо скрещиваются косые тени деревьев.
Я представляю тебя посреди огромного рынка,
Залитого светом неоновых ламп, -
В зале, где громоздятся горы тропических фруктов,
А в узких проходах теснятся люди,
Жадно глазеющие на это изобилие.
Я вижу тебя - одинокого, затерянного в толпе,
Тебя толкают пробегающие мимо рыночные мальчишки.
Я слышу вопросы, которые ты задаёшь окружающим. -
Странные вопросы, остающиеся без ответа...
Я следую за тобой в отдалении,
Лавируя между горами консервных банок,
Не упуская тебя из вида.
Так мы блуждаем вдвоём
По длинным, нескончаемым коридорам огромного здания,
Минуя все эти россыпи богатств, в нём содержащихся,

И не видя выхода из него.
Скажи мне, Уолт Уитмен, куда мы идём?
Мы будем бродить с тобой по пустынным улицам,
Видеть в свете луны косые тени деревьев,
Видеть огни, горящие в каждом окне каждого дома,
И чувствовать, что мы одиноки.
Скажи мне, Уолт Уитмен,
Седобородый отец наш, научивший нас мужеству,
Знал ли ты, во что превратится Америка после тебя?
Думал ли ты о ней, обездоленной,
В час, когда старый Харон
Перевёз тебя на тот берег реки забвенья,
И ты стоял и смотрел,
Как лодки уходят всё дальше и дальше,
То всплывая, то вновь погружаясь
В тёмные воды Леты?..

Херберт Эдвард РИД
ПРИЗЫВНИКУ 1940 ГОДА

Я увидел солдата, идущего мне навстречу. Чёткость его шагов
заглушал свежевыпавший снег.
Поравнявшись с ним, я взглянул на его лицо:
Оно было странно серым -
Как тень на снегу,
Как пятно на белой стене, -
И я ощутил мгновенный толчок узнаванья
Того, что было со мной четверть века тому назад.

Я крикнул ему "стой!" повелительным тоном,
И он послушно застыл на месте.
Я сам когда-то был таким же послушным
-Один из тысяч и тысяч бравых юнцов,
Шагающих в ряд под звуки военного марша,
Не думая ни о чём, слепо повинуясь приказу.

Он стоял и ждал моих слов.
"Послушай, - сказал я ему. - Я один из тех,
Что стали солдатами двадцать пять лет назад,
Один из многих, что выжил тогда и вернулся домой
И кто уже никогда не вернётся.
Так же, как вы, мы шли под дождём и по грязи,
Так же, как вы, мы боролись со смертью, тьмой и отчаяньем,

Так же, как вы, мы отдавали всё, что имели, -
Нашу кровь и нашу жизнь.

Но мы воевали напрасно: ведь мир не переменился.
Всё осталось на прежних местах:
Та же глубокая пропасть, разделяющая богатство и бедность,
То же засилие власть имущих.
Наши надежды, наш гнев - всё обратилось в пепел,
Который теперь устилает землю у нас под ногами.

Но одно мы поняли твёрдо:
Смерть не приносит славы
Тому, кто сам её сеет, будь он хоть трижды героем,
Война не несёт победы
Тому, кто решился её начать.
А ты - мой брат, моя тень, мой двойник,
В ком я повторился четверть века спустя,
Неужели и ты захочешь принести себя в жертву,
Которая никому не нужна?"

Сказав это, я взглянул на него.
Он с улыбкой отдал мне честь и двинулся дальше,
Оставляя на свежем снегу следы солдатских сапог.

Карл СЭНДБЕРГ
ТУМАН

Туман подкрался
Бесшумно, как кошка.
Присел,
На город взглянул -
И накрыл его мягкой лапой.

Эдвард КАММИНГС

я
прошу
любимая
это последнее
о чем я могу сказать
конечно тебе очень трудно
представить а я просто не сумею
объяснить на войне всё совсем иначе
чем мы воображали но ведь я же верил в Бога

и молил его о спасении так почему
какого чёрта они убили меня
любимая теперь ты видишь нет
никакого Бога но ты
пойми это сама
потому что
я уже
мёртв

Уильям Карлос УИЛЬЯМС
ТАНЕЦ

В "Кермессе" великого Брейгеля
пары кружатся одна за другой и одна
за другой и ревут и гудят и пиликают
скрипки волынки рожки надрываются
лопнуть готовы с натуги и кружки
затеяли свой хоровод закружились
и площадь народом запружена кружащимся
в толчее суете и шумихе и катятся
бочки боками стучат и вторит
им резвых ног перестук развесёлый и
топот и пляс и круженье до изнеможенья
в "Кермессе" великого Брейгеля...

Равиль ИСКАНДАРОВ
УЗОР КОВРА

Мне бой знаком - люблю я звук мечей...
Под небом Африки моей...
Александр Пушкин.

Родился он на севере Абиссинии, в городе Логоне, в маленьком царстве своего отца. Они вели свой род от Ганнибала и платили небольшую дань Турции.

Младенческие годы он провел в гареме отца. Хорошо запомнился огромный курдистанский ковёр, по которому, ещё не умея ходить, он ползал. Толстый и тихий чернокожий ребенок, он любил рассматривать сложный узор, означавший в одинокой его игре то лабиринт джунглей (и тогда воображаемые обезьяны, драконы и пэри летали с завитка на завиток и прятались в уютных глазках-пещерах), то карту страны (и тогда его грозная кавалерия объезжала прямоугольные границы, а караванщики извилистыми дорогами

везли свои подарки ему, царю, восседавшему в центральной розетке), то еще что-то, потом забытое. Но время шло, садовый фонтан, сочась, как слезами, редкими каплями, зарастал мхом и становился всё живописнее, и ковёр выцветал, и маленький Ибрагим рос, и однажды он покинул гарем, и его отец состарился, и однажды он умер, и семнадцати лет Ибрагим наследовал царский трон.

В семнадцать лет он уже далеко не был тем задумчивым и одиноким ребёнком; деятельный, живой и жестокий, он полюбил коней, охоту, войну. Все его мечты теперь устремились к славе. Нищую и полуголую логонскую армию он, безжалостно преодолевая сопротивление, преобразовал на турецкий лад, ввёл в ней железную дисциплину и каждый год совершал набеги на соседей; он превратил своё царство в маленькую хищную Ассирию, в разбойничье гнездо, наводящее страх. Слова Корана, призывающие мужаться, презирать обман и следовать стезёю правды, были золотом выведены на его сабле, и не одну дюжину душ неверных отправили в вечность эти святые слова. Сам Ибрагим не отличался особенным благочестием. Куда более, чем в Аллаха, он верил в бога неверующих - судьбу; и то, что события человеческой жизни имеют таинственный смысл, что любая биография - некий узор, неведомый тому, кто его вышивает, было его глубочайшим убеждением. Однажды, в сезон дождей, когда поневоле приходилось сидеть дома, он отдыхал - теперь уже господином - в гареме. Любимая его невольница-грузинка пела песню. Он рассматривал свой старый ковёр.

Странно, что в детстве он совсем не замечал одной важной вещи. Главный орнамент рисовался одной-единственной замкнутой линией, или, если угодно, двумя линиями, симметричными друг другу. Из начальной точки близ узкой стороны ковра они расходились тупым углом; затем, заполняя всю площадь внутри бордюра, сложнейшим образом извивались и переплетались и, наконец, у другой узкой стороны сходились под таким же тупым углом, как в начале. Что-то странно привлекательное было в этом сплетении жирных золотых линий. Невольница пела, а он всё следил и следил за их извивами и, как в детстве, представлял, что левая линия - его судьба, а правая, симметричная ей - таинственно сопряжённая с ней судьба другого человека, его двойника, и что когда-то их жизни разошлись и когда-нибудь непременно сойдутся; а пока только неуловимые пересечения и тайные соответствия объединяют их. И не в одной ли из таких точек сближения находился он вот сейчас, когда слушал печальную грузинскую песню и представлял себе эту другую жизнь? Он не знал.

Как бы то ни было, на мечтания времени не хватало. Весь этот сезон дождей он готовил армию к главнейшему из своих походов, к походу, о котором он мечтал с давних лет и который должен был прославить его навеки. Ибрагим собирался воевать с самим великим негусом Абиссинии. Следовало набрать войско втрое больше обычного, обучить его, вооружить, накормить; ради этого можно было пожертвовать всем. Меры принимались драконовские, а с недовольными (число которых всё увеличивалось и увеличивалось)

разговор у него был короткий. Наконец ливни прекратились. Дороги высохли. Ибрагим выступил в поход.

Но он оказался тяжёлым. Уже в пути выявились, как это всегда бывает, непредусмотренные важные мелочи, люди гибли сотнями от болезней, зверей и лесных дикарей-людоедов. Долгое и изнурительное сражение с негусом завершилось вничью, оба царя отпраздновали свою победу, Ибрагим намеревался было идти дальше, но армия угрозой бунта заставила его повернуть. Великий поход провалился. Он не рассчитал возможностей. Война надорвала все силы страны, доведенный до крайности народ взбунтовался, брат Ибрагима заявил претензии на престол; вассальные города отпали, и африканская Ассирия рухнула. Кругом царили подлость, предательство и хаос. Полный отвращения к своему народу, осознав, что воинская слава, видимо, не вплетена в узор его судьбы, Ибрагим отрёкся от престола и уехал в Египет.*

Здесь, в Александрии, он вёл весёлую и разгульную жизнь, презрев даже чуму, свирепствовавшую там одно время. Когда вывезенные из Логона сокровища кончились, он нанялся офицером в турецкую армию. Это было именно то, что подходило ему; это было частью узора. Первоначальное его насмешливое прозвище среди наёмников Обезьяна скоро превратилось в боязливо-почтительное Зверь. Подавляя ли восстание Ипсиланти, воюя ли с гайдуками в Сербии, ловя ли разбойника Кирджали, Ибрагим неизменно выказывал такую храбрость, такую жестокость, что не одним цветом кожи выделялся среди других турецких наёмников-лавенди. Вот только своей царской крови он не мог забыть, общаясь с начальством, и только потому не продвинулся выше воинского звания "делибаш". Когда началась война с Россией, его отряд прикомандировали к войску сераскира арзрумского и отправили на Кавказ.

Арзрум. Кавказ. Россия. Сердце Ибрагима-делибаша вдруг потяжелело. Остро, как никогда, он почувствовал близость осуществления судьбы. Но на его чёрном лице, конечно, никто не прочёл бы волнения. Он вёл своих всадников в Арзрум, в армию, сражавшуюся против генерала Паскевича. В Курдистане, в крестьянском доме, покинутом бежавшими обитателями, он видел на ткацком станке начатый ковёр; две золотые линии, только-только ставшие под тупым углом расходиться, что-то напомнили ему, но он не мог точно сказать, что. Наёмники прибыли в Арзрум очень вовремя: сераскир как раз собирался идти на подмогу главнокомандующему Гаки-паше. Наёмники присоединились к ним, и в тот же день сераскир выступил. На речке Саган-Лу они наткнулись на русских.

Ровные скаты речной долины встречались внизу под тупым углом. Русских, которые стояли на том берегу, было что-то уж слишком много: артиллерия, драгуны, казаки. Похоже, они нарвались на главные силы Паскевича. Впрочем, и русские не ожидали турок. Сераскир быстро построил своих; завязалась перестрелка. Вдруг казаки, видимо, получив подкрепление, поскакали вниз по склону лавой; и тут Ибрагим увидел Его.

Да, это был его двойник, никакого сомнения. Будь Ибрагим чуть-чуть посветлее - их бы приняли за близнецов. В бурке, выхватив пику у убитого казака, двойник мчался вниз. И он тоже видел Ибрагим-делибаша. И их глаза встретились; и Ибрагим теперь увидел узор - весь.

Линии, разошедшиеся сто с лишним лет назад, когда его прадед и тёзка Ибрагим мальчиком чудом сбежал от турецких пиратов, сошлись снова. Над ручьём Саган-Лу белый близнец проткнул пикой чёрного. Ибрагим упал, и сабля, крутясь в воздухе, вылетела из его руки.

Майор Семичев, посланный генералом Раевским, вовремя остановил и вернул Пушкина, рвавшегося на верную смерть. После победы тот уверял офицеров, что собственноручно заколол турецкого делибаша, который был к тому же арап и точь-в-точь похож на него, Пушкина; но, поскольку такого трупа нигде не нашли, офицеры про себя отнесли всю историю на счёт пиитического воображения. Да Александр Сергеевич и сам не настаивал на подлинности своего рассказа.

СУТОЛОКА
УФА/1997/2

Александр КАСЫМОВ. Заметки критика.....2
Из башкирской поэзии.....6
Игорь МАКСИМОВ. Матёрый.....8
Майя ФАТТАХУТДИНОВА. Переводы с английского.....10
Равиль ИСКАНДАРОВ. Узор ковра.....13

№ 3

СУТОЛОКА
УФА/1997/3
литературный журнальчик
Редактор-составитель – Александр КАСЫМОВ.

Всё меньше оставалось работы, и город съёживался отступал перед дичающими парками; тротуары и дороги заметались листьями, прорастали травой и кустарниками, а лунными ночами из голубых джунглей, поглотивших ближние кварталы, стали доноситься волчьи песни.

Тираж - очень скромный

© СУТОЛОКА

Андрей ЮДИН
ЛЮБИТЬ, НЕ ОЩУЩАЯ БОЛИ

***

Я опираюсь на локтях,
Повиснув туловищем с койки,
О подоконник...
По помойке,
Как щеголь в тесных башмачках,
Гуляет ворон.
Я согрет
Его присутствием.
Как другу
Тяну приветливую руку,
А ворону и дела нет.

Он чистит горлышко и рад
Щелчкам, которые на вылет
Весёлых пробок из бутылей
Похожи, - звуковой каскад!

Откупорив бутылей семь,
Глазами вкруг меня поводит,
Выкаркивая нечто вроде
(о, эгоист!): - Я есмь, я есмь...

А в заключенье дня всего

Сознание и солнце меркнут,
Что никому не опровергнуть,
Раз кроме птицы никого...

***

Я отдаюсь лыжне и скорости.
Несусь с горы, сомкнув лодыжки.
Как чувство с быстротою спорится! -
О, если б не было одышки...

Не возмущаясь и не сетуя,
Но грудью навалясь на палку,
Я со снежинками беседую,
Мне бронх посаженных не жалко.

Раз в жизни все мечты сбываются.
Желаний замирает гонка.
Как будто смысл приоткрывается:
Что значит время для ребёнка?

Он время делит, как мороженое,
На равно лакомые доли,
Весь мир любя за то, что можно же
Любить, не ощущая боли...

***

Я бодрствую, а жизнь сама
Часов переставляет стрелки,
Но просветление ума
Не преподносит на тарелке.

Едва бессонницу свою
К себе сажаю на колени, -
Усталость вдруг осознаю
И то, что сам не в настроенье.

Как с тяжестью такою жить?
О, если б не сия помеха,
Я мог бы вечность сотворить
И сидя в скорлупе ореха.

Особый создавая мир,
Я мог б во всё войти со страстью,
С какой вникает ювелир

В изделье целое и - в части.

***

Тишина... В сугробах спят дома
До поры, и хочется до смерти
Спать и мне, как если бы чума
В дом пожаловала в тюке шерсти.

Что есть жизнь, что смерть, что явь, что есть
Этот нескончаемый и длинный?..
Пусть дверные петли ржа объест,
Так, чтоб дверь держалась паутиной, -
Всё равно...
Я слушаю, как червь
Точит шкаф.
Как всё нелепо в мире! –
Остров знанья: чем его размер
Более, тем и незнанье шире.

И альтернативы никакой.
Потому, теплом питая угол,
Закопчённой кочергой
Ворошу внутри буржуйки уголь.

И для поддержанья теплоты
Черновые извожу страницы,
Отделяя нужные листы
Друг от друга
только взмахом кисти.

***

Ряд тополей роняет пух.
И над извивами суглинка,
Легко захватывая дух,
Кружится белая пушинка.

Её движенья полукруг,
Задерживаясь в поле взгляда,
Значеньем осеняет вдруг
И знанием того, что надо

Дождаться часа своего,
В суглинке семенем открыться.
Грядущему важней всего

Сегодняшнего -
воплотиться.

И всё уже говорено...
Но, не снижая интереса,
На мир смотрю: в нём всё полно
Значенья для меня и веса.

***

Гор сверкающие пики
Мой осваивает глаз.
И меж пиков - самый дикий:
Вставленный в кольцо алмаз.

Всё с идиллией граничит,
С пасторалью наяву,
Птица в небе птицу кличет,
Углубляясь в синеву
Бесконечно...
Тем не менье,
Хочется сильней, чем жить,
Маятник остановить,
Отмеряющий мгновенья...

***

В окне открытом звёзд пригоршни.
А за филёнкою дверной
Бессонные молотят поршни
И бьют по ракушке ушной.

Их, про себя уподобляя
Всегда голодному зверью,
Я соком сил своих питаю,
Я за машинами смотрю.

А за оградой заводскою
Желтеют окна там и тут,
И годы с суетой людскою
И с праздниками всё бегут.

Когда компрессоры свирепо
За кровь мою бьют по виску,
Прикованный незримой цепью,
Я с ними бодрствую в цеху.

***

С новым бытом себя поздравляю и с новой,
С новой душою...
Вдыхаю я запах сосновый.
Стоя на крыше,
обелённой птичьим помётом,
В небо смотрю, наблюдая за птичьим полётом.

...Зрение - благо, но, видимо, так я устроен:
Мало мне духа, который исходит от брёвен,
Не по себе мне, что птицы летают без звука,
Что тишина над усадьбой - мученье для слуха.

Суетный город, меня иссушающий дьявол,
Старое сердце в тебе я как будто оставил.
С новой душою и сердцем тоскую по шуму
Улиц твоих, от которого спрятаться думал.

Вот и сегодня гадаю я: как там и что там?

Птицы висят, высоту поделив с самолётом.

***

Натягивая шнур буксира,
Пыхтит по Белой катерок
И, вспенивая волны шире,
Заводит баржу на песок.

Вся в пятнах солнечного блеска
И в струях ржавчины, корма
Ползёт ко мне почти без всплеска,
Живой рептилией - сама.

Я щупаю обшивку борта,
Накрененную тяжело.
Гадаю: из какого порта
К нам эту гостью занесло?

Я умножаю расстоянье
На срок прожитых ею лет
И сам вживаюсь в состоянье
Охоты к перемене мест...

Игорь ФРОЛОВ

СМОТРИТЕЛЬ

Прежде в этом городе часто случалась весна. В марте, когда с высоких крыш сходил снег, и солнце прогревало кровельное железо, нельзя было удержаться, чтобы не вскарабкаться по пожарной лестнице. С высоты был виден покинутый город, и в первую свою весну смотритель долго и недоверчиво озирал его в бинокль, пока не убедился в своём одиночестве. Внизу были тёмные колодцы дворов, сырые стены с обвалами штукатурки и никем не потревоженные за зиму сугробы. А здесь, наверху, из открытых слуховых окон тянуло сухим голубиным помётом, и влажный ветер доносил с реки запах тающего льда...

Когда-то над рекой прогрохотал последний поезд. Уехавший в нём так и не полюбил данный ему город. Он даже попытался описать свою нелюбовь, но оказалось, что город умеет защищаться, - и обломилось служившее десятилетие перо. Можно, конечно, возмутиться: это возмутительно! Зачем же тогда жил и пользовался? Этим небом, этой канализацией... Замечание в оправдание: выбирал не он. Когда-то давно и вдалеке, томясь на отшибе мечтаемой жизни, юная колдунья загадала себе перемену мест. Она просто ткнула пальцем в крутящийся глобус, и (удивляет нечаянный патриотизм: в самом деле, почему не Африка?) подвернувшийся город до сих пор несёт на себе этот отпечаток. Её выросший сын, собрав на борьбу с ленью остатки родовой магии, долго искал выход из этого дактилоскопического лабиринта, - но только после того, как в одном из тупиков он набрёл на спрятанный секрет, мощь и закрученность лабиринта стали иссякать, а сквозь глухие прежде стены - просвечивать новые силуэты...

Смотритель уже не помнит, сколько вёсен по капризу уехавшего он встречал на ветру над мёртвым городом, вглядываясь вдаль, куда ушёл последний поезд. Расщепляя плывущий оттуда ветер, отбрасывая запах за запахом (например, известные всем: голландской селёдки и трубочного табака), он старался угадать: какой из сотен? - вспоминая спроектированное ушельцем будущее. Проще сочинять, идя от обратного: если имелись папиросы, водка и вырезка из местной газеты, то, окунув нос в западный ветер, можно и вздрогнуть, поймав аромат сигары, льдистого вина и глянцевой обложки (отдельно - оливковый запах латинских букв). И даже если это было чересчур приторно, даже если не угадал, - псу, оставленному сторожить такие памятные крыши, хотелось скулить и тереть лапами морду.

Первое время заказы менялись чаще и внезапнее. Весна, едва зажурчав, откладывалась, и смотритель начинал работу над новым листом. Сохранилась одна из копий (типичный в своей слащавости пример). Вечер, закат, сквер, тёплые скамейки шуршат пожелтевшими газетами, еще пахнет липой, за городом погромыхивает и темнеет, поднимается ветер... Она была нимфой грозы, - иначе почему, когда все бежали, пряча головы под куцые крылья, так беспечно-медленно прошла она мимо, увлекая за собой ветер? Слуга или лю-

бовник, он играл у её ног, кружа листья, восторженно вскидывал мордой и, не осознавая бестактности, подныривал снова и снова, пока, наконец, не мелькнул для зрителя, болеющего за ветер, светлый её уголок... Продержавшись у края её тонких духов, зритель так и не подошёл ближе, так и не увидел лица, - не станет же ветер стараться зря! А когда хлынул дождь и над её головкой распустился и задрожал под струями зонтик, она обернулась, уже скрытая ливнем, на тонущего, но убеждённый импрессионист так и не сел в её тонущую лодку - лучше всегда верить, что в её душе царили жасмин и сумерки...

Таковы примеры. Конечно, смотритель научился облегчать себе работу: размножал многие частные заказы через копирку и, отсылая всё более слепые экземпляры, постепенно приучил... Но что думал получатель, рассматривая эти послания, эти старательные картинки? Что он писал там, глядя на них, как переводил на свой искусственный язык, и кто готовил ему подстрочники? Легкое перо, гризайль, самовольная акварель (всегда заказывал графику) - что он делал с ними? Продавал или, поглядев да ухмыльнувшись, пускал по ветру? Почему кто-то должен хранить его прошлое заповедным, беречь выбранные им места, печься о персонажах его маленьких недоконченных спектаклей, ничего не получая взамен? А всего-то и хотелось: узнать, как пользуется, проверить - нет ли позора, - уж больно подозрителен его мнемонический репертуар (вышепоказанные слюни), - а вдруг автор прошёл курсы, взял розовый псевдоним и питал моей кровью свои дамские романы?..

...Но теперь это не имеет значения. Всё тихонько сошло на нет. Поначалу ещё доходили последние, уже забытые самим источником, желания, и эти осиротевшие заказы, конечно, выполнялись (всё-таки история чувств), но не отсылались обратно, а откладывались до востребования. Всё меньше оставалось работы, и город съёживался, отступал перед дичающими парками. Тротуары и дороги заметались листьями, прорастали травой и кустарником, а лунными ночами из голубых джунглей, поглотивших ближние кварталы, стали доноситься волчьи песни. Мне нравится слушать их, засыпая. Я и сам могу уловить недоступный человеку запах Луны - такой красный, такой любимый волчьим семейством, но я больше не исследую далёкие ветры. Мне уже неважно, сменил ли беглец запах или где-то вброд перешёл реку; неважно, сколько было у него фаворитов, помимо меня, и сколько пустых городов тянется за ним, - я доволен своей ненужностью.

В детстве прежний постоялец мечтал быть археологом, копаясь в мусорных кучах, любил думать, что когда-нибудь они станут культурными слоями. Конечно, я просто похож на него, - всего лишь виртуозная подделка с той же группой крови и отрицательным резусом (чтобы город не отторг меня, как инородное тело), - но откуда тогда эта любовь ко всему забытому и заброшенному, к этим развалинам среди зарослей, к ржавым гвоздям серых заборов, откуда эта усталость у недавно созданного, у юного, казалось бы, овна с крепкими рогами, у воина, колчан которого полон стрел, а голова выточена из цельного куска превосходной кости, почему же так хочется старых тёплых

одежд и покоя, почему так манят корабли на дне моря и города на дне времени?..

...Всё дальше от берега, всё глубже в зелёную мглу пригорода, где плоские крыши усыпаны яблоками, которые падают ночами, когда усиливается ветер, и от их стука огонь керосинки вздрагивает. Тогда человек отрывается от своего занятия, прибавляет фитиль; и, откусив яблоко, снова обмакивает перо и продолжает: "...подрезая и прививая, получил стойкое отвращение к лесопосадкам и лелеемым садам и мечтал о дикой сорной поросли, об инволюции сладких в кислые, - чтобы от одного вида мундштуки захлёбывались слюной трубачей..." Перечитав написанное, в который раз удивляюсь этому старческому языку, этой каменной кладке, что сложила моя медиумическая рука. Оправдание столь бессмысленному занятию одно - вот эта яблочная глушь, лампа с живым огнём и сколько угодно времени, которое нельзя истратить, но можно исписать.

А когда наступает осень, когда набухают туманы, возвращаюсь в город, к остаткам асфальта, к высоким стенам с косыми тенями балконов. Люблю греться, подбрасывая в огонь ножки чужих стульев (почему бы варвару не набрать дров на улице? варвару лень, да и ломать приятно), и, устроившись на чужих перинах, листать чужие книги. Из них выпадают хрусткие сухие листья (так и не понял - в чём смысл?), плоские фантики от конфет, а то вдруг - эпиграф, словно пророчески заготовленный для моей свободы: "И если он прекратит грезить о вас..." Разглядываю чужие фото, как подглядываю в окно, и стоит мелькнуть за шторами чему-нибудь, что запретно чужому взору, откладываю, чтобы наклеить потом на крышку моего дорожного чемоданчика. Конечно же, люблю читать чужие письма и дневники, ища то, что тронет вялую душу дублёра. Трогают, например, каракули: "С утра заплела косички" - лёгкий профиль принцессы на полях (совсем забыл, что садовник любил, лёжа в сырой траве, наблюдать, как распускаются бутоны, и страдал насморком в жаркий полдень среди удушающего аромата махровых роз). А это значит, что, отложив каракули, нужно порыться в ближнем шкафу или комоде в поисках той самой шёлковой ленточки... Впрочем, грабитель нежных древностей не чурается и сопутствующих главному: любит проливать сквозь пальцы тонкие вечерние платья, гладить узкие, змеино выгнутые туфельки, перебирать белые и чёрные ажуры в укромном ящичке - и сравнивать всё это с хозяйкой на фото, примерять, предварительно раздев. Такие занятия так же увлекательны, как чтение о дальних странах без надежды в них побывать...

Хорошо ранней зимой скользить на лыжах по бывшему проспекту (ныне - просто просека, поросшая ельником) мимо следов птичьих трагедий и лисьих пиров, - красивые морозные натюрморты: отпечатки крыльев на снегу, перламутровые перья, алая кровь - и солнце... Долго любоваться нельзя, нужно катить дальше. Выслеживать, прислушиваться, выжидать, трогать пальцем след - не остыл ли? - и, наконец, догнать у замерзающего пруда, остановив сердце, прицелиться в прекрасный пугливый силуэт. Сегодня в жертву хозяину милые мои звери послали хорошенькую косулю, - и вот ей моя пуля с лю-

бовью и нежностью... Бог мой, да разве бы я стрелял?! Я готов щипать траву и жрать падаль, если подаришь мне канареечные штаны и волшебную палочку - я ведь так бескорыстен! На каждый её взмах появлялись бы в моём жестоком царстве женщины - вчерашние самки, удивлённые своими новыми формами. Но вот эти хвостики-пуховки оставлю, - пусть очаровательно подрагивают, когда новообращенная, склонившись к ручью, разглядывает свою новую мордочку. Оставлю на них волков, - пусть гоняют, чтобы не зажирели в покое, пусть торчат рёбрышки и дрожат впалые животы, пусть знают, наконец, кто их единственный защитник (он же - добрый доктор) и к кому бежать... А масштабы нужно сохранить - какое удовольствие покормить с ладони девочку-белочку или, добравшись до бывшего ипподрома, приговорить к метаморфозе ту вороную до синевы, пахнущую масайской любовью, при этом в восторге думая: как буду объезжать?.. (А вот и некому попенять мерзавцу за его бред. Но разве кто-нибудь осудил древние армии, таскавшие в обозах целые стада блеющих любовниц? А кто пожалел плоды подобных походов, плачущих малышей-силенов, брошенных на обочинах победных дорог. Хорошо ещё, некоторых усыновили сердобольные мифы.)

Если же подступать к развиваемой теме всерьёз и пользоваться посильными средствами, то начать следует, как всегда, с томления очередного адама. Стоя перед скалой, испещренной петроглифами любимых животных, он думает о совершенно новом персонаже. Он знал, он чувствовал - прижимаясь горячим лицом к давно остывшим шелкам, он чувствовал это время, как инвалид чувствует приближающийся дождь по ломоте и жару в членах (разве инвалидов несколько?), - то время, когда ему надоест одиночество. Именно тогда, набрав на подмытом берегу жирной синей глины, принимая её за нужный сорт праха, забыв об уроках истории, не слыша небритого, спившегося хора предупреждающих, вставал на скользкий путь весело и с надеждой - бог я или не бог?! - приступаю, помолясь себе.

...Лепить, напевая цитату из вышестоящего: "Пошлите мне девочку с нежной душой", восхищаться собственным неожиданным даром, вытаскивая из глины пальчик, плечо, локоток; вскакивать по ночам и, сняв сырую марлю, вносить поправки: уточнять живот (оглаживая по часовой, чтобы не нарушить будущую перистальтику), формовать пальцем норку - мой будущий рай или, щупая собственное колено, добавить недостающую косточку в глиняное, но уже такое надменное коленце - она не должна хромать... А потом, наблюдая, как изделие сохнет, как белеют первые самые тонкие детали - носик, брови, кончики пальцев, соски, - всматриваться тревожно: лишь бы не треснула, - иначе отклик на прикосновение будет фальшив. И всё ходить кругами, цокать языком, преклонять колени: и кто водил рукою моею и кем же гордиться мне - нежели мною?! И хватит ли объёма лёгких курильщика, чтобы вдунуть в лице её? Встань же, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

Всё будет именно так. И будет она - такая же, но другая, словно проглотившая арбуз, - это шок очередного адама. Будет ещё серия гравюр с последних страниц: то же междуречье, разливы, плодородный ил и - прожорливое

племя, корчующее пни. А где же мой покой, полученный в наследство, где мой, освещаемый ночами лишь луной, город? Кругом костры и гогот моих одичавших потомков - они заперли коз в загонах, они доят и режут их, мешая спать старику. И он уже не тот - поддавшись их первобытным нравам, ворует вечерами заблудшую глинобитную правнучку и, просвещая её остатками своих знаний, одаривая последней шёлковой ленточкой, гладит трясущимися ветвями презрительно уклоняющийся прутик. Да что ты увидела на потолке, негодница?!

Такие вот далёкие перспективы... А пока они далеки, я ещё понежусь, ещё побалую себя - ведь многое ещё не пробовано. Сегодня, к примеру, заночую на вокзале. Там, в тупиках депо, ждёт меня паровоз с одним прицепленным вагоном, - и будет бешеная лесная скорость, когда вагон мотает, и в окне мчится луна, прыгая по улетающим деревьям, и в купе гуляет ветер, и запах дыма и степи и, высунувшись в окно, можно петь и орать во всё горло...

Проснуться среди ночи оттого, что поезд замедляет ход перед остановкой, плывёт, покачиваясь и постукивая, и свет идёт чередой, проходя сквозь стены, и перрон вот-вот кончится, - но дёрнулся, заскрипел и - замер. Такая тишина; выйду покурить, погулять по скользким рельсам, подышать запахом нагретых за день шпал... А ночи здесь темней и звёзды ярче, и уже чувствуются акация и слоистые скалы, и слышно, если прислушаться, как шуршат камыши на лимане - всё совсем рядом, и пути осталось чуть-чуть. Отправляемся...

Светлана СМИРНОВА

КСЕНИЯ БЛАЖЕННАЯ

По дороге Ксения Блаженная идёт.
Правой рукой дарит, левой раздаёт.
Только и осталось с ветром песни петь,
Только и осталось на зарю смотреть.

Мужа схоронила. Теплится свеча,
На канун поставлена. Память горяча.
Жизнь копейкой ржавою выпала из рук,
Болью отозвался в сердце её стук.

В мужниной одежде в дождь и в снегопад.
Ходит неприкаянно - дивится Петроград.
"Я теперь не Ксения, я вовсе не жена.
Я по воскресении Андреем названа.

Что мне ваши вещи, деньги и дома?
Жаром Духа Свята душа моя полна.

Светлым ранним утром в церкви постою,
Ночью в тёмном поле Бога призову".

Артур КУДАШЕВ
ВЫПИЛИ, ЗАКУСИЛИ

- Тварь я дрожащая или право имею?
- Ты, конечно, тварь, но право имеешь!
Из программы "Куклы "

1

Мысли о самоубийстве совпали по времени с концом очередного романа. Роман-то в общем даже и не начался. Лена, романтическая девочка с карими глазами и хорошей грудью, встречалась с Игорем пару раз. В третий раз, когда он пришел к ней на работу, Лена радостно помахала ему рукой и уехала с кем-то на красной "восьмёрке". Настроение у Игоря в этот момент не испортилось. Оно как-то разом провалилось. Игорь доплёлся до ларька, купил баночку "Фанты" и сел на скамейке в парке. Лена не давала ему никаких авансов, но всё же ему показалось, что на этот раз его поймут, так, как он хотел. Что его погладят по голове и скажут: "Какой ты хороший! Ты просто чудо!" И что он, возможно, воспрянет духом и сделает в своей жизни что-то важное. Но Лена уехала, мысли о ней, о том, что она, вероятно, сейчас старательно занимается любовью с другим, вызывали злость, которую невозможно было побороть.

Все девушки, проходившие мимо, такие красивые, желанные и абсолютно недоступные, были похожи на Лену. И все они явно шли отдаваться каким-то другим мужикам. "Что с того, что я интеллигент? - думал Игорь - У меня нет автомашины, я живу у матери, и в кармане у меня сто тысяч рублей. Мне двадцать семь лет, и я не нужен этим бабам!"

Мысль убить себя возникла в мозгу как нечто совершенно очевидное. "Ведь это такое облегчение - не жить! - думал Игорь. - Но только не пилить перочинным ножиком вены на руке, а уж убить себя разом и всё!"

Он допил "фанту" и представил себе свои похороны. Как его понесут в убогом, тесном, плебейском гробу товарищи, как пройдут поминки в душной, вонючей столовой и на этом все закончится.

Взгляд его остановился на расположенном через улицу ресторане. "Пойду и выпью!" - решил Игорь и встал.

2

Клиентов в кабаке было мало. Игорь несмело, ссутулившись, прошел за угловой столик и сел.

- Что будем заказывать? - вопросила возникшая из темноты официантка.

- Водки. Двести грамм. Салат. И бифштекс, - почитав меню, заказал Игорь. В зале было человек пять-шесть. Две парочки и двое в одиночку. Один из этих явно кутил. Он громко разговаривал с соседями, махал руками и около него постоянно суетились служители кабака.

Злоба, как накипь, не растворялась и в водке. Игорь допил свои двести и не опьянел. С эстрады заиграла музыка. Одинокий кутила, плотный мужчина лет сорока, поднялся со своего места и стал двигаться под музыку.

- Что-нибудь ещё? - спросила Игоря официантка.

- Рассчитайте! - ответил он.

Кутила тем временем поднимал народ на танец, и ему это удавалось.

Скоро Игорь был единственный, кто не танцевал. Счёт всё ещё не принесли, и он угрюмо наблюдал за танцующими. Мысли о смерти все ещё не покинули его. "Если бы гроб был хотя б полированный. С ручками. А то ведь и похоронят как нищего", - думал Игорь.

- Умирать собрался? - вдруг услышал он над ухом голос. Это был кутила. - Айда танцевать!

- Спасибо! - отказался Игорь.

- Айда, айда! - не сдавался кутила. - Может, тебе баба нужна? Щас сделаем! Лариса! - закричал он куда-то. Из темноты появилась Лариса, лет двадцати пяти, белокурая.

- Займись молодым человеком! - сказал кутила.

- Выпьем? - спросила Лариса, присаживаясь.

- Выпьем! - сказал Игорь.

Мысли о смерти остановились.

Потом танцевали. Потом куда-то поехали. Лариса была за рулем. Игорь сидел впереди. Кутила и ещё кто-то - сзади. Ехали по уже ночному проспекту пьяные, счастливые, что-то пели. Доехали. Расположились на кухне. Где ещё раз выпили. Публика переместилась в залу. Игорь и Лариса остались на кухне. Затем между ними что-то происходило. На табуретах. На кухонном столе.

Потом Лариса сказала: "Мне пора!" - и уехала. А Игорь прошёл в зал, где люди спали вповалку на полу. И тоже вырубился.

3

Утром пили кофе.

- А ты вообще кто? - спросил у Игоря кутила.

Игорь уже знал, что кутилу зовут Максим, что он шабашник и ещё кто-то. Бандит, что ли. А Лариса работала у него в конторе.

- Я врач, - ответил Игорь.

- А что тебе не живётся?

Игорь кое-что рассказал уже своему собеседнику.

- Нету денег. Нету квартиры. Нету перспективы. Что делать - не знаю! - осипшим голосом отозвался Игорь.

- И что, убивать себя?

- Морально - я всё равно не живу! - махнул рукой Игорь.

- Ну, уходи! В бизнес! В коммерцию!

- Я пробовал. Не моё. Не получается. Да и поздно уже.

- А знаешь что! - сказал Максим, доливая в электрочайник воды. - А хочешь деловое предложение?

- Вот так, наобум?

- Почему наобум?

- Ну и что?

- У тебя участок большой?

- Приличный, допустим.

- Вот тебе предложение! - сказал Максим, засыпая в стаканы растворимого кофе. - У тебя на участке наверняка есть одинокие алкаши или наркота. Они всё равно не жильцы, правильно?

- Допустим.

- Они не жильцы. Это понятно. Ты даёшь мне адрес такого алкаша. Дальше - моя забота. После реализации квартиры ты получаешь пять... Нет. Пусть десять. Десять процентов. Согласен?

- Постой, постой! - напрягся Игорь.

- Нет, согласен?

Разлили кипяток. Собеседники отпили по глотку.

- Ну, говори! - сказал Максим.

- Я тебя не знаю. Вдруг ты кидала? - отозвался Игорь.

- А что ты теряешь? Для тебя порыться в регистратуре - пять минут. Ну, кину я тебя. Что ты теряешь?

- Но главное даже не в этом, - продолжал Игорь. - Главное - это моральные издержки. Убивать человека или наводить на него - это аморально!

- Во-первых, убивать никто не будет! - серьезно сказал Максим. - Надо больно! Ты просто не знаешь. Всё это уже давно придумано и продумано. Есть механизм отселения и т. д. Я повторяю - на тебе ничего не повиснет!

Игорь допил кофе и поднялся.

- Ладно, Максим! Спасибо! За всё! Было здорово!

- Да ладно, - махнул тот рукой. - Короче, думай, мужик! Вот моя визитка! И на этом новые знакомые простились.

4

Через неделю Игорь сидел на приёме. Рабочий день уже истекал. Был вечер. Прошедшая неделя не добавила никаких новых впечатлений в его тусклой жизни. Игорь испытывал ощущение полноты существования пару дней после той выпивки. Потом верх взяла критическая оценка происшедшего. Нажрался, кое-как потрахался, познакомился с мелким гангстером, который разыграл из себя дьявола-искусителя. Ерунда!

Но неделя истекала. Стало скучно. И подступила тоска. И некому было звонить. И пришлось снова взять взаймы. И каблуки на новых туфлях стачивались на глазах. И во всём мире происходили тысячи мелких событий, которые неотвратимо изменяли настроение Игоря с нейтрального на плохое. И

стала вспоминаться Лариса. Происшедшее между ними приобретало в его воображении какой-то особый смысл.

Игорь посмотрел на свои ручные часы, лежащие на столе. Он всегда их снимал во время работы. До конца смены оставалось полчаса. В этот момент в кабинет вошёл Боря-наркоман. Малый лет тридцати пяти, тощий, с металлическими зубами и глазами, запавшими очень глубоко.

- Гнию, доктор! - сказал Боря и показал свои ноги, покрытые струпьями. Игорь лишь покачал головой.

- Что же тебе выписать, бедолага? - Подумав, он выписал ему серную мазь и, попросив Борю подождать, вышел в коридор.

- Ира! - заглянул он к терапевту напротив - Я печать дома забыл - штампани, а? - Вернувшись в кабинет, Игорь рассказал, как использовать мазь, велел прийти назавтра и, ободрив Борю хлопком по плечу, проводил его до двери.

Через какое-то время Игорь обнаружил, что у него пропали часы. Пускаться в погоню было уже поздно.

- Ах, ты сучара! - подумал Игорь - Сучара! Я же с тобой как с человеком! - Он кулаком ударил по Бориной амбулаторной карте. - Подонок!

- А живёт, кстати, один, - увидел Игорь немного погодя. - Ну, так вот же тебе! - И твёрдой рукой он набрал комбинацию цифр на телефоне. - Мне Максима! - сказал он, когда взяли трубку.

5

Наркомана Борю вскрывали через месяц. Передозировка. Причина смерти была очевидна и никого не интересовала. А еще через два месяца както раз к Игорю на работу приехал Максим.

- Выйдем! - сказал он, не здороваясь, словно они простились только что.

Они вышли на улицу и сели в машину. Как ни странно, Максим ездил не на чём-то крутом, а на простой рабочей "шестёрке". Он не хвалил Игоря, он молча жевал жвачку и отсчитывал деньги. Три тысячи долларов сотнями.

- Так много? - спросил Игорь.

- Лишнего я тебе не даю, поверь! - отозвался Максим. Потом он предложил звонить "если что" и уехал. Деньги, свёрнутые по-американски в тугую трубочку и перехваченные резинкой, лежали у Игоря в руках. Он постоял на крыльце с полминуты и пошёл дорабатывать смену. После работы он завез доллары домой, оставил сумку и пошёл в кафе. При себе у него было всего тысяч двадцать русских денег, но что-то уже изменилось в его самоощущении. Это непонятное что-то не могло содержаться в одежде или в росте. Они остались прежними. Что-то произошло с его дыханием. Игорь как будто впервые дышал полной грудью, причём сам этого не замечая. Он заказал баночку "фанты" и сел под навес.

Он пил напиток по глоточку, равнодушно посматривая на публику. На бритоголовых, тусующихся у китообразной машины. На семейку из папы,

мамы и двух детёнышей, которых кормили мороженым. На трёх девочек в коротких платьях, которые под столом разливали водку, громко смеялись и иногда посматривали в его сторону. Ещё сегодня он глядел бы на них голодными глазами, с тоской думая, что эти воздушные, порочные, голоногие создания не будут принадлежать ему никогда. А теперь он вдруг встал, по-хозяйски подошел к ним и без слов подсел. А потом сказал им что-то, от чего те засмеялись ещё сильнее. И жизнь, красивая, свободная, наконец началась.

6

Три тысячи долларов - деньги действительно не очень большие. Это Игорь уяснил уже наутро. На них невозможно было купить квартиру или даже машину. А на что-то меньшее тратить их было как бы глупо.

Но тут к Игорю пришёл приятель. Свойство приятелей - появляться, когда их не ждут. И говорить, соответственно, неожиданные вещи.

Игорь дал приятелю понять, что заработал деньги и не прочь купить, скажем, машину.

- Фантастика! - воскликнул приятель. - Так ведь я тебе и нужен! Да знаешь ли ты, чем сейчас занимается Вася? - Игорь этого не знал. Он и Васю-то помнил чисто визуально, видел его в компании раза три-четыре. - Вася уже давно занимается перегоном машин. Сейчас - нет, ты посмотри, как все складно получается, - они осваивают новый маршрут - в Ташкент и обратно. В Ташкенте сборочный завод "Дэу" открыли. Так вот, - захлёбывался приятель, - есть такая микролитражка - "Дэу Тико" называется - игрушка, а не машина! И знаешь, почем она в Ташкенте? 20 мильонов! Как "Ока"! Но ведь это иномарка! Машина - пальчики оближешь! Все девки твои будут! - Приятель рассказывал о машине так, словно однажды попробовал на язык кусочек бампера и не мог забыть вкуса до сих пор. Игорь и сам вроде бы вспомнил, что видел такую машину несколько раз в городе. - И что самое главное, - закончил приятель, - они улетают в Ташкент послезавтра. Прикинь?

- Давай звонить! - решил Игорь.

Вася сразу ухватил суть и предложил перезвонить через час.

- Я пока созвонюсь с Ташкентом! - сказал он. Через час договорились окончательно.

- Послезавтра даёшь мне три с полтиной штуки баксов. В воскресенье я привожу тебе тачку. Растаможка и моя работа - плюс ещё восемьсот. Согласен?

И Игорь согласился.

7

Фактическая сторона дела такова. "Дэу Тико" до сих пор стоит нерастаможенной. Игоря поставили заведующим отделением в той поликлинике, где он работал. Максим потерялся. А история закончилась.

Мораль её непонятна. Да и есть ли она вообще? Так, пришли люди в кабак. Встретились, познакомились. Выпили, закусили.

РАССКАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Когда я был маленьким, у меня была мечта. Я очень хотел стать журналистом. Я мечтал об этом с тех пор, как научился писать. Журналисты в моем представлении только и делали, что ездили по свету, боролись со злом и публиковались.

Немного погодя я узнал, что, когда наступит время поступать учиться на журналиста, неплохо бы иметь уже несколько публикаций. Неважно, о чём и какого размера. Главное - чтобы они были и чтобы под ними стояла твоя фамилия. И тогда при отборе в университет тебе обязательно отдадут предпочтение перед другими.

Я стал слать свои тексты в разные газеты и журналы.

Время тогда было непростое, как и всегда. В Иране свергли падишаха. Англия воевала с
Аргентиной. В Центральной Америке партизаны боролись с диктатурами. А в Польше происходило что-то уже совсем непонятное. Рабочие люди почему-то бастовали против рабочего же правительства.

Я написал заметку об этом в газету "Правда". Напомню, что я был тогда маленьким. Моя статья называлась "Не отдадим Польшу американцам!" В ней я от имени всех пионеров Советского Союза выражал солидарность с позицией польских коммунистов. "... И пусть знают в ЦРУ, - кажется, так заканчивался написанный мною текст, - пусть знают бандиты из Лэнгли: молодёжь страны Советов никогда не отдаст им братскую Польшу!"

Теперь это кажется невероятным, но из газеты "Правда" мне пришёл ответ. Редактор отдела писем с простой русской фамилией Иванов благодарил меня, сопляка, за поддержку сил мира и социализма. Однако, цитирую по памяти, - "в связи с нехваткой газетных площадей опубликовать заметку не представилось возможным". Дальше мне предлагали писать ещё и выражали уверенность в чем-то, чего я теперь не помню.

Окрылённый таким успехом, я быстренько сел и накатал большой рассказ из жизни сальвадорских повстанцев. Я изобразил, как отряд партизан из движения имени Фарабундо Марти двигается по джунглям навстречу кровожадным карателям. Далее я описал мысли бойцов, командиров и кубинских советников.

Рассказ мне самому очень понравился, я переписал его набело и отправил в журнал "Пионер". Фантастика, но и оттуда мне пришёл ответ. Женщина-редактор детально проанализировала текст, похвалила меня за активную жизненную позицию, подчеркнула, что я, видимо, далеко пойду, но в конце предлагала мне написать заметку из окружающей меня непосредственно жизни. "Из жизни твоей дружины, твоего отряда, твоих друзей".

Тема была неинтересной. Ещё бы! В Южной Атлантике шла война за Фолкленды. Английский десант только что отбил у аргентинцев Порт-Дарвин. Самолёты с авианосца "Гермес" потопили крейсер "Бентесинко де

Майо". Всё это звучало так красиво, а мне предлагали написать какую-то лабуду из жизни моей дружины!

Немного помучившись, я соорудил рассказ из жизни своего класса. Рассказ назывался "Алгебра". В нем я правдиво и, как мне казалось, очень смешно расписал, чем занимаются мои одноклассники на уроке алгебры. Кто-то рисовал, кто-то спал, Витя Собакин пил водку из велосипедной маслёнки, Олег Вагапов щупал ноги Таньки Слабожаниной и так далее. "И только я, - заканчивался рассказ, - сижу, стараясь никому не мешать, и читаю учебник алгебры".

Пауза перед ответом из журнала "Пионер" затянулась месяца на четыре. Я почти забыл думать о своём тексте, когда пришло письмо. Уже знакомая мне женщина-редактор очень осторожно, но всё-таки в положительных интонациях производила разбор моего материала, отмечала мою наблюдательность и хороший стиль, но с сожалением указывала, что в ближайшее время опубликовать текст никак не получится, желала мне больших успехов в жизни и творчестве и заметила в заключение, что мне можно писать не только в журнал "Пионер", но и в другие детские издания.

Из других детских издании я знал только газету "Пионерская правда".

Я её не любил, ей-богу! Газета ценой в одну копейку, в которой можно было читать только последнюю страницу, и то, когда там публиковались романы с продолжением Кира Булычёва, - по-моему, немногого стоила. И материалы там печатали ерундовые. Меня очень раздражали заметки каких-то московских школьников типа "Как мы ходили в театр кукол" или "Как мы собирали макулатуру". Мне, борцу за мир и социализм, эти статьи казались чепухой. Но выбора не было. Публикации мне были нужны для моей будущей карьеры, и, как принято писать, скрепя сердце (никогда не понимал - как это) я создал опус, посвященный нашему учителю физкультуры. Кстати, как я уже теперь, по прошествии многих лет, понимаю - мужику действительно стоящему, Валентину Николаевичу Семёнову. Он в 55 лет крутился на турнике, как китаец, и ещё на голом энтузиазме тащил спортшколы гандбола и хоккея с мячом.

Заметку не опубликовали. Пришёл ответ типа: спасибо, пишите ещё, ваш материал будет использован в будущем.

Я был очень молод и очень терпелив. Я решил добиться своего. Через неделю после ответа, не изменив в своем тексте ни одного знака препинания, я снова отправил его в "Пионерскую правду". И опять - спасибо, учтём, желаем успеха. На фоне той жизни, которую описывали блатные юнкоры, то, что делал наш "дядя Валя", было подвигом. Он тащил на своём горбу строительство единственной во всём регионе специализированной площадки для ручного мяча. Он был, ёлки-палки, на самом деле достоин хотя бы маленькой заметки в центральной прессе!..

Я добил "Пионерскую правду" с пятого раза. Но это была, так сказать, пиррова победа. Мою заметку опубликовали, но под ней вместо своей фами-

лии, которая была мне так нужна для карьеры, я увидел анонимную подпись "Юные спортсмены".

Я не простил "Пионерской правде" до сих пор.

Валентин Николаевич уже в лучшем из миров. Журналистом я не стал, о чём не жалею. Не знаю, существует ли сейчас "Пионерская правда". А правда как таковая - вот она, перед вами.

Юрий ИЛЬИН

НАШЕЙ ЖИЗНИ ПУТЬ-ДОРОГА

***

По степи, большой, просторной,
Вьётся узкой полосой
Нашей жизни путь-дорога,
Что ведёт нас всех домой.

Гордо головы вздымая,
Мчатся кони всё вперёд,
А над ними развевает
Колокольчик яркий звон.

Сбруи туго натянулись,
Колокольчик так поёт.
И дорога с ним же вместе
Песнь дорожную поёт.

А вокруг поля и солнце,
Что нас греет ярко так,
Потому что жизнь от солнца
Согревает сердце нам.

***

Над травой большой, зелёной
Стрекоза летает вольно,
И кузнечик в той траве,
Он подобен стрекозе.

СУТОЛОКА
УФА/1997/3

Андрей ЮДИН. Любить, не ощущая боли.....2
Игорь ФРОЛОВ. Смотритель.....6
Светлана СМИРНОВА. Ксения Блаженная.....9
Артур КУДАШЕВ. Выпили, закусили.....10

Рассказ для детей.....13
Юрий ИЛЬИН. Нашей жизни путь-дорога.....16

Редакция выражает искреннюю признательность тем, кто принял посильное моральное, техническое или материальное участие в нашем издании: Айдару Хусаинову, Анатолию Яковлеву, Игорю Максимову, Сергею Матюшину, Артуру Кудашеву, Ирине Исуповой, Светлане Смирновой.

№ 4

СУТОЛОКА
Уфа/1997/4

Птичка силится запеть,
но не тянет горло –
испугалася она
и дыханье спёрло.

И вот он появился и сказал:
- В Веймар? Здесь близко! Я
вам покажу. Можно пешком.

Экслибрисы Ольги САМОСЮК

Редактор-составитель – Александр КАСЫМОВ.

Тираж – очень скромный

Анатолий СТОЛЬ

***

Они плавили солнце в тигле,
Освежались свежей водой из морей,
Им земля отдавала во сне
Силу неба, как сладкий елей.

Ветры хмельные гладили степь,
люди мудрые чтили закон,
Им природа давала постель,
Только речь-то совсем не о том.

Огнедышащий хмурый поток
Поглощает священную песнь,
Её дал нам когда-то пророк,
Говорят, что родился он здесь.

И теперь, отворяя врата,
Мы пытаемся в Вечность войти,
Но нельзя целым стадом туда,
Где и слово не может пройти.

***

Я задал сто вопросов бытию,
Небытием оно мне отвечало.
Тогда отстроил я себе ладью,
Чтобы найти Единое Начало.

Но реку бытия не переплыть,
Не зная глубины небытия,
И новый мир не так легко открыть,
Бескрылому над пропастью летя.

Но, познавая час за часом ветры,
Бушующие воды и покой,
Я одолел последние два метра
И стал в небытии самим собой.

***

В никуда не ведущем пути
Можно быть абсолютно свободным,
Потому что не важно пройти —
Важно быть только вечным и бодрым.

Все пути нас ведут в Никуда,
Мы кочуем по ним в Поднебесной.
Я не знаю, зачем мне туда,
Если там, где я есть, всё известно.

ЦВЕТЫ

Как опьяняют свежие цветы,
Обманывая нас своей красой,
Как много в них неведомой игры,
Особенно когда они с росой.

А мы страдаем, мечемся всю жизнь,
Любимой дарим свой букет с утра,
Мы словно суетливые пажи,
Не слышащие голоса Петра.

Но не бывает вечным яркий цвет,
Он мимолётен, словно привидение.
Однажды руки дрогнут — и букет
Останется лишь символом прощения.

Александр КАСЫМОВ

ZU FUSS NACH WEIMAR

Приснилось что-то такое цветное и воздушное. ("Но почему-то сны его воздушны", — написал Давид Самойлов о Пушкине. Я, конечно, не Пушкин и не Самойлов, но приснилось воздушное и солнечное.) Может быть, этот дом, увитый плющом, и эту каменную ограду с простой чугунной решёткой я видел давным-давно в Галле. Может, очень даже может быть, что в нём помещался окружком крестьянской демократической партии. Была такая в ГДР. Но это не важно. Важно, что мы шли с тобой вдоль этой замечательной ограды, за которой чинно виднелось это строгое строение с квадратными колоннами явно из прошлого века. И откуда-то появился Трубочист. Такой у него был трубочистский вид: в чёрном цилиндре, во фраке (разве чистят трубы во фраках?), но в коротких штанах типа бриджей. Очень похож на актёра Олега Даля.

И вот он появился и сказал:

—В Ваймар? Здесь близко! Я вам покажу. Можно пешком.

Это он сказал на немецкий манер: Ваймар. Видимо, потому что я никогда не мог научиться говорить по-русски Веймар. У нас то ли в пятом, то ли в шестом классе был в учебнике текст: "Weimar liegt in Thueringen..." (На моём компьютере не хватает некоторых немецких букв, чтобы сказать правильно про Тюрингию, про Ваймар, расположенный в ней. Но буквы — не главное. Самого главного не передашь буквами.) И была рядом картинка – Goethe-Schiller-Denkmal. То есть памятник Гёте и Шиллеру там же, в том же замечательном городе. Герцен-Огарёв, Шиллер-Гёте, Маркс-Энгельс — символы настоящей мужской дружбы. И вот эти символы, и название небольшого города в ГДР — всё это слилось для меня со школы в слове, которое по-немецки звучит красивее, музыкальнее, чем по-русски: Weimar, Ваймар...

Потом я узнал Маяковского: "И моя любовь к тебе, Германия, расцветала всё романнее и романнее..." И слово "романтизм" я узнал потом и даже, учась на филолога, что-то такое про него исследовал...

Итак, Трубочист, который, видимо, какая-то моя собственная ипостась. Он, приветливо полуобернувшись в нашу сторону, забегает за угол великолепно-почтенной ограды, мы идем за ним по почти лесной, но заасфальтированной дороге. Скоро наш провожатый останавливается, машет рукой в заросшую даль:

—Вон туда. Здесь близко. Три минуты — три километра.

Тут ты меня будишь, и я не успеваю понять значение последней фразы. Пешеход идёт со скоростью четыре-пять километров в час. Как можно пройти за три минуты три километра? За три минуты их можно только пролететь. Может быть, Трубочист и предлагал нам отправиться в полёт?

Для кого, кроме меня, имеют значение мои сны и мои воспоминания?

Григорий Померанц написал недавно в "Литгазете": "Сновиденное — это поэтическое до поэзии, мистическое до мистики". А если после? А если вместо или даже вместе?

Эти "если" задавал себе, очевидно, и наш философ, потому что в том же тексте он говорит ещё и вот что: "Текучесть сна — ничуть не меньшая правда, чем очевидность дня".

В полёте — своя текучесть.

В смешении темпов (пешком — на крыльях живого интереса) — намёк на хаотичность бытия.

Однажды мне приснилась Анна Ахматова, которую я никогда при её жизни не видел. Я поднялся на крышу какого-то тотально-классического, уже рассыпающегося от древности сооружения по широким каменным ступеням, и там, среди античных колонн, на каком-то каменном кубе сидела она, так похожая на портрет работы Натана Альтмана.

—Здравствуйте, Анна Андреевна, — сказал я.

—Я вас жду, — ответила Ахматова сурово.

Это был самый мой лучший сон. Но он не толковался ни по Фрейду, ни по Юнгу, а толковался исключительно по истории русской советской литературы, в которую в то время уже со скрипом, но всё-таки поместили Анну Ахматову с её узким, по Жданову, мещанским мирком. И вот эти античные колонны и были нашим "ответом лорду Керзону".

Может быть, тут сказало своё веское слово и моё нереализованное (и тогда, и теперь) тщеславие. Но почему оно больше никогда ничего подобного не говорило — ни во сне, ни наяву?

Ахматова была жуткой англоманкой. Она почти молилась на Шекспира. У неё часты англоязычные эпиграфы. Но я не понимаю и, сколько ни читаю её стихи, не улавливаю её отношения к немцам. Правда:

"И очертанья Фауста вдали
Как города, где много чёрных башен,
И колоколен с гулкими часами,
И полночей, наполненных грозою,
И старичков с негётевской судьбою,
Шарманщиков, менял и букинистов,
Кто вызвал чёрта, кто с ним вёл торговлю
И обманул его, а нам в наследство
Оставил эту сделку..."

Это тоже — "явь, отработанная под сон" (так поэтесса сама сказала в одном из стихотворений). Явь эта течет-растекается вокруг лжеархитектурных подробностей (они, я заметил, так свойственны сновидениям — часто в них являются!), явь тяжеловатая, но её тяжесть на мгновение снимается короткой строчкой — той, на которой я прервал цитату. Это — как стрелка в сторону продолжения или жест, обращенный к читателю-собеседнику, этакое "вуаля": вот так, оставил нам эту сделку...

Но это — в сторону. Как странно: Фауст как город. Видимо, всё-таки речь не о конкретном персонаже, а о произведении, точнее даже — о проблеме, в которой и помещается гулкая архитектура видения, в которой даже гроза — прерывистость городского пейзажа, и старички с негётевской (а может, фаустовской, похожей то есть на героя трагедии?) судьбой, и шарманки, и развалы букинистов — всё его, города, подробности.

Но Фауст-то чёрта не сумел обмануть — себя, себя он обманул, а чёрта он перемог-пересилил-преодолел! Возвысился над клочком бумаги с подписью кровавой...

Этот город — не Ваймар. Этот город, несмотря на обозначенную архитектуру, — вообще не город.

Тутошние шарманки крутят вместо какой-нибудь "Разлуки" древнюю проблему: где Бог, где дьявол? А букинисты, уж точно, подторговывают дьявольщиной. Да-с!

Мне часто снился Фауст — то из народных книг, то из Гёте...

В 1970 году я оказался в Ваймаре.

Башкирия тогда дружила с округом Галле (в Уфе до сих пор есть улица под названием "имени Округа Галле" — прежде она называлась Омской — и одноимённая остановка). И мы, студенты, поехали стройотрядом в первое немецкое рабоче-крестьянское государство и рыли землю в Ha-Neu (Ха-Ной! Тогда мы все были вьетконговцы! Halle-Neusüdt — Галле — Новый город, ладно не Новгород). И участвовали в каких-то митингах интернациональной дружбы, где кроме нас и немецких друзей были молчаливые чехи и задумчивые поляки — тоже все из Studentenbaubrigaden.

И время от времени нас возили на экскурсии — "очень далеко, два часа на поезде", как говорили наши немцы.

Так я оказался в Ваймаре. По приезду тогда мы живенько разбились на тройки-четвёрки и отправились осматривать город моей мечты. Город, вычитанный школьником из учебника немецкого языка...

И тут Салават по-детски проныл:

—Ой, ребята. Писать хочу — умираю.

Правда, мы уже видели Goethe-Schiller-Denimal. И музей видели, но снаружи... И подъезд неработающего театра... И старушек, глядящих в мир из окон двух-, трёхэтажных домиков прямо с картинок из учебника — чистенькие старушки, чистенькие домики...

Итак, Салават сказал, а я ему ответил:

—Ты же немец. Вот иди и ищи сортир.

Салават учился на инфаке (немецкий и польский)

—Может, во двор зайти, — предложил Володя.

Мы стали заходить в разные опрятные дворики, а старушки глядели на нас и на улицу. Во дворах было пусто, даже в окнах — никого. Но Салават не мог, и мы ему не советовали. Отправление естественных надобностей в таких условиях могло кончиться международным скандалом.

Мы посетили несколько магазинчиков и кафе, так и не поняв, где там туалет.

—Они же везде платные, — ныл Салават, уже едва сдерживая свой естественный порыв. — А у меня пфеннигов нет. Не бросайте меня, ребята!

Пфеннигов не было ни у кого из нас — были только марки. У нашего руководителя, который, наверное, в этот момент осматривал кабинет Гёте (так я думал тогда).

Взгляды старушек становились всё более зловещими.

—У, ведьмы, — сказал сочувствующий Володя.

Наконец мы пришли на вокзал, уселись в скверике на удобную скамейку (как хотелось есть и спать, как хотелось домой!) и, когда из здания вышел счастливый Салават, утомлённо подумали, что никогда-никогда-никогда не посетим музея Иоганна Вольфганга Гёте. Так длинно подумали мы.

И тут в нескольких шагах от скамейки остановилась пара — мужчина и женщина лет по пятьдесят. Они, поглядывая в нашу сторону, что-то горячо обсуждали.

—Ребята, сейчас нас арестуют, — испугался Салават. — Они, наверное, засекли, как мы по дворам ходили.

—Не боись, — сказал Володя. — Они тебя за вьетнамца приняли.

Салават, настоящий башкир, был по-восточному колоритен и по-вьетнамски худ.

Парочка приблизилась к нам и стала выяснять, не из сражающегося ли за целостность и независимость своего отечества Вьетнама происходит наш пострадавший приятель... Про Башкирию немцы понятия не имели, видимо, были не из округа Галле.

А потом мы узнали, что музей в этот день почему-то не работал.

Жизнь часто — рядом с фарсом. Сновидения наяву часто кажутся комедией, пусть даже во сне было страшно.

Перевожу с листа:

"При очень благоприятной погоде приехал я вчера из Йены. Сразу по моему приезду, в знак приветствия, Гёте прислал мне абонемент в театр".

Такую запись сделал в четверг, второго октября 1823 в Ваймаре Эккерманн.

Толстенный том "Разговоров с Гёте в последние годы его жизни", набранный готическим шрифтом, я купил в Потсдаме, когда мы уже возвращались из стройотряда. Книга стоила 10 марок. На ней не обозначен год выхода в свет, но зато есть дарственная надпись (милой Луизе от какого-то, кажется, Вилли — разобрать трудно) и дата: 13 июля 1941.

—У, гады, — сказал тогда Володя, — на нас пёрли, а Эккерманна читали, жизнью Гёте милая Луиза интересовалась!..

У Эккерманна Гёте — монумент. Даже когда он обсуждает с юным другон его желание написать стихотворение о временах года, классик остаётся торжественно-занудным и обстоятельным, как... город. Уж никак этот придворный не мог метаться по Ваймару в поисках того, что искал Салават, —

даже в ранние годы жизни. Он сам город: и мифологема, и этот тихий филистерский Ваймар, в котором чистенькие старушки глядели из чистеньких окон, видимо, и во времена его превосходительства фон Гёте.

Наш Обломов мечтал "просто пожить". А им не хватало просто жизни — они, Гёте, Эккерманн, каждый в силу своей гениальности или бездарности, исполняли её как торжественный ритуал.

Даже "Фауст" — ритуален: приготовление к самоубийству — ритуал с длинным речеговорением, месса (колокольный звон) — ритуал, подписание договора с дьяволом — ритуал... (Наш Иван Александрович Гончаров — чистый немец, и не потому, что Штольца изобразил, а потому, что показывает жизнь, организованную ритуалом, — от повинности служить ему всё пытался отбрыкаться Обломов, но и сладка была для него эта штука — ритуал. Вот от сладкого и отказывался?..)

"Как города, где много чёрных башен!"

Чёрных — то есть страшных, но и красивых. В черноте — какая-то полнота.

В Потсдаме же я купил русского "Фауста" в переводе Бориса Пастернака. В том же магазине. Такое вот соположение: Эккерманн и Пастернак, тогда уже умерший, но ещё опальный в советском отечестве.

Гейне писал своему приятелю из Мюнхена первого апреля 1828 года: "Кстати! Знаете ли Вы дочерей графа Ботмера из Штутгарта, где Вы так часто бываете? Одна из них, если не самая юная, но бесконечно очаровательная, тайком замужем за моим лучшим здесь другом русским дипломатом по имени Тютчев..." Никакой помпезности — дальше Гейне рассказывает о том, что увлёкся сестрой Элеоноры Тютчевой и заключает: "Я умею везде в большой пустыне жизни открывать какие-нибудь прекрасные оазисы". По нынешним временам, выспренно (а бывает не помпезно, когда выспренно? но здесь именно так!), а по тогдашним, красиво. Ирония Гейне — новая красота. Взглянул он через эту лупу на классицистскую суровость — и прозрел свою эстетику.

Гёте застрял между классицизмом и романтизмом. Он сразу там и там. Его Мефистофель — романтический персонаж, любитель острых ощущений.

Чёрные башни — так романтично. В них содержится обещание символизма.

В снах трудно сверять цитаты. В снах они притекают и утекают сами, делая вид, что они — не копия, но оригинал, не фрагменты, но целое. Даже переводить уже переведённое до тебя письмо Гейне — занятие из сновидения: ты не переводишь, а переживаешь текст на другом языке.

Уфимский поэт Айдар Хусаинов где-то написал про снег, что он "назойлив, как цитаты". В той реальности, которая перевоплощается во снах, так не бывает.

В пресс-бюллетене, изданном в Бонне в 1991 году, я прочитал, что в Ваймаре теперь 61 тысяча жителей и что конфигурация того, что называется Тюрингией, многократно изменялась: королевство, княжество, одна из гер-

манских земель. Ваймар был дважды столицей, но как-то не держалась корона на голове этого уютного тихого города — города, похожего на беседку в саду, на каменный павильон среди стихийного Тюрингского леса, совсем недалеко от Гарца, по которому путешествовал Гейне: "Harzreise"... (Наверное, какой-нибудь начётчик захочет опровергнуть эту метафору. Послушай, скажу я ему, мне не важно, что на самом деле стихийность давно обуздана — мне важно, как это может присниться и как это должно отразиться в моём персональном зеркале, которое, увы, увы, начинает мутнеть.)

В то время, когда Генрих Гейне писал это письмо, Тютчев никому не был известен как поэт. Его первые публикации в России будут позже: в 1833 году — в "Молве", в 1836 — в "Современнике". Интересно то, что Гейне, называющий Тютчева своим лучшим другом в Мюнхене, видимо, понятия не имел о том, что друг — поэт...

"Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток", — написал о своём тесте Иван Аксаков. Удивительно отсутствие у поэта не человеческого — творческого тщеславия...

Эй, Трубочист, над какими трубами мы порхаем? Летели в Тюрингию, а теперь уже в Баварии. Ну что ж, Мюнхен — тоже Ваймар, der in Bayern liegt. Это — Германия, которая влечёт.

В 1823 году Фёдор Тютчев выехал в Германию. Он прожил за границей 22 года. Славянофил по своим представлениям о судьбах России, он общался с космополитом Гейне, натурфилософом Шеллингом, годами ему не с кем было говорить по-русски — и в результате он двигался сразу в двух противоположных направлениях: становясь реально гражданином мира, будучи им, он укоренялся в чисто российском консерватизме, в вере в славянскую исключительность. Переводя Гейне, он вставляет в стихи "могучий вихрь", он пишет про хаос, про трудные сны о нём, родимом, он пытается гармонизировать природу через хаос.

Его переводы, особенно из Гейне, трудно назвать собственно переводами, это переложение не только на русский язык, но и на русские представления.

Может быть, мы до сих пор не осознали, как связаны — и в стихах тоже — воедино идеологическая эволюция поэта и его онтологическое погружение в бездну (может, её дном и была твёрдая российская почва? дном, основанием: бездна, без-дна везде, кроме России)... Юрий Тынянов называл Тютчева архаистом, указывал на фрагментарность его текстов, образующих как бы его роман.

Тынянов тоже переводил Гейне, но переводил совершенно иначе, не пересоздавая немецкого поэта, а лишь передавая.

Вот интересно: почему Тютчев, много трудившийся над переводом "Фауста" Гёте, пытался уничтожить сделанное и оставил в результате потомкам лишь куски большой своей работы? Не от болезненной ведь скромности. Видимо, не нашёл он у Гёте материала для пересоздания... Или убедился в

том, что гётевская метафизика не вяжется с идеологией Тютчева, которая была православной в большей степени, чем принято думать...

Но я только предполагаю.

Перелетим в 1997 год. Республика Башкортостан уже пять лет сотрудничает со Свободным Государством Саксонией. (В Дрездене мы тогда тоже побывали — там теперь саксонская столица. И в Лейпциге были — там по-прежнему крупный индустриальный центр. Я тогда забрёл в собор Святого Фомы, где похоронен Бах, и вспомнил Ахматову: "Кликну, что ли, Чакону Баха"...)

Меня вызвал шеф, вручил мне пригласительный билет на официальный обед с саксонской делегацией. Я заволновался (боюсь всего официального), сбегал домой, умылся, причесался, пришел на обед, потрясся пышности стола, речам протокольных лиц. Поговорил с соседкой-немкой, спросил её, что читают сейчас в Германии (ответ: "Лично я читаю Теодоре Фонтане — знаете?" — "Да, да!" — я вспомнил ГДРовский двухтомник Фонтане, который я когда-то покупал и от которого меня отбило жизнью). Через день коллега попросил перевести ему письмо на немецкий. Ужасно — с русского на немецкий! Три дня маялся. Перевёл. Наверное, с ошибками. Потом издательскому начальнику потребовалось перевести на русский какой-то экологический ярлык. Перевёл. Потом опять вызвал шеф и выдал мне анкету питерской конторы по засылке русских в Германию. Три недели заполнял на компьютере, мучился нехваткой букв, делал ошибки, исправлял, делал новые, не замечал этих новых ляпов (всё, всё забыл!), отправил, прошёл языковое тестирование, получил вежливо-уклончивый ответ: у них четыре человека на место, я тоже человек, я не прошёл в Дрезден, в Ваймар, в Мюнхен в этот раз, но мы сохраним Вашу анкету...

Господи, разве можно меня послать в Германию, когда мне туда надо ходить пешком. Три километра — три минуты... И какие сны мне теперь стали сниться!

Как писал Гейне: "Es treibt dich fort von Ort zu Orí..."

Тютчев перевёл это так: "Из края в край, из фада в град..."

"Среди земель Федеративной Республики Германии выделяется Свободное Государство Саксония — так же, как и Бавария — обозначенностью своей государственности. Цель — подчеркнуть своё республиканское самоосознание". Это я так по-немецки перелагаю на русский то, что написано в том же пресс-релизе.

Ёжик, который в тумане, упав в воду, сказал себе: "Пусть река меня сама несёт!" Он знал, что вынесет.

И тут опять вспоминаются слова Г. Померанца о текучести сна. Река течёт, как сон. Сон течёт, как река или хорошая проза.

Ещё моё сновидение. Дверь. Звонок. Знаете, бывают такие с окошком, куда можно писать, кому звонишь, кто живёт. В окошке — надпись: "Туган-Барановский".

Когда мне приснилось сие, я посмотрел в энциклопедии, кто такой Туган-Барановский. Оказалось, экономист-народник. Откуда он выплыл в этот сон? Гипнопедия!

Но фамилия красивая. Туган (у меня опять не хватает букв, чтобы написать, как надо по правилам) по-башкирски — родной.

А у Шкловского в "Zoo" (он писал это, будучи русским эмигрантом в Берлине) есть мысль о том, что когда долго хочется какого-нибудь платья, не надо покупать: уже будто бы купил (точнее, купила — мысль вкладывается в уста женщине) и износил.

Цитата противоречит цитате (пересказу): я не износил ещё этой жизни в двух (или трёх? или четырёх? или единой планетарной?) культурах сразу. Я ещё вместе с Трубочистом пишу свои заметки на печных трубах в надежде, что дорога, так похожая на лесную, но заасфальтированная, куда-нибудь выведет. К поэзии и правде, поэзии по правде...

ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО

Zu Fuss nach Weimar — пешком в Веймар.
Studentenbaubrigaden — студенческие строительные бригады, ССО на тогдашнем комсомольском жаргоне.
"Harzreise" — "Путешествие по Гарцу".
...der in Bayern liegt — который расположен в Баварии.

Игорь МАКСИМОВ

КАК КОЗЁЛ В ОХОТНИКОВ СТРЕЛЯЛ

Солнце уже клонилось к закату, когда мы с Егором отправились на косачиный ток. По дороге он разговорился.

—Меня дед совсем маленького на охоту брал. Я за ним, как кутёнок, бегал: куда дед, туда и я. Война была, отца забрали. Мы как жили с дедом, так и остались. Куда уж, если за материн подол ещё трое держались... Дед помогал. Набьёт, бывало, косачей чуть не телегу, едет, раздаёт по деревне, бабы ему в пояс кланялись.

У деда и шалаши свои на токах были. Ещё снег местами, а он уже на колёсах. Остановится невдалеке, привяжет Карька, кинет сенца и в шалаш меня, сонного, за руку ведёт.

Косачей было — тучи. Обсядут берёзы, висят и вверх ногами, и боком — кормятся, почки склёвывают. Раз еду за сеном — до сорока с чем-то досчитал и сбился.

Егор вспоминал старое да бывалое и, точно из мешка, доставал одну историю за другой.

На ток пришли часа в три и сразу же принялись за шалаш.

Поправили остов, набросали веток, старой травы — ветоши, Егор сумел надрать где-то моху, чтоб посуше было лежать. Замаскировали своё строение и, когда работа была кончена, достали из котомок хлеб, колбасу, копчёное сало и бутылочку "Особой".

Хорошее это время! Ждёшь. Вот-вот начнут, забормочут.

—Буль-буль-буль-булк, — слышится в темноте. Это Егору.

—Буль-буль-буль-буль, — это четыре "бульки" мне. С какой-то особенной жадностью втягиваешь в себя обжигающую жидкость. Покрякивает Егор. Смачно хрустит на крепких зубах сало. Слышно, как, утирая шершавой ладонью рот, трёт он по щетине. Тихо, шепотком, поглядывая в синеющее "окошко", Егор начинает новую историю.

—Пошли мы вот так же с дружком, Васькой Рыжкиным, белковать. Долго шли. Через Тёплые Коши, Тару-речку, миновали Лисьи Ямы, перебрались по мосту через Агатул (там тогда лесосеки были) и очутились в густом сосняке. Отошли от лесовозной дороги шагов на сто — и козёл! Стоит, ветки с рябины скусывает. Красивый, стройный! Ноги тонкие, длинные; на маленькой, будто точёной, головке острые ветвистые рога. Постояли мы, полюбовались, и только я шевельнулся, он, как пружина, — в лес. И пошёл, пошёл! Легко, размашисто, да недолго: оседать стал, вязнуть в снегу. Ну, мы и решили: возьмём живым! Кинулись, а он, видно, догадался, повернул на лесовозную дорогу наскочил и — по ней. А впереди в делянке лес валили. Сосна как ухнет — козёл в сторону, мы за ним. Я на лыжах неплохо ходил и первым догнал его. Васька подошёл и опять: "Живым приведём!" Я снял ружьё, накинул ремень на шею. Козёл рявкнул, рванулся, ствол выскользнул из руки. Сделав несколько прыжков, он опять оказался на дороге. Скинув лыжи, мы пустились за ним: авось ружьё потеряет.

Егор замолчал. Стояла глубокая тишина. И в эту первозданную тишину прорвались глухие воркующе-шипящие звуки: "Чу-фыш, чу-фыш!" А через пять-десять минут потекли, зазвенели, точно ключики, робкие ещё, песни курочек.

—Кр-лью, кр-лью, — токовали они.

—Чу-фыш, чу-фыш, — отзывались косачи.

Я напряжённо вглядывался в синеву. И сквозь ветошь видел в лохматых просветах золотившиеся вершины тонких и высоких сосен, а в них — золотисто-лиловых курочек. Они охорашивались, переступали на сучках, то вытягивали шеи, опуская вниз головки, то втягивали их, наводя марафет. Они подставляли первым лучам грудки, опускали крылья, курлыкали и слетались всё ближе к току. А из ольховничка, что лилово дымился в неглубокой лощинке, летели косачи. Они спешили и, едва коснувшись земли, вступали в бой. Дрались, высоко подпрыгивая и сшибаясь так, что летели перья. Где бились двое, зачем-то лез третий, на них нацеливался четвёртый.

Егор наводил мушку то на одну кучку, то на другую.

—Постой, подожди, — дёргал я его за рукав.

Наконец грянул выстрел. Чёрная туча взметнулась над косогором и рассеялась. Было слышно, как упруго скрипели крылья.

Мы вылезли из укрытия, подняли пару косачей и тронулись в обратный путь.

—Ну а с козлом-то чем дело кончилось?

—Чем? — переспросил Егор. — Бежим, значит, а по дороге мужик навстречу с сеном и смеётся:

—Как это он у вас ружьё забрал?

—Скажи, дядя, где ты его встретил?

—А вон, за мостиком, в урёму свернул, к скалам.

Мы туда. Снег — лошади по гужи. Начубахались, мокрые. Глядим: стоит, за куст зацепился... Ну, думаем, попался, голубчик! Подходим. Шагов пять осталось. Я уж руку протянул хватать. А козёл — через голову... Кувыркнулся и дёру. Уже без ружья в гору. Стал подниматься. Выше, выше.

Васька вскинул своё ружье и пальнул. От души стрельнул. Он салютовал победителю.

Мы забрали ружьё, лыжи. И поплелись домой, едва передвигая ноги.

Светлана КУКАРИНА

В МОЁМ ДАЛЬНЕМ НЕЗДЕШНЕМ КРАЮ

ГДЕ ПТИЧИЙ РАЙ

Где птичий рай —
Где спит седой рогоз,
Иль где в корыто
Высыпаны зёрна?
Где птичий рай?
Быть может, где навоз,
А может, в гнёздах на вершинах
горных?

Мой птичий рай —
Он вздорный,
Непокорный.
Он там, вдали, в неведомой красе,
И в солнца отблеске последнем
В речной извилистой косе,
И в настроенье дивно-летнем...

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ

Мне дают отдохновенье
От печалей и забот
Чай и вкусное варенье
И с икрою бутерброд.

О ПАРКЕТЕ

По паркетинам ступают
Туфли звонким каблучком.
Доски сдавленно стенают,
А туфлям всё нипочём.

Сделан был паркет из дуба,
Не циклёван никогда,
Словно пьяным лесорубом
Он обточен навсегда.

***

Часы — часы.
Тик-так, тик-так.
И бьёте вы
Запросто так.

***

Я напишу тебе сонет,
Пропахший выбросом этана.
Он будет чист, как пуританин.
Он будет свеж, как лунный свет.

***

Не обещайте мне любви.
Не говорите слов тех нежных —
Те обещанья, как подснежник:
Весною только лишь видны.

О, как Вы вешали лапшу
На благороднейшие уши!
Но нет, теперь я не пущу
Вас в свою страждущую душу!

***

Упорхало солнце —
Скрылося с небес.

Убежало солнце
За вечерний лес.

***

Птичка силится запеть,
но не тянет горло —
испугалася она,
и дыханье спёрло.

***

Так люблю я тебя, так люблю
В моём дальнем нездешнем краю,
В моём сладком безгрешном раю
Так тоскую и тихо зову.

Нет, не надо мне жизни иной –
Без тебя, вне тебя, не с тобой.
Нет, не буду тебя вспоминать
И не в силах тебя потерять.

Возвратись, возвратись, возвратись,
Буду снова страдать и молить,
Погляди на меня, погляди,
Дай чуть-чуть мне любимой побыть.

Не хочу я во тьме городской
Затеряться и имя забыть,
Я тобой лишь жива, лишь тобой,
И во всём мне себя лишь винить.

***

А ты не слушался меня.
Душа грустила, улетала,
В нездешних грёзах засыпала
И таяла день ото дня.

Григорий ФЁДОРОВ

БИБЛИОТЕКА

Стёпушка лежал, смотрел в потолок или в окно и молчал. Молчал невыносимо, молчал тяжело. Медсестрам, врачам непривычно видеть, слышать это молчание. Стёпушке всего-то семь лет. И неестественно постоянное без-

различное молчание семилетнего мальчика. Говорил он только тогда, когда отвечал на вопросы.

У него обморожены ноги. И странно было наблюдать, как он спокойно, безучастно смотрел во время перевязок на свои кровоточащие ноги. Он чуть-чуть оживал только во время посещения его детдомовскими ровесниками с воспитателем. Да и с ними не очень-то вступал в разговоры, а только слушал да односложно отвечал на вопросы о том, чем кормят, какие лекарства дают. Все это беспокоило не только медсестёр, но и воспитателя.

Соня-медсестра возмущалась:

—Он же должен плакать, обижаться. Радоваться, смеяться, капризничать, но не молчать и бездумно глядеть в потолок.

Соня везла его в коляске с перевязки в палату. На повороте, на углу шкафчик. В трёхполочном застекленном шкафчике — книги. Полки не заполнены, на нижней вообще три книги. Это библиотека больницы.

Задумалась Соня, задела коляской, почти ногой Стёпушки, книжный шкаф. Одна из книг на средней полке стояла не ребром, как все, а была повёрнута лицом, обложкой. На обложке мужчина с мальчиком. У мальчика раскрытые удивлённые глаза. У мужчины усталое, обеспокоенное лицо. Стёпушка протянул руку к книге, а шкафчик закрыт на маленький навесной замок.

За библиотеку отвечала врач Алла Игнатьевна. Она заполнила формуляр, дала книгу медсестре:

—Может, Стёпушка перестанет молчать?

А Стёпушка смотрел на мальчика с обложки, думал. Потом медленно и долго листал книгу, вглядываясь в картинки, которых в ней было немало. С картинок на больного мальчика смотрели всадники, вооружённые люди, было также оружие, море. Потом, устав, откидывался на подушку — и всё это молча, сосредоточенно. Затем читал название книги.

В первом классе успел проучиться до середины декабря. Читать почти не умел.

К концу дня произнёс:

—Куй-бы-шев Вэ Вэ.

И тут же повторил:

—Куйбышев.

Работал с книгой старательно — именно так, наверное, надо назвать его чтение. Целый день читал Степан первую страницу. Шевелил губами, некоторые слова, сочетания произносил вслух: видать, от него уходил, ускользал смысл прочитанного, и он начинал читать сначала. И снова смотрел на обложку. Когда одолел первую страницу, чтение пошло намного быстрее. Вопросы почти никому не задавал. Только после первого прочитанного листа спросил у седого старого врача Ивана Ивановича, что такое революция, а у Аллы Игнатьевны — что такое партия и кто такие большевики. Книга, конечно, не должна была быть интересной для него, но он старательно читал, осиливал каждую страницу, каждый лист и всё время возвращался к обложке.

Посмотрит на неё, вздохнёт, иногда отдохнёт и снова читает, бережно, медленно следующий лист. Примерно с середины книги оставшуюся часть одолел за день. Только вот непонятно, зачем осилил, прочитал её. Так никто и не понял, чем она привлекла его.

На другой день воспитатель взял из библиотеки детдома «Сказы» Бажова и принёс Стёпушке.

Как-то Алла Игнатьевна попросила:

—Стёпушка, почитай, пожалуйста, и нам из того, что читаешь.

А в палате медсестра и ещё истопница. Мальчик посмотрел на неё быстро, но внимательно и стал читать сказ «Серебряное копытце». Минут пять он читал, переживал, чуть ли не в лицах представляя героев: девочку, козу по прозвищу Серебряное копытце, деда. Читал живо, увлечённо, меняя интонации, ставя правильные ударения в предложениях. Откуда только что взялось. Да и вслух он до этого никогда не читал. Постепенно стал читать медленнее, голос всё затихал, лоб в поту: от непривычного труда устал, да и слаб ещё. Врач, заметив его усталость, предложил:

—Отдохни, Стёпушка. Дочитаешь нам после тихого часа.

Во время перевязки, делясь впечатлениями, он сказал:

—Алла Игнатьевна, вот если бы Серебряное копытце могло и вправду набить алмазы, серебро, золото, бриллианты, я бы отдал их папе с мамой, чтобы они нашли меня и приехали ко мне.

Это было сказано просто, тихо... Но в словах была такая тоска и боль, что прозвучал голос громче крика и своим звучанием оглушил взрослых, находившихся в перевязочной.

Алла Игнатьевна выскочила из перевязочной, пробежала мимо книжного шкафчика, но, увидев книгу про Куйбышева, остановилась. Она, книжка, снова стояла в прежнем положении, в том, в котором увидел её в первый раз Стёпушка. Женщина взяла книгу и стала перелистывать. Почему же и чем она понравилась мальчику, почему он её листал, почему так старательно и настойчиво читал и перечитывал? Не найдя ничего интересного и привлекательного в ней (ни одного даже предложения!), она с досадой закрыла обложку. Что же нашёл здесь Стёпушка?.. Она скользнула взглядом по переплёту... И вдруг она увидела в усталом, утомлённом лице мужчины тёплый взгляд, обращенный на сына, увидела, как приятно было Куйбышеву быть с сыном, а тому тем более хорошо с отцом. На фотографии она увидела любовь мужчины к сыну, и ответную увидела.

В книжке были перечислены бои, успехи Куйбышева, значительные, с точки зрения автора, вехи жизни, но не было в ней любви, а вот на обложке она почему-то появилась, хотя никак не связалась с суровым содержанием книги. Вот почему Стёпушка всё не отпускал от себя эту документальную книгу...

И запомнил он эту книжку, эту библиотеку, умещающуюся в трёхполочном шкафчике, на всю жизнь...

РАЗНЫЕ СТИХИ

Наталья ВЛАСОВА

* * *

Со мною в ссоре ты, и я с тобою
в ссоре
за давностью времён неважен
приговор:
ты ль победитель — я ль в том
бесконечном споре.
Не выметешь уже — так дорог этот
сор.
Ты упакуй его обёрточной бумагой,
подальше спрячь, чтоб не нашёл никто.
Ещё не родилась безумная отвага,
чтоб на простой вопрос ответить — кто?
Кто виноват в течении событий,
кто виноват в решении суда?
Как может быть неправым
обвинитель,
когда безмолвствует защита, как
всегда?
Как долог этот путь к осознанной потере,
как труден этот шаг вразбег, через себя!
Как сбиться можно, усомниться в вере,
уже не потому, а вопреки любя.
Со мною в ссоре ты, и я с тобою
в ссоре.
За давностью времён неважен
приговор.
Нет победителей в том бесконечном
споре,
который мы ведём с тобою
до сих пор...

Владимир КОРШИКОВ

НАДПИСЬ НА КОФЕЙНОМ СЕРВИЗЕ

Я пастушка,
Ты пастушок.
Брось на пригорочек

Свой посошок!
Пусть попасутся
Овечки одни...
Видишь, какие
Чудесные дни,
Кустики, речка,
И дальний лесок,
И развязавшийся
Мой поясок,
Талию тонкую
Нежно обвивший...
А пастушок,
Никогда не любивший,
Руку на жаркую грудь
Положив —
Рядом с пастушкой,
На травке,
Чуть жив.

Андрей ШАГАЛОВ

***

И вроде явь, кошмары вновь,
во сне как будто бы живу.
Тропа петляет вкривь и вкось,
знакомых лиц не узнаю.

Подружка-смерть, моя плутовка.
Зовёт, шутя, из темноты.
А жизнь — седая, и так ловко
все мысли сводятся к Любви.

Её же встретить не могу
ни во дворе я, ни на улице.
Но не во сне, а наяву
хочу увидеть даму-спутницу.

***

Образ Сикстинской Мадонны
привиделся мне в толчее.
Лик тот достоин короны —
так показалось и ветру, и мне.

Сергей МАТЮШИН, Салават:

Название вызывает сомнения: в темноте, в сумерках читается как "склока", — хотя я подслеповатый. Суета, сутолока и проч., а хотел-то, видимо, ручей, приток, — нечто а ля?

"Богатырша" — вполне нормальный текст, но в середке — мякина немного, конечно. И главная претензия — нет предчувствия драмы в той же серёдке.

Айдар, как всегда, местами загадочен: что есть такое "руки близ меня "? Смерть на тыканье жердью как-то вроде мало похожа? Или там: как топырить руки? Платье набекрень — это не кепка вроде? Поехать "до тебя" — хохлизм, да? А в общем, всё это — подборка — проходное и полунеобходимое по поэтической сути.

Кажется, Кудашев пишет хорошо. Анекдот, хорошо написанный, —уже немного и текст. Разового пользования.

Касымов тоже местами может удивить: судя по любви к зёрнам — вегетарианец, но вот как он деревья потребляет? Друид! Но стихотворение полностью состоялось. А четыре следующие строчки не надо. Тем более цветочки в подарок дяде. Птица в ветвях — подранок трепыхает (?) одним крылом. Третье — тоже хорошо, м. б., не надо про художника (посл. две строчки). Про чёрную луну как-то мило, но вот тоже смущает: где, где, где...

Остальное, наверное, более экспериментальные тексты?

Игорь МАКСИМОВ, Белорецкий район:

Название действительно удачно; у читателя оно ассоциируется в первую очередь с толкотнёй, суетой, бестолочью, и читатель будет ждать что-то смешное, юмористическое в журнале вроде лейкинских "Осколков"...

Прочитал № 2. Далёк я от этих инверсий, высокопарности строк, современной изысканности стихов. Скажите, что сие означает:

"Мало нам было ОСЕНИ визгливых ребячьих слёз"?

Разве у русских так говорят? Не знаю, как это звучит по-башкирски, но по-русски странно и уродливо. Рифмованная "сутолочь". Тут поэзией и не пахнет!

Иосиф ГАЛЬПЕРИН, Москва:

Мне понравились твои стихи, хотя, возможно, ты их любительски не заканчиваешь, произвольно бросая на излёте ассоциации. По крайней мере в этих — больше энергии, чем в строчках Айдара, мне кажется, он рискует стать профессиональным литератором.

"Богатырша " понравилась, хотя в ней великовато этнографической психологии и маловато — индивидуальной.

СУТОЛОКА
УФА/1997/4

Анатолий СТОЛЬ. Я задал сто вопросов бытию.....1
Александр К АСЫ МОВ. Zu Fuss nach Weimar.....2
Игорь МАКСИМОВ. Как козёл в охотников стрелял.....9
Светлана КУКАРИНА. В моём дальнем нездешнем краю.....11
Григорий ФЁДОРОВ. Библиотека.....12
Разные стихи. Наталья ВЛАСОВА, Владимир КОРШИКОВ, Андрей ШАГАЛОВ.....14
Наскритика.....15

На второй и третьей страницах обложки, а также на страницах 7 и 8 публикуются офорты Ольги САМОСЮКиз серии "Рейнике-Лис".

Редакция выражает сердечную признательность всем, кто поддержал издание морально, технически и материально: Алле Докучаевой, Марии Андреевой, Наталье Власовой, Светлане Кукариной, Земфире Самигуллиной, Всеволоду Глуховцеву, Владимиру Коршикову, Артуру Кудашеву, Григорию Фёдорову, Игорю Фролову. Особая благодарность Айдару Хусаинову, без которого "Сутолока" бы пересохла.

Отпечатано в фирме «Инпромреклама». Уфа, ул. Менделеева, 152/1.

№ 5

СУТОЛОКА
УФА/1997/5
литературный журнальчик

Этот номер журнала посвящается светлой памяти Александра Банникова

Офорты Игоря ТОНКОНОГОГО

Публикуются:
Александр Банников, Игорь Фролов, Вадим Богданов, Александр Касымов, Евгений Парфёнов

Редактор-составитель — Александр КАСЫМОВ.
Тираж - очень скромный

Александр БАННИКОВ (1961-1995)

ЗДЕСЬ ГЛАЗА НЕСВОБОДНЫ…

…КРЕСТЫ, ЧЕРВЫ И ПИКИ…

На голое дно мёртвой реки лягут пятна
живых облаков. И я замолчу. Замолчу, ибо рядом.
Неправда вести речь понятно о непонятном.
Поэтому всё и везде, и всюду неправда.

Не суть, что без умысла... Вечные книги раскрою.
Найду двойников. И вот первые — Авель и Каин.
Другие за ними — Ромул и Рем, скреплённые кровью...
И братоубийство бывает великим и низким? Какая

их сила судила? Учила любви и проклятьям?
И чем ниже ревность к Богу желания славы?
И это опять и опять о непонятном понятно,
в одежды героев рядиться желание слабых.

И ныне и присно всё пресно... Я доискался
до сути людей? Лишь бы только не точка в фантазии
Творца иль кого ещё там... Так рисунок наскальный
отчётлив, как будто граница между Европой и Азией,

и прост и понятен — но только древний художник
таит его смысл. Какие вынудят пытки
его говорить, если вынести их мы сами не можем?
Осталось понятно о непонятном... кресты, червы и пики...

НА КРУГИ СВОЯ

Будто галька — обкатанное гладко веками
и губами — заклятье: Всё на круги своя.
Я хочу, чтобы было оно лишь словами.
Но я вижу, зажмурившись: закусила змея

хвост свой наспех — и вот вам окружность.
В ней угла не найти, чтобы спрятаться. Спрятаться?
Не убийца, не вор, не опричник, «оружен,
конен, люден» — молю я угла. Но напрасно.

Возвращается боль. Боль прежняя. Знаю, что
прежняя боль не бывает. Возвращаясь на место,
во сто крат боль больней. И губой свой заячьей
шевелит: «Я пришла. Ты же звал, вспомнил если...»

Здесь глаза несвободны. Как будто бы с ветки
студенистые ягоды — наземь иль чью-то щепоть...
И не боль в человеке, а он в боли этой,
как в пространстве, в котором нет ничего,

кроме слова «пространство», кроме слов, обращенных —
без надежды быть понятым — к себе самому...
...Всё на круги своя. Изнутри круга — чёрный
лик судьбы зрит — незрим — из той тьмы в эту тьму.

НЕПРОШЕННЫЕ МЫСЛИ

Птица любви и мира... Но голуби —
самые грязные птицы... С лихвою
грустные мысли приходят в голову.
Грустные оттого, что приходят

туда, где разруха, и заумь свищет,
где выпало время по кличке «Сейчас»...
...Жил Зорро когда-то — защитник всех нищих.
Только стоило ли защищать?

Перемёрли б если — остались богатые,
воцарилось всеобщее благоденствие,
сибариты облокотились на облака бы,
попивая амброзию. Уничтожили б если

всех несчастных и тщащихся в небо... Но,
может, Зорро был... как его... этот... наймит!
Он убогих спасал, чтоб пресыщенным не было
незатейливо, скучно. И было давить,

унижать и гноить, и сживать есть кого...
Боже, мысли такие... и без разрешенья...
Можно книзу скатиться медленной лесенкой.
Только лучше бы камнем, и без рикошета.

К слову, камень — создание абсолютное.
И не надо учить его метко на ближнюю
падать голову — враз!.. А свою-то
ещё надо готовить для встречи с булыжником.

КОНЕЦ ОСЕНИ

Не мною сделана земля — но лежит
надёжно, будто бы над пропастью дощечка.
Я знаю: чем бедней событьями жизнь,
тем более дороже мысль, пришедшая

вдруг ни с того и ни с сего мне в голову
(за исключеньем вечных мыслей о бутылке,
самоубийстве и плохой погоде). Лужи гнойные
счастливо чавкают, испробовав ботинки.

Мой путь без цели и конца — поглубже в осень
зайти, чтоб обнаружить там зимы начало.
Вот первая находка: я узнал, что осы
созвучны осени не зря — дожди печальные

в начале осени к концу её становятся
совсем иными — ядовитые дождинки
нещадно жалят... Вообще-то с совестью
больной — а чем неведомо — и с жизнью,

напоминающей затапливаемый остров,
сезон сей схож... А дальше что отыщется?

Унылая трава, до которой косы
не добрались. А было б лучше — по обычаю

травы, живущей рядом с человеком,
чем так: пустые стебли для выкалывания глаз,
и жуткий цвет из преисподней — из щели той,
которая не может отдавать, а только красть.

В такое время бы — в поход Крестовый, пряности
добыть и веру, стать Господним стражем...
На крайний случай — побыстрей за угол спрятаться,
и выбежать себе навстречу, и спросить: «Что, страшно!»

КРИК ВОРОНА

Мой поднебесный тополь встретит и проводит.
Печальной складкой — стаей — осень небеса наморщит.
Не потому ли человек так восхищается природой,
что в людях отыскать подобного не может.

А туча спустится к земле, как будто уронила
монету золотую. Ищет — и находит рощу.
И крикнет ворон — всем органам мира
не превзойти его — не может крика громче

быть эхо крика. Песня ворона — та бездна,
та сила, что всё делает пустым и полым,
чтобы собой заполнить все отверстия,
пустоты мира: стать над полем — полем,

над лесом — лесом, мною — надо мной.
И нищий день насыщен будет ею —
всё той же нищетою-пустотой.
И позовёт река: «Дай, я тебя согрею,

укрою ото всех, став каменной водой
до будущей весны, верней, до жизни
счастливой будущей»... Бедою — над бедой
летит крик ворона — во мне всё выжечь.

* * *

Орган воображения — это безгнёздная птица.
А был бы он вроде детородного органа –
с каким бы счастьем я оскопился

и стал монахом в штабеле с брёвнами.

Нервы мои — как негры на древней галере.
Есть они, есть! Но восстали и не гребут.
Роль капитана непосильна мне. Верно,
из-за того, что кричать, прикусивши губу,

никак невозможно. И я — галерою дряхлою —
несусь в океан пустоты. И гимн свободе поют
нервы мои — негры с глазами дырявыми,
беззубыми ртами — празднуют гибель мою.

Смирился бы я с пустотою — валом девятым,
пошёл бы на дно, но знаю — в гибельный час
покинет галеру воображенье — трупные пятна
на месте крушенья галеры и <…>

когда они станут всплывать со дна преисподни,
хищная птица примет за корм — за картину
сюрреалиста... Напрасная гибель... Сегодня
я бы поступил по-иному, отложив кончину

безвинных гребцов, одеревеневшего тела.
Но это случилось вчера. Воображения ересь
с грязными рваными крыльями не улетела,
и кружит над местом, где был я и где есть.

* * *

Я уже не хочу о нетленном и вечном витийствовать.
Может быть, потому что созрел: из эклектики
наша общность — так сперме Онана библейского
по песку — жирным слизнем — до яйцеклетки

опостылевшей дщери Давида ползти околесицей...
Может быть, потому что я понял: в том измерении,
в коем есть у всего начало, конец есть,
не вмещается Вечность, и будто сахар в варении, —

этот сладкий абсурд, как надежда на плахе осклизлой.
И не странно совсем, что о ней говорят одинаково
(называя по-разному лишь) правоверные и атеисты...
Впрочем, я об ином — как сквозь крышу дырявую капает.

И как бьётся о стены пространства трёхмерного —

мотыльком на огонь, только с точностью наоборот —
моя мысль, улетая из темени в темень — в ней меркнет,
ибо никогда не узнаю её окончанья... Вперёд! —

оставаясь при этом на месте. Ленивые движутся
без малейших усилий во времени — и не отстают
от проворных и прытких. И часто на финише
они первые... первые... Я не о том. Мой уют —

он не крыша, но дождь пусть прольёт — не продрогну.
Можно каплю сравнить с бриллиантом, но авантюрно —
уступает он капле: его потерять, а главное — можно потрогать.
Кстати, все украшения — это подделки натуры...

Перестало шуршать. (Кто оно?) все тетради мои пролистало
это нечто. Уснуло. Не время — но мне перемена.
Эта мысль заблудилась, моею быть перестала.
Пережду. Не услышу в ночи первый слог ойкумены.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ...»

...Ответное «Здравствуй» — всего отговорка...
А я перестал календарь перелистывать
осенью нынешней жуткой, в которой
привыкли к пожарам и самоубийствам,

как можно привыкнуть к ненастной погоде,
всплескам словес и скрипу колёс...
Смысл нынешних здравиц: «Все мы подохнем...»
Воистину так. Наша жизнь есть покос.

Но странность такая — косцы-то не мы.
Но странность такая — косят-то нас.
А впрочем, механику жизни костьми
и мясом питаем мы с вами как раз.

Бывает ещё: за приветствием тощим
смущённо-просящее слышится: «Выжить бы...»
как раньше таким же вот тоном в точности
звучало: «...бы выпить, выпить бы...». Выжатый

фрукт Солнца — какой, неведомо, фрукт —
не светит, не греет, не съесть и не выбросить —
загнил по краям. Но астрономы врут,

что это затмение, пятна... Так вырастить

другое светило... Вообще-то, не стоит:
чем ярче оно — ярче тень, тише тишь.
А их в нашем мире скопилось столько,
что шагу не ступишь — в тень угодишь.

А тень — место тёмное, темя пожарищ,
прибежище страшное душ рода беженцев
во тьму. А их нынче столько... Пожалуй,
по праву не сильных мира, а вежливых

(суть менее сильных) пора согласиться,
что жизнь всего-навсего лишь только признак,
момент, свойство смерти. Так, запах нарциссов,
и раненых роз, и настурций капризных

останется, если цветы эти вынести
из комнаты. Впрочем, наш мир и походит
на комнату эту, в которой не выросли,
но были цветы. А остался лишь холод

осени странных смертей и пожаров,
не отогревших живых, ни покойников.
Напротив — застыло всё. Время сбежало
обратно... А были цветы в этой комнате?

Игорь ФРОЛОВ

НА ОХОТЕ

...Им было всё равно, кого искать. Летели на восток, всё дальше углубляясь в дикую, неприрученную зону чужой страны. Рыскали над бесхитростными речными долинами, ныряли в тесные, до краёв налитые тенью ущелья и, выпадая в пустыню, неслись, припав к земле и пугая пулемётными очередями летящие мимо мёртвые кишлаки. Поднималось алычовое солнце, пели винты, — а в грузовой кабине тошнило навьюченный оружием досмотровый взвод. Сейчас, ради передышки на твёрдой, надёжной земле, этот натасканный на караваны зверь был готов обнюхать даже одинокого путника — и уже скрёбся в дверь, что-то почуяв...

Путников было трое. Они стояли на берегу иссыхающей речки и ждали, привычно подняв руки. Стрелок снял пулемёт с упора, повернул его рыло к людям — на тот невероятный случай, если они захотят пожертвовать собой.

Снижались, надменно задрав нос, осторожно, как дама в воду, ступили на песок. Сосредоточенно совершая подскоки и перемещения в поисках плотной почвы, фаршированный солдатами дракон просто скрывал смущение, стыдясь своей мелочности. Наконец утвердились. Дверь отъехала, и на землю попрыгали несколько солдат. Постояли, жмурясь на солнце, и двинулись. Шли, не снимая с плеч автоматы; зевая, поглядывали по сторонам, попинывали песок, переговаривались — ленивые грибники, которым совсем нет дела до тех троих. Уже потом, через секунду, сочиняя причины, стрелок приписал утерянному клочку времени этот звук, придумал хлопок, приглушённый винтами. Солдаты от неожиданности остановились и смотрели...

Человек убегал к холмам. Он бежал, запрокинув голову и широко выбрасывая ноги, а его спутники лежали, закрыв головы руками. Опомнившись, солдаты стронулись с места и тяжело пустились в погоню, — буксуя в песке, суетливо сдёргивая с плеч автоматы, стреляя, — кто от плеча, кто от пояса. Но, несмотря на треск за спиной, человек бежал, быстро сокращая расстояние до спасительных холмов. Смешно думать об их спасительности, думал стрелок, ведя перекрестье прицела за бегущим и натыкаясь на вислые зады егерей, смешно так думать, когда вверху, накрывая беглеца долгой тенью, проносится ведомый... Обескураженные солдаты уже меняли пустые магазины, махали кружащему над ними вертолёту, призывая помочь, но, отрицательно качнув пилонами, он снова уходил на круг. А человек бежал, чудом выбирая в кипящем пространстве свободные от смерти места. Наверное, этот восточный маг неуязвим, он просто забавляется, и от его непресекающегося бега солдаты теряют уверенность в убойной силе своего оружия, в свинцовости своих пуль. Нельзя же заподозрить сразу всех выполняющих расстрел в намеренном косоглазии... Вот приговорённый остановился, оглянулся и, размахнувшись, швырнул что-то в сторону преследователей. Споткнувшись о страх, солдаты повалились на песок, неловкие, сдавленные бронежилетами, подминая собственные автоматы. Человек нырнул в нагромождение больших валунов, запетлял, отталкиваясь от каменных боков. Не дождавшись взрыва, солдаты поднимались и снова бежали, забыв до конца разогнуться, стреляя из-под живота. В камнях зазмеился малиновый рикошет трассеров, огненный серпантин оплетал ноги бегущего. Ему оставалось совсем чуть-чуть, чтобы исчезнуть за камнями, когда стрелок вдруг ощутил всю ярость неуклюжих, обманутых солдат, увидел, как один из них припал на колено, старательно прицелился, скаля зубы, и его плечо задёргалось от коротких и злых, как удары ножа, очередей...

Чиркнув винтами по солнцу, пролетел ведомый, сказал: «Они его кончили. Камнями кидался, дурак». Волоча автоматы за ремни, солдаты возвращались. Багровый командир, высунувшись из кабины по пояс, орал на бедного взводного, угрожая пистолетом. Привели двоих, затравленно озиравшихся и никому не нужных. Облокотившись на пулемёт и посасывая погасшую сигарету, стрелок изучал их через стекло. Кажется, они уже встречались ему где-то в прошлой, музейной жизни — этот старик с длинными голубыми зу-

бами и этот мальчик в широкой, грязно-лиловой, как зимний закат, рубахе: чумазая мордочка, большие, изюм в шоколаде глаза. Вопрос изучившему местные нравы: кто он? Внук пустынного отшельника или приголубленная им сиротка, тёплый персик, греющий барханными ночами холодеющие чресла старика? Тогда кем был тот, бежавший?..

Вадим БОГДАНОВ

НАСТАВЛЕНИЕ ПО СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ

Странное дело — профессия.
Выбрал ли ты, она ли тебя —
Не на кого пенять...
Но я пока лишь учащийся,
Пока посещаю занятия;
Меня ещё только учат правильно убивать.

На огневой подготовке
Работать надо старательно,
Но вдруг пониманье прорвётся
Сквозь щели прищуренных век;
Перед тобой на мишени —
Образ врага собирательный:
Грудь, голова и плечи —
Это же человек...

А мудрые преподаватели,
Чтоб не возникли сомнения,
Чтоб не болела о тонкостях
Нравственных голова,
Диктуют снова и снова
Условия упражнения:
«Мишень фигура грудная
С кругами, номер два».

У них советы толковые,
Внимательно их выслушивай,
Крепче мотай на ус:
«Чуть задержи дыханье...»,
«Плавно...», «Не дёргай спуск!»

«Не нужно метиться в голову:
Это рисовка глупая,

Вредная для стрелка.
Цельтесь чуть ниже центра —
Бейте наверняка!»
Всё! Отстрелялся здорово!
Пусть не простая наука —
Плавно спустить курок:
Пули отправлены точно —
Я заучил урок.

Когда же стрелять придётся
В живого на поражение,
Я повторю для смелости,
Не дрогнула чтоб рука,
Эти вбитые намертво
Условия упражнения:
«Мишень — фигура грудная
С кругами, номер два».

БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Добрый день, сосед! Что там в почте? «Труд»
да «Вечерняя», от родни приветы?
Посмотрю и я, может, вести ждут...
Ничего опять — три газеты.

Сколько лет уже всё чего-то жду:
Писем ли, телеграмм ли...
Ты чего смурной? Кошкин дом во рту?
Заходи ко мне, остограммлю.

Нету никого. Заходи. Жена?
Была, да вся испарилась.
Второй раз? Хотел, только седина...
Жизнь-то как? Да вот так — не сложилась.

Не стесняйся, щас закусить найду.
А подумать — быть бабьей сытью?
Лучше я уж так — на ночь приведу.
Выпить мне с тобой? Да уж выпью.

И опять же в доме сам господин.
А при женщине — и не пробуй...
Только дом это — когда один...
Кто воды подаст — будь хворобый?

Наливай-ка сам... Знаешь, иногда
Прям тоска берёт—ножик к горлу.
А работа что?.. Деньги-то куда?
Захмелел опять. Всё попёрло.

Как хлебну, так в слёзы, в петлю да на сук...
А я что? Смотри — допиваю...
Только ты меня понимаешь, друг.
Да какой базар! Уважаю!

Хорошо сидим! Случай ведь какой:
Рядом жить — до сих пор не встречаться...
Что, пора? Ушёл?! Ну и чёрт с тобой.
Набардачил, а мне убираться.

ИРОНИЧЕСКОЕ

Живут два разных существа,
И даже не родня.
А вдруг по зову естества
Придумают меня?!

И сгоряча пошлют туда
(О! вижу как сейчас!).
Где без особого труда
Придумаю я Вас.

Легко затею разговор:
«Ля-ля и тополя»,
И Вы решите: «Ухажёр!»,
А я решу, что зря.
С другим рискните при луне —
Быть может, выйдет прок,
А я пойду, пока Вы мне
Не отвели шесток.

Пусть будет скуп попутчик мой
(Что делать — вечный жид),
Он мне поведает хмельной,
Как это просто — жить.

Люблю плясать я под дуду,
Пока не гонят: «Геть!»...
Не скажете, в каком году
Я должен умереть?

РОМАНТИЧЕСКАЯ СКАЗКА

Где-то на чёрном рейде,
Где облачные стада,
Где обмывает причалы
Вода, холоднее льда,

Сквозь небо, которое тоньше
И крепче дубленых шкур,
Бездна целует Землю —
У пристани Байконур.

Может, там звёзды ближе,
Призывнее птиц голоса,
Но уходили бриги
Прямо за небеса.

В пустоте пробивали дыры,
Жилы пламенем жидким жгли.
Из рассвета в ночь уходили
Остроносые корабли.

После падали в атмосферу
И сгорали — такая жуть —
Лишь лучи дежурных радаров
Их последний следили путь.

Да бессонный ночной романтик
Думал: «Вот покатилась звезда»,
Успевал загадать желанье,
Что не сбудется никогда.

Александр КАСЫМОВ

НЕ БЕЙТЕ КАЛЬПИДИ ПО ГОЛОВЕ МАНДЕЛЬШТАМОМ И ВОДКУ ПЕЙТЕ САМИ

В редакцию книжного обозрения "Независимой газеты" "Ex libris"

Знамо дело, «Ex libris» в переписку не вступает и на всякие там провинциальные глупости не отвечает. Но уж больно хочется сказать ответственному редактору, а также суровому критику Дмитрию Быкову несколько

слов по поводу громкого сочинения последнего «О пользе водки» («EL» от 7 августа с.г.).

Желая разругать сделанное Виталием Кальпиди, господин Быков сочиняет настоящий творческий манифест: как, мол, льзя и как нельзя. И это хорошо. Написавши, Быков, видимо, что-то понял и о собственных стихах. Хотя бы по контрасту с антологией.

Но у меня есть подозрение, что дело не только и не столько в застарелых претензиях к Кальпиди и К0, — императивно-территориальная поэтика, творимая на наших восхищённых глазах Д. Быковым, всё-таки имеет другое, и весьма серьёзное, основание. Проповедуя культурный плюрализм (кто против него? даже Быков, с его ненавистью к постмодерну, думаю, за), на деле мы активно подминаем культуру под себя. Наш критик употребляет слово «провинциальный» как ругательство. А мне оно нравится. Ведь и Москва — одна из провинций России. Ведь и её, самую любимую, можно посчитать окраиной по отношении ко всей остальной стране. Одним из субъектов Федерации. Одним из звеньев цепи, которая проводит... Что? Электричество культуры? Высокопарно звучит, но пусть, всё-таки воспарять иногда нужно.

Герман Гессе в «Игре в бисер» создал духовную провинцию Касталию, провинцию Игры. Конечно, это — только ассоциация, дабы прояснить термин. Но мне, провинциалу, кажется, что иные наши теоретики в последнее время, используя слово «провинция» как бранное, употребляя его в качестве аргумента, усиленно рвут систему культурных коммуникаций, такую всеохватную в советские годы и такую клочковатую сейчас.

От этой готовности рвать и метать и происходит категорический Быков. Я не говорю ему: «Не раскачивайте лодку!» Пусть качает, коли любо, коли хочет выкупаться в водах Урала, Камы или Белой... Но критерии нельзя выводить из географии или неприятия чьих-то амбиций! Нельзя их выводить из императива: «Вообще пора заканчивать с этим экспортом в столицу худшего, что есть на Урале: Ельцин, Курицын...» А из Сибири можно? А обратный экспорт из Америк всяких? А из Люберец каких-нибудь или Подольска? И вообще — причём здесь Курицын, который к группе Кальпиди, насколько я знаю, и отношения не имеет?

Так вот, об игре. Её-то как раз в книге, составленной Виталием Кальпиди, критик и не увидел. Если сколько-то уральских авторов объединились под одной обложкой (но не вокруг эстетики постмодернизма!), почему бы не назвать это школой?

Кстати, один уфимский литератор готовит к печати антологию под названием «Уфимская школа поэзии». Вот разгневается Быков, ежели она выйдет!

Можно, конечно, не выпендриваясь, найти другие слова. Но уж больно «Современная уральская поэзия» (книжка) похожа на школьно-семейный альбом. Сие — тоже часть игры. И рассуждать тут о вкусе ли, безвкусице ли, совершенно ни к чему, потому что, упрекая других в отсутствии чувства юмора, имей его сам!

Во многих частностях Дмитрий Быков прав. Но, сдабривая эти частности рассуждениями, например, о Мандельштаме, он сразу делается неправым. Ну, причём здесь классик? Кажется кому-то, что авторы антологии идут по стопам великого, но не туда — и пусть себе кажется.

Не надо ходить по стопам! Не надо бить никого томом «Библиотеки поэта»! Совершенно дурное занятие — все эти попытки услышать в стихах музыку революции/контрреволюции, с любовной ненавистью ища в текстах родимые пятна постмодернизма. Глупо, глупо!..

«—Мой милый, Баден-Баден — это рай.
—Мой ангел, Баден-Баден — это город,
где кипарисы выпивают море,
выплескивая пену через край...»

Бедный Дмитрий Долматов! Ведь не думал — не гадал, что найдётся критик, который осудит его за смерть, а за жизнь, оставшуюся хотя бы в этих строчках, даже осуждать не станет. Потому что не заметит этой жизни, не почувствует праздничного ликования и — не поедет в Баден-Баден. Какой тут, к чёрту, Баден-Баден!.. И почему надо осуждать за смерть, если неразрывная пара жизнь-смерть — сквозная тема мировой поэзии? И почему, вместе с тем — тут же и рядом — нужно ковыряться в тематике, которая — лишь повод для стихов и влияет на результат лишь постольку-поскольку? Почему надо осуждать за подпись (Катя Бушуева) — неужели не видно, не слышно, что она часть текста, звучащая музыкальной фразой?

«Фотограф время покалечил
квадратным фотоаппаратом.
Он вовсе не увековечил.
а сделал смертным каждый атом». —

это из стихов Антона Колобянина. Вроде бы цитата — водой на мельницу Дмитрия Быкова. «Сделал смертным каждый атом...», а, по мысли Д. Быкова, антология заполнена-переполнена мертвечиной и лучше водку пить, чем с ножичком баловаться. Нет, не лучше! Хотя бы потому, что, пытаясь философствовать, надо бы видеть в антологии онтологию. Колобянин-то как раз пишет о соотношении копии и оригинала! И вообще, может быть, смерть и есть завершение создания оригинала, причём, такое, в результате которого получается, увы, копия?

Не нравится кому-то дзэн — на здоровье, не нравятся какие-то слова— на здоровье. Но почему собственные предубеждения нужно делать линейкой?

Мы говорили об игре, мы говорили о семейном альбоме. Но идёт всё это, развиваются все эти намерения в сторону определения жизни — через знак, через метафору, даже через сор... И здесь я не боюсь переклички с Анной Ахматовой... Невыносимая провинциальная скука в промежутках, зафиксированная московским специалистом, не так уж и невыносима для провинциала, ибо её при ближайшем рассмотрении просто нет. Нет! Если Быкову скучно читать эти тексты — пусть не читает (и так заметно, что только полкниги одолел, но судит классно!). Если Быкову везде мерещится смертельная

угроза (например, со стороны постмодернистов, от которых анонимному молодому поэту житья нет; бьют они его, что ли? видимо, недостаточно) — пусть в стихи её переводит или что-нибудь возвышенное. Вот намедни в «Общей газете» длинно так про поколения рассуждал и про людей, создающих якобы стиль жизни, — так и туда старуху с косой прицепил.

«В текстах молодых поэтов Урала живое только одно: стремление выглядеть школой». Мне кажется, в тексте Дмитрия Быкова живое только одно: стремление вычитать школу, выстроить нехорошую парадигму, которая, как та квартира, всё подаёт и подаёт признаки жизни, не взирая на недовольство господина Быкова, критика аж из столицы. И такого велеречивого, гляньтека, что пишет: «Поэзия тем и страшна, что за неё надо платить жизнью в любом случае — хороша она или плоха». Как много в этих буквах! Во-первых, что такое плохая поэзия, поэзия ли вообще? Во-вторых, чьей жизнью надо платить и кому? В-третьих, почему та смерть, которую Быков прозревает в антологии, ему кажется недостаточной платой?

Ответов нет. Вместо этого — торжественная декларация: «Мы живём в век секуляризации, в этом нет ничего дурного, но поэзия, как и доказательство теоремы Ферма, — всё-таки занятие для избранных. Ибо обидно гибнуть зазря». Кому обидно? И кто гибнет? Знатоку теорем и их доказательств кажется лишним что-либо пояснять. Ведь ему и так ясно, что избранные — не те, кого он хает, ибо им они не избраны.

К концу горестное: «Масса народа сгублена графоманией...» Так вот, высокомерие по отношению к провинции встречается здесь с высокомерием по отношению к тем, кто пишет стихи. Д. Быков не понимает, как здесь проговаривается, самохарактеризуется. Надо же так не понимать простые вещи! Если провинция — часть страны, то графомания — часть культуры, пусть окраинная, маргинальная, но часть! И страсть к писанию (а рядом — любовь к слову, к искусству!) создаёт почву и фон, на котором и возможны поэтическое творчество и его восприятие. Поэтому ругаться словом «графоман» по крайней мере неосторожно. Кто были такие в прошлом веке, скажем, Веневитинов или Павлова?.. Сумеет ли Быков точно описать, в каких, фигурально выражаясь, отношениях они находились с пресловутым Хвостовым? И так ли уж плох этот самый Хвостов? И не реализует ли графоман в своем корявом тексте какой-то свой жизненный потенциал... А то: графоманы, графоманы! «Какая это радость — перья грызть...» — написал Давид Самойлов про Пушкина. Вот так-то: радость, а не погибель!

А Виталий Кальпиди — вовсе не графоман, а типоман. У него страсть печататься, а ещё больше — печатать других. Вот, кажется, второй том антологии выйдет (уже вышел: проза!) в свет. Уж тогда Быков напьётся с горя, постоличному, с размахом... Всё лучше, чем напраслину на людей печатно возводить...

А стихи Аркадия Застырца действительно хороши. Видимо, потому, что он к постмодернизму никакого отношения не имеет.

Евгений ПАРФЁНОВ

ОПЫТЫ
(рисунки автора)

ЗАПИСКИ ИЗ ЭЛЕКТРИЧКИ

Электричка движимая противоречивым законом всеобщего хотения и тем
ЧТО МОЖНО
поглощает в жерло своих автоматических
биологическую массу
Тихо и осторожно трогается
набирает скорость
МЕРНО
из СТОРОНЫ в СТОРОНУ укачивает граждан
в просаленных куртках в кожаных куртках
пахнущих кожей пахнущих салом
в тулупах пальто плащах телогрейках
В ЦЕ ПИВ ШИСЬ руками в сумки рюкзАки чмоданы
смотрят кто куда по большей мере в точку в ок
не
проявляя внимание
ко всему что вне
ЭЛЕКТРИЧКИ
следующей со всеми остановками согласно расписанию
КАЖДЫЙ до СВОЕГО пункта назначения
испуганно озираются безбилетные пассажиры лишь только двери служащие
ВХОДОМ-ВЫХОДОМ примут неправильное положение
боятся.
бумажечки с циферками в углу ждёт лишь сухонькое У г У
контролёра
очень хочется СЕСТЬ
тем кто СТОИТ
НО ВРЯД ЛИ НАОБОРОТ (скорее торобоан)
Там-тара-рам
Там-тара-рам стучат колёса
В П Е Р Ё Д... в п е р ё д...

МПАТКО

То во анкеб со апплою
Ащё спела спева спива
Ащё леся еся ягодь
Аз ещ клезена рякпива

Она тсолу тсоит тсерь
Ас лечет оймя зрицаля
Она тсолу тсоит тсерь
Свё дноо мсякжесь мааломь

Ясе игмусе отвратосе
Ище юпсе од кнацо
Сляооп губесе в сратирь
Тове йкотай езмь мпатко

ЛЫБСЬ - ЛАБЗЬ

Лыбсь - Лабзь лииты
Прижмайся к рдяному уст
Лмти тути, кусбь х збами
Нсом вивайся в сладкхохок туке
Скидсь дежу, прониксь к отверсту
Вир-Вир, Вени-Вени, вейсь
Охон-Охон, Охун-Охун
В истме с ею в нею влейсь

ЖУКАЛО

У меня в корочобке
Сдит жукало
Сдит жук - жукает
Нар ужу жукало прожится
Прогрыжает стны корчобки
Позлает окружом - тужится
Не горчуй жукало, Поймь
Ай подрюж тебя дноой
Девочужке чтой люблю С ей жукало
ыт в раю.

ШНАТКУ ДЗАРУ

Ару жеку пук кубнета
Ови на тасолу шдлаку
О роке жаку ищ вбирета
Тане телуш дзару Штнаку

Кирбюны тлигаш шарубад
Воти ищ кубнета стодвир
Он козво шерисло жума

Оп валны отсергаш горвюр

Бета тоэ тепру кубнет
Кешек сокупь гонель багум
Каи раксив отывь саклет
Заи мограш восим заглуш

Ун дохопри - дголом темон
Ун конетац модулася
Срыбе генрокзо ищ редвон
Нзяю родрипа жепо мит

СУТОЛОКА
УФА/1997/5

Александр БАННИКОВ. Здесь глаза несвободны.....1
Игорь ФРОЛОВ. На охоте.....6
Вадим БОГДАНОВ. Банальные истории.....8
Александр КАСЫМОВ. Не бейте Кальпиди по голове Мандельштамом, а водку пейте
сами.....12
Евгений ПАРФЁНОВ. Опыты (рисунки автора).....14

На второй и третьей страницах обложки, а также на страницах 10 и 11 публикуются офорты Игоря ТОНКОНОГОГО.

Редакция выражает сердечную признательность всем, кто поддержал наше издание
морально, технически и материально: Роберту Ибатуллину, Майе Фаттахутдиновой, Гульшат Курамшиной, Тамаре Нефёдовой, Тамаре Паращенко, Альмире Янбухтиной, Надежде Игнатенко,
Софье Волховских, Евгению Ильину.
Отпечатано в фирме «Инпромреклама» Уфа, ул. Менделеева, 152/1.

Наш журнал является частным делом редактора-составителя,
НО
выходит при поддержке редакции
газеты
"ВЕЧЕРНЯЯ УФА ",
а также при сочувствии
"НОВОЙ ГАЛЕРЕИ"
и галереи
"УРАЛ"

№ 6

СУТОЛОКА
УФА/1997/6
литературный журнальчик

Филарет ШАГАБУТДИНОВ
ОФОРТЫ

ПОЭЗИЯ
Иосиф ГАЛЬПЕРИН
Аркадий ЗАСТЫРЕЦ

ПРОЗА
Айдар ХУСАИНОВ

Редактор-составитель – Александр КАСЫМОВ.
© СУТОЛОКА
Тираж – очень скромный

Иосиф ГАЛЬПЕРИН

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ

* * *

Стрельба по уходящему поезду требует отточенного отчаяния,
обратное упреждение предполагает вымученный расчет.
Пусть первый декабрьский снег белее и долгожданнее,
чем первый сентябрьский снег, но голову напрочь сечет.
Отпускай руки, протягивай или даже девичьи заламывай,
но признание вины не догонит уходящий под поезд снег.
Возвращается сон, колею колёсами заново лапая,
пропитала шпалы ресниц мазутная радуга недр.
Опустошение недр объединяет гильзу, дуло, стрелявшего,
пустоту от пороха вытесняет веселящий памяти газ.
Только пуля рвётся из круга, как виртуоз рвётся по клавишам,
как паровоз тащит вагоны и убивает нас.

* * *

Обернётся гонимый, зверея,
то ли суд, то ли жертву творя, —
и сомкнутся устья артерий:
кровь чужая — отрава твоя.

Захлебнётся дыхание пеной,
но потом, если выжить пришлось, —
как удвоенно и вдохновенно
дышит жаром холодная злость!

Кровь по жилам сожмётся упруго,
новой болью сердце скрепя...
Повернётся по малому кругу
и в затылок ударит себя.

ШОСТАКОВИЧ, СОЧ. № 110

Я — Иосиф третий, и потому играю уже на последние деньги.
Выигрыш, получается, минимален, а проигрыш — абсолютен.
Как ни сажусь я, друзья, никуда я, однако, не денусь,
если затеял сыграть струнный квартет на червовой эоловой лютне.
Будто за картами против меня игровые партнёры столпились,
тычут за спину смычкой бубей, тени от музыки отгоняя.
Если уж приняли в эту игру, значит, слушатель я или Гилельс —
им одним не звучать без меня, даже как гамма нагая.
Третий лишний в квартете, четвёртого я никогда не увижу,
пятый в квинтете, по правилам, только слежу за игрою четвёрки.
Выигрыш мой минимален — я вприглядку зрителя ближе,
я играл на другие деньги, я поставил на покер последние корки.

* * *

Жёлтая взвесь день за днём отступает на дно,
пруд и черней, и прозрачней, чем месяц назад.
Я изнутри поднимаюсь, вижу пятно
мёртвого кокона — сбросил его шелкопряд.

Мощная зелень ещё не ослабла ни в чём,
и равновесие трётся о грани воды.
Держится лист, но прорежутся жилки на нём —
и шелкопряду не спрятать следы.

Айдар ХУСАИНОВ

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА «АЖДАХА»

БАГРОВ ПОНИМАЕТ, ЧТО НОВОЕ ВРЕМЯ, КОТОРОГО ОН ТАК ЖДАЛ, НАСТУПИЛО

Собственно теперь, когда настало новое время, можно было спокойно призадуматься над тем, что существовало уже долгие и долгие годы, не находя выхода ни в чём, кроме как в каких-то неконтролируемых движениях лица, каких-то странных поворотах туловища, или ноги, или руки, или даже движении брови — всё это были, как теперь понимал Багров, неуловимые для его собственного "я" проявления того, что жило в нём все эти долгие, долгие годы.

"Что же такого изменилось?" — задался вопросом Багров, что было нового теперь, что давало возможность обратиться к себе и проводить долгие часы за созерцанием своего поведения, своего лица, своей мимики, наконец, на работе, в компаниях, в обществе женщины или женщин. Впрочем, ответ на этот вопрос лежал на поверхности.

В конце концов, то, что жило в нём все эти долгие, долгие годы и проявлялось именно в неконтролируемых движениях именно потому, что все свои душевные силы Багров отдавал делу обеспечения своей независимости. Он продумывал свои шаги, он организовывал людей и обстоятельства, он создавал идеи, что весьма и весьма немаловажно, и всё это отнимало у него силы, которые теперь, когда эта самая независимость или суверенитет были завоёваны ценою огромных потерь, разумеется, ибо всё на свете завоёвывается ценой огромных потерь и разрушений прежде всего в себе, так что бывает, что для жизни остаётся только то, что взято у побеждённого, его слабая душевная жизнь, не устоявшая под напором, упавшая, однако сохранившаяся где-то под спудом на милость победителя. Так что вот теперь-то Багров и обратился к себе, своим тайным мыслям и обнаружил, что они есть, обнаружил с тем большей радостью, что внешняя его движущая сила иссякла, как мы уже говорили парой строк раньше.

Что же обнаружилось помимо всего, и что заставило Багрова присмотреться к тому зеркалу души, к экрану компьютера, как сказал бы поэт Юнусов. Полное отсутствие женщин как таковых в жизненной плоскости Багрова. Собственно говоря, они были, и было их количество, как говорят те, кто хочет нас подразнить. Но это количество не имело некоторого качества, а именно качества истинно женского, того, что дает мужчине право называть женщину своей и блаженно щуриться где-нибудь в командировке, рассказывая при этом анекдоты об аналогичной ситуации — он-то знает, что его благоверная не такова, поскольку не могут рука и нога совершать самопроизвольные движения помимо воли хозяина или мозга. И теперь Багров с ужасом наблюдал, как по его лицу пробегает мелкая дрожь, быстрый такой танец, сигнализирующий всем встречным женщинам нечто такое, отчего они шарахались во все триста сторон существования собственной души.

ТАЙНАЯ, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТА МУНИРА

Говорить об этом человеке теперь, после того как прошло много-много лет, полных какой-то внутренней жизни, к которой он не имел никакого от-

ношения, говорить о нём занятие если не постыдное, то лишённое какой-либо целесообразности, хотя бы и политической или житейской. И в этом есть правда, если не сермяжная или какая другая, вбирающая в себя все остальные правды, то в этом нет эстетики, а эстетика, быть может, самое главное, что остаётся от жизни того или иного человека, перевоплотившегося в персонаж творческой жизни.

И вот после этого давайте начнём перелопачивать его жизнь с точки зрения, к примеру, бывшей его жены, получившей недавно за издание собрания его сочинений в районной типографии что-то около трёх или пяти миллионов рублей гонорара, что сумма убийственная для населения нашего, не получающего мизерные свои пенсии и зарплаты по полугоду и более. Или правда его сотоварищей по цеху, бедных журналистов-поэтов, кто пописывал и продолжает пописывать стишки, они побивают своим умершим коллегой тех или того, кто поудачливей, кто живёт в самой Уфе, имеет квартиру-хрущёвку в Черниковке да работает в многотиражке завода МВД. Глупо, и грустно, и печально, как сон, который никак не кончится.

Сообщали о нем люди, близко знавшие его, не очень хорошо знавшие его и совсем не знавшие поэта Мунира, самые разные о нём вещи, самые разные. Это повторение рождено некоторым чувством неуверенности, тем более понятным, если принять во внимание, что описание жизни любого поэта, вообще говоря, не подчиняется статистике. Жизнь любого поэта в пересказе любого автора есть собрание анекдотов и перечень книг, изданных сим товарищем, и свидетельства его популярности.

Вот и всё. И было бы глупо, если бы это было не так — кого, собственно, интересует, что там сказал господин Н о господине Б или о качестве еды в ближайшей районной столовой, — всё это скучно, когда не вписано в концепцию таинственности и вязкой неправды жизни. Собственно, сегодня, когда всё так хорошо устоялось, потребность в изменении восприятия мифа поэта может быть обоснована только тем, что выросло новое поколение, которое не нашло себе иного кумира, как сделать себе кумира из старого кумира. А это куда сложнее, чем повторять одно и то же изо дня в день и из строки в строку. Тогда, быть может, и понадобятся те скудные сведения о господине Мунире, которыми поделились с нами респонденты и которые я изложу вкратце, без претензии на монографичность и новый миф:

— Жил когда-то один человек в местах, где всё прекрасное было создано Богом, а всё отвратительное и недолговечное — человеком. Поэтому он не хотел работать, а только писал стихи и делал детей — лишь это казалось ему достойным жизни вечной. И когда окружавшие его люди отказали ему в куске хлеба, чтобы насытиться, в куске ткани, чтобы прикрыть свои чресла, и в крыше над головой, он посчитал свою миссию выполненной и тихо повесился в стенном шкафу недорогого номера гостиницы "Агидель" в городе Уфе.

НЕИЗВЕСТНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК СОМНЕВАЕТСЯ В ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ВЕЩАХ

В редакцию газеты, называть которую нет смысла, пришёл молодой человек и стал говорить об авторе поэмы "Инде" в тоне, который совершенно недопустим, когда речь идёт о произведениях этого класса.

Он сомневался во всём, начиная, с того, что автором этой поэмы был господин Искандар Искандар, сын покойного поэта Искандара, который и сам был сыном поэта, но менее знаменитого, ибо жил до семнадцатого года и несколько лет спустя; он сомневался в том, что написан этот текст на самом лучшем диалекте языка, а именно еенском, достойные представители которого в массе своей работали в нашей газете, он сомневался, наконец, в том, что автором поэмы был покойный поэт Мунир, о чём шли упорные слухи, причём говорил, что сей товарищ вовсе не умер от сердечной недостаточности, а покончил с собой в шкафу гостиницы "Башкортостан", или "Башкирия", как он предпочитал её называть.

Мы были поражены, мы потребовали от колебателя основ удалиться, принеся всевозможные извинения и назвав свое имя, род занятий, откуда он родом и кто его родители. Каково было наше удивление, когда этот наглец оказался сыном самого Искандара Искандара. о существовании которого шли многолетние слухи, резко опровергаемые поэтом.

До чего дошёл мир, что же делать теперь, с этими словами работники редакции разошлись по своим кабинетам, а молодой человек ещё долго кричал в коридоре ужасные вещи, повторять которые грех более смертельный, чем совокупление с несовершеннолетними.

Впрочем, из обрывков его уже невнятных бормотаний сквозь смирительную рубашку, в которую заточили его работники психиатрической службы, вызванные его отцом, которому не преминули сообщить о всех подробностях сего прискорбного события, можно было составить ужасную совершенно вещь – что поэму никто никогда не писал, она существовала всегда сама по себе, пока её не присвоили предприимчивые люди, которые передавали авторство по наследству. И долго ещё было неспокойно на душе, работники ходили понурые и размягчённые, как после вызова на ковёр, но после некоторых мер, принятых вышестоящими органами, всё встало на свои места и получило привычные объяснения. И то правда — разве не мы хозяева своей судьбы и разве солнце, которое встаёт по утрам, не дело рук главы администрации района?

БАГРОВ РАЗМЫШЛЯЕТ О ВЕЧНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯХ

—Куда ни взгляни, повсюду одни тараканы, — всё более и более распалялся Багров, несмотря на избитость темы, её поразительную перекличку с известной серией дворовых куплетов и собственную невозмутимость, прове-

ренную годами. — Куда ни взгляни, в какую квартиру ни войди — повсюду тараканы, преграду которым не может составить никакая чистоплотность, не говоря о любви к препаратам. Что же такое получается — мы воюем, соблюдаем чистоту, а они размножаются?

Возьмём, к примеру, еврейских мудрецов, а точнее говоря, пророков, как было и заповедано в десяти, пардон за тавтологию, заповедях, несмотря на отдельные ошибки и промахи, несмотря на некоторое разнообразие людского поведения и предпочтения, люди всё-таки ведут себя более или менее прилично. Никто не прелюбодействует, хотя бы на людях, никто не убивает, кроме как легитимно или вынужденно, а убиты всегда оказываются наихудшие представители рода человеческого, так что это, как ни крути, селекция, ну там насчёт воровства и коррупции тоже успехи, вообще говоря, налицо, а уж насчёт, всё насчёт да насчёт, в общем, возлюбили мы брата своего ближнего, предварительно разлюбив его, конечно, так возлюбили, спору нет. И только на фронте одной-единственной заповеди мы не продвинулись ни на шаг, ни на йоту, ни на милю, ни на версту — как водились тараканы в крупнейших городах, так они и водятся. Что же тогда получается — во всём преуспели древние пророки и мудрецы, а в одном они оказались не правы? Соблюдай чистоту или не соблюдай, тараканы вечны.

Багров передохнул, стёр немного слюны, образовавшейся в углу рта, и посмотрел на Себастьяна, у которого сидел в гостях.

Потом, как само собой разумеющееся, он выпил рюмочку водки, которая ждала его всё время монолога или диалога, тут как посмотреть, и, собственно, тем исчерпал всю свою негативную энергию, накопившуюся у него за долгие дни рабочей недели.

В узком проёме, где находились двери на балкон, что-то забрезжило, что-то изменилось, показало свои белесые такие зубки — это заря возвращалась после некоторого отсутствия на землю, после того, как она провела некоторое время на оборотной стороне земли, там, где, по преданию, живут антиподы, где в ихних антигородах живут всякие такие анти.

Что-то зашуршало и на кухне, видимо, это были тараканы, пережидавшие бурную филиппику, которая всегда по определению бывает бурной, правда, на этот раз она не дошла до решительных действий, Багров сказал бы "до погромов", когда бы не боялся обидеть евреев, давным-давно приватизировавших это словечко. Была тишина, перемежаемая чем-то, были слова ещё и ещё был какой-то сон, и были сны, и была жизнь, такая, какая она есть, и какой она видится, и было неясно, где они переходят одна в другую, если этот переход вообще когда-нибудь происходит, если это не разные совершенно вещи, как тонкие нити в небе и на земле, которые держат всё вокруг, чтобы ничто не расплывалось, а продолжало покоиться в мире и согласии, и в некоем движении, которое называется вовсе не жизнью, а действительностью, и вот, боюсь, что от неё до антипода её куда как ближе, чем до планет различных систем или же до ближнего своего.

МЫСЛИ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ ВСЕГО

...тёмной ночью, посреди если не мироздания, то общежития работников искусства, иначе говоря, коллег, что думается мне печальным сердцем и головой, одурманенной телевизором, компьютером и другими средствами электронного облучения мозга? Просто печаль посетила моё сердце, просто усталость от существования, скука её ежедневности, обыденности, скука человека, который так долго пытался сделать из себя примерного, приличного человека, что, боюсь, это мне удалось. Уже не хочется ничего, ничто не привлекает меня к жизни, а всё просчитывается спинным уже мозгом, насколько интересно что-нибудь в плане даже не материальном, а материалистическом таком. Скучно, иначе говоря, скучно.

Настолько скучно, что иногда хочется устроить что-то из ряда вон выходящее, посмотреть, что будет, если сделаешь поступок необратимый, безвозвратный, чего не сохранишь в памяти компьютерами не переиграешь, хотя всё может быть, практически всё. Такова оставшаяся мне территория человека, которую следует увеличивать и увеличивать, потому что уменьшать уже некуда. Когда посмотришь холодно и внимательно на происходящее вокруг, если не в тебе, то штука эта вовсе не печальная, а суетливая, и отследить, уследить то мгновение, когда всё преображается под волшебными лучами жизни, говоря извечные пошлости, удаётся нечасто.

Нечасто, друг мой, и в этом нет эстетики, нет места удивлению или досаде, чувствам вполне извинительным, как привычным, но нет места и тому, что называется любовью к ближнему своему, любовью, которой просто не существует в тех пределах, в которых ты расположен сейчас. Я расширяюсь до пределов невообразимых, далее которых только смерть, или жизнь, что одно и то же, мой друг, с определённой точки зрения, но точка зрения предполагает способ существования если не души, то хотя бы белковых тел.

НЕКОТОРАЯ ПЕЧАЛЬ ОТСУТСТВИЯ ДЕНЕГ

Если продолжать жить, не желая менять своего отношения к миру или людям каждые полтора или два часа, в зависимости от фактов, которыми питает жизнь, то надо отказаться от причинно-следственной связи если не вообще, то в каких-то её проявлениях. Например, современных. Собственно, теперь, когда прошло года два, или три, или четыре, когда пишущий эти самые строчки живёт в другом городе и возможность покинуть его хотя бы на время тает с ужасающей быстротой, так ли уж важно, кто это был, эта девушка, как её звали, и каким таким образом можно её отыскать на звезде, на Венере, при помощи местной поисковой системы. Неважно, говорю я вам.

Тем более неважно, как мы познакомились, чего хотели друг от друга, я здесь говорю только об одном. Изредка мы виделись с нею на главных площадях столицы, созвонившись едва ли не за неделю и перезвонившись с самого утра, потом бродили часа полтора, пока некоторые признаки голода и

холода не загоняли нас в какое-нибудь кафе. И вот пока мы ходили по этим улицам, медленно менявшимся в сторону все более и более чёткого разграничения людей по имущественному признаку, она рассказывала мне, как много мужчин предлагают ей деньги за то, чтобы провести с нею ночь. Называлась сумма то одна, то другая, это всё была иностранная валюта, только-только входившая в моду на всех просторах нашей родины, погибшего ссср, и ради чего сообщалось всё это — теперь уже не понять, как не понять это было тогда.

Есть несколько версий, простых, как психоанализ, и можно перечислить их все и выбрать ту, что более всего по душе. Но странно думать, что человек может сузиться до подобной мелочишки в те времена, когда вокруг идут космические войны и в воздухе явственно видны интерьеры компьютерной игры дум.

Человек не сводится к простой причине своих проявлений, плохому гороскопу, желанию заработать три рубля перепродажей своей души или родины как таковой. Просто достаточно подумать о деньгах один раз, чтобы думать о них постоянно. И это достаточный вывод, когда вы хотите его.

РОБЕРТ БИГЛОВ ГОВОРИТ О ВЕЩАХ, ПОНИМАНИЕ КОТОРЫХ НЕ СВЯЗАНО ПРЯМО НИ С ЧЕМ

Он обладал талантом порождать всё что угодно, начиная с детей и кончая общественными постройками. Его слова с лёгкостью воплощались в дела. Казалось, что это языческий бог явился в мир и смотрит на его несовершенство глазами, полными смеха и неподдельного олимпийского веселья. Его обаяние, поражавшее насмерть всякого, кто сталкивался с ним, было вправду нечеловеческим — только боги умеют так обделывать свои дела, недоступные пониманию смертного человека, что просто восхищение в глупой твоей голове, обалдевшей от лёгкости воплощённого на твоих глазах, легкости тем более непостижимой, что кажется она доступной и тебе самому.

Но его порождения, ещё секунду назад бывшие всего лишь словом, всего лишь мыслью, промелькнувшей в его голове, а теперь воплощенные в плоть и кровь, никак не могли обрести эту самую лёгкость и примириться с тяжестью существования, тем более непонятного в присутствии того, кто обладал ею, не прилагая к этому никаких усилий. Нечто, созданное по образцу и подобию, устремилось к оригиналу в надежде стать оригиналом, сказали бы мы, если бы не убийственный мазохизм.

Вначале это забавляло его, но постепенно, когда его порождения стали множиться, и окружать его пёстрой толпой, и пить его внимание, и требовать его любви более, чем ушло на их сотворение, он стал удаляться от них, пока не покинул их вовсе.

Есть некое место, куда можно попасть, если долго петлять между гор. Есть некий объект, который содержит в себе того, кто покинул всех, включая меня самого. Я знаю — он выполнил свой долг в ту минуту, когда сотворил

меня, с той самой минуты он был свободен от каких-либо обязательств по отношению ко мне. И мне жаль, что я не понял этого раньше, или мне жаль, что я понял это сейчас, или мне жаль, что я понял это когда-нибудь вообще.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Некоторым способом, говорить о котором не очень хочется, в наши руки попали труды господина Багрова, который, как известно, подвизался на ниве журналистики. Хотелось бы читателю самому предоставить судить, насколько они были успешными и насколько был прав издатель, помещая их в текст, и без того насыщенный реалиями нашего времени.

ЗАМЕТКА В ЧЕСТЬ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

Привередливый читатель газет с его привычкой к определённым именам и определённым реакциям на события всегда, разумеется, прав, потому что любое изменение есть изменение как расклада сил, так и всей жизни в целом. Глупо просыпаться рано утром и, вместо привычной чашечки кофе и похода на работу, подсчитывать оставшиеся деньги и думать, когда дадут зарплату за прошлую жизнь.

Но есть, есть Божий суд, несколько отличный от сложившихся реноме и паблисити, что бы ни означали эти иностранные, непривычные слуху нашего человека, слова, и это радует больше, чем всякое изменение привычной жизни на непривычную или плюралистичную, скажем так, чтобы не обижать тех, кто приобрёл новую власть, теперь уже над нашими телами, взамен владычества над мыслями и думами всех нас. Существует то, что называется работа, и по справедливому утверждению той, кто не любит, чтобы её имя фигурировало в газетах, повторенное вслед за тем, чьё имя беспредельно, работа не должна нравиться. Нет особой разницы, о какой такой идет речь работе — то ли это передовая ферма, то ли это театр — везде есть начальники, везде есть подчинённые, и каждый раз надо вставать и идти, и закидывать свой невод, И ВЫТАСКИВАТЬ СВОЮ РЫБУ. Такова, собственно, жизнь.

И можно таким вот образом прожить всю свою жизнь на халяву, попавши на тёплое местечко благодаря тому или иному обстоятельству, радоваться мелким своим удачам, выслушивать похвалы, непременно лицемерные, поскольку люди вокруг тоже, знаете, свою выгоду блюдут, по Карнеги, знаете ли, по нему самому. Но, кроме мелких выгод и лицемерия, есть у человека душа, и она откликается на подлинное, а не мнимое и откликается независимо ни от чего, этот отклик есть самое драгоценное, быть может, не для того, кто вызвал этот отклик, а для того, чья душа встрепенулась и ощутила нечто, что трудно выразить словом или двумя или даже всеми вообще. И всё это, быть может, так, послесловие к радости, которую я испытал на премьере в театре Оперы и Балета, на "Пиковой даме" 14 декабря. Не всё, не всё, но

было два или три момента, за которые примите моё почтение, господа артисты и артистки и господа, сработавшие всё.

СЛАБОЕ УТЕШЕНИЕ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ

Когда поймёшь умом некоторые вещи, становится если не страшно, то объяснимо, и некий цинизм предприятия уже не холодит душу — так надо, брат Александр.

Понятие "культура" и "культурная политика" можно истолковать очень и очень просто, если этого хотеть. А вот как — существуют потребности и существуют различные пути их удовлетворения. Если посмотреть внимательно и не обнаружить ничего, что напоминало бы путь, ясный и прямой, то это называется эклектика. Этим словом можно объяснить многое, например, почему что-то поддерживается наряду вот с этим, несовместимым ни в какой мере. Жизнь, вообще говоря, много шире любой культуры, в ней спокойно живут волки и овцы, крокодилы и бегемоты, вера и безверие, колбаса за три рубля и за четыре доллара. Даже самый стиль такой подмигивающий, он тоже существует, когда есть и другие стили — например, говорящий всё прямо. Как оно есть. Как бы.

Так что выбери маску и говори с людьми, кто-то откликнется, кто-то увидит столб, бывший когда-то человеком, кто-то воскликнет — красиво, понимаешь. А так — разве поймёшь, какое нечто движется и принимает разные формы, ещё небывалые нигде. Поддержка — это вам не фунт изюма в базарный день.

ЧУДОВИЩНОСТЬ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Независимо от человеческих существ и степени их величия существует нечто, потому и независимое, что не существует само по себе, а рождается как характеристика чего-то, превышающего силу авторитетов. Однако не будем таинственны, а скажем прямо, что можно выделить определенные эстетические категории для любого сообщества, помогающие понять, почему те или иные произведения искусства, живописи и архитектуры пользуются популярностью, тогда как другие пропадают в полной безвестности. Чтобы произведение любого автора попало в свет, нужно, чтобы оно прошло через сеть личных пристрастий, амбиций, уровня образованности, уровня авторитетности. Невозможно чему-либо выйти в свет, если будет против хотя бы дворник или секретарь обкома партии, надо вам прямо заметить. Поэтому любое произведение является не простым обрубком, прошедшим сквозь прокрустово ложе своеобычного эстетизма, а консенсусным, то есть против него не возражают все участники процесса выпуска чего-либо в печать, произведения то есть. Итак, ясно одно: нужна или есть консенсусность, как бы коряво это ни звучало. Однако это говорит о характере интеллектуального сообщест-

ва Уфы, а не о качестве самого произведения, не о его направленности. Художественного качества, конечно.

Рассмотрим, о чём говорят между собой интеллектуалы города Уфы, как они вычленяют отношение друг друга к одному сообществу, как интерпретируют деятельность других членов своего сообщества? Выясняется удивительная вещь. Картина предстаёт такой, как если бы не имелось никакого сообщества, хотя все писатели — они вроде бы писатели и принадлежат к одной социальной прослойке, не так ли? Однако все разговоры неумолимо сводятся к тому, что собеседники дезавуируют принадлежность третьего к тому же социальному слою и т.д., то есть любые два, скажем, литератора только тогда литераторы, когда они говорят друг с другом и участвуют в диалоге, а когда они прекращают диалог, то превращаются в кого угодно и т.д. Отсюда надо заметить, что объединяющий принцип лежит всё-таки не внутри сообщества, а отдельно от него. Потому что сообщество-то виртуальное, а не настоящее, объединенное общими целями и задачами.

Итак, как мне кажется, есть только одна эстетическая категория, которая характеризует сообщество интеллектуального слоя — чудовищность. Я хотел бы заметить, что любое произведение неважно какого рода искусств выходит в свет, только если оно чудовищно — то ли в нём высказываются мысли, крайне далёкие от современности, то ли просто автор не знает, что в русском языке есть определённые правила, то ли автор вообще не знает, что пишет на русском языке, у которого, худо-бедно, есть какие-то традиции, да и писателей тьма на нём писало, то ли что ещё — перечислять, к чему может быть обращена чудовищность, в чём она проявляется, мой бедный разум отказывается. Она неумолима, как постановление.

И это печально, как сон, как тысячи снов, как миллион газетных страниц, полных стихов, рассказов и критических статей.

ЭКЛЕКТИКА. НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Любой из нас, мало-мальски помнящий учебники литературы или истории, знает, что когда дело касается того или иного отрезка времени, в ход идут определения главенствующего стиля эпохи — то ли это барокко, то ли это классицизм, то ли, стало быть, модернизм. Попытки назвать наше время временем постмодернизма потерпели крах — трудовые массы деятелей искусства никак не хотят пользоваться этим термином, и мало-мальское начальство также опасается его применять, обнаруживая незаурядное эстетическое чутьё.

Попробуем же мы попытаться определить, каков же главенствующий стиль нашей эпохи, опираясь на знание процесса производства художественных ценностей в такой немаловажной области, как театр, и в такой республике, как Башкортостан. Спектакль делает не один человек, истина эта общеизвестна. Но до сей поры никто не определял эстетическую программу спектакля, его главную мысль, кроме режиссёра.

Ему принадлежало определение, что такое хорошо, а что такое плохо. Многочисленные примеры вмешательства партийных органов только подтверждают эту мысль — когда бы партия держала усё под контролем, то не надо было бы что-то запрещать, всё подавлялось бы в зародыше. Не то сейчас — сейчас каждый участник процесса получил возможность вмешиваться в святая святых — эстетику спектакля. Примеров более чем достаточно — актёры забывают текст и несут отсебятину, осветители напиваются и светят не туда, гримёры опаздывают или они с бодуна, автор пьесы ничего не хочет слушать, он нашёл спонсора, а спонсор хочет снять со спектакля одну актрису — она ему не нравится (или нравится). Всё это, конечно, инструменты влияния, дело же в том тотальном размывании иерархии вообще и театральной, художественной иерархии, в частности. В этих условиях, конечно же, режиссёр и работник штаба по проведению фестиваля равны и оба отвечают за концепцию спектакля или фестиваля. Этим же объясняются и многочисленные повторяющиеся славословия в адрес правительства и министерства культуры — без них спектаклей не было бы вообще, боюсь, что только им и нужны спектакли в наше время, то есть они выступают в качестве потребителя художественной продукции — явление доселе в культуре небывалое. При тоталитарном режиме продукция всё-таки предназначалась жаждущим массам.

В такой ситуации, когда нет места чистоте стиля, но нет места и эклектике — эклектика подразумевает смесь чистых стилей в определённых пропорциях, — имеет место быть, на наш взгляд, реальное искусство. Как был реальный социализм, так теперь существует реальное искусство — искусство, прошедшее не через одного режиссёра, а сумма, месиво воль, определение уфимского поэта Эдика Смирнова.

НАСкритика
Из писем редактору

И.В. РАКУШЕВ, Уфа:

«Так случилось, что мне попали сразу пять номеров Вашего журнала. Прочёл их с интересом, местами - с удовольствием, и захотелось поделиться впечатлениями о журнальной прозе.

«Богатырша» Гиззатуллиной - пример того, как последним штрихом можно испортить весь долгий рисунок. Вместе с Тимербулатем повесился сам рассказ. Логика повествования вела не к трагедии, а к фарсу - тщедушный, униженный муж просто избил бы свою глупую жену. Видимо, автору показалось, что негоже бить героиню народного эпоса после её, такой символической, победы.

«Узор ковра» Искандарова по языку и стилю восходит к историко-этнографической справке. Пушкин появляется так же неожиданно, как исчезает предыдущий Тимербулат. Автору не откажешь в кусочке психологизма - похож брат Пушкин. Этакая восторженная девица, взятая мужчинами на охо-

ту, - возбудившись, с визгом выскочила из-за кустов, пырнула удивлённого зверя и была под ручки увлечена назад... По дурной привычке искать скрытый смысл там, где он, возможно, и не планировался, предположу: руками автора «Кирджали» Искандаров обрубил африканские корни русской литературы.

Касымов пишет, словно говорит. Его тексты живут: хватают за рукав, сердятся. Издеваются. Они то хитры, то простодушны. Часто его рукою водит литературно-географический патриотизм, обида за своих (правда, эта своячностъ довольно ситуативна, и защищаемый сегодня завтра - сам объект критики). «Пешком в Ваймар» прогулялся с удовольствием, но по дороге встретил яму, начинающуюся словами: «В 1970 году я оказался в Ваймаре». Наверное, автору очень хотелось сообщить, что Германию он знает не только по книгам. Даже язык вставки не касымовский - скорее кудашевский.

Кудашев - в преддверии литературы. Пишет, но торопливо. Надкусили, бросили. Могу, но нет времени. Хотя на «Рассказ для детей» время нашлось. Детская мечта разработана много детальнее, чем сюжет, из которого у Достоевского получился роман. Может, потому, что в одном случае Кудашев знал, о чём писал, а в другом только предполагая?

Охотничьи байки Максимова - хорошая проза. Она явственно перекликается с рассказами художника Коровина, но подозрений в подражательстве не вызывает. Наверное, язык любви к среднерусской природе именно таков. Подряд и в большом количестве это может наскучить, но если понемногу, то лучшего отдыха, чем прогулки с Максимовым, читающему трудно пожелать.

Фролов - странный жанр литературной математики. Ассоциации: вторая или третья производные, искусственные цветы, езда по снегу на велосипеде, миттельшпиль из партии Фишера. Водит читателя по своей зоне, как сталкер, не показывая явной цели. Читатель устаёт, но не возражает, чтобы не оказаться в дураках. «На охоте» отягощен философско-поэтическим довеском в конце, ничего не дающим...»

Светлана КУКАРИНА, Уфа:

«Из всех трёх номеров журнала, которые я имела удовольствие прочитать, привлекли моё внимание три произведения. Это «Богатырша» Г. Гиззатуллиной, «Бегущая строка» А. Касымова, «Смотритель» И. Фролова.

Мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями по поводу рассказа Игоря Фролова «Смотритель» в № 3. Удивительная вещь. Вроде бы полная бессмыслица по содержанию. Но это только первый и неверный взгляд. Произведение как бы напоено своеобразной музыкой. Этот рассказ без начала и конца, как песня акына, но так же, как песня акына, он рождает в душе какой-то носталъгически-биологически-медицинско- весенне-осенний настрой. Если, например, рассказ «Богатырша» предельно точен в смысловом контексте (вроде бы незамысловатая история о доброй большой женщине и её недалёком тщедушном муже, страдающем комплексом неполноценности, приведшим его, в конце концов, к трагическому исходу), очень мастерски написан,

оставляет впечатление целостной истории с логическим началом и концом; то «Смотритель» - это нечто совсем иное. Это - таинственный аромат, который вдыхаешь, под влиянием которого человек, наделённый поэтическим воображением, захочет поделиться чем-то своим, может, даже поэмой.

Этот рассказ не перескажешь. Возможно, другой человек, прочитавший его, увидит здесь что-то другое, что-то своё. Может, ему вспомнятся детские затаенные мечты типа: «В один прекрасный момент я открываю глаза, а на целом свете никого нет, кроме меня», - что-то бредбериевское из «Марсианских хроник». Это - мечта о гармонии, своей второй половине. Но если мужчина мечтает сам её создать (ведь в мире нашем так много несовершенства и, с практической точки зрения, хочется, чтобы у любимой была не только чистая и добрая душа, но и идеальные формы, доставляющие как эстетическое, так и физическое удовольствие; а часто у любимой либо ножки кривоваты, либо шейка толстовата, либо бюст не от Венеры Милосской), то женщина мечтает о вполне конкретном герое, красивом, физически сильном, как лев, интеллектуально превосходящем всех и вся, который найдёт её, единственную, в полном одиночества мире.

Особенно хорошо в «Смотрителе» самое начало - о том, как «юная колдунья загадала себе перемену мест». Пленительное очарование слов, ветер простора и странствий, бродящий в душе неиспорченных цивилизацией пятнадцатилетних. Мир слов, переходящих в запахи, мир, ткущий нежную музыку в душе, заставляющий жалеть об утраченном мире, о додинозавровом времени. Так, придя в лес и увидев современный хвощ или папоротник, мечтаешь о днях давно ушедших, древняя память (так чётко описанная И. Ефремовым в «Лезвии бритвы») услужливо распахивает картины доисторических лесов, где ты с удивлением и восторгом смотришь вверх на гигантский папоротник или хвощ-исполин. И с грустью глядишь на этот pteridium aquilinum - жалкий модернизированный огрызок давно ушедшей эпохи.

И ещё мне интересно упоминание об «отрицательном резусе как инородном теле». Люди любят свой отрицательный резус, свою непохожесть на остальных девять десятых человечества. Об отрицательном резусе можно сочинять целые поэмы, ласково баюкая свою непохожесть, создавая клубы поэтов-отрицательнорезусников. Узнавая своих собратьев-отрицателъников, человек проникается к ним такой братской любовью, ставя их на один с собой уровень, на один уровень со своей «голубой» неземной кровью. Удивительная загадка матушки-природы: зачем она так сделала, зачем нужны четыре группы крови и, тем более, отрицательный резус. Зачем она наградила отсутствием белка полмиллиарда людей из пяти миллиардов, живущих на этой планете? Удивительная, непостижимо-поэтическая загадка, и одна из попыток решить ее принадлежит «Смотрителю».

Стук яблок, «которые падают ночами», «перламутровые перья, алая кровь - и солнце», «легкий профиль принцессы на полях» - это декоративно, это даже как бы красиво, в этом - даже элемент любования своим мастерством слова, перетекающего в настроение».

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ

ИЗ КНИГИ «ПЕНТАГРАММЫ»

* * *

Здесь ничего не даст античных стёкол
Сцепление в гудящих небесах,
Где гонит бубенец ненастный сокол
На пёстрых растопыренных весах,
Не пособит алтарь алгебраиста,
Бессмысленна массивная шкала
Астролога, тем более — баллиста,
Тугая, как татарская скула.
Здесь опыт мёртв и невозможна школа.
Все планы лгут, отравлена вода,
Мысль обладает весом ледокола
И тайный срок слоится как слюда...
Прекрасный мир полуденного бреда!
Пройти тебя — не значит умереть,
Но каждая совместная победа
Лишь памяти растягивает сеть.
Помстившаяся новою сноровка
С рождения заложена в ладонь,
И тем нежней ручная полировка,
Чем беспощадней внутренний огонь.

* * *

В частых бурунах опутаны пряжей корыта,
Жёлтые ребра в лучах источают смолу.
Тёмной ладонью торговая гавань открыта —
К ней океан отдаёт корабли в кабалу.
Кто это берегом шествует в белых нарядах?
Чьи силуэты прожгла золотистая нить?
Много зерна накопилось в распахнутых складах:
Станут его невысоко сегодня ценить.
Кто это там на борту преклоняет колена,
Знаменьем крестным себя осенив широко?
Вспучила трюмы весёлая тайна обмена,
Пушки дымят, и полощутся флаги легко.
Кто это в чёрном стоит на воздушном балконе?
Чьих вееров махаоны трепещут у лиц?
Взрывы в глазах моряка! — и потеют ладони:
Скоро ли ночь с мириадами шпилек и спиц?
Торг изобильный сулит суета на причалах,

Скрежет летящих цепей будоражит купца...
Радостный миг! И на этих прекрасных началах
Будем стоять до конца. До какого конца?

* * *

Не милы мне покатые стены
Предстоящих судьбе городов,
Округлённые кладкой морены
И морёные плахи дубов.
Здесь начало той самой печали,
Что сквозила из тонких щелей,
Незаметно вплывая вначале
Под обшивкой чужих кораблей.
Здесь и сумерек южных отрава,
Вопиющая в белых цветах,
Залюбившая в прах Святослава,
Промелькнувшая тенью в веках.
Не милы мне скалистые броды
На подходе к высоким мостам,
Сколько б ни было брызг и свободы
В ясный воздух разбросано там.
Как бы душу ни грели всечасно
Подтвержденьем дарованных прав,
Только смерть весела и прекрасна —
К этим тёплым ступеням припав.

* * *

Мне кажется, что детства моего
Устроенное доброе пространство
Находится, конечно, в прошлом веке,
У Чернышёва, может быть, моста.
Там снег и мех, и множество деревьев
Разбрасывают в звонкий воздух ветви,
И стройные фасады мягким светом
В воскресный день легко озарены.
В воскресный день в распахнутой прихожей
Там девочек в цигейковые шубки,
Двойняшек, одевает гувернантка
И за руки по воздуху ведёт.
Скрипят ремни, рессоры и полозья
Усилием лоснящихся лошадок,
Объятых паром свежего дыханья.
Вперёд, вперёд! Куда как хорошо!
За строчкой строчку толстого романа

жадными глазами пробегаю,
Не принимая вечных окончаний,
Не чувствуя стремительной судьбы.

* * *

Раб медной лампы — на свободе.
Простосердечный Аладдин
Оленьих глаз с него не сводит
В плену волшебных величин;
Слепящим пламенем желаний
Разбудоражен и смущён,
Вступает в мраморные бани
С толпой великолепных жён;
Одним движением ленивым
Треножит скользкую судьбу;
Переча слугам торопливым,
Мирволит дивному рабу;
Плоды загорные вкушает,
Вдыхает райский аромат;
Восторг возлюбленным внушает,
Кидая благосклонный взгляд.
Он молод: жизнь его не старит,
Но где-то — помнится едва —
Магрибский дервиш травы варит
И шепчет страшные слова...

* * *

Обогащенье сулит обнищанье —
Это кольцо не имеет просвета.
Хочется верить, что не на прощанье
Наша прекрасная песенка спета.
Хочется в лунных продуманных фазах
Двигаться долго, до Нового года.
Полно, не надобно неба в алмазах —
Что за, ей-богу, холодная кода!
Хочется видеть не строй и не стадо,
Не индустрии железо и масло —
Лица в ветвях непролазного сада,
Грудью припав на плетёное прясло.
Хочется верить, и хочется видеть,
Двигаться, вовсе не ведая боли.
Видимо, я не смогу ненавидеть —
Стало быть, стану любить поневоле.
За обнищанием обогащенье

Шествует самодовольно и чинно.
Хочется верить, что наше спасенье
Безотносительно и беспричинно.

* * *

Уже везут в грузовике заиндевелых ёлок,
Уже извечен снегопад и вымерожен в пыль,
На льду, круженье посрамив, преобладает волок,
А на базаре за цветы — раскрашенный ковыль.
Как Дед Мороз без бороды, с привычного плаката
Тов. Брежнев радостно сулит обильные дары.
Нам отпускают шоколад совковою лопатой
И грузят в полиэтилен зеркальные шары.
Уже стемнело, но вполне движенье безопасно:
Беспечно шубы распахнув, мы под гору — домой.
Сквозь воздух звёзды декабря просвечивают ясно,
Кругом — хохочут и поют довольные собой.
Часы подталкивают ход решающих мгновений,
Ты нарезаешь лук в салат, а смотришь на меня,
Порезалась — и брызжет кровь на противень пельменей.
Не плачь, до свадьбы заживет — ещё четыре дня.
Гостей троллейбусы несут — с каким восторгом детским
И телевизор всё бодрей к столу торопит нас.
Шампанское не может быть, казалось, не Советским —
Особенно когда часы пробьют двенадцать раз.

* * *

О, тряпками сгущающие тени
Прелестные протирщицы полов!
Их движитель, величественный гений,
Заслуживает музыки и слов.
Особенно, особенно в июле,
Когда лучи косые золотят
Столбами пыль в просторном вестибюле
И в вёдрах отражается закат;
Когда луна светящиеся жабры
Раздует, затевая поворот,
И струями тяжёлыми со швабры
Расплавленное серебро польет.
В итоге всех расчётливых движений
Без помощи винта или крыла
Уборщицы казённых помещений
Летят из тьмы в чём мать их родила
И песней коридоры оглашают,

Вокруг огнетушителей кружа —
Ни лампы им, ни тумбы не мешают,
Ни спящие на вахте сторожа.

* * *

И только мысли о пощаде
Вершат кружение голов,
Продленья, продолженья ради
Рождая сопряженье слов
И снов, сбывающихся чудно,
Пока не беспробудна страсть
И состраданье обоюдно,
И негде яблоку упасть:
Базар в покоях Шахрияра —
Шальная прибыль, говор слуг,
Случаются — за парой пара,
Проносятся — за другом друг.
Но тучи снежные наводит
Намеренно ленивый жест —
И вдруг обманом речь уходит
От самых интересных мест...
То смехом царь времен зальётся,
То слёзы вытрет невзначай,
И что ни полночь — раздаётся:
"Я дозволяю. Продолжай."

ФЕРМОПИЛЫ

Триста отчизны простор запирают собой,
В грусти свирепой застыв у последней заставы.
Шелестом тропы торопят: "Пора тебе, Ксеркс!"
Трупы ему не претят — к бою выпростал стяги.
С грохотом ставят ступни, за отрядом отряд,
Златом блестят, как персты степенного перса...
Серпом по перстам — спартанцы стригут наступленье
Версту за верстой. Стой крепостью, натиск терпи!
У монстра в горсти нам ли испытывать страх?
Ступай по стерне против шерсти
Стерхом костистым смерть несть,
Струпьями в пасти царя стань,
Перстом его ступы стеклянной,
Пастырем стада зубастым,
В страстной постели простудой!
Пусть потрясёт твоя месть преступный престол!

Вскроет, растравит, раздернет
Старую стылую рану!
Мсти неотступно с восторгом до хруста в кости!
Мсти за позор матерей и сестёр наших насмерть простёртых
Пусть не стихают стук и треск и скрежет зубовный!
Пусть в исступленьи стенает гривастая стая!
Есть гнев, стало быть, есть у Зевса прекрасная злость
На сытых эллинским мясом до рвоты!
Охолости нечестивцев!
Пусть пустеют их чресла!
Пасть им судьба и кустами ползти,
Глотая песок и кусая уста себе в кровь!

СУТОЛОКА
УФА/1997/6

Иосиф ГАЛЬПЕРИН. Струнный квартет.....2
Айдар ХУСАИНОВ. Фрагменты из романа "Аждаха".....3
НАСкритика. И.В. РАКУШЕВ, Светлана КУКАРИНА.....13
Аркадий ЗАСТЫРЕЦ. Из книги "Пентаграммы".....15

Наш журнал выходит при техническом содействии редакции газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА ".

Филарет ШАГАБУТДИНОВ
Филарет Хадиевич Шагабутдинов родился в 1947 году. Участник республиканских, зональных и российских выставок.
В журнале представлены следующие работы художника:
2 стр. обложки-------Серия "Рыбы". Нежность
1 стр.-----Зимний мотив
9 стр.----Покровитель
10 стр.------Лестница
11 стр.----- Серия "Птицы". № 1
12 стр.------После грозы
20 стр.-----Два дерева
3 стр. обложки-----Движение
4 стр. обложки-------Серия "Рыбы". Прорыв

СУТОЛОКА приглашает на вернисаж
Филарета ШАГАБУТДИНОВА
страницы 1, 9 - 12, 20

1998 год
№ 1 (7)

УФА/1998/1(7)
литературный журнальчик

ПРОЗА
Константин МУРЗИН
Григорий ФЁДОРОВ Марсель САЙФУЛЛИН

ГРАФИКА
Рисунки
Сергея
ИГНАТЕНКО

ПОЭЗИЯ
Переводы, а также
Айдар ХУСАИНОВ
Михаил ПРАВДЮК Сергей ГРИЦЕНКО

Игорь МАКСИМОВ

О ЛИТЕРАТУРЕ
Из писем редактору

Позавчера читал Белинского «Деление поэзии на роды». Конечно, восхищён, потрясён, удивляюсь, как это я в школе так мало о нём говорил (хотя в сравнении с другими языковедами больше). Мало мы изучаем классики, а теперь и вовсе захламостили не только критику, но и литературу. И жизнь духовную. Мне кажется, пройдёт половина XXI— и Россия (литературная) назовёт её чёрной половиной: и «у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся в саже и в поклонничестве (перед западом), есть и у того крупица русского чувства. И проснётся оно, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою», — так говорил славный Тарас Бульба. И мне кажется, что и наша современная, в блестящих переплётах, детективно-расстрельная, подлая масслитература есть не что иное, как псевдолитература, как предательство своего народа. Народ в массе своей инстинктивно чувствует это предательство и всё равно свернёт на путь истины и возрождения правды жизни в искусстве Слова.

Неужели с помощью ТВ и других средств (СМИ) можно одурить народ, очуменить, ослепить, вынуть из него душу? А вместо головы приделать «ор-

ганчик»... «Куда ведёт нас рок событий»? Дожить бы до Светлого Воскресения!

Пришвина как Человека и писателя я немного понял. В его дневниках, что подарила мне дочь, я написал на обложке, что «он был тронутый, всё-таки; в чём-то психологически исключительный, не такой, как все простые и смертные, а одержимый своим предназначением, предопределением, разгадкой своего Я, как и Толстой»… одержим талантом. Вообще мне кажется, что и Достоевский — «больная совесть России», и Гаршин — сумасшедший и больной, и гениальный Пушкин, и Лермонтов, обладавший космической силой проникновения в душу человека, и Толстой, и такие киты, как Лесков, Глеб Успенский, пытались понять себя и через это понимание — и жизнь, Россию. Я бы отнёс сюда и Ленина. Недаром же он посвятил Толстому 8 статей!

Не зря же его слово молвилось? А теперь, сегодня, забылось, забыто. (Как забыли и Горького, и Маяковского). А зря! «Они любить умеют только мёртвых», — сказал Борис Годунов. Это те — смутновременные, современники Бориса; а эти, — наши современники, — и мёртвых-то всех обпакостили. Но ведь сказано же: не суди других, не судим будеши...

Мои рассказы — это не правда, а большей частью ложь, основанная на правде жизни, на горькой Правде. А я хочу, чтоб у читателя хоть на время чтения, на какие-то 5-10 минут полегчало на душе, чтобы он хоть на миг забылся; это ложь во спасение, вредная, как у Луки, но, как Лука говорил Насте, «правда-то тебе, может быть, обух».

Читая мои заметки, читатель уходит в мою нирвану, успокаивается и, может быть, завидует: вот мужик, живёт, косит, держит две коровы, лошадь, телят-поросят, и еще ПИШЕТ (!) на лоне природы — и жрёт мясо, масло — и всё бесплатно, и сколько хочет. Пожить бы так, а? Зимой на санях кататься...

Рассказы мои — это сказки, неправда и правда вместе, это не только то, что есть, но и то, что могло бы быть, это и романтика, и суровая действительность, заставляющая меня всю жизнь держать себя в струне. Это — хомут, как говорил Пришвин — подобрал, примерил по шее — не трёт, значит, ладно, счастлив, что подошёл. Не подошёл, а надел,— всю жизнь тереть будет.

Мы публикуем эти фрагменты не потому, что со всем в них согласны. Просто нам интересно мнение Игоря Павловича Максимова, участника войны, учителя-пенсионера, живущего в Белорецком районе Башкирии. Его проза публиковалась и в нашем журнале, и в «Вечерней Уфе». Читателям, видимо, знаком его самиздатовский сборник «Тихая проза». — Прим. ред.

ИЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИАКОВА

Сын мой, сохрани слова мои
и заповеди мои сбереги при себе.
Сохрани заповеди мои и живи,

и учение моё — как зеницу глаз твоих.
Навяжи их на персты твои,
напиши их на скрижалях сердца твоего.
Скажи мудрости: ты сестра моя! —
и назови разум родным,
Чтобы предохранить себя от жены чужой,
от чужестранной, чьи речи льстивы.

Выглянул я однажды из окна дома моего,
сквозь решётку мою,
И увидел среди неопытных,
заметил между людьми молодыми
юношу неразумного,
Переходящего улицу близ угла её
и шедшего по дороге к дому её,
В сумерки на исходе дня,
в ночной темноте и мраке.
И вот — навстречу ему женщина
в одежде блудницы с коварным сердцем.
Шумлива она и необузданна,
ноги её не бывает в доме её.
То на улице, то на площадях у каждого угла
делает она засаду.
И схватила его, целовала его,
и с бесстыдным лицом говорила ему:
Мирную жертву принести я должна,
сегодня я совершила обеты мои;
Я вышла навстречу тебе искать лица твоего,
и я нашла тебя.
Коврами устлала я постель мою,
прекрасными тканями египетскими;
Я надушила постель свою миррой,
алоем и корицею;
Зайди, до утра упьёмся любовными ласками,
найдём радость в любви,
Потому что мужа дома нет,
он ушёл в далёкий путь;
Кошелёк с деньгами он взял с собою,
в назначенный день он вернётся в дом свой.
Она увлекла его множеством привычных ей слов,
льстивою речью своей она соблазнила его.
Он следует тотчас за нею,
как вол идёт на заклание
И как в цепях ведут к наказанию безрассудного,

доколе стража не разрежет печени его.
Как птичка спешит в силки
и не знает, что на погибель её.

Теперь, дети, послушайте меня
и внимайте словам уст моих.
Да не уклоняется сердце на пути её,
не блуждай по стезям её,
Потому что многих умертвила она
и многочисленны те, кто убит ею:
Дом её — пути в преисподнюю,
нисходящие в смерти обиталище.

Этот текст мы перепечатываем из книги "Тридцать три века еврейской поэзии " (перевод Д. Иофана), изданной в Екатеринбурге в прошлом году. Оттуда же — иллюстрации И. Вишни. Составитель данной уникальной антологии — кандидат технических наук Яков Либерман. Книга —результат его многолетних усилий.

ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ
в переводах
Майи ФАТТАХУТДИНОВОЙ

Ицик МАНГЕР

В ПОЛЕ ДЕРЕВЦЕ

В поле деревце одно,
Грустное, томится,
И с ветвей его давно
Разлетелись птицы.
Кто к востоку, кто на запад,
Кто подался к югу,
Бросив деревце в полон
Всем ветрам и вьюгам.
Вот что, мама, я решил, —
Только ты позволь мне —
Здесь на ветке буду жить
Птицею привольной,
Стану петь я деревцу
Весело и звонко,
Убаюкивать его
Нежно, как ребёнка.

Плачет мама: «Ой, сынок,
Не было бы худа —
Там, на ветке, не дай бог,
Схватишь ты простуду».
Полно, мама, не рыдай,
Осуши ресницы,
Не пугайся — только дай
Обернуться птицей
Просит мама: «Птенчик мой,
Погоди немножко:
Шалькой плечики укрой
И надень калошки,
Шапку тёплую возьми —
Зимы наши люты —
Ох, явился в этот мир
На печаль мою ты».
Молит мама: «Не шути
С холодом, мой милый,
Коль не хочешь ты сойти
В раннюю могилу».
Вот взлетаю — тяжело:
Книзу тянет ноша,
Не дают взмахнуть крылом
Шалька и калоши.
Видишь, мама, плачу я,
Сил у птицы мало:
Ах, зачем любовь твоя
Крылья мне связала!
Снова деревце одно
И тоской томится:
Ведь с ветвей его давно
Разлетелись птицы.

ЖАР-ПТИЦА

Давай-ка песню споём —
Айдл-дидл-дам —
Летит жар-птица за море
По синим небесам,
А в клюве держит письмецо.
А кто получит письмецо?
Получит ребе сам!

А чьё же это письмецо?—

Айдл-дидл-дай —
самой царицы Турции —
Попробуй, угадай!
Чернил всадила целый воз,
На клей пустила пару слёз
И шлёт в далёкий край.

А что же в этом письмеце? -
Айдл-дидл-ду —
«Ах, милый ребе, без тебя
Покоя не найду.
Не сплю, не ем я и не пью,
Ответь же на любовь мою,
Иначе пропаду».

А что ж ей ребе отвечал? —
Айдл-дидл-дэ —
Он молча пейсы почесал
И трижды плюнул: «Фэ».
А козочка в его хлеву
Решила вдруг помочь ему,
Проблеяв трижды «мэ».

Всё это слышала жена —
Айдл-дидл-дой —
На мужа кинулась она
И бьёт сковородой:
«Всё шиксы у тебя в уме,
Небось не вспомнишь обо мне,
Супруге дорогой!»

И. ЛЕЙЗЕРОВИЧ

КУЗИНА

В Штаты к нам приехала кузина —
До чего была она красива!
Щёчки словно яблочки в румянце,
Ножки будто созданы для танцев.

Зубки отливали перламутром,
Глазки точно небо ясным утром,
Кудри будто перышки у птички,

Губки словно вишенки-сестрички.

Не пешком ходила, а летала,
Говорила будто распевала,
Радостью сияла без причины —
Вот какой была моя кузина!

Год за годом быстро пролетает:
Вот моя кузина увядает,
Сколько же бедняжка дожидалась —
Ничего от прежней не осталось.

А теперь встречаю я кузину,
Вижу на лице её кручину:
«Ах, зачем Америка открыта —
Та, в которой жизнь моя разбита!»

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Ты как месяц ясный,
Ты как солнца свет,
Ах, никого прекрасней
Для меня в мире нет.
О, как тот день был светел,
Когда тебя я встретил,
И сам я не заметил,
Как погиб навек.
Зубки белые смотрят перлами,
Глазки блещут, как зарницы,
Щёчки — розочки, шейка козочки —
Кто ж с тобой сравнится?
Ты как месяц ясный,
Ты как солнца свет,
Ах, никого прекрасней
Для меня в мире нет!

ДЕВУШКА В ГОДАХ
(народная песня)

Я уже в годах девица —
Как мне не везёт!
За шитьём сижу согнувшись
Ночи напролёт.

Всё бранит меня хозяйка,
Жить мне не даёт,
И никто ведь в жёны не берёт!

Припев: Ой, горе мне,
Ой, как бегут года мои,
Ищут его глаза мои.
Пусть будет хоть с изъянами,
Но законный муж —
Ой, боже правый!
Гордо с ним рядом встану я,
Лить слёзы перестану я
Прежде, чем умру —
Совсем!

Как легко мужей находят
Девушки кругом!
Исстрадавшееся сердце
Зависть жжёт огнём.
Вижу я — приносят дети
Радость в каждый дом,
Только пусто и темно в моём!

Пусть он будет замухрышкой,
Стариком-вдовцом,
Пусть имеет он ораву
Деток-сорванцов.
Бог мне шлёт сплошные муки —
Всё стерплю без слов —
Мужа б только дал в конце концов!

Константин МУРЗИН

ПРОЗА ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Март. Весна начинается. Снег потихоньку тает. Если открыть форточку, то природа врывается к тебе домой. Воробей пускай не певец, но приятно чирикает, а синицы — те поют, радуются. И я радуюсь весне. Пора уже начинать хорошо лениться на балконе. Когда открывается пляжный сезон, первое время дохлые альбиносы стесняются раздеваться. А я на удивление всем уже загорелый, потому что использую солнечные весенние дни с толком, а не бездельничаю. Пью пиво на балконе, сигарета в зубах, почитываю что-нибудь и

слушаю битлов. Какой кайф! Кругом ещё снег, а ты балдеешь, как на пляже, подставив тело своё тщедушное (мяса как-то не нарастил) лучам солнца. Пускай хоть косточки прогреются.

А сын мой слушает современную музыку, молодёжную техно-компьютерную, хауз. Сейчас хорошо, нет проблем насчёт того, где достать ту или иную музыку. Большой выбор. Что нравится, то и бери. Плати бабки — и все дела. А раньше, чтобы послушать любимую группу (это не одобрялось, преследовалось даже: тлетворное влияние Запада!), надо было искать человека, у которого есть «пласты», платить ему. И он тебе переписывал музыку на кассету. С его стороны это называлось обкатать пласт. На этом некоторые делали деньги. Я раньше много тратил, чтобы иметь новые записи. А теперь сын всю стипендию вкладывает в кассеты. У него их уже около 200. Он может слушать музыку целыми днями. Ну и пусть. Я очень рад этому. Почему? Пусть ленится, слушая музыку, чем болтаться по подъездам с пацанами, водку жрать или ещё хуже — колоться. Это такое счастье, что сын не наркоман.

Ну вот. Врубил он музон. Что-то звёздное такое, приятное, не хочешь — полетишь. И размечтался я. Видится мне жена в образе какого-то страшного ископаемого. Изо рта всякие белибердаськи противные извергаются. И переходит она, жена, в разные туманные состояния. Может быть, у нас с ней энергетические поля не те? Она моё пожирает, уничтожает. Когда моего поля, чувствую, уже клочок остался, самую малость, резко встаю и убегаю из этой комнаты. А кот, наоборот, своё мне отдает. Он всем, кто с ним водится, отдаёт. В маленькой комнате живу я и Карабаська. Она сочиняет всякие небылицы. А я ей в клетку золочёную со всеми удобствами — видик, компьютер, тахта, кондиционер — червячков дорогих приношу. Она мне читает (я бы и сам с удовольствием был бы Карабаською, да только боюсь, что из этого ничего хорошего не получится) интереснейшую галиматью. Я встаю, намереваясь уйти. Она: «Куда, зачем, не нравится?» — до того приятным голосочком. Нравится, ещё как. Только мне надо сходить поработать немножко. А то деньги кончились. Червячков не на что брать. Пошёл я.

А боженька в последнее время так надоел мне с вопросами: «А много у тебя грехов?» Много, если все замаливать — лоб треснет, не выдержит.

А вообще странно у них получается. Убил — грех на душу большой взял. А раньше всё время воевали, убивали. И те, и другие говорили: «С нами бог» — и вперёд. И тут же грехи замаливали. Ну их... Иду я, топаю себе преспокойненько и вдруг слышу: «Привёз денег... Это разве деньги? Два лимона. Не на что жить. Другие вон сколько имеют!!!»

Всё понятно. Я в норме. Пора на землю домой возвращаться.

КАМЕНЬ С ДУШИ

«Ты самый красивый, самый хороший. У тебя обаятельная улыбка. Мышцы расслаблены. Ты лежишь на песке. Солнце жарит тебя лучами. Тепло расплывается по всему телу. Тебе хорошо. Веки тяжелеют. Ты засыпаешь»,

— уговаривал себя Сидоров. Но сон, едрёный корень, никак не хотел приходить. Ещё бы. Работал, работал. Ездили на юг, на море каждый год. Деньги были. И вдруг на тебе — оказывается, она не с тем жила. Да, сейчас, конечно, он сломал ногу и вроде как бы неполноценный человечек. Раньше, до того как, исправно батрачил, и то возникали проблемы. А теперь, когда бабок явно стало не хватать, нарыв вскрылся. Он перестал мучить подушку и решил это дело перекурить. Тихонько встал, чтобы случайно не разбудить жену и сына, взял костыли и, хромая на одну ногу, поковылял. Включил свет в прихожей. На шорох проснулся кот, зевнул смачно и глазами попросил: «Что встал, может, накормишь?» И уверенно направился в сторону кухни, хвост пистолетом. Сидоров грозно посмотрел на него: «Не дождёшься, сейчас ночь. Какая может быть кормёжка!» Кот вытянулся, поточил немного когти о ковёр и пошёл досыпать.

Сидоров прошёл в туалет. Курить можно было только там. Он и не противился. Ему нравилось курить в сортире-ванной — единственном месте, где никто тебя не беспокоит. Там на полке лежали сигареты и зажигалка. Он любил не спеша покурить, с кайфом, сидя на унитазе. Подумать о разном, обсосать, взвесить свои мысли. Ночью шум города утихает, и прекрасно слышно через воздушные отдушины, как ругаются соседи-молодожёны внизу. А наверху стирали бельё. Вода журчала по канализационным трубам, и доносился характерный звук машинки. «Во дают, час ночи, а они стирают. У нас такого не может быть», — подумал Сидоров.

В голове вдруг промелькнули слова матери: «Сынок, ты не думаешь о себе. Нельзя так жить». Сидоров не понимал: как так, не думаешь о себе? Ведь он все силы отдаёт семье, жене, ребёнку. Для него семья и он — одно целое. У него и не было других помыслов. Он просто не знал и не умел подругому. Неожиданно для самого себя вспомнил первую и последнюю любовь. Сидоров был однолюб. Странно, никого рядом нет, а сердечко забилось — тук-тук-тук. Даже в пот бросило от волнения. Было время молодое. Какая-то неведомая сила гнала его ранним утром бродить по безлюдным улицам, когда лишь поливалки умывали, прихорашивали город. Иногда навстречу попадались бездомные собаки. Ноги сами несли его к реке. Встречать рассвет на пляже. Вместе с воронами, которые исковыряли весь песок своими следами в поисках пищи, и рыбаками: утренний клёв. Так из мальчика он переходил в юношу.

Жена его — потомок Чингисхана. Худенькая симпатичная чернявая башкирочка была. Кровь с молоком, балетные ножки. Любовь монголки, которую он так и не завоевал. (Любили друг друга, но в разные года). Теперь стала вроде надзирателя — сюда нельзя, туда нельзя. И сейчас он под домашним арестом. Нога сломана, никуда не ходит. Да и времена тяжёлые. В наши дни редко кто по гостям гуляет. Постперестройка хренова, новые русские... Заходили навестить его брат двоюродный, знакомые по пляжу. (Летом Сидоров, как только выдаётся солнечный день, — велосипед под зад и на пляж с волейбольным мячом). Но за два месяца лечения свободы так мало. Душно

было дома. Не от воздуха, а так сложились обстоятельства, всё давило на него: разлад с женой, нога, деньги, будь они неладны. Не с кем поговорить. Он понял, что ему просто необходимо — до зарезу! — поделиться своей тяжестью с кем-то близким. Решил: завтра, когда жена уйдёт на работу, он дёрнет к приятелю-художнику. Именно к нему, потому что там свободно (как дома, где хочешь, там и пукнешь). Никто не заглядывает в рот, и ты говоришь, что думаешь, а не то, чего от тебя ждут.

Говорят, что человек мыслит словами. Нет, не только словами, а целыми образами. Выкурил всего лишь одну сигарету, а где только не побывал!

Сидоров выключил свет и с этими мыслями улёгся в постель...

В МОСКВУ, ПИСАТЕЛЮ Т.

Мне б к Вам в гости, да лысины негде взять: до того Вы авторитетная личность. Что ни слово, то не то чтобы в десятку, а словно хрустящая, румяная, по высшему пилотажу, прекрасно поджаренная картошка — сразу слопать хочется.

А тут живёшь, работаешь, спишь. Жена, сын, котёнок. Всем надоел. Скукота одна. Кругом обязанности. Всем должен, должен. Это обещал сделать, это надо достать. Как маятник, болтаешься: поработал на Севере, привёз домой деньги — и снова. Туда-сюда, туда-сюда.

Но есть луч света, есть.

Из школьной программы помню кое-что наизусть. Но нет кайфа. А здесь так много, что не запомнить, а приятно. Так хорошо читать Вас, что даже ревнуешь, и слёзы наворачиваются от радости и злости.

Раньше Трифонова, потом Шукшина, затем Васильева (Бориса) обожествлял. Теперь — Вас.

Говорят, Вы по телеку выступали. Жаль, не довелось увидеть. Представляете, я уже лихо Ваш стиль стал угадывать: фильм идёт по Вашему произведению, там такая речь! Я сразу в восторге: «Это по Токаревой!»

Если бы Вы мне прислали свою фотографию с дарственной надписью, я б её — в иконостас, и чтоб свечка горела, не уставал бы молиться: «Сотвори ещё что»!

Величественны дела твои, Виктория! Какая изящность слов и тонкость мысли! Разбередили Вы мне душу. Я насладился из родника, словно живой водицы хлебнул лишку. Не змей-горыныч я вовсе, но энергии стало столько, что из ноздрей вот-вот дым повалит — и помчусь по шпалам на всех парах, покуда мысли не иссякнут.

Я лежал на поляне, окружённый высокими стройными соснами, елями, пихтами и кедрами, предавая тело своё лучам солнца. Две белки играли в любовь, бегая круг за кругом, прыгая с ветки на ветку. Дятел постукивал настойчиво и уверенно. Как и положено, надо мной было голубое безоблачное небо, по которому то и дело пролетали смазливые стюардессы в больших самолётах (несмазливых уволили тяжёлые времена).

Пели птицы. Букашки, паучки, летающая мелкота всякая занимались устройством своей жизни. Вдалеке слышались лай собаки, рёв мотоциклов — рокеры, чёрт бы их побрал, — удары топора. Все строятся — весна пришла.

Я лежу на поляне, постелив одеяло на свежую, как салат, травку, загораю. Рядом пакеты со шмотками и бейсболка с быком «Chicago Bulls». (Молодцы чикагцы, всё же выиграли кубок Америки по баскетболу!) Передо мной лёгкий ветерок перелистывает страницы книги Виктории Токаревой «День без вранья». Солнце стремится завершить отпущенный ему дневной маршрут, сейчас оно сядет на верхушки сосен.

Я счастлив, потому что успею дописать свой восторг от прочитанного. И так приятно стало на душе. Не так хорошо, когда проведёшь прекрасно время с любимой женщиной, а так, словно бы глотнул шампанского. Легко стало: всё ещё впереди, ты всё можешь и хочешь.

Воздух, взволнованный мной, качнул берёзку, и я слезой покатился вниз. Но, не долетев до земли, от избытка чувств разлетелся брызгами, радугой расписавшись на небе: сварщик Мурзин.

Константин Мурзин, сварщик-вахтовик, родился в 1950 году. Данный прозаический цикл — его первая публикация. В "Вечерней Уфе" готовятся к печати стихи Мурзина.

Сергей ИГНАТЕНКО
[ИЛЛЮСТРАЦИИ]

К СТИХАМ МОЕГО ДРУГА [А. КАСЫМОВА]

Прохожий, как ангел, навстречу
идёт.
Выходит из тьмы и тьму
освещает…

Я не бог! Потому, что Иуда - мой лучший
попутчик.
Он сомненье познал и любви захотел!..
Страсть земная губительна. Всяк в мире
сущий
предаётся огню, ступив в этот предел...
Я не бог потому, что Варавва — безгрешен,
а апостолы - знаю - лжец на лжеце!
Я родился и умер и был безутешен.
И не высохнут слёзы на вечном лице!..

Я люблю тебя в старенькой брошке…

Чёрный хвост до самых звёзд —
кот имеет большой рост.
Он поёт, что жизнь проходит,
но, проклятый, не уходит.

Сергей Игнатенко, родившийся в Уфе в 1955 году, известен в России и за её пределами как живописец. Рисунком, по его собственным словам, последний раз занимался в институте. Тем интереснее нынешний опыт. По мнению искусствоведов, Сергей и в графике — живописен.

Айдар ХУСАИНОВ

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ

* * *

Меня волнует не развал,
Парламент, взятки, депутаты,
Налоги, деньги, криминал,
Бюджет, невыдача зарплаты.

Меня волнует лишь одно,
С годами как-то суеверней —
Когда придёт очередной
Литальманах «Уфы Вечерней».

* * *

1.
Это тихие песенки нового года,
Это крик парохода на Белой реке.
Это тихая мирная злая погода,
Это мир на душе и синица в руке.
2.
Даже если печаль переходит границы
И слова означают чуть больше, чем есть,
На душе остаются одни небылицы
И душа в переходах грохочет, как жесть.

* * *

Она была певицей в неком баре,
Он был несостоявшийся бандит.
Она ему сказала: «Слушай парень,

Ты для меня ничем не знаменит».

Он снял тогда часы с одним брильянтом
И вынул из кармана острый нож,
И сразу оказался неким франтом,
Которого вот так не проведёшь.

И тут уже случилось, что случилось,
Явилась страсть, огромная, как зной,
И жизнь, громоподобная, как милость,
К ним повернулась этой стороной.

Потом она припомнила, однако,
Как в детстве, ни с того и ни с сего,
Её схватила жуткая собака,
Лицом напоминавшая его.

Тогда она покинула бытовку,
В которой продолжалася любовь,
И позвонила радостно в ментовку,
Размазывая льющуюся кровь.

Чрез полчаса ударило омоном.
От бара не осталось ничего,
Чтоб граждане похмельным, тихим стоном
Воспоминали сладостно его.

Она жива и ныне в Чекмагуше,
Растит его прижимистых детей,
И ангелов возвышенные души
Летают, как получится, над ней.

ПОДРАЖАНИЕ БАШКИРСКОЙ ПОЭЗИИ

Стоит берёза бледно-голубая,
Течёт ручей от неба до земли,
Но свет её неверный выпивают
Все небеса, лежащие вдали.

Видны в воде закрытые ресницы
Всех лилий, обомлевших от луны.
Сорвать бы лилию и с нею насладиться
Тем, что сулят мучительные сны.

Но страшно, страшно ночью голубою
У озера, лежащего нигде,
Что из воды появятся толпою
Все девушки, живущие в воде.

Григорий ФЁДОРОВ

ОТВЕТ

Тяжело. Знаю, что делать, знаю, как делать, а что-то не даёт применить знания.

А задумал я представить, а потом сотворить компьютер не только как исполнителя, не только как инструмент, но как коллегу, как собеседника... Но лишь приступаю к действиям — в душу закрадывается ужас, на сердце ложится страх. И я отступаю. Когда же действую, несмотря ни на что, то начинает ломать меня, и ощущаю тяжесть ещё и от окружающей неопределенности. Во мне всё время возникает вопрос:

— Почему идеи есть, есть знания, а претворить в жизнь идеи, применить знания не могу? Ответа нет.

И наконец, то ли из подсознания, то ли ещё откуда, в общем, из каких-то внутренних глубин, из меня приходит, выплывает:

— Предлагая свою информатику, свои идеи, ты вторгаешься в функции бога. А ты же пока только ещё человек. Богом же можешь только стать.

— Что же делать? Почему так?

— Ты не готов духовно, нравственно работать с этими идеями, использовать результаты воплощения их в действительность.

— Помнишь, ещё на ЭВМ «Минск-32» ты предложил идеи по использованию знаний при проектировании задач и их решении? Доклад делал на эту тему. А перед докладом к тебе подошёл Саша Таранко и спросил:

— Какие выгоды, какую пользу ты видишь от внедрения твоих идей?

— Экономические, — ответил ты.

А ты объясни, что функции, которыми ты думаешь наделить ЭВМ, нудные для программистов и оттого трудные для них, как «человеков» (ведь нет для человека более трудного, чем нудное). Программистам не придётся больше заниматься ими. Особенно это касается проектирования и разработки операций с битами и описания обработки данных по битам. (Бит — единица количества информации, единица хранения и использования).

Ты, помолчав, согласился. Про этот аргумент при подготовке к докладу ты подумал и отставил его, так как эта дорога тоже приводила к обоснованию экономического эффекта предложенных идей, но если человек желает услышать и такой аргумент, то, пожалуйста.

Доклад. Ты объяснил слушателям суть своих идей и только упомянул о битах, как Саша выскочил из-за стола и с торжествующим блеском в глазах бросил, выкрикнул:

— Обработка битов данных проста, как и описание и задание её, а идеи эти никчёмны и автор ломится в открытую дверь.

Ты остолбенел, скомкал конец доклада, сел.

Была вакантная должность начальника бюро. Кандидатов было двое: ты и он. Ему позарез нужна была власть, хотя бы такая и хотя бы таким образом полученная. К тому же ты и не знал, что будет новое бюро.

Не был ты готов духовно к решению этой задачи. Даже полезность, нужность её доказать, отстоять не смог... Видел и искал выгоды, пользу от применения своих идей только материальные, только экономические, но там были и духовные... Да и морально и физически ты для решения этой задачи не созрел... Надо было отстоять свои позиции, идеи. Ведь жизнь не прогулка... в ней не только приятное.., в ней могут и плюнуть в лицо, и выстрелить в спину морозным или раскалённым взглядом, а после гадай, почему холод в спине и отчего позвоночник не гнётся, или почему что-то сжигает тебя изнутри, а ты не можешь затушить огонь, не можешь избавиться от него...

Остолбенение твоё было долгим. Но — молодец, отошёл и снова вернулся к своим идеям и притом вернулся, развивая их дальше и глубже. Даже мы, твоя душа и суть твоя, думавшие, что с тобой кончено, что ты смят — а значит, и нам прозябать, — оторопели, когда вновь увидели негасимое пламя сердца и глаз твоих. Ты перебираешь в голове, в пространстве, как на полке, идеи, средства реализации их, рассматриваешь одни, откладываешь другие, в общем, вновь жив, вновь на месте...

Задумал продолжить, развить и претворить свои идеи на миникомпъютерах СМ ЭВМ, аналогах американских PDP. Но у тебя после случая с Сашей возник и остался страх перед процессом и перед результатом. И, зная что делать и как делать, ты, по сути дела, не смог даже прорисовать процесс. Что-то не пускало тебя, что-то не давало и не давалось...

Какой удачный случай подвернулся тебе в институте... В твоих руках оказалась «Наири-4» с барабаном магнитным, без операционной системы, без всякого сервиса и удобства для пользователя — одни железки. Тебе представилась великолепная возможность дать жизнь физическую своим идеям, дать жизнь куче металлолома. Получилась небольшая, уютная операционная система — воплощение твоих желаний и мечтаний. Увидел начальные, обнадеживающие результаты, но... очередной раз включая в сеть генератор, а через него ЭВМ, невыспавшийся электроник перепутал провода, и барабан сгорел, а без него «Наири-4» — куча железок.

Электроник здесь был не причём, ты морально не был готов к результатам и к последствиям результатов. Судьба и жизнь, увидев, что у тебя может быть результат — голый автомат без духовной реализации, — выбили из рук и этот шанс.

Как хорошо складывалась у тебя работа по договору, связанная с автоматизацией складского учёта. Провёл большую подготовку, подобрал хорошую группу коллег. Шёл этап внедрения проекта, но не поладила администрация твоего предприятия с администрацией базы — и работа осталась незаконченной, остановившейся на стадии внедрения. И одной из причин срыва снова была твоя неподготовленность, тщеславие, упор, крен в сторону материального, предвидение, в конечном счёте, своих, пусть духовных, но своих личных выгод...

Интересна была попытка опубликовать в одном из специальных журналов материал о матрёшке информатики. При отправке письма случайно засунул в конверт статью с двумя ошибками, оставив исправленный экземпляр у себя. С каким смаком и удовольствием заострил внимание на описках рецензент. Его ответ на время остановил твоё желание публиковаться. И здесь — неготовность видеть и рассматривать свои идеи и результаты с духовных позиций, с позиций этики...

На другой базе задача по учёту на складах получалась, шла к завершению. Но подвернулась в это время возможность внедрить, продать имеющийся вариант задачи, и ты задумал сделать это без участия своих коллег. Стоимость разделить только на двоих. Судьба и ещё что-то воспротивились такому раскладу. И уже этот нравственный прокол застопорил твой, первоначально задуманный вариант решения задачи, а тем более внедрение. Задача всё же была решена, внедрилась, но результат был совсем не такой, какой был задуман тобой... Задача решалась на современном уровне, но ты-то желал другого... И к тому же раскололась группа, распался тобой подобранный коллектив.

Задумал, попытался описать состояние информатики и пути развития её в местной периодике, но энтузиазм твой и сотрудника газеты охладили, остудили — и материал не получился, то есть получился не очень убедительный. И здесь твоя неподготовленность духовная сыграла свою роль.

И наконец ты понял, что надо для развития информатики, но перед тобой, а вернее, перед таким материалом, подходом к теме, видением её и идеями встала стена. Оказалась необходима сила такая, какой ещё нет у тебя.

— Так, что же делать?

— Или не занимайся проблемой, или расти, развивайся, созидай в себе бога. Стань им. Хорошо то, что ты после каждой неудачной попытки, попереживав, почти исчезнув, возникал вновь со своими идеями — а ожидалось, что всё, что пропал, что затеряешься в неурядицах жизни.., — да ещё развивал их и как из пепла восставал. Вот эта живучесть твоя и незлобивость, оптимистичность привлекали к тебе жизненный и творческий материал. А как не прильнуть к брызжущей энергией жизни, не притянуться к впитывающей всё душе, не отдаться беззлобности!..

И моя суть, моё я успокоились...

А может, всё-таки дерзнуть? Попытаться стать богом? Рвануться в небо, а?

Рискнуть?!!!

Михаил ПРАВДЮК

КУПАНИЕ КРАСНЫХ РЫБ

...музыкальная композиция — не что иное,
как фрагмент альбома 1967 г. малоизвест-
ной группы, игравшей в основном психо-
делический блюз. Коктейль из фри-джаза
и элегантных вечерних платьев. Поздрави-
тельные открытки к Рождеству. Верёвочки
и обрывки сонного бреда сплелись
в непонятном танце. Они стали колыбе-
лью для кошки. Просветление подобно но-
вому рождению. Я пытаюсь излечиться
пивом и медитацией на телеэкран.
Удивительно, что я жив до сих пор.
На улице Сан-Франциско. С цветами
в волосах. Сейшн! Изрядная доза водки со-
здала необходимое настроение. Звучит
«Блюз Одинокого Орнитолога». Сорок пять
минут. Крайнее отвращение эстетству-
ющих интеллектуалов. Убийственный
аромат виски. Джинсы и грубые армей-
ские ботинки. Стал одиноким пиплом и
сошёл с ума. Суицид. Успели реанимиро-
вать. Но, увы, мой поэтический дар не
поддался реанимации. Теперь я снова
Одинокий Тусовщик. Жизнеутверждающую
музыку могут создавать все.
Насекомые, как правило, бесстыдно обна-
жены. Сцены квартир населены манеке-
нами. Однажды произойдёт невообразимое.
Мы оживём, мы будем создавать произведе-
ния искусства. Музыка серебряных статуй.

Михаил Правдюк — недавний студент-филолог (закончил Башкирский государственный университет в Уфе). Это — его первая публикация.

В Вифлееме родившись, я знал, что
взойду на Голгофу. ‚Я не бог, потому что умею я плохо сеять зёрна любви и зерно отделять от
плевел.
Я не Бог,
потому что я — просто пример.

Марсель САЙФУЛЛИН

МАМА, Я ХОЧУ ЖИТЬ!

Невнятный и нервический плач разбудил её, прозвучав совсем неуместно посреди ночи. Недовольно поморщившись, она отбросила одеяло и села на кровати. Плач не смолкал и продолжал тихими звуками теребить ухо. Пришлось встать, окончательно отогнав лёгкий сон.

— Ну что ты плачешь? — спросила она мальчишку, своего сына, сидевшего на кровати. Ноги его были прикрыты одеялом, руки лежали по бокам ладонями вверх, а щёки подёргивались. Плакал он бесшумно, почти неслышно, только иногда, втягивая размоченные слезами сопли в отсыревший и вспухший, красный нос, он морщился, и рождались в нём негромко звучащие стоны. От этого хотелось плакать ещё. Эти стоны и всхлипывания разбудили мать; она пришла и вот стоит, склонившись над ним. Это его не успокоило, и он позволил себе заплакать чуть громче.

— Ну, что это на тебя нашло? Говори же, не реви!— как ей иногда бывает тяжело быть матерью...

— Л-а-а... Мам!.. Умирать не хочу!— выдохнул он и уткнул голову в поднятое коленями одеяло. В комнате стало глухо от взвившейся неожиданно тишины.

— О-ох, что за глупости ты говоришь. Ладно, успокойся, давай, давай, хватит мочить мне одеяло. Тебе ведь всего семь лет! Ты подумай, тебе же жить да жить ещё! Ещё наживёшься и передумать успеешь! Ну всё, засыпай...

— Не могу... — еле ответил он и остальное говорил уже себе в уме. Он никак не мог понять, почему его не понимает мать. Как можно заснуть, когда в груди что-то клокочет и лезет наружу, с неуёмным настырством напоминая, что все умирают, что не дано жить вечно. Он первый раз столкнулся с неразрешимым вопросом и незакалённому ему предстояло что-то на него ответить. Фантазия рисовала его — молодого, юного — стареньким, убогим и немощным старикашкой, сначала сидящим в кресле — в том кресле, в котором он сидел по вечерам! но тоже состарившимся в фантазии — а затем лежащим в гробу среди плачущих мамы и папы, других родственников. Ему невыразимо больно видеть, что его упругая кожа как-то смялась и сморщилась, пожелтев местами и даже покрывшись красными точками, что его тёмно-чёрные волосы усохли, побелели и повыпадали, оголив верх головы, страшно белевшей меловой кожей, что его нежно-зелёные глаза помутнели и потеряли всяческую выразительность, а во рту не осталось ни одного зуба!

Что было ему ответить на это? Ведь его только жизнь начиналась, и ему казалось, что она вечна. Он не мог согласиться, чтобы его любимое тело превратилось в придаток к гробу и затем сгнило в темноте, изъеденное червяками. И он плакал, не зная, что делать...

Он не мог поверить, что его не будет. Совсем не будет. Что вот был он — и вот его нет.

Он думал, вернее, боролся с мыслями, а в голове зияла, увеличиваясь, дыра, блестя чернотой и ничем внутри. Мысли о смерти не проходят даром. И если он не сможет выполнить непосильную работу: заделать эту яму, заблокировать её, — то когда-нибудь рискует сорваться вниз... А пока он оставался, чтобы «нажиться и передумать», успокаиваясь на время, прижавшись к тёплой маме, всхлипывая и незаметно засыпая, чтобы продолжать глядеть в яму смерти неверящими, но убеждающимися глазами...

Марсель Сайфуллин — учащийся выпускного класса Башкирско-турецкого колледжа (Уфа). Это — его первая прозаическая публикация.

Сергей ГРИЦЕНКО

ДВАДЦАТЬ

ПИСЬМО

Рука твоя
от плеча до фаланг пальцев
Сама является
радиусом окружности краха,
Но ты и я —
мы целого одного части,
И если я не прав — давай! —
пошли меня на хер.
Залечи мою душу —
так лечат косяк в сортире,
Как вазелином,
смажь мои губы салом,
Но если правда,
что клин вышибают клином,
Тогда держись —
тебе не покажется мало.
Мне не писать
писем своих в Россию:
Ты — моя Родина,
необитаемый остров;
Тебе защитой
выйду я в небо синее,
Смешной новобранец,
одетый во всё не росту.
В круг гоголевский, твой —
души ломятся,
Опустошённые,

почти без надежд на завтра,
И ты принимаешь их,
оптом и в розницу,
На ночь читаешь
Набокова или Сартра. ...
А с потолка
глицериновый дождь накрапывает
Этажом выше
снова вскрывают вены.
Но рука твоя,
всё же прав был я,
Сама является
радиусом
окружности
Вселенной.

ПЛАХА

Расклад в окладе праздничных идей,
Калёным выжженных
оралом
иль мечом,
Не разберёт,
где правый, где злодей,
Кто будет смыт,
кто смят,
кто вознесён...
Здесь плут, как плуг,
а борозда, как мзда.
Я за деянья —
злодеяния? —
плачу.
Плачу — не плачу!
Дань несу, как дар —
Копну волос
под ноги
палачу.
Но чёрный драп полночных передряг
переиначил
слякоть
роговиц,
И по щеке ползёт
зеркальный краб.
Зеркальный, как

топор,
упавший
ниц
И оборвавший рвавшийся от дна
мой окрик-крик,
хлестнувший через край .
А впереди мне чудится
она —
Крылатая
Старуха
Баттерфляй.

XX

Жёлтый дым вдыхаю
Лёгкими - облаками.
Сам по себе — Авель.
Сам для себя — Каин...
Обращенье к истокам —
Отражённая мудрость
В зеркале. Вот только
Брезжит уже утро...
Брезжит ещё водка
В многограннике тусклом.
«Ты ещё есть?» — «Вот как?»
В диалог об искусстве
Мягко вплетаю тени
Смелых ассоциаций,
Фабулы сновидений,
Отголоски оваций,
Ласки ревнивых женщин,
Горечь, любовь, злобу...
Как ни крути, легче
Всё же уйти, чтобы
Просто в живых остаться.
Жизнь — забавная штука.
Я отмечаю двадцать
С зеркалом, лучшим другом.

Сергей Гриценко — студент. Происходит из Бирска. Сейчас живёт в Уфе. Публикуется впервые.

СУТОЛОКА

УФА/1998/1(7)

Игорь МАКСИМОВ. О литературе.....1
Из Благословения Иакова.....2
Еврейские песни в переводах Майи ФАТТАХУТДИНОВОЙ.....4
Константин МУРЗИН. Проза жизни.....6
Айдар ХУСАИНОВ. Значенье слое.....13
Григорий ФЁДОРОВ. Ответ.....14
Михаил ПРАВДЮК. Купание Красных Рыб.....17
Марсель САЙФУЛЛИН. Я хочу жить, мама!.....18
Сергей ГРИЦЕНКО. Двадцать.....19

Наш журнал является формой самиздата, но выходит при техническом содействии редакции газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА ",
а также при сочувствии "НОВОЙ ГАЛЕРЕИ" и
галереи "УРАЛ".
С этого номера часть тиража
в рамках акции "ВЕЧЕРНЕЙ УФЫ" "БИБЛИОТЕКА" бесплатно передаётся в центральную городскую библиотеку Уфы и 35 её филиалов. ТИРАЖ —250 экз.

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ — Александр КАСЫМОВ
(3472)22 - 04 - 01

№ 2-3 (8-9)

СУТОЛОКА
УФА/1998/2-3(8-9)
литературный журнальчик

Офорты
Тамары НЕФЁДОВОЙ

Проза
Роберт ИБАТУЛЛИН Булат МУХАМЕТДИНОВ

Поэзия
Кубаиры

А также юбилей гениализма

Тамара НЕФЁДОВА

БАБОЧКИ

Булат МУХАМЕТДИНОВ

ИЗ АФГАНСКОЙ ТЕТРАДИ

МЕСТЬ

Вертолет летел на аэродром. Тёплый воздух, врываясь через открытый блистер, едва охлаждал разгорячённую кабину и людей в ней. Внизу, блеснув на солнце, промелькнула речка.

Командир взвода Александр Рюмин сидел, всё ещё ощущая грохот и дым боя. Струйки пота ручейками стекали за отворот маскхалата. После перебежек и ползанья по камням ныли ноги, ладони и локти рук. На полу вертолёта лежали двое убитых — из его подразделения. Пленные душманы. Они связаны. Двое афганцев молоды, а третий — старик с седой бородой и крючковатым носом. Взгляд его устремлён вниз. Кажется, что он ничего не видит и не слышит.

Солдат, сидевший рядом, толкнул старика в плечо и показал:

— Смотри, что ваши сделали.

Старый душман презрительно плюнул в сторону мёртвых. Плевок попал одному из убитых в лицо и, стекая, оставлял за собой след.

Рюмина передёрнуло. Обида за своих захлестнула, сдавила сердце злой болью. Он вскочил и ударом ногой в голову уложил старика на пол. Пленник, едва слышимый сквозь шум двигателей, застонал.

— Козёл вонючий, я тебе устрою жизнь! — истерически заорал Александр.

Схватив старика за волосы, поставил его на ноги. С хрустом выворачивая кулак, Рюмин нанёс пленнику сильнейший удар. Дед отлетел к двери.

По солдатам было видно: каждый готов проделать тоже самое. И это заводило офицера сильнее. Он рывком распахнул дверь, схватил душмана одной рукой за ворот одежды, а другой за пояс и, содрогаясь от усилий, вышвырнул старика вниз головой.

МГНОВЕНИЕ

Взводный поздно заметил тоненькую стальную проволочку, натянутую поперёк тропы — почувствовал, когда уже рванул ногой.

До вершины этой угрюмой, мрачной горы оставалось совсем мало, на глаз метров восемьсот. Там, наверху, старательно работал крупнокалиберный пулемёт, да с пяток автоматов не давали роте подняться в атаку.

Приказ ротного был ясен до предела: обойти гору и с тылу напасть на душманов.

Взводному стало до омерзения тошно. Сзади, следом бежали ещё десять солдат, ещё десять человек. Стало невыносимо больно в висках — словно раскалённые добела металлические прутья пронзили голову с двух сторон. Автоматной очередью забилось сердце. Мозг словно ощетинился, принимая единственно правильное решение.

—Мины! — закричал взводный, повернув багровое, страшное, дико оскаленное лицо.

ПОСЛЕДНИЙ

Вот и всё. Из заслона, что прикрывал остатки взвода, уцелел я один. Рядом со мной лежат, распластавшись, двое убитых.

На меня одного — три автомата, один полный магазин с патронами и последняя граната. Её оставлю для себя — живым душманам не дамся.

Представить себя в роли пленного я никак не могу. Страх собственного предательства сильнее страха смерти. Я боюсь одного: пыток в плену — вдруг не выдержу и нарушу присягу. Уж лучше подорваться, чем в плен сдаться.

Тёмные, свинцовые облака наконец-то решились полить землю водой. Мелкий, нудный и противный дождь обрушился на горы и долину.

Между камнями замельтешили пёстрые одеяния душманов. Что ж, давайте, давайте ближе. Мы ещё посмотрим, кто кого.

Бой длился недолго. Расстреляв все патроны и убив одного из нападавших, я приготовил гранату — вырвал предохранительное кольцо.

Убедившись, что выстрелов нет, душманы поднялись и, пригнувшись, на полусогнутых пошли к нам.

Увидев моё мертвое тело, на всякий случай выстрелили мне в голову. Кровь и серые кусочки мозга брызнули во все стороны и, смешавшись с дождём, потекли по моему лицу.

Душманы принялись собирать автоматы, обшаривать убитых. Подошли и ко мне — рывком перевернули на спину.

В тишине взрыв прозвучал оглушительно.

ОГНЕВАЯ ТОЧКА

От всей разведгруппы осталось трое. Нещадное афганское солнце жгло тела. Спрятаться от него не было возможности. Его горячие лучи доставали всюду. Камни и те потрескались и посерели от разрушительной работы светила. Нехватка воды чувствовалась во всём — горы не были способны дать жизнь траве, дереву, человеку.

У всех троих, оставшихся в живых, давно закончилась вода во фляжках, и теперь спёкшиеся губы, горло требовали влаги. Но больше нужны были патроны и гранаты: боеприпасов оставалось очень мало. Неизвестно, хватит ли до прилёта основной группы.

Душманы притихли около часа назад и после оглушительного боя в воздухе висела звонкая тишина. Но высовываться из-за камней было нельзя — снайперы держали всех троих на прицеле.

За большим валуном, удобно пристроившись и выставив вперёд автомат, лежал Курбан Юлдашев. Его большие чёрные глаза непрерывно всматривались в сторону врага. Огневая точка получилась что надо, но всё же было одно неудобство — мелкие камни острыми зубьями впивались в тело.

Наблюдая за душманами, Курбан вдруг подумал о матери и маленькой сестрёнке, что ждут его дома. И так захотелось выжить в этом бою, что даже заболело сердце.

—Юлдашев, — послышался свистящий шёпот командира, — Курбан, ты что, уснул?

—Нет, — хрипловато ответил Курбан, — всё нормально. Только солнце в глаза сильно бьёт.

—Ничего, вертушки скоро будут здесь.

«О, Аллах, если ты есть на свете, то сделай так, чтобы мы все остались живы, — молил Курбан. — Если мы останемся в живых, я поверю, что ты есть. Я хочу жить. Ну почему именно я должен умереть? Ты же этого не допустишь!»

Юлдашев бросил взгляд в сторону лейтенанта Сергея Полякова и друга Юры Коновалова. С Юрой Курбан ходил на задания второй год, а с лейтенантом — шестой раз. Офицер внешне был ровесником солдатам После окончания военного училища напросился на войну.

«Вот дурак, — подумал Курбан, — не жилось ему в Союзе. Да я — чтобы ещё раз в Афган — ни за что»!

—Курбан, духи пошли, видишь? — прервал мысли Юлдашева Поляков.

—Вижу, — отозвался Юлдашев.

Когда на вертолётах прилетело подкрепление, было уже поздно. Душманы добивали лейтенанта в упор. Юре пуля попала в голову на первой же минуте атаки. Курбана же всего изрешетили автоматными очередями. Последней его мыслью было: «А как же?..»

РАССКАЗ ШТУРМАНА ВЕРТОЛЕТА

Вчера, ярким солнечным днём, когда в воздухе висела невыносимая жара, меня убили очередью из автомата. Две острые пули вонзились мне в грудь и, больно ломая все внутренности, устремились вдаль, вырывая куски из моего тела. Я остановился и рухнул спиной на раскалённую землю. Когда серые, мрачные горы начали прятать солнце, а сырая прохлада постепенно охватила всё вокруг, стрельба смолкла.

Откуда-то из-за моей головы вынырнули несколько человеческих теней и направились ко мне. Это были душманы. Они принялись выворачивать карманы моего лётного костюма. Нашли сигареты и спички. Сняв с моей руки часы, расстегнули куртку. В маленьком карманчике обнаружили деньги — звуки радости прозвучали в тишине. В брюках моих нашли нож, и один из душманов со смехом ткнул этим ножом мне в глаз — только брызги разлетелись кругом. Тот, что постарше, забрал нож себе и с силой ткнул во вздувший от жары мой живот. Затем они сняли с меня ремень с кобурой, забрали мой пистолет и отнесли мёртвое тело от места гибели в сторону и, бросив в какое-то углубление, принялись заваливать меня камнями.

До утра возле меня надрывно кашлял и плакал, словно маленький ребёнок, шакал — сожалел, видимо, что я не достался ему на ужин. Но душманы завалили меня камнями не от хищников, а от спецназа, так и не сумевшего помочь мне.

Я лежу под камнями уже двое суток и знаю, что меня не смогут найти — я так и останусь навечно в этой дикой стране. Моим родителям пришлют извещение, что сын их пропал без вести, а они, мои старики, будут ждать меня всю оставшуюся жизнь, не зная, что ждать бесполезно...

Вылетели мы парой, два «Ми-8». В район боевых действий прилетели через двадцать три минуты. Духи обложили полукольцом спецназ и плотно обстреливали. Выполнив один заход и обработав ракетами душманов, мы зашли на второй. Неожиданно забарабанило по обшивке нашего вертолёта, он весь задрожал, словно в лихорадке.

Загорелось табло сигнализации «Пожар в отсеке правого двигателя», и речевой информатор проговорил спокойным женским голосом в шлемофоне:

—Борт 4126, пожар.

Мы тут же начали набирать высоту и выходить из боя, но вдруг загорелся и второй двигатель.

—Прыгайте! — дико заорал командир экипажа.

Мне удалось выпрыгнуть одному. Командир и бортмеханик не успели. Вертолёт взорвался и огненный факелом упал на землю.

Парашют раскрылся хлопком и, встряхнув меня, поставил вертикально. Я не успел оглядеться, а земля — вот она, рядом. Упал на бок, неудачно приземлившись. Отстегнул парашют и вскочил. Возле моих ног фонтанчиками заплескались пули. Я бросился на землю и вынул пистолет из кобуры.

Наш второй «Ми-8» пытался приземлиться и забрать меня, но его сильно обстреляли, и вертолёт, набирая высоту, ушёл на аэродром.

Мне не давали отползти в сторону. Едва я делал попытки отползти, как пули взвизгивали рядом. Спецназ, бросившийся мне на помощь, откатился назад, теряя людей раненными и убитыми.

Тогда я вскочил на ноги и, петляя, как заяц, побежал за спецназом. И тут чуть впереди выскочил душман и, направив автомат на меня, нажал на курок...

ЭХО ВОЙНЫ

Когда Пашке до дембеля осталось чуть больше полугода, он начал носить в кармане гранату. Граната как граната — чёрная, ребристая. Лежала она уже с ввинченным запалом: выдерни кольцо — взрыв. И эту «эфку» Пашка берёг для себя — в горах всякое случается, а попасть в руки душманов он очень боялся. Боялся, как всякий нормальный человек. Жизнь Пашка крепко любил, и очень хотелось ему вернуться с войны своими ногами — целым и невредимым.

И вот его желание сбылось — напрочь забыты рейды по горам, захваты караванов из засад, стрельба из горячего автомата по врагам. Дома жизнь потекла в своём обычном русле.

И вдруг — какой-то душевный надлом. Один и тот же кошмарный сон начал преследовать его и никак не желал отпускать от себя. Он снова на войне, но почему-то один. Лёжа среди камней, отстреливается от духов из автомата. Пашка уже много душманов убил, а они всё лезут и лезут, выкрикивая чужие слова хрипловатыми голосами. «Калашник» смолк, когда Пашка хотел расчистить себе проход в цепи наступающих. И тут же на него набросились сзади и принялись выкручивать руки. От афганцев несло кислотошнотворной вонью. Пашка не давался врагам и, сипло дыша, изворачивался, пытаясь добраться до гранаты, но никак не мог вытащить её из кармана.

—А-а-а, — диким от ужаса голосом орал Пашка и просыпался в липком поту.

Булату Анваровичу Мухаметдинову 35 лет. В 1985-86 гг. воевал в Афганистане. Печатался в "Вечерней Уфе".

КУБАИРЫ
в переводах с башкирского
Фаиза ХАКИМОВА

НЕ ТВОРИТЕ В ЖИЗНИ ЗЛО

Кто поёт, тот узкорот,
Кто ведун — мир слеп, как крот.
Коль весною снег горой —
Это значит год дурной.

Коль скажу — крылато слово
Испарит проклятье злого.
Со злодеем не миритесь,
Сами скверны не плодите,
Просьбы сирых и убогих
Под ногами не топчите;
Языком, что без костей,
Злоречиво не треплите;
В жизни следуйте своей
Слову пожилых людей:
Опыта их нет ценней,
Назиданий нет мудрей.

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Некогда, давным-давно,
Было стойбище одно.
Почитая лишь добро,
Всюду изгоняя зло,
То селение жило,
На яйляу своём жило.

День за днём, за годом год —
Время всё текло вперёд.
Вдруг, рождая боль в сердцах,
Вызывая в душах страх,
Слух по стойбищу прошёл:
Мол, батыр того яйляу
В кралю на другом яйляу,
Чьей красой был ослеплён,
Очарован и пленён,
Всей душой влюбился он.
Всей душой влюбился он.

На коне своём летя
В нетерпенье, как дитя,
Объясниться с ней решив,
Парень к милой поспешил;
Сердце ей своё открыл,
Чувства страстные излил.
Но услышал тут егет
Гордой девушки ответ:
«Вот условие моё,
С клятвою прими его —
Возвращайся же назад
И зарежь родную мать;

Сердце из её груди
Вырви и ко мне приди!
То подарок будет в той,
Что мне нужен лишь такой,
Знай и помни: лишь такой!
А иного не приму
И тебя не полюблю».

Тучи чёрные нашли,
Небо молнии прожгли,
Воды рек вскипели вмиг,
И к ночи весь мир поник...
Вдруг ослаб и задрожал —
Наш батыр чуть не упал,
И согнулся стройный стан;
В муках парень думать стал,
Но не мог он страсть избыть —
Согласился мать убить...

Дело подлое свершив,
Парень снова поспешил
К девушке своей стремглав
С сердцем маминым в руках...
Суетлив и возбуждён,
На скалу взобрался он,
Но споткнулся на камнях
И упал на месте том,
Сердце искрами зажглось,
Пламенем оно взвилось,
И послышался в горах
Мамин вскрик тревожный:

«Ах! Что с тобой, сыночек мой,
Не ушибся ли родной»?..

Это сказка лишь, друзья,
То сказанье лишь, друзья.
Мы сегодня матерям,
Отдающим жизни нам,
Во спасенье душ детей
Не жалеющим своей,
Кто страдает болью их,
Мук не чувствуя своих, —
Пожелаем же мы им,
Нашим мамам дорогим.
Быть здоровыми всегда
И счастливыми всегда!

Изрекали в старину
Предки истину одну:
«К детям льнёт душою мать,
В степь стремятся души чад»
Те слова, в которых грусть,
Нынче в лету канут пусть,
И они из языка
Да исчезнут на века!
Чтоб возрадовалась Мать,
Чтобы ей добром воздать,
Светлый образ матерей
Сохраним в душе своей,
Сохраним в душе своей!

Кубаир, жанр башкирской поэзии – поэтический сказ, исполняемый напевно или речитативом. В строфе от 4 до 24 рифмованных строк.

Большой энциклопедический словарь, 1991.

Роберт ИБАТУЛЛИН

ЧЁРНЫЙ ВОРОН, КРАСНОЕ ВИНО

Романтическая повесть
с волшебством, злодеяниями, интригами,
таинственными книгами и вещими снами,
литературными аллюзиями,

абсолютно достоверными историческими портретами,
любовью, преодолевающей всё и вся,
с прологом и эпилогом
и, конечно,
со счастливым концом

ПРОЛОГ В ТЮРЬМЕ

Как славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык.

Бой часов

Далеко-далеко пробило восемь. Если не противно было приложиться ухом к грязной, шершавой, отсыревающей штукатурке этой стены, то бой крепостных часов отдавался в ней ещё отчетливее.

"Значит, скоро чаю принесут, — подумал майор гвардейской артиллерии Фёдор Фёдорович Сушков. Он ещё раз поглядел на письмо. — Сахаркомто поделиться надо со сторожем. То, что он и так свою мзду имеет, это ясно. А всё же и с моей стороны не помешает лишний раз подмаслить старика... Фу, чёрт! — Сушков почувствовал сильнейшее отвращение к самому себе. — Вот мыслишки-то поганые — ещё буду сторожам подличать! Нет, никакого, к лешему, сахара. Никакого!"

Он подскочил к двери — тотчас порешив быть, наоборот, наглым, — но вдруг опомнился. Прежде чем звать и требовать сторожа с положенным чаем, нужно было спрятать письмо. А может, даже и изорвать. Да, да, уничтожить. Уже не думая звать сторожа, Сушков схватил письмо жены, переданное ему сегодня в смене белья, отошёл к окну и, повернувшись лицом к свету, принялся его перечитывать; при первом чтении Сушков не очень-то разобрался в нём.

Вечерело, и в слабом свете от шести замелованных и зарешеченных квадратов окна еле-еле виднелись мелкие готические строчки Елены.

"Мой вечно любимый и драгоценный друг Теодор! — писала она. — Мои просьбы за тебя оказались безуспешны. Всё же излагаю их горестную историю. Прежде всего, по совету г-жи П. ..."

"Это её подруга Пеликакова, — догадался Сушков. — Ну, ну".

"... я обратилась к г-же М. Эта дама, живущая в имении графа А., как известно, пользуется на него большим влиянием".

"Минкина! — Сушков стиснул зубы. — Елена, ангел мой, ты ездила на поклон к этой дряни! Из-за меня, из-за меня! Чёрт!"

"Визит не только оказался напрасным, но и едва не стоил мне каких-то больших, хотя и не очень понятных мне, неприятностей".

"Что же это такое, а?"

"После этого я обратилась лично к графу А.".

"К Аракчееву!"

"Из разговора с ним я поняла, что не только освобождение, но и полное прощение твоё — возможно. Однако покупается такой ценой, какую ты, несомненно, не захочешь заплатить, предпочтя уж такой-то свободе — заключение".

"Каналья! Скот!"

"Не зная более высокопоставленного лица во всей России, я решилась дожидаться возвращения из Польши его величества. Однако г-жа П. указала мне на князя Г., министра и второе после графа А. лицо в империи."

"Это ещё кто такой", — подумал Сушков, несколько раздражённый количеством инициалов.

"Сейчас я только что от него. Конечно, даже и он не решился вмешиваться в дела всесильного графа А. Впрочем, г-н Г. был любезен, искренен и вполне сочувствовал мне."

"Да кто же это — Гурьев? Голицын?"

"Итак, на этой земле остаётся надежда лишь на государя. Слышно, что польский сейм закрывается, и скоро его величество вернётся в Россию. Мне необходимо опередить графа А. и броситься к ногам государя раньше, чем его могущественный слуга подаст твой приговор на монаршее утверждение."

"Oh, Helene, quelle naivete, шоп Dieu!1 — подумал Сушков. — Графа он не послушает, а тебя послушает!"

"Если же не поможет и это, не сомневайся, что куда бы тебя не отправили, на Кавказ ли, в Сибирь ли, я без колебаний последую за тобой. Итак, не забывай свою жену и уповай на Господа. Я каждый день молю Его дать нам свидеться ещё на..."

Лязгнули замки; дверь грохнула.

— Чай, ваше благородие! — рявкнул сторож. Быстро и незаметно заключённый скомкал письмо,

"...ещё на земле.

Вечно и, несмотря ни на что, твоя —

Елена".

Глава первая
RARISSIMA AVIS2

Силезия лежит пред нами, как
прелестная картина! На лугах
тучная зелень, тучные стада
и весёлые пастухи.
Ф. Глинка
Письма русского офицера

А началось все в июне 1813-го, в день, когда Сушков впервые увидел Елену.

Этот молоденький тогда офицер, худой, чернявый, подвижный, честолюбивый, успел немало повидать за свою 22-летнтюю жизнь. Сначала — Второй (бывший Артиллерийский и Инженерный) кадетский корпус; сразу по выпуске — шведская кампания, с осадой Свеаборга, Ледовым переходом и битвами при Оровайсе, Калликсте и Ратани; после — двенадцатый год и Отечественная война. В составе 2-й Лейб-гвардии артиллерийской бригады Сушков прошел всё отступление и под Бородиным был ранен довольно серьёзно. Весной 1813-го он, уже георгиевским кавалером, вернулся в строй. Ему не пришлось сражаться под Люценом и Бауценом; лишь перед самым перемирием, в конце мая, он доехал до силезского городка Рейхенбаха, где была расквартирована его часть.

И Сушкова определили на квартиру к некоему Карлу Штадеру, чиновнику в отставке. Жил этот Штадер на самой окраине Рейхенбаха, в собственном домике. Получив билет в квартирной комиссии, Сушков незамедлительно отправился на отведенное ему жильё.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ,
самая долгая,
в июне 1813

Домик был точно такой, как и полагается в Германии: фахверковой постройки, белый в чёрную диагональ, под черепичной кровлей, с крыльцом, увитым не то хмелем, не то виноградом, и разве что без аиста на трубе. Сушков поднялся на крыльцо и постучал бронзовым молоточком. Из дома еле доносились фортепьянная музыка и чей-то весьма недовольный голос, резкий и хриплый, во всяком случае, не подпевающий музыке; а её мелодии Сушков что-то не мог определить. Дубовая верхняя половина двери вдруг с лёгким скрипением отворилась; звуки стали отчётливее, и Сушков мгновенно узнал одну из сонат Гайдна. Очкастый пожилой немец, лет шестидесяти, сухопарый, с зелёным козырьком над маленькими бровками, в черно-сером жилете поверх сорочки, вопросительно глядел на гостя,

— Господин советник Карл Штадер?

— Это я. Чем могу быть полезен, сударь?

— Я капитан русской службы Theodor Suschkoff, и, — с продуманной небрежностью Сушков махнул билетом, не желая обидеть старика чрезмерной официальностью своего визита, — определён на квартиру к вам, г-н Штадер, с вашего позволения.

Советник без слов отворил нижнюю половину двери.

— Прошу вас, г-н капитан.

— Благодарю, — Сушков вошел в прихожую. — Я могу послать за своими вещами?

— У меня есть две комнаты с отдельным входом, прошу взглянуть, — по-стариковски не сразу ответил Штадер. — За вещами? Да шлите, конечно. Я ведь так и предполагал, что ко мне поселят кого-нибудь.— Он вдруг энер-

гично пожал Сушкову руку и значительно поглядел в глаза. — Я счастлив принять в своем доме русского офицера, одного из спасителей моего отечества! Я, знаете ли, всегда был убеждённым антибонапартистом, всегда стоял за наш союз с Россией, Тильзит был ужасным недоразумением... всякий вам подтвердит... Тс-с! — вдруг прижал он к губам палец и кивнул на одну из дверей гостиной, куда они вошли только что.

Гостиная была так же светла, чиста и уютна, как и весь дом. Неяркий дневной свет лился из мелкорешетчатых окон; в белых ящиках пышно цвела герань; диван и кресла покрывала ручная вышивка; на чайном столике лежала салфетка; литографированный портрет короля Фридриха Вильгельма висел на стене; из двух высоких шкафов один, увенчанный бюстом Гомера, был занавешен зелёным занавесом, в другом, симметричном (под бюстиком Цицерона) за стеклянными дверцами стояли чучела мелких птичек.

— Орнитология, — прошептал советник, — мое увлечение, могу как-нибудь показать всю коллекцию, если вам будет интересно, г-н капитан; здесь — лишь малая часть её. — Указывая рукой, он перечислил несколько непонятных Сушкову немецких и латинских названий и снова кивнул в сторону двери: — Дочка, Ленхен, берёт уроки... только тише, прошу вас, её учитель решительно не терпит малейших помех, он блестящий талант, но... но... с большими, большими странностями. — Штадер взял Сушкова под руку и неспешно повёл далее. — Да, я должен предупредить, мы живём чрезвычайно скромно и уединенно, г-н капитан. Я, да Ленхен, да экономка... да два раза в неделю заходит вот г-н Оркман, учитель музыки... мы не очень-то привыкли принимать гостей, г-н капитан.

— Можете не беспокоиться, г-н Штадер. Мой характер совершенно такой же. Солдафонских попоек я не намерен устраивать.

— Ну что вы, что вы, я совершенно не это имел в виду... А вот и моя Елена с г-ном Оркманом. Значит, уже закончили? Позвольте, я вас представлю.

Они со Штадером стояли уже в дверях, намереваясь было идти из гостиной дальше, и теперь Сушков начал оборачиваться — туда, к двери, за которой только что играли Гайдна и доносился раздражённый голос, резкий и хриплый. В полуобороте Сушков увидел этих двоих — и на какой-то миг застыл.

Никогда бы, глядя на этот обычнейший уютный домик, он не подумал бы, что — одновременно и рядом — в нём способны встретиться самый причудливый в мире мужчина и самая прекрасная в мире женщина.

— ...Сушков? Капитан Сушков? Очень рад. Очень-очень-очень рад. Итак, вы русский. Мой старый друг Руссо — прямо скажем, почти ноль в музыке, а потому и сомнительного качества философ — уверял, что русский язык есть не что иное как испорченный греческий; я не стал его оспаривать, тем более что его оспорил другой мой приятель, г-н Казанова, который доказывал, что русский язык, vice versa3, есть усовершенствованный татарский. Вы, конечно, нашлись бы, что ответить, не так ли, г-н Сушков? Я, знаете ли,

не стал бы высказываться так уверенно. Я, конечно, знал ваш язык, но к тому времени, увы, более чем слабо. Изучал-то я его в бытность, дайте вспомнить, не то при царе Иване Васильевиче, не то при Василии Ивановиче придворным алхимиком — ну, а вы же понимаете, за четыреста лет и безо всякой практики даже родной-то свой язык забудешь, в особенности зная их — языков, то бишь — не менее семисот пятидесяти пяти. Exempli gratia4: я совершенно забыл родной финикийский.

Чудной уродливый человечек, с претензией на щегольство одетый в чёрный фрак и чёрные атласные панталоны, с белым, пышно завязанным галстухом, бегал из стороны в сторону, стуча высокими острыми каблуками французских сапожек с их шуршащей серебряной бахромой. Летали, казалось, по всей гостиной его руки, в чёрных рукавах, с длиннейшими костлявыми пальцами, летали длинные с проседью пряди, которые выбились из причёски и мели по самым его плечам; непрерывно менялось и будто переливалось живое, то старое, то молодое, красноватое морщинистое лицо. Юлиус Оркман, учитель музыки, был в превосходном настроении после удачного урока с Еленой. Ему хотелось носиться, лететь, блистать, потрясать, уничтожать! Уничтожать в особенности этого, с самого начала несимпатичного ему, русского офицера.

— Вы не слушайте его, г-н капитан, — добродушно сказал Штадер. Он сидел на диване, уже сняв свой фланелевый козырёк и протирая очки. Все трое собирались пить кофе; вышедшая Ленхен его готовила.

— Г-н Оркман никогда не пропустит случая произвести впечатление на новое для него лицо; а кроме того, он великий любитель парадоксов и всевозможных фантазий.

— Фантазий! Конечно же! — Оркман взмахнул руками. — Фантазмов! Этакие нервически-физиологические пертурбации, лучшее средство от которых — приставить дюжину пиявок ad coxam, то бишь
— ну, барышень здесь нет—к заднице! Ибо так советовал мне еще в Дрездене мой друг, милейший г-н регистратор Геербранд, а может быть, и конректор Паульманн5, к высокоразумному мнению которого я, naruraliter6, всецело присоединяюсь!

— У вас, я вижу, было много друзей в самые разные периоды всемирной истории... — довольно язвительно произнес Сушков, которому Оркман тоже мало нравился.

— О да! Да!

— Вероятно, и граф Калиостро среди них?

— Ошибаетесь! Никакого Калиостро, г-н Сушков, вообще никогда на свете не было! — Сушков ничего не спрашивал, но Оркман продолжал: — Вы, конечно, спросите: как? Как — не было? И вы, конечно, будете ждать моего ответа, но — ответа не будет! Не будет, г-н капитан!

— Я охотно верю.

— Вы, прошу прошения, профан, г-н капитан! О, не делайте больших глаз, я не намерен никого оскорблять! Я хочу сказать только то, что вы не

адепт, г-н капитан. Ведь вы же не адепт? Впрочем, вы уже ответили — своим молчанием. С первого взгляда на вас мне с чего-то взбрело в голову, что я вижу перед собой собрата, и я начал делать вам знаки, начав с высочайшей степени "избранника-рыцаря, мастера золотого треугольника" и окончив низшей, "шотландского подмастерья". Но что я вижу, г-н капитан? Поскольку вы ни разу не ответили мне ни одним из положенных жестов и сидели на этом кресле совершенно так же, как и сидите вот сейчас, скрестив руки в положении, которое означало бы — если бы вы действительно были братом-каменщиком — "катитесь к дьяволу, вы, набитый дурак", чего я от вас, как от человека истинно comme-il-faut, никак не ожидаю — так вот, поскольку — я уже запутался в периодах — поскольку этого вы — да подскажите же, наконец, с чего я начал! — короче говоря, поскольку-постольку — пора пить кофе, господа.

Елена как раз входила с чашками и кофейником.

Сушков, приведённый Оркманом в некоторое смятение (до того, что он теперь уже не знал, например, куда девать руки), при виде Елены вновь почувствовал себя мужчиной, а не мальчишкой. Оркман, в конце концов, ничего не значил, о добряке Штадере и говорить было нечего; нет, здесь была только она, только она! Одетая в простое белое "античное" платье, с длинными рукавами и полукруглым вырезом, туго перетянутое под самой грудью; тоненькая, голубоглазая с золотистыми волосами, уложенными в два шаровидных узла по бокам головы,— Елена была... была..."очаровательна, изумительна". — подумал Сушков, в который раз вздыхая о бедности человеческого языка.

— Г-ну Оркману, как всегда, отдельный кофейник, — сказала Елена, улыбаясь и ставя поднос на стол. — Никак не привыкну к вашим пропорциям: каждый раз боюсь, что у вас сердце разорвётся прямо за этим столом.

Против ожидания, Оркман, вместо того чтобы разразиться очередной тирадой, пробормотал что-то невнятное. Казалось, с возвращением Елены его мгновенно оставило не только шутовство, но и самоуверенность. И это тоже радовало Сушкова.

— Прошу вас, г-н капитан, — сказала ему Елена. —Вот ликёр, вот ром. Пожалуйста, сухарики, брио, пумперникель...

Беседовали оживленно. Хотя Оркман чем дальше, тем больше мрачнел, это выходило у него так забавно, что никого не беспокоило; а Штадер почти и не вмешивался в разговор, всецело занятый своим кофе. И говорили, таким образом, почти одни Елена и Сушков, для вежливости, конечно, временами вовлекая в свою беседу и Штадера. Оркмана вовлекать было опасно: он, хотя и не пытался больше блистать, всё же мог вести долгие и — без блеска — малоинтересные разговоры, излагая, например, сюжет "восточной повести" "Забеида", которую якобы писал и в которой собирался чуть-чуть ("не для профанов, разумеется") приоткрыть кое-какие известные ему тайны магии. Что до Елены с Сушковым, то говорили они обо всем, от Наполеона и Александра

до Шиллера и Фуке — но, говоря, всё чаше и всё дольше смотрели в глаза друг другу.

После кофе Сушков отправился в отведённые ему комнаты. К удивлению, он застал там Оркмана, с которым незадолго до того распрощался.

— Позволю себе предупредить вас, капитан, — нешуточно угрожающим тоном проговорил Оркман.

— Вы встретились с серьёзным, гораздо более серьёзным, чем вы думаете, соперником в моём лице.

— Да о чём вы. г-н Оркман?

Оркман поднял левую руку и вдруг чуть не ткнул Сушкова в глаза громадным турмалиновым перстнем с какими-то вырезанными на нём знаками.

— Обратите внимание, я ношу его на ЛЕВОЙ руке, — ещё более зловеще продолжал он. — На левой, ибо я чёрный, а не белый маг. И если вы не верите, что мне подвластны целые сонмы самых могучих демонов, то попробуйте, капитан. Оскорбите-ка меня всерьёз, и увидите, на что я способен.

Он круто развернулся и выбежал на крыльцо.

— Вы можете пробудить чудовищные силы! — крикнул Оркман из-за открытой двери. — Силы, всю мощь которых вы просто-напросто неспособны себе представить! Я ведь выведу и вас в своей повести, г-н капитан! Берегитесь, г-н капитан! Берегитесь!

Размахивая тростью, он скрылся.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ,
менее долгая,
в конце июля 1813

Штадеры и в самом деле жили уединённо, разве что изредка к Елене заглядывала какая-нибудь из подруг. Что до почтенного отставного советника, то едва ли не всякий погожий день он уходил из дома прочь, куда-нибудь на Цобтенскую гору, леса которой, по его словам, были особенно богаты интересными птицами, или даже к далекому Одеру с его прибрежными зарослями и пойменными лугами. Да и будучи дома, большей частью сидел в кабинете, набивая чучела или мастеря силки. Экономке же было всё равно, и никто не мешал Сушкову и Ленхен проводить много времени вместе. Они полюбили друг друга, они признались в этой любви. Они сговорились пожениться после войны и уехать вместе в Россию. Штадер, пока не извещённый, но обо всём и сам догадавшийся, ничего не имел бы против, хотя и горестно было бы расстаться с любимой дочерью, скорее всего, навсегда.

Юлиус Оркман продолжал давать Елене уроки музыки. Она заметила, что учитель стал что-то особенно раздражителен и нетерпим, что он выходит из себя по любому поводу и видит едва ли не личное оскорбление во всём, что бы ни делалось помимо него. Между тем срок перемирия истекал. Бригада Сушкова собиралась в поход в Богемию, наставала пора прощаться. В один из последних дней старик Штадер устроил что-то вроде музыкальной вече-

ринки — всего только для них четверых, не более. В гостиную вынесли фортепиано; Елена исполнила несколько ариэтт и, устав, села на диван рядом с Сушковым. Оркмана еле уговорили что-нибудь сымпровизировать, и, поломавшись и наговорив при этом изрядных дерзостей, он всё-таки сел, наконец, играть.

Было тепло, уже темнело, игольчато-тонкое пламя поднималось от потрескивавших свеч. Гомер, Цицерон и Фридрих Вильгельм Третий бессмысленно смотрели куда-то поверх голов присутствующих. Штадер, мечтательно наклонив голову, печально и умилённо следил за игрой Оркмана; руки Сушкова и Ленхен, незамеченные и горящие, сплелись; мелодия была тиха, прозрачна, округло-нежна, она переливалась и усыпляла. "Когда?" — еле слышно прошептала Елена. "Выступаем?" — "Да." — "Не знаю. В ближайшие дни."

— "Ты идёшь на войну, Теодор, я так боюсь за тебя." — "Ленхен, любимая, твой ангел осенит меня своими крылами, и они отклонят от меня смерть." — "Ах, не надо, пожалуйста, говорить как в романах, мой милый."
— "Да ты заразилась иронией от своего Юлиуса." — "Недаром же он так много говорит о внутреннем родстве наших душ. Впрочем, не оставить ли его?" — "Да, оставим, оставим. Будем же говорить друг о друге, Ленхен, драгоценная, любимая..."

Они не сразу заметили, что мелодия оборвалась.

— Может быть, кому-то и нравится, когда шушукаются во время его игры, — медленно заговорил Оркман трясущимся от злости голосом, — может быть, я иногда способен играть для одного себя да ещё, пожалуй, для некоего высшего, высочайшего, незримого слушателя, но чёрт меня побери, ведь не в гостиной же! не в гостиной! Мне уже безразлично, — почти кричал он, — что мной пренебрегают как последним насекомым, что я здесь не более чем диковинная птица, из которой разве чучела нельзя набить, что дух — дух, говорю я, — в котором вся моя жизнь, то неслышное мировое звучание, Пифагорова мелодия сфер, то, к воплощению чего устремлено всё моё существование,— воплоти я его, будет для вас всё равно что звон медного таза и ничего, кроме сытой ухмылочки, не вызовет в вас! мне, короче говоря, безразлично непонимание, но вежливость! простейшая салонная вежливость! просто пять минут потерпеть и помолчать, пока я, чёрт побери, играю! — он вытер лоб и со всей силы грохнул кулаком по клавишам. — Вот то последнее, что мне ещё нужно от вашего общества, господа.

— Я сожалею и искренне раскаиваюсь, г-н Оркман, — смущённо сказал Сушков. — Прошу прощения — что я ещё могу сказать?

— Я принимаю! — с царственным презрением отозвался Оркман. — Более того, сам готов извиняться перед вами! Простите — не рассчитал! Не понял сразу, с какими ценителями имею дело! Ну да ничего, исправлюсь как-нибудь! — Он поднял крышку фортепиано и глубоко засунул длинную руку внутрь. — Слушайте! Вот это для вас, милейший г-н Штадер!

Одною рукой перебирая клавиши, а другой в то же время что-то настраивая внутри, он заиграл; и, донельзя смущённые обличениями Оркмана,

все трое услышали приятные посвистывающие звуки, казалось, совершенно лишённые фортепьянного тембра.

— Славка-черноголовка, — удивлённо определил Штадер.

— Браво! — отозвался Оркман. — А вот это для вас, капитан!

Рожок... невнятно-хриплые команды... бой барабанов... марш (батальонных каре, даже узнал Сушков. всё больше изумляясь невероятной виртуозности музыканта)... первые выстрелы... ура... бегом марш... канонада... отдельные выкрики в общем рёве... Оркман встал из-за инструмента и захлопнул крышку.

— Прощайте, господа!

— А для меня? — тихо спросила Елена. — Для меня вы ничего не сыграете?

— Нет, — ответил Оркман и резко обернулся. Елена вздрогнула под его взглядом. — Для вас — полное молчание, мадемуазель! Для вас — ни звука!

И, широко шагая, он ушёл.

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ,
самая короткая,
в мае 1814

Да, да, да...

Прошёл год, Наполеон был разгромлен. Париж взят, Сушков вышел в отставку майором, он возвращался в Россию, а фахверковый, белый в чёрную диагональ домик был тот же самый, так же горбатилась черепичная кровля, и тот же хмель, а может, и виноград, увивал крыльцо. И даже музыка и резкий каркающий голос Оркмана доносились далеко из глубины его точно так же. "Здравствуй, Елена",— подумал Фёдор Фёдорович и постучал в дверь бронзовым молотком.

— ... Итак, вы просите руки моей дочери, — стараясь придать подрагивающему голосу родительскую важность, проговорил Штадер и, сняв очки нетвёрдой рукой, принялся тщательно протирать их.

За окнами нависали тучи, налетал холодный предгрозовой ветер, дребезжало стекло.

— Моё имущественное положение вы знаете, г-н Штадер. Я рассчитываю, что имение в триста душ вполне способно нас обеспечить, а майорский чин даст вход в благородное общество.

— Эти объяснения совершенно излишни, г-н майор, — продолжая тереть очки, произнёс Штадер. — Я не имею ничего против и, более того, давно считал вас лучшим кандидатом, чем кто бы то ни было в нашем незначительном городке. Вы, вероятно, уже объяснились с Ленхен?

— Да, г-н Штадер.

Советник решительно указал на дверь.

— Пойдёмте к ней, г-н майор. Я полагаю, мы имеем полное право прервать их занятие.

— Боюсь, г-н Оркман будет обижен...

— Будет, — согласился Штадер и толкнул дверь.

— ... Постойте, постойте же, г-н Оркман! Куда вы! Такой ливень, такой дождь! — Сушков, в эту минуту страстно влюблённый в весь мир, не исключая и Оркмана, ринулся вслед за ним под бушующий ливень.

— Дождь! Да, дождь! — заорал Оркман с мокрым лицом. — Чтоб ему смыть в подземный океан весь этот дрянной городишко со всеми вами! — Похожий на обезумевшего шамана, он закружился, запрокинул лицо и поднял руки к бурлящему небосводу. — Всех демонов ада на ваши головы! — крикнул он. — Заклятием царя Соломона заклинаю! И да не будет вам счастья на сей земле! — Он отбежал. — Чёрный ворон, красное
вино! — крикнул он, обернувшись. — Чёрный ворон, красное вино, не так ли, г-н майор! Вы уже попали в мою повесть, г-н майор! Ждите! Я ухожу!
Промокая и не замечая этого, смотрел Сушков, как удивительный человек, уносясь вприпрыжку, скрывается в конце загибающейся улицы. Он стоял так, пока на крыльцо не вышла Елена и не увела его в дом.

Глава вторая
ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ
(С немецкого)

1.

19 июля 1819, суббота
Новгород

Милый друг мой Елена! Пишу поневоле второпях; велят выступать. Итак, я у графа Аракчеева был, он остался мною доволен, поздравил с возвращением в строй, да и вообще проявлял большую любезность и предупредительность. Мне поручен военно-рабочий батальон 5-го гренадерского Киевского полка, определённого к поселению в Новгородской губернии. Денег из жалования вышлю в самое ближайшее время, уговори, пожалуйста, ростовщиков подождать. Письма адресуй в Новгород, в Главный штаб военных поселений, на имя майора означенного полка Ф. Сушкова. Прими уверения и проч., мой ангел; безумно тороплюсь; прощай. — Твой муж — Тh.

2.

8 августа 1819, пятница
Петербург

...Жду более обстоятельного письма! Но, впрочем, поздравляю; я за тебя рада. Как тебе граф Аракчеев? Признаться, я побаивалась: как сочетаются его известные бесцеремонность и грубость с твоим вольнолюбием и непокор-

ным нравом? Но, кажется, ты в восторге от графа; как любопытно было бы узнать твой разговор с ним!

Я ведь винила и самоё себя, что тебе пришлось вернуться из отставки. Ты покинул службу из-за меня; в твоей деревне мы провели пять счастливейших лет моей жизни (не считая ужасной потери нашего незабвенного младенца, конечно); неужели все эти пять лет я не могла бы уделить хоть сколько-нибудь внимания твоему расстроенному хозяйству? Увы, мы наслаждались друг другом и не видели, как недобросовестные слуги и злонамеренные соседи понемногу разоряют его... Впрочем, что толку в воспоминаниях! Заложенного не выкупишь, а прошлого не вернешь (похоже на комический афоризм, не так ли?).

Но здесь, в Петербурге, без тебя, мой Теодор, ничто не отвлекает меня от забот хозяйственных, и уж здесь-то я наведу порядок! Деньги я получила вместе с письмом; ростовщикам все долги уплачены.

А как медленно доходит почта!... Будь ты со мной, мне очень нравился бы Петербург. Здесь, на Васильевском, живёшь почти как в деревне, тихо и мирно. А эти роскошные главные улицы! Какие здания, какие набережные, каналы, мосты... вот только кареты... ужас! Здешние лихие ездоки воистину уподобляются древнему Салмонею: взмыленные кони, гиканье форейторов, грохот, стук, звон! Немудрено и погибнуть под их колесами. Но, впрочем, я из дома почти и не выхожу. Не к кому и незачем. Скажи, Теодор, обоснуешься ли ты на каком-нибудь одном месте — в Новгороде или в поселении — и смогу ли я переехать к тебе?...

3.

26 августа 1819, вторник
Село Залучье, Новгородской губернии

...Выполняю твоё желание, Ленхен, и даю характеристику графа Аракчеева. Дурные слухи о нём отчасти верны. Он, действительно, придирчив и педантичен, груб, довольно безнравственен, свиреп с солдатами, наконец, не слишком благообразен с виду, и всё же хорошие свойства этого выдающегося государственного деятеля, несомненно, перевешивают плохие. Прежде всего, он абсолютно честен и неподкупен. В Пруссии, это, может быть, в порядке вещей, но в России стоит немалого. Он деятелен, бережлив и трудолюбив; он справедлив, пожалуй, и до суровости. Он с полной серьёзностью относится к своим гражданским обязанностям, он уважает тех, с кем разделяет эту серьёзность, и всегда готов воспитывать её в остальных. Я лично не могу пожаловаться на отношение ко мне графа. Ему хорошо известны мои заслуги и способности, и служба, мне порученная — начальство над военно-рабочим батальоном, — вполне соответствует им.

Милая Ленхен, увы, нам придется ещё терпеть разлуку. Моя служба — сносить одну деревню за другой и строить на тех же местах заново расплани-

рованные, а живём мы в землянках и палатках. Могу ли я предложить тебе такую жизнь?..

4.

25 февраля 1820, среда
Петербург

...Я коротко познакомилась с г-жой Пеликановой, одной из моих соседок (её дом напротив нашего, в 8-й линии) Вдова чиновника, лет пятидесяти, недалёкая, но добрейшая и глубоко религиозная дама — она с чего-то сочла нужным взять род покровительства надо мной. После твоих писем беседы с ней — вот всё, что скрашивает мою тоску; сколько ни хозяйничай, свободного времени всё равно слишком, слишком много! Играю на гитаре — к немалому удивлению слуг — и сотый раз перечитываю вывезенные из Рейхенбаха книги. А какое фортепиано я видела в Гостином дворе! Эстерлейн! Ожидаю твоего вызова и не покупаю только потому: денег достаточно.

Недавно на набережной видела государя. В одном мундире — несмотря на холод — он гулял один, любезно отвечал на поклоны прохожих и улыбался им. Генералы, кажется, подражают ему в спартанском презрении к холоду... А ты смотри, Теодор, одевайся тепло. Воображаю, какие сугробы сейчас в вашей глуши! Смотри, я за тебя беспокоюсь...

5.

10 марта 1820, среда
Новгород

...Не бойся за меня, милая, милая Ленхен, здесь тепло и снег уже почти растаял. Я в штабе и только что отчитался перед Экономической комиссией: граф изволил меня похвалить. Наверняка отпустят домой на Пасху — подумать только, Елена, мы не виделись с февраля! Как русский язык? Я был удивлён твоими успехами. Ну, жди меня и не скучай...

6.

16 апреля 1820, пятница
Петербург

...Послушай-ка, Теодор, какого старого знакомца я встретила. На днях решила пополнить запас книг в лавке Глазуновых, что в Аничковом доме на углу Невского и Садовой. Немецкий отдел там превосходен, есть много нот, а из книг даже такая свежая новинка, как "Западно-восточный диван" Гёте; но как ты думаешь, при виде какого имени я чуть не выронила книгу из рук?! Оркман!!! Да, "Юлиус Оркман — Забеида — восточная повесть — Рейхенбах, 1818"! Юлиус Оркман, этот добрейший чудак, мой старый учитель музыки — и вправду написал свой роман; а я-то думала, все рассказы о нём — лишь од-

на из вечных его мистификаций! Посвящение — некоей E. St. (ты, конечно, ни за что не догадаешься), в которую он, похоже, был без памяти влюблён! Оркман-то! Смеяться или плакать? Я не знала, клянусь!!! Роман я купила, читаю — нравится. Всё же удивительной души он человек!... Да, не посоветуешь ли что-нибудь из русских сочинений? С прислугой и приказчиками я объясняюсь уже хорошо, но этого, согласись, мало...

7.

10 мая 1820, понедельник
Велье озеро в Новгородской губернии

...Дороги высохли, и мы опять в пути: идём строить поселение для очередной роты. Здесь по-настоящему глухие места. Синие-синие озёра, лесистые острова, нехоженые еловые чащи, моховые болота, белые валуны, нищие деревеньки с их полудикими обитателями — вот где нам приходится водворять аракчеевские порядки и, клянусь, затея графа (или кое-какого другого лица) кажется мне всё невыполнимее. Должен признать, что введение военных поселений вызывает общую ненависть, и справедливо! Дочиста снести село с ею убогими, но такими родными и привычными для этих людей домами; не пощадить даже ни кладбищ, ни Божьих церквей; обрить поселянам бороды и вырядить их в мундиры; загнать в землянки, где они мрут один за другим, пока не выстроят новых домов; лишить их всякого личного имущества и отнять даже детей, которых тоже обмундируют и отправят в кантонистские школы; холостых насильно переженить — а, каково? Прибавь беспощадный и мелочный контроль графа, который не преминет заглянуть во все дымоходы, чтобы проверить ровность кладки, но которого при этом обманывают на каждом шагу... впрочем, хватит: у меня разлилась желчь; не буду ввергать тебя в это месиво из грязи, крови и пота, в котором я увязаю с головой и в котором ты — единственный дальний свет, свежий ветер, отрада и утешение, о моя Ленхен...

Не знаю, стоит ли тебе читать русские книги? Кроме авторов и их личных врагов, читателей нет. Русская литература ничтожна. Единственный подлинно великий поэт— покойный Державин, но, боюсь, его тяжёлый и нечистый слог отпугнет тебя. Модные баллады Жуковского полны устрашающих сцен самого дурного вкуса, с луной, мертвецами, капуцинами и проч., что для тебя, конечно, не ново. Подавал некоторые надежды младший Пушкин, но он сослан и, видимо, кончился как поэт, а единственная его пьеса, наделавшая столько шума два года назад, к сожалению, ни в коем случае не может быть рекомендована даме. Итак, остаются Карамзин, Дмитриев и Крылов. Их и читай, а все прочие не стоят и бумаги, на которой напечатаны (так, правда, говорят об ассигнациях, но сойдёт и здесь). Однако хватит о так называемой русской литературе. У меня положительно разлилась желчь...

Елена, драгоценная и единственная, только воспоминание о тебе и способно как-то примирить меня с этим постылым миром... Когда, когда мы сви-

димся? Зачем я думаю о тебе? Зачем я возвращался домой на Пасхе? И зачем я пишу эти глупости?... Ленхен! Ленхен! Умоляю, никому не показывай этого позорного письма, уничтожь его, уничтожь, мне уже стыдно; боюсь перечитывать и спешу запечатать. Прощай, прощай, прощай. Твой — Тh.

8.

29 мая 1820, суббота
Петербург

...Теодор! Ты не можешь себе представить, как обеспокоило меня последнее твое письмо. Откуда эта злость на весь свет? Что-то случилось? Ты нездоров? Напиши, пожалуйста, Теодор, не скрывай от меня ничего! И молись! — мне кажется, ты забываешь Господа! Теодор, Теодор! Не служба ли эта так на тебя влияет? Не попросить ли тебе о переводе? Я советовалась с г-жой Пеликановой, у нее есть связи в Министерстве внутренних дел, и она даже согласна сама похлопотать о каком-нибудь месте для тебя в статской службе. Подумай об этом, Теодор, миленький.
Деньги я получила, в хозяйстве всё идет хорошо, не подумать ли нам о выкупе имения? Я рассчитала, что к концу лета мы будем иметь достаточно денег... Крылова читаю, и не без успеха, и — сказать ли? — осмелилась даже переводить роман г-на Оркмана! За что не примешься от безделья?...

9.

15 июня 1820, среда
Село Медведь, Новгородской губернии

Елена, возлюбленный друг мой! Я получил твоё трогательное письмо. Не беспокойся за мою душу. То послание я написал под влиянием минуты и до сих пор стыжусь за него. Надеюсь, оно уничтожено. Моё нынешнее положение таково: работа моего батальона графом Аракчеевым одобрена, и я представлен им к повышению в чине. Думаю, мне предстоит служба в штабе и, когда всё будет решено (это дело нескорое), я выпишу тебя в Новгород и мы, наконец, воссоединимся...

10.

24 июня 1820, четверг
Петербург

...Как я рада за тебя, Теодор! Я готова прыгать от радости, как девчонка, а г-жа Пеликанова уверяет, что ей уже давно являлся какой-то святой во сне и предвозвещал твоё повышение в чине. Жаль, придётся отказаться от эстерлейновского фортепиано — не везти же его в Новгород. Ну, да найду чего-нибудь и там. Я подобрала мотив к четырём романсам г-на Дмитриева — но их первым слушателем будешь ты и только ты, милый друг! Перевод Оркма-

новой "Забеиды" идёт быстро, я уже закончила две части из трёх, перечитала их и, думаю, выходит неплохо! То-то будет рад, когда узнает, мой фантастический чудак — или уж не стоит бередить раны его разбитого сердца?...

11.

8 июля 1820, четверг
Село Медведь, Новгородской губернии

...Поселение, которое я сейчас строю — слава Богу, последнее. Список представленных к повышению офицеров, список, в который вписана и фамилия, носимая теперь тобой, моя Ленхен — на столе у царя. Не зову тебя в Новгород — приеду за тобой сам. Да, вот ешё: не пришлешь ли четвертую книжку журнала "Невский Зритель" за этот год? Говорят, там под видом перевода с латинского — злейшая сатира на моего графа! Автор — Рылеев. Весь полк её жаждет, и ты меня весьма одолжишь...

12.

14 августа 1820, суббота
Петербург

Теодор! Теодор! Порадуйся за меня — перевод закончен! закончен! Грамотный лакей Григорий прочел и сказал, что "писано складно", а благочестивейшая г-жа Пеликанова от романов открещивается как от чёрта и не хочет даже слышать о них. Но главное-то: сам Карамзин, Карамзин одобрил! Всё. Теодор! Отныне твоя Ленхен может числиться средь питомцев Российской Музы. А что бы ты думал — буду печатать, уже и в цензуру отправила. Поздравляю и вас, г-н подлолков... нет, нет, боюсь сглазить: надеюсь вскоре поздравить и вас, г-н майор — вот так. А точно ли тебя переведут в штаб? Стихи Рылеева высылаю...

13.

1 сентября 1820, среда
Каземат Петропавловской крепости

Ленхен, беда. Беда! Пишу из тюремного каземата, не зная, когда смогу отсюда выбраться, и смогу ли! Слушай: дело было так. Аракчеев вызвал меня — как я уж было думал, поздравить с производством в подполковники. На моё приветствие он не ответил и молча подал какую-то бумагу. Я взял её и оцепенел. Это была копия моего письма — письма к тебе! — от 10 мая, помнишь, письма, в котором я потом так раскаивался — и, оказалось, не зря! Кое-как я овладел собой и положил бумагу на стол. После чего произошла следующая беседа:

АРАКЧЕЕВ: Ну, что на сие скажешь, майор Сушков?

Я: А что я могу сказать? Вы — государственный человек, вам виднее. Но вот если бы лицо, способное унизиться до чтения писем мужа к жене, принадлежало не к высшему, а к моему кругу — то, уверяю вас, оно ни при каких обстоятельствах не было бы терпимо в офицерском обществе.

АРАКЧЕЕВ (в раздражении): Вишь, все теперь образованные стали! Ты меня правилам чести не учи, майор! Да, да, Аракчеев неучёный, Аракчеев бесчестный, а вся честь моя — служить государю, а другой не знаю и знать не хочу!

Я: И как же вы намерены сию улику употребить? В суд представить?

АРАКЧЕЕВ: Молчать! Я сам тебе суд, и сам тебе Сибирь, и сам тебе виселица! (Неожиданно добродушным тоном). Эх, майор, майор! Хороший ты был офицер, а вот надо же — военную тайну разболтал! Изменником сделался!

Я: Вы заблуждаетесь, если думаете, что какое бы то ни было слово из ваших уст способно оскорбить меня, ваше сиятельство.

АРАКЧЕЕВ: Ну, поболтай у меня, поболтай! (Звонит. Входит фельдъегерь). В крепость государственного изменника!

И вот я здесь.

Что преступного мог он найти в том письме? Разве нелестные отзывы о его прожектах? Правду о порядках в поселениях?... Суда, конечно, не будет, даже самого секретного. Вряд ли граф при всей своей низости осмелится признаться в чтении чужих писем. Значит — личный доклад его величеству, когда тот вернётся из Польши. А дальше? Дальше понятно что. Гражданская казнь и каторга.

Переписываться запрещено, но, кажется, сторож мне немного сочувствует. Места писать больше нет; прощай. Люблю тебя как никогда, Елена. Поверь, Елена, действительно — как никогда.

Глава третья
У НАСТАСЬИ МИНКИНОЙ

Ведьма всегда злодейка и никому и никогда
добра не делает.
В. И. Даль. О поверьях, суевериях
и предрассудках русского народа

Васильевский остров, если заглянуть за его строгий казённо-классический фасад, с гранитной набережной, Академией, Кунсткамерой, Биржей — являл картину подлинного захолустья. Одна регулярная планировка и напоминала о том, что здесь всё-таки Петербург. А всё прочее — обширные низкие дома, облепленные пристроечками и редко-редко где с мезонином; бесконечные заборы, калитки, яблоневые и вишнёвые сады; на улицах — покривившиеся мостки, лужи, свиньи, собаки, куры — всё это было совершенной провинцией. Местные так и говорили: город Васильев. Здесь-то, в

8-й линии, и жила в огромном, весьма запутанном доме, с доброй дюжиной ближних и дальних родственников, вдова чиновника петербургской таможни Марина Павловна Пеликанова.

Отличительными чертами её были широкое гостеприимство и полная неспособность справляться со своим обширным имением. Так что солидное наследство, которое оставил своей вдове невесть какими трудами разбогатевший таможенник, с удивительной быстротой проедалось многочисленными друзьями и родичами и проворовывалось немногочисленной, но алчной дворней. Дом с его причудливо нагромождёнными пристройками, чуланами, переходами, сенцами, горенками, казалось, самой своей архитектурой (вернее, её отсутствием) был обречён на уют; но уюта не было и в помине. Копоть, сор, тараканы; вещи, вечно затерянные; невкусная еда; скандалы и непрерывно тлеющие свары родственников; интриги слуг — всё было как-то безнадёжно запутано и бестолково, и Марина Павловна порой приходила в отчаяние от полной невозможности что-либо привести в порядок.

У новой соседки своей, Елены Карловны Сушковой, г-жа Пеликанова отдыхала и сердцем и душой. Там всё всегда было скромно, чисто, миленько, по-немецки. Цвела герань на окне, висели по стенам литографии, вышивки, гитара, тикали часы, за стенкой запевал самовар; а тоненькая Елена, отложив вязание или книжечку, что-нибудь рассказывала о горячо обожаемом Теодоре, или о жизни в родных краях, или, что бывало чаше, сама слушала рассказы и жалобы Марины Павловны, широко раскрыв льдисто-голубые свои глаза.

Но однажды вся эта идиллия рухнула. Зайдя к соседке в обычное время их чаепитий, часов около семи, вдова застала её в полном оцепенении, молчащей, даже без слёз. Рядом с ней на диване лежало последнее письмо Сушкова — из крепости. Марина Павловна не знала немецкого, но свой разговор с Аракчеевым Сушков написал по-русски, и из него всё было понятно и так.

— ...Вот что я тебе, Карловна, скажу, — начала Пеликанова, как только кончились слёзы и утешения, — есть у твоего Аракчеева любовница, Настасьей Минкиной звать — простая мужичка. Живёт у него в имении и большая сила, как говорят. Так я думаю, не съездишь ли к ней-то? Баба дрянь, конечно, а всё баба, вдруг да сжалится? вдруг да замолвит слово? А? — Пеликанова толкнула Сушкову в бок. — Я тарантас одолжу. Съездишь, не побрезгуешь?

— Для него — хоть к дьяволу, — угрюмо проговорила Елена.

— Ну вот и умница, — похвалила её Пеликанова, при слове "дьявол" тайком крестясь.

Село Грузино поражало взгляд уже издали. Одинаковые розовые домики, вытянутые в струнку вдоль ровного щебенчатого шоссе; зеркальные стёкла окон; улицы, чисто выметенные и обсаженные берёзами; общий вид порядка и довольства — всё напоминало больше колонию немецких переселенцев, чем обыкновенное русское село. Господский дом стоял среди обширного английского парка: его затейливые пруды, руины, павильоны не уступали,

пожалуй, ни павловским, ни гатчинским. Купол собора золотился поблизости над желтеющей листвой деревьев. Чем ближе подъезжал к дворцу пеликановский тарантас, тем хуже становилось на душе у Сушковой от необходимости что-то просить у Минкиной, у женщины, о которой она не слышала ничего, кроме самых чудовищных слухов; и тем твёрже делалась её решимость — всё же предстать перед ней. Тарантас остановился перед фасадом. Елена попросила швейцара доложить о себе.

Настасья Фёдоровна Минкина, домоправительница и наложница Аракчеева, бывшая крепостная, а ныне всесильная барыня, не была доселе избалована визитами дам. Да, перед ней заискивали все министры и все генералы — но их жёны, избавленные от печальной служебной необходимости, конечно же, откровенно гнушались ею. Минкина велела принять Сушкову. Ей было любопытно — какая же крайность могла всё-таки заставить кого-то "из благородных" приехать к ней, Настасье Минкиной, и просить у неё приема.

Елену провели в хозяйский кабинет-будуар. Стены были выкрашены под обои в болезненно-бледно-розовый цвет; базальтовый камин отражало громадное, выше роста, зеркало-"псише" в чёрного дерева раме. Громоздкие, с вогнутыми внутрь спинками диван и кресла были обиты молочно-белым атласом в пухлую клеточку. Посреди диванного столика, на фарфоровом блюде, багровели ломти арбуза. Две горничных девки стояли чуть в стороне.

Толстая, смуглая, похожая на цыганку или молдаванку, не первой уже молодости женщина сидела, развалясь, на диване и неспешно догрызала кусок арбуза. Тяжёлый взгляд ее маслянисто-чёрных глаз бесцеремонно прошёлся по гостье; Сушкова, твердо решившаяся вынести всё, присела в книксене.

— Здравствуйте, сударыня, — сказала она, — я прошу простить сей нежданный визит.

— Бонсуар, мадам. Антре силь ву пле, — якобы по-французски, не отрывая глаз от Сушковой, проговорила Минкина. — Чего вам угодно? — суховато спросила она.

Елена, поблагодарив хозяйку кивком, села в кресло и начала рассказ. Минкина не перебивала.

— Умоляю понять мои чувства, сударыня, и рассчитываю на ваше милосердие и ваше влияние, — закончила Елена, потупляя глаза.

Минкина молча разглядывала её. Да, Минкина не ожидала такого.

Так что же, эта немка предлагает ей просить графа об отмене его же собственного распоряжения? Вот так да! Неужели она на что-то рассчитывает? Она что, думает, что домоправительница Настасья имеет какое-то влияние на Аракчеева в его служебных делах?

— Прегрустная история! - ласково сказала Минкина, начиная невидимо накаляться гневом.

Что же, выгнать её, вытолкать в шею? А не пойдёт ли тогда и к самому графу — просить? Пойдёт ведь! И что тогда — вдруг да приглянется? Минкина знала своего хозяина, очень хорошо знала. В мгновенном приступе ди-

кой ревности она еле-еле удержала доброжелательную гримасу на своём лице. Разве преминет граф воспользоваться положением молодой и хорошенькой просительницы — а там, кто знает, вдруг да привяжется к ней всерьёз? В помутившемся от бешенства, но хорошо соображавшем мозгу Настасьи мгновенно сошлись концы; дальнейшие действия были понятны.

— Что же у вас, сударыня. — прежним ласковым тоном продолжала Минкина, — даже и родственников нет, и похлопотать за вас некому? — Она быстро добавила: — Я к тому, что жалко мне вас, голубушка, сами вот ездите в такую даль.

— Нет, никого, сударыня.

"Нет — ну и слава те Господи, — подумала Минкина, — и концы в воду. За ужином и покончим".

— С его сиятельством я поговорю, — улыбаясь, сказала Минкина. — А вас приглашаю со мной отужинать, да и заночуете здесь. — Она обернулась к одной из горничных. — Глашка, барыниных коней распрячь, в конюшню и овса им! — приказала она сиповатым сварливым голосом старой цыганки, голосом, до того не похожим на прежний ласковый, что Елена в первый миг не поверила своим ушам. — Угощайтесь! — Минкина протянула ей ломоть арбуза. То ли от радости за удачный план, то ли неясно желая уравновесить будущее злодеяние, но Настасья чувствовала потребность сеять добро. Она взглянула на вторую горничную; захотела сделать какое-нибудь добро даже и ей. — На! Жри, поганка! — почти добродушно сказала Минкина и кинула ей в лицо арбузную корку с остатком мякоти.

Сушкова вздрогнула. Она осторожно положила свой ломоть обратно на блюдо. Ей сильно захотелось оказаться где-нибудь подальше от гостеприимной Настасьи Федоровны.

— Я очень благодарна, сударыня; могу ли я идти? — спросила она несколько неуверенным тоном.

— Пожалуйста, — улыбнулась Минкина почти светски и опять повернулась к горничной. — Машка! проводи в гостиницу, чего стоишь!... Так я вас к ужину жду, голубушка, не забудьте.

Вслед за Машкой Елена вышла из будуара Минкниой; они прошли следующую комнату в анфиладе. Затворив за гостьей бесшумные, идеально смазанные двери, Машка вдруг повернулась к ней и, с неожиданным нарушением всех условностей, почти вплотную приблизила лицо и прошептала:

— Бегите быстрее отсюда, барыня. Бегите быстро, покуда коней ваших не распрягли.

— Что ты говоришь? Почему — бегите? — еле слышно спросила Сушкова хотя поверила охотно и незамедлительно, что бежать и вправду имеет смысл.

— Бегите, говорю. Я нешто не знаю, когда графиня затеет? Уносите ноги, барыня, жалко мне вас...

...Конюхи уже выпрягали коренника, кучер Степан о чём-то болтал с ними. "Подите прочь, — спокойным, но почти срывающимся голосом сказала

Елена. — Степан, запрягай обратно и поехали. Поехали, поехали отсюда! живей! живей!" Их не преследовали.

И вскоре Грузино осталось далеко позади. Тройка мчалась по старому екатерининскому большаку, тарантас трясся, бледное солнце тлело в желтеющей листве берёз. Елена в который раз вспоминала Минкину и содрогалась. Как она сразу не заметила рук её горничных — красных, в полосах и волдырях? Как могла надеяться на её добросердечность? Да, как она ни старалась этого избегнуть, а приходилось всё же идти к прямому виновнику ареста мужа. Идти и просить лично самого графа Аракчеева.

Глава четвёртая
КЛЮЧ ВСЕХ ОКОВ

Аггелов племя.
Рыцарь бесов,
Адское семя,
Ключ всех оков.
Чувств не имея,
Ешь ты людей.
Ехидны злее
Варвар, злодей!
Акростих, ходивший среди армейских
офицеров около 1823 года

К страшному дому на углу Литейного и Кирочной кареты съезжались уже к четырём часам.

Стояла ночная, ещё даже не предрассветная тьма. В фонарях подъезжавших карет моталось жёлтое пламя. Форейторы не гикали, дверцы не хлопали, откидываемые ступеньки не грохотали. Барскую лихость следовало оставить: здесь царствовали тишь и тьма. Вы поднимались на крыльцо и входили в преддверие. Курьер провожал вас в адъютантскую через огромные сени. Полутьма, громадность комнат, приглушаемый шаг, неподвижные, идеально обмундированные истуканы на страже у каждой двери — всё это, как бы ни были вы отважны, наводило, по меньшей мере, почтение. Вы вступали в приёмную и робким тоном — которого, может, ещё вчера и не подозревали в себе — назывались дежурному адъютанту. На несколько секунд он скрывался в святой святых; ваше сердце колотилось; слышались голоса; он возвращался — и если не говорил ни слова, это значило, что вам следует ждать.

Вы ждали. И горе было, если вы по молодости лет выказывали нетерпение. Вам полагалось знать, как любят здесь проучивать таких вот нетерпеливых. Вам приходилось убеждаться в этом на горьком опыте, часов иногда по десяти — десяти! — ожидая приёма, и, дождавшись, наконец, веления, приходить на следующий день — да, скорее всего, и на следующий день повторялось то же. Министры, генералы, сенаторы, просители и просительницы

всех рангов и сортов сидели здесь на диванчиках, не смея ни пошевелиться, ни молвить слова. Время от времени звенел колокольчик; адъютант бесшумно и быстро шёл в кабинет; посетитель выходил, отирая лоб и едва не дрожа всем телом, он скрывался; и опять появлялся из кабинета адъютант и называл — конечно, опять не ваше — чьё-нибудь имя. "А позвольте узнать-с, — как-то помимо вашей воли добавлял предатель-подлец-язык эти подобострастные "'а" и "с", — когда же мой-то черёд будет?" — "А вам сказано ждать до двенадцати"... Но вас опять не приглашали ни в двенадцать, ни в час, ни в два.

И когда назавтра, предусмотрительно захватив хлеба или мятных лепешек, вы снова шли в проклятый, ужасный дом, и когда вас — просидевшего всего-то каких-нибудь пять или шесть часов и уже почти ни на что не надеющегося — наконец вызывали туда, в тот кабинет...

— Ну что, любезный? Теперь привык? — были слова, которыми встречал вас тогда его сиятельство граф Аракчеев.

Но так бывало с нетерпеливыми.

Что касается Елены, то она не только собиралась ждать сколько нужно, хоть месяц — потому что дальше идти всё равно было некуда; не только втайне ЖЕЛАЛА как можно дольше ждать и не входить в страшный аракчеевский кабинет — но ей и не пришлось сидеть в приемной.

Да, граф принял ее немедленно. Он, по-видимому, даже выгнал предыдущего посетителя, какого-то купца. Это последнее показалось Елене не предвещающим ничего хорошего.

Сушкова немало размышляла над тем, что ей говорить Аракчееву и, главное, как в этом разговоре поставить себя. Смиренной просительницей? Нет, это было бы всего хуже. Известные соображения, вызвавшие лютую ревность Настасьи Минкиной, приходили в голову и Елене. Нельзя сказать, чтобы она немедленно и с порога отвергала мысль спасти Фёдора Фёдоровича таким убийственным для его чести путем, но нельзя сказать и того, чтобы относилась всерьёз к этой мысли. Даже отвергнув соображения морали, чести, элементарной брезгливости — нельзя же было не понимать, что рано или поздно Фёдор Фёдорович всё узнает, и что будет тогда? Разве он из тех мужей, кто мирится с подобным видом высокого покровительства?... А если она, наоборот, достойно отвергнет низкие домогательства графа? Не станет ли казниться потом, обвиняя себя в недостатке самопожертвования и, значит, в слишком малой любви к страждущему мужу?

Раскаявшись, не бросится ли опять к ногам графа, в многократном против прежнего унижении — сама предлагая ему то, что прежде возмущённо отвергла?...

Короче говоря, просить было нельзя. Ей ни в коем случае не следовало чего-либо добиваться от Аракчеева. И при этом всё же добиться освобождения мужа. Действовать следовало очень тонко, и, долго думав, Елена, кажется, поняла, как.

И всё же в аракчеевский кабинет вступала она не без страха.

— Мадам Сушкова, значит. Помню, помню супруга вашего. Ну, прошу садиться, поговорим. Сутулый длиннорукий старик в поношенном артиллерийском мундире, без орденов, лишь с портретом царя на шее, слегка привстал из-за письменного стола. Бросались в глаза его чрезвычайно жилистая шея и уродливо-нескладное лицо, при впалых щеках имевшее большой рот и толстый нос-башмак. Под низким морщинистым лбом и резко прочерченными бровями серые глаза смотрели мутно и холодно. Большой губастый рот не улыбался; голос был гнусав, слова растягивались.

— Я пришла к вам по делу моего мужа, ваше сиятельство, — стараясь говорить твёрдо и с достоинством, начала Елена. Незнание Аракчеевым французского языка сильно стесняло её. — Если вы говорите, что помните его, так я пересказывать не буду. Я уразумела, что г-н майор арестован за разглашение им военных тайн, которые будто бы в письме его ко мне содержались.

— Ну, так.

— А если так, ваше сиятельство, то не странно ли, что я-то, кому то самое предосудительное письмо отправлено, до сегодняшнего дня не допрошена? Извольте требовать моих свидетельств, ваше сиятельство. Если г-н майор виноват, тогда и я соучастница; если нет, то как его оправдать без моих показаний?

Граф посматривал исподлобья и ковырялся в носу.

— В свидетели, стало быть, желаете идти? — спросил он.

— Да, совершенно верно, ваше сиятельство.

— Умно придумано, сударыня. Ничего не скажу, умно, — вдруг зло прогнусавил он.

Помимо того, что Аракчеев вовсе не собирался отдавать Сушкова под суд или вести какое-то следствие и ни в каких показаниях, обвинительных ли, оправдательных ли, не нуждался, — помимо*йто, эта майорша, против его ожидания не прося и умоляя, а держась с достоинством и, главное, чего-то смея от него ТРЕБОВАТЬ, привела его в сильнейшее раздражение; с бабёнки надо было сбить спесь.

— А к вам, стало быть, не приходили — с допросом, с обыском? Совсем не являлся никто? — спросил он.

— Нет, никто, ваше сиятельство; а иначе зачем бы я к вашему сиятельс...

— Она вдруг поняла ловушку, но было поздно.

— А откуда же тогда изволите знать, что супруг ваш арестован, — с удовольствием, но по-прежнему без тени улыбки, вопросил граф, — и подавно, за какую провинность арестован? Откуда, скажите-ка мне. сударыня?

Елена замерла. Сказать правду, то есть о последнем письме, значило донести на мужа: пишет запрещённые письма, нарушает тюремный порядок, а заодно на благосклонного сторожа, и тогда Теодору — добавочное наказание, и переписке конец. А соврать — как?!

— Об аресте я узнала от одного из офицеров полка, — начала изобретать на ходу Сушкова, — а что до причины ареста, то... ("тоже от офицера? — но откуда ему знать о том старом письме; сама догадалась по старому письму? — так ведь это значит признать, что содержание его было преступно!") ... что до причины ареста, то я долго не могла понять её, потому что и тот знакомый сослуживец недоумевал, зная Фёдора Фёедоровича как отличного офицера и верного сына отечества. Но вскоре, перечитав письма Федора Федоровича, нашла я и то злополучное письмо от 10 мая, а увидев там некоторые горькие мысли о положении в армии, сразу поняла, что ничего иного и не может быть аресту причиной. — Елена осталась довольна своей изворотливостью.

— Фамилия, звание офицера? — спросил Аракчеев.

— Что-с? — она впервые пролепетала это "с".

— Фамилия, звания офицера, спрашиваю! — рявкнул граф. — Кто вам весточку-то благую принёс? "Вот попалась-то, вот попалась... Кого же там называл-то Теодор в письмах? Господи, Господи!
Кто же у него друзья-то?"

— Не помню фамилии, — сказала Сушкова, — помню, что тоже майор. Да я ведь его не знала раньше, ваше сиятельство, он нарочно и зашёл-то об этом аресте сказать.

— Не Рогозин ли майор, случаем, нет?

"Как же, попадусь я в такую ловушку". — Нет, ваше сиятельство.

— Точно знаете, не Рогозин?

"А если и правда, один этот Рогозин мог быть в Петербурге. Вот ответила бы я, что точно знаю — попалась бы!" — Точно ничего не могу сказать, ваше сиятельство. Я не помню фамилии, да он и не заходил: представился как-то невнятно, сказал, что Фёдор Фёдорович, мол, под арестом и невесть за что, выразил сочувствие и откланялся. — "Уф-ф, слава Богу!"

Аракчеев молчал. Баба оказалась хитрее, чем он было подумал, опрометчиво судя по большим голубым глазам и миловидному личику. Пора было ставить её на место, не хитро, так грубо.

— Ну вот что, мадам Сушкова, — угрюмо проговорил Аракчеев, — пришли просить за мужа, так и просили бы.

— Ваше сиятельство, я ни в коем случае не...

— Так и просили бы, чем хитрить да вилять! Я — солдат, этих ваших хитростей не понимаю и понимать не хочу. Майор Сушков по службе провинился, я по службе его и наказываю. Я не зверь. Зла не держу. Просили бы прямо — я, может, и сжалился бы над ним. А хитрить да вилять нечего! — Аракчеев всё больше злился. Он был бы не прочь намекнуть Елене, каким именно путём она способна выхлопотать мужу прощение, но как-то незаметно для себя самого настолько вошёл в роль прямого солдата и справедливого начальника, что невозможно было сделать нужный намёк, находясь в этой роли; а выйти из роли он тоже не мог, и всё это отчаянно его злило. — Ну, да я и теперь согласен вас выслушать, — выпутался он неуклюже. — Завтра еду

в Грузино. Хотите, поезжайте со мной. Там и рассудим дело, — угрюмо и не глядя на Елену, закончил он.

— Прощайте, ваше сиятельство. Сушкова вышла из кабинета.

Всё напряжение игры в кошки-мышки с графом, игры, измотавшей её и в конце концов оказавшейся бесполезной — рвалось из неё и готово было вырваться рыданиями в любой момент. Ешё наружно спокойная, она быстро прошла анфиладу комнат; с уже дрожащим и судорожно кривящимся лицом пробежала по Литейному; спотыкаясь, бросилась под какую-то тёмную арку, чуть не упала лицом к стене...

— Ну? Ну? Толку реветь-то? — Пеликанова, усаживаясь на диван рядом с Еленою, по-матерински плотно ухватила её за плечи. — Веры в тебе мало, оттого-то и скорби все. Надо на Господа-го уповать, будешь верить — всё сделается.

Сушкова робко подняла на неё помутневшие от слёз бледно-голубые глаза.

— И куда же теперь идти? — Она последний раз всхлипнула. — К государю?

— Ишь! Сейчас к государю! Небось, небось, найдётся и на злодея злодей. Вот что, Карловна, — Пеликанова сняла руку с плеч Елены и принялась зачем-то глядеть на свои пальцы, как будто хотела что-то на них считать, а считать было нечего, — есть один министр, князь Голицын Александр Николаевич. — Она внушительно взглянула на Елену. — Силища! Сам Аракчеев не переборет. Царю первейший друг, что попросит — всё сделает. Ты, Карловна, к нему сходи-ка. У него проси.

— Как я буду просить?

— Ну, пожалостнее. Князь Голицын, он человек добрый, чувствительный. А у меня-то как раз один своячок при нем служит — фельдъегерем. Словечка замолвить не замолвит, а приём устроит. Ну, пойдёшь?

Сушкова вытерла глаза крошечным платочком.

— А что делать... пойду.

Глава пятая
И НАСТАЁТ УТРО

Хладен, светел
День проснулся —
Ранний петел
Встрепенулся, —

Дружина, воспрянь!
Вставайте, о други!
Бодрей, бодрей.
На пир мечей.
На брань!..
Гердер

Сон... Да... сон.

Что-то снилось. Что-то снилось.

Он был, это совершенно точно. Но какой?

Уже почти пробудившийся, но упрямо не открывавший глаз, Александр Николаевич почувствовал некоторую досаду. Забытое сновидение, как проглоченная сладость, оставило в душе быстро тающий вкус — неоспоримое свидетельство своего визита. Но что же всё-таки снилось ему?

Приученный неизменно придавать своим снам значение мистическое. Александр Николаевич Голицын никак не мог позволить затеряться очередному, быть может, важнейшему видению просто так. Он изо всех сил напряг память; он чувствовал, что сон — где-то здесь, поблизости: что на самом-то деле он не забылся, а затаился, и достаточно одного СЛОВА, чтобы вытащить его на сцену дневного сознания и там уже, вполне послушный и обозримый, предоставить толкованию благочестивой мысли. Но СЛОВА не было. Ключ не подбирался, воспоминание бледнело и таяло, сон неудержимо уходил. Слабая тень — воспоминание о воспоминании — наконец растаяла безвозвратно.

Князь Александр Николаевич Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, президент Библейского, Человеколюбивого и множества других обществ, один из доверенейших друзей императора Александра Первого, проснулся вполне.

В углу стучали большие, карельской берёзы, часы. Ходил маятник в мутно-стеклянном футляре. При опущенных жёлтых занавесях стоял уютный медовый полумрак-полусвет. Сквозь бледный луч плыли пылинки.

Голицын сел на кровати, стянул колпак; длинные полуседые волосы развернулись неряшливым венком вокруг лысины; он встал, сунул ноги в туфли, надел шлафрок. Потом, не подходя к иконам, прямо посреди спальни опустился на ковёр и начал утреннюю молитву.

Князь Голицын был истинный христианин — даже слишком, по мнению вольнодумных недоброжелателей. Он молился подолгу и часто, но молитва его была мысленная, "умная"; строго-православные богословы, наверное, не одобрили бы её. Впрочем, вера Голицына была довольно запутанная. Он вёл благочестивейшую переписку с архимандритом Фотием, которого почитал духовным отцом; он покровительствовал методистским миссионерам; он вёл многочасовые беседы с пророчицей баронессой Крюднер; он молился с квакерами; он бывал на радениях у Татариновой в заброшенном Михайловском замке; он дружил с розенкрейцером Лабзиным; он принимал даже хлыстов и скопцов. Главным предметом его запутанной, но, впрочем, искренней и твёрдой веры был не столько Отец и Сын, сколько Дух Святый, животворящий и глаголавший во пророки. В необходимости советоваться с Духом Святым во всяком жизненном деле (а прежде всего, при исполнении министерских обязанностей) Голицын не сомневался. А волю свою Дух любил возвещать Голицыну в сновидениях.

Иногда бывали, конечно, и ложные, пустяковые сны, бывали и дьявольские искушения. Но отчего-то Голицыну казалось, что именно этой ночью было не так.

Молитва, туалет, чтение Библии (по одной главе из обоих Заветов), утренний чай — день начинался, как всегда, и только забытый сон мучительно саднил в душе, как растравленная рана. Но надо было работать. Откушав чаю, Голицын вызвал парикмахера и секретаря.

Посреди кабинета, сидя в вольтеровских креслах, обёрнутый белым пудромантелем, он слушал дела, в то время как парикмахер брил его и причёсывал. Секретарь с бумагами стоял по правую руку князя.

— Записка господина Госнера об Обществе Библейском, ваше сиятельство.

— Что там, коротко?

— Закончили переводом Евангелия на калмыцкий язык-с, а из Тобольска губернатор пишет, что и енисейские остяки перевода на свой диалект просят.

Парикмахер, закончив работу, ловко снял с Голицына пудромантель и поднёс зеркало.

— Спасибо, голубчик, поди. Да позови одеться. — Он встал с кресла. — Как с переводчиками?

— Ищут, ваше сиятельство, не могут пока найти.

— Христос им в помощь!.. — Вошёл лакей с мундиром. — Что ещё?

— Ещё записка, — секретарь зашуршал бумагами, — от казанского попечителя, господина Магницкого.

Голицын, уже полуголый, в одних подштанниках и чулках, поморщился.

— Отложи, после посмотрим. Пишет такую ахинею, что и читать совестно. На моё место метит! шельмец! О, Господи, Господи, духа гнева не даждь ми! — Он подтянул белоснежные панталоны, оправил жилет, принял от лакея голубой мундирный сюртук; блеснули на груди орденские звёзды. — Пойду принимать. Не видел, братец, много ли ждут?

— Видел — двое, ваше сиятельство: господин цензор Красовский и одна дама.

— Ну, с Богом. — Голицын перекрестился. — Пойду.

Голицын, заранее ласково улыбаясь, вошёл в приемную. Дежурный фельдъегерь отдал честь; незнакомая дама присела в реверансе; цензор Красовский, маленький старичок в вицмундире, с ушами удивительной величины, чуть ли не сходящимися на лысой макушке, низко поклонился Голицыну.

"Здравствуйте, милостивый государь; здравствуйте, милостивая государыня." По привычке Голицын отвёл глаза, здороваясь с дамой.

Голицын не любил женщин. Он всячески оберегал себя даже от слабого искушения, ибо, хотя и знал, что христианину следует смело встречаться с искушениями в прямом бою, всё же признавал себя слишком слабым для подобного боя. Поэтому женского общества он старательно избегал, не смуща-

ясь даже упорной клеветой о противоестественном пороке, который будто бы служил причиной этому отвращению. Визит посетительницы — тем более, как он всё же успел разглядеть, молодой и довольно привлекательной — означал необходимость беседы наедине, а потому никак не мог быть приятен Голицыну. И, малодушно оттягивая этот визит, он решил принять Красовского первым.

— Пойдёмте, Александр Иванович, хорошо, что пришли, — сказал он и, опуская глаза, повернулся к даме. — Будьте любезны, напишите записку, сударыня, и с фельдъегерем подайте. Идёмте, Александр Иванович. — Они вошли в кабинет.

Не будь этот кабинет так просторен, с первого раза его можно было бы принять за церковную лавку, вот только непонятно, православную, протестантскую или католическую. Иконы плотной мозаикой крыли стены; свечи, киоты, ковчежцы, кресты, кадильницы, иерусалимские вайи и прочие вещицы в этом же роде загромождали многочисленные полки, столики, этажерки, каминный экран и наполовину даже рабочий стол. Стоял неопределённо-приятный цветочно-сухой аромат. Угрюмый Михайловский замок серел за окнами.

— Как спалось-то, ваше сиятельство? — задушевно спросил Красовский. Голицын сморщился, как от боли.

— Спасибо, Александр Иванович, спалось-то хорошо; да вот беда, сон какой-то видел и забыл. А точно знаю, важный сон! Какое-то было мне откровение, а вот забыл, можешь себе вообразить!

— Да ну что вы, ваше сиятельство. С вашей-то праведною душою да чистой совестью-с ещё сны видеть!

— Брось, брось. Какой там праведный, грешнее меня, наверное, в целом свете человека нет. А только сонные-то видения не от этого; их Господь посылает. И вот забыл! Досада, смерть какая досада. Говорят ведь: вертится слово на языке, а у меня, значит, этот сон. Вертится и вертится в голове, а никак не подвернётся... — Голицын махнул рукой. — Ладно, забудем, Александр Иванович. Что там у тебя?

Красовский, засуетившись невесть зачем, привстал со стула.

— Вот-с, поглядите, ваше сиятельство, — торопливо заговорил он, открывая пухлый портфейль, — какое разномыслие у нас в цензурном комитете-то царит-с. Представлена рукопись, — он выложил на стол объёмистый том, — роман некоего г-на Юлиуса Оркмана, с немецкого переведен одною дамою-с, называется "Забеида, восточная повесть". И вот-с, выходит, какие дела: я смотрел и полагаю, что должно запретить, а вот г-н Бируков не желает.

— Так, — Голицын, откинувшись в кресле, с любопытством разглядывал огромные шевелящиеся уши цензора. — И что же за роман?

В цензурном комитете Красовский был его добровольным шпионом. Голицын знал, что Красовский мечтает о кресле своего начальника Бирукова, и пользовался этим не без выгоды для себя.

— А вот извольте видеть-с, — Красовский открыл рукопись на одной из закладок. — Роман, по моему разумению, пустой и вздорный вроде сказок простонародных, не токмо безо всякой пользы гражданской-с, а и прямо вредный и развратительный. Вот послушайте-с, — Красовский уткнулся в рукопись. — "Всех демонов ада вызываю, — воскликнул Абузабад, — Аккарона, Забулона, Изакарона, Астафеля, Азазеля", ну и так далее-с. К чему, скажите на милость, сия бесовщина читателю христианскому? — Цензор листнул на следующую закладку. — Или вот-с. "Принц Фарасман не отличался большим умом". Не оскорбление ли монаршей особы-с, хотя и иностранного исповедания? А вот ещё-с. "Фарасман склонил голову на грудь Забеиды!" Каково-с? Уж какое сладострастное зрелище — а переводчик-то, заметим, дама-с.

Красовский поднял слегка бегающий взгляд на князя. Голицын явно скучал, подперев голову рукой и смотря сквозь собеседника.

— Ну, и прочее в сём же роде-с, — заторопился Красовский. — Не смею долее задерживать ваше сиятельство. — Он встал. — Романчик-то поглядите, а, ваше сиятельство?

— Оставь, я погляжу. Спасибо, можешь идти, Александр Иванович. Пятясь и кланяясь, Красовский пошёл к двери.

— Ну, здравия и всех благ-с, ваше сиятельство... А последнюю главу в особенности посмотрите-с! — вспомнил он. — Такая, простите-с, галиматья, что сразу хоть в печку бросай. Последняя, последняя, ваше сиятельство!

Он исчез за дверьми. Вошёл фельдъегерь.

— Что там, любезный? — спросил Голицын. — А, записка; подай сюда. — Голицын взял бумажку. — Ага. Сушкова Helene. Умоляет быть заступником за безвинно пострадавшего мужа.

Голицын нахмурился. Необходимость выслушивать женские просьбы, слёзы и, скорее всего, давать отказ, ещё сильнее омрачали перспективу будущего приема. "Не принять, что ли? Сказать, занят; а там, ну, извернуться уж как-нибудь... — Вдруг ему стало совестно. — Ах ты, бессердечный! Виновата ли она? А если Господь меня искушать хочет? — Голицына продёрнул озноб. — И не про то ли сон был? — Он углубился в себя. — Нет, не про то. Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного! Приму!

Приму!"

— Проси, голубчик, — сказал Голицын.

— ...и напоследок ешё раз клятвенно уверяю ваше сиятельство, что никаких военных тайн в том злосчастном письме не заключалось, кроме некоторых нелестных отзывов о графе Аракчееве, да и те были вызваны минутным настроением, —закончила Елена. Разговор шел по-французски, естественно. — Итак, вы. ваше сиятельство — моя единственная надежда.

Голицын молчал. Он думал.

Он ненавидел Аракчеева.

Князь видел в нём даже не столько соперника во влиянии на государя, сколько просто-напросто изверга, негодяя, подлеца. Даже на самых офици-

альных приемах они не раскланивались и руки друг другу не подавали, и — представься хоть малейшая возможность сделать гадость Аракчееву — Голицын не пропустил бы её ни за что.

Так было, например, со стихотворением Рылеева "На временщика", напечатанном в "Невском Зрителе"' как подражание Персиевой сатире "К Рубеллию". От первых строк —

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный, —

до последних —

Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесёт потомство! —

стихотворение не содержало ничего, кроме дерзких нападок на Аракчеева, и всеми было понято именно так. Граф подал Голицыну официальное требование отдать под суд автора и цензора за оскорбительные для его достоинства выражения; на что Голицын с величайшим наслаждением отвечал: "Прежде чем я начну следствие, ваше сиятельство, мне нужно знать, какие именно выражения вы принимаете на свой счёт". И Аракчееву пришлось промолчать.

Но в этот раз, к сожалению, ничего нельзя было сделать.

— Я не могу выразить, как мне жаль, что я не могу помочь вам, сударыня, — сказал князь и, сожалеюще улыбаясь, поднял взгляд на Елену.

Посетительница была довольно симпатична ему. Тонкая, светлая и холодноватая, она не казалась Голицыну особенно опасной. Дьяволицы из наиболее искусительных его снов — черноволосые, толстые, наглые, пышущие жаром — принадлежали как раз к противоположному женскому типу, так что Голицын мог смотреть на Сушкову свободно и безбоязненно. Он немного опасался только слёз, совершенно не умея справиться с ними.

— Да, я понимаю, ваше сиятельство. — Сушкова вовсе не собиралась плакать. — Я понимаю, что вы — всего лишь министр народного просвещения, что от вас это не зависит; я. собственно, и пришла-то к вам, не слишком рассчитывая на успех. — Она встала.

— Сударыня, сударыня, подождите, — Голицын остановил её. — Лично я, вы правы, как министр просвещения не имею никакого касательства к военным делам и не могу отдавать здесь распоряжений. Но я вправе ходатайствовать перед его величеством и, если вы изложите свое просьбу в краткой записке...

— Да, конечно, я это сделаю, ваше сиятельство. Не знаю, как и благодарить ваше сиятельство за доброту.

— Вы, кажется, не очень мне верите, сударыня. Сушкова не сразу ответила.

— Сказать честно? Я не думаю, чтобы ваш доклад по этому вопросу был выслушан раньше, чем доклад графа. Да и после вас его величество вряд ли захочет переменить своё решение.

Голицын вздохнул.

— Вы правы, сударыня. Совершенно правы.

— Но записку всё-таки написать?

— Всё-таки напишите.

— Ещё раз благодарю вас, ваше сиятельство. Прощайте, — Елена присела и вышла. Вернувшись домой, она написала мужу письмо.

Глава шестая
ЗАБЕИДА

Но цензор гражданин и сан его священный.
Пушкин

Просительница ушла. Министр некоторое время сидел один; посетителей больше не было. Забытый сон мучил его чем дальше, тем нестерпимее. Голицын чувствовал себя как в потёмках, оставленным без божественного руководства на волю собственного, слепого, столь презираемого им разума; груды министерских бумаг лежали, ожидая его, и он не знал, как к ним подступиться без Божиего глагола. "А, ну его, —устало подумал Голицын.— забыть, забыть'". Он зазвонил в колокольчик, вызывая секретаря. Разбор бумаг он решил начать с чтения "Забеиды".

— Открой последнюю главу, любезный, — сказал Голицын, — читай, я послушаю. — Он откинулся в кресле и прикрыл глаза.

Секретарь принялся за чтение.

"Глава шестьдесят шестая

Злодей-чернокнижник. — Его трубочка. —
Скольких легионов демонов стоит взгляд
Забеиды. — Спасительная книга Дастан. —
О причудах некоторых государственных
мужей. — Именем великого падишаха
джиннов.

— ...Так это ты, Абузабад!.. О, злодей!.. Итак, принц Фарасман — в ужасной темнице джинна Гургура, а сама принцесса Забеида, предмет твоей небесной и идеальной любви, которую ты с таким жаром поведал мне, едва-едва ускользнула из когтей ведьмы Ашбек! И ты смеешь признаваться, что всё это сотворено твоим же колдовством? О, проклятый и бессовестный чернокнижник!"

Голицын почти не слушал. Голос секретаря убаюкивал; Голицын пытался вызвать в себе полудремотное состояние, наподобие того, в котором его сон ещё помнился и в котором этот сон, быть может, вспомнился бы опять.

" — Как можно так шуметь, — ответил маг, преспокойно попыхивая своей трубкой, — не спорю, я погорячился в тот бурный дождливый день, призывая на головы Фарасмана и Забеиды всех адских демонов. Готов признать, что я был несколько... ну... не в себе. Но согласись, я имел на то доста-

точные причины. — Абузабад вдруг заговорил с горячностью. — Сколько лет я, могущественнейший из магов Магриба, служил Забеиде как верный паж, не смея даже поднять глаз выше кончика её шлейфа (бывшего, заметим, в длину не менее сорока шести с половиной локтей)? Знаешь ли ты, что такое — чувствовать в другом человеке единственную — единственную, говорю я! — душу, внутренне созвучную твоей душе — и не мочь, не уметь пробудить в ней это дремлющее созвучие? О, какая мука, какое терзание!... И вот тут-то является хорасанский принц Фарасман, души в котором ровно столько же, сколько и ума, а ума — столько же, сколько седых волос, и вот — она — та, за единственный понимающий — ПОНИМАЮЩИЙ! — взгляд которой я отдал бы всё своё магическое искусство и все легионы подвластных демонов — она шутя побеждена принцем!... Как тут не разъяриться, как не воззвать к аду! —Абузабад быстро ходил взад и вперёд по комнате. — Их счастье, что я оказался благоразумен и оставил им возможность спасения.

— Какую же? - спросил ученик. Абузабад поднял со стола книгу.

— Я написал Дастан!

При этих его словах ученик издал изумлённый возглас.

— Дастан? Ты хочешь сказать, что Фарасман спасется благодаря твоему Дастану?

— Забеида спасёт его, если прочтет Дастан. Но только если прочтёт. Другой возможности нет. Ученик молчал в глубокой задумчивости.

— Ты, конечно, заключил в твои стихи немалую волшебную силу.

— Ничуть. — Глаза Абузабада засверкали. — Я заключил в них нечто гораздо большее. Свою душу! И всё, о чём я ещё способен мечтать, — это о том, чтобы моя душа открылась Забеиде, и чтобы она нашла в ней — себя!.. Никакого волшебства здесь нет... ну, будем скромны — почти нет, — успокоенным тоном продолжал маг. — Прочитав Дастан, Забеида решит перевести его на язык джиннов; перевод окажется у великого визиря Джиннистана, который, прочтя этот перевод, найдёт в нем описание своего забытого сна".

При словах "описание забытого сна" Голицын вздрогнул, открыл глаза и начал слушать очень внимательно.

" — Забытого сна?

— Визирь Джиннистана очень верит в пророческое значение снов, и забыть какой-либо сон для него — великое горе, а вспомнить — великое торжество, и тот, кто расскажет визирю забытый сон, сделает ему драгоценнейший из подарков. Визирь возрадуется и, в награду переводчице — Забеиде — именем падишаха джиннов велит злодею Гургуру немедленно освободить Фарасмана из его тюрьмы. Вот и всё!"

— Имя переводчика!

Секретарь вздрогнул. Единственный раз, сколько он служил при Голицыне, министр кричал.

— Сушкова Елена, ваше сиятельство.

— Сушкова!.. — Голицын стиснул голову ладонями. — Ну, читай! читай! И секретарь, слегка запинаясь, читал.

" — И что же это за сон? — спросил ученик.

— Вот он. — Абузабад открыл Дастан на одной из последних страниц. — "Чёрный ворон, красное вино. Жалкий чудак-музыкант, ты похож на ворона в чёрном своем наряде. Перед тобой прозрачная чаша с багровой жидкостью, которую одни принимают за вино, другие за кровь. Ты смотришь в неё, и твои мысли, преломлённые в багровой толще волшебного зелья, улетают и становятся снами других людей".

— Замолчи! Замолчи! — крикнул Голицын.

Он зажмурил глаза и плотно закрыл их ладонями.

Сон!

Сон!..

Да, да, да... вот они, колонны Пажеского корпуса, скруглённая лестница — белый мрамор, по которой он, Голицын, с одышкой сбегает в огромный паркетный зал, пустой, посреди которого только лошадка тащит за собой пустые оглобли; и чёрный человек, ну конечно, чёрный человек, о котором почему-то точно известно, что он — ворон, чёрный человек, глядящий сквозь хрустальный бокал с красной жидкостью; "вы всё ещё думаете, что сны от Бога, Голицын? Но сны от меня, Голицын, от меня, и вот вам неоспоримое доказательство"; и чёрный человек выливает вино в раскрытую книгу... Да, да, да... сон, сегодняшний сон, никакого сомнения быть не может, сегодняшний сон... Совпадение?

Совпадение? Черта с два! Он знал его. Заранее знал! Но кто? Сочинитель — кто?

— Имя сочинителя? — не отрывая рук от лица, проговорил князь.

— Господин Юлиус Оркман, ваше сиятельство.

— Кто таков?

— Не могу знать, ваше сиятельство.

— Узнать!

Оркман... Абузабад... так не он ли и человек-то чёрный, не он ли и ворон-то? Он же, значит, и сон наслал? Господи, Господи! Да кто же он, сатана, что ли? Аминь, аминь! Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут...

Стой. Стой! Подумаем. Разберёмся. Я видел сон про человека-ворона, насылавшего сны. Я забыл его и не мог вспомнить. Потом из цензуры принесли рукопись. Потом была эта Сушкова. Переводчица. Совпадение? Как же! Кого там у неё, мужа, что ли, Аракчеев в Петропавловскую засадил? Это, стало быть, джинн — как его там — Гургур — Фарасмана? И всё заранее по книге предписано и подстроено? И сон, и цензор, и Сушкова, и — и вот это? это? сейчас? Господи, да кто же он такой, выходит, Оркман-то?

Голицын зазвонил в колокольчик, забыв, что секретарь здесь.

— Я тут-с, ваше сиятельство.

— Найдите Елену Сушкову и доставьте немедля ко мне.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

— Хоть через полицию, а найти. И смотрите у меня, — вспомнил князь при слове "полиция", — чтоб со всем почтением обращались! Сия дама, любезный мой, владеет ключами важнейших тайн!... — Уже спокойный, Голицын задумчиво покачал головой. — Найти, словом.

Оставшись один, Голицын взял рукопись и открыл секретный шкаф в стенке. Нечего было и думать о том, чтобы печатать такое сокровище. Сушкова, Сушкова... барышня, похоже, самая обыкновенная, вряд ли понимающая даже, каких чудовищ ненароком пробудила и ЧТО перевела... но об Оркмане-то непременно должна знать что-нибудь... Значит, мужа освободить... Ну что же. Способ имеется. Правда, очень уж жаль такой способ употреблять — второго случая не представится — ну да пусть. Не закрывая секретного шкафчика, Голицын глубоко засунул в него руку и открыл ещё другой, сверхсекретный. Он вытащил оттуда большой белый лист.

Да. Жалко. Жалко. Один-единственный. Ну да пусть.

Сверхсекретный, один-единственный лист был не совсем чистым, потому что в самом низу стояло размашистое:

"БЫТЬ ПО СЕМУ",

ну, а дальше следовала подпись:

АЛЕКСАНДР".

ЭПИЛОГ НА СВОБОДЕ

После бури и волненья
Всех опасностей пути
Мореходцам нет сомненья
В пристань мирную войти...
Жизнь! ты море и волненье!
Смерть! ты пристань и покой!
Будет там соединенье
Разлученных здесь волной.
Карамзин

Письмо, адресованное в село Сушково, Бежецкого уезда,
Тверской губернии, помещикам Ф. Ф. и Е. К. Сушковым

15 мая 1826 года
Рейхенбах, Силезия

Дорогие мои дочь и зять!

Получил ваше письмо и счастлив, что всё исправно. В особенности рад за внука, которого хоть и не видел никогда и вряд ли уже воочию увижу, однако же на портрет которого, что вы прислали, смотрю каждый час, да, бывает, и всплакну над ним. Значит, всё тихо и спокойно. Слава Богу!

Здесь у нас всё как всегда. Моя коллекция птиц пополнилась двумя любопытными славками; посланное вами чучело синехвостки, к сожалению, в

дороге сильно попортилось и негодно. Наши новости? Умер твой учитель, г-н Оркман. Обнаружил его лично я, и при обстоятельствах престранных, как и всё, что связано с этим чудаком. Он сидел за письменным столом в своём кабинете, уронив на него голову; его книга "Забеида" (он отпечатал её всего в двух экземплярах, второй пропал неизвестно куда), изорванная и залитая бургонским вином, так, что нельзя было прочесть ни строчки, валялась здесь, на столе же. По ней скакал чёрный ворон, вылетевший в окно, как только я подошёл. Наследников у г-на Оркмана не оказалось. Человек он был фантастичный, но, бесспорно, талантливый, и о смерти его можно пожалеть. Что еще? Твоя подруга Амалия вышла за ткацкого фабриканта Гогенталя; Магду Шульц родители увезли в Берлин; а больше, кажется, ничего и не могу припомнить. Я для своих лет довольно здоров, хотя, конечно, и суставы болят, и печень пошаливает, и по лесам Цобтена с силками уже не хожу... Пора, пора... Ну что же, всего вам доброго: здоровья, взаимной любви, преуспевания и проч. и проч. Мальчику, главное, не забудьте передать привет от любящего его дедушки, —

надворного советника в отставке

Карла Герхарда Штадера.

P. S. И еще кое-что о смерти г. Оркмана. Поясняю для вас, как людей несведущих в орнитологии, что птица, скакавшая по его столу, была не рядовой самец вороны (Corvus Corone, по Линнею), а именно ворон (Corvus Corax, по Линнею же) — птица редкая, дикая, лесная и — увы, увы — так и не ставшая жемчужиной моей коллекции.

К. Шт.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 О, Елена, какая наивность, Боже (франц.)
2 Редчайшая птица (лат.)
3 Наоборот (лат.)
4 Например (лат.)
5 Паульманн, Геербранд – герои повести Гофмана «Золотой горшок».
6 Естественно (лат.)

Автор повести — аспирант-историк Роберт Уралович Ибатуллин (псевдоним — Равиль Искандаров) — лауреат литературной премии "Вечерней Уфы " "Литальманах-97 ".

Вадим УРАЗБАЕВ

ГЕНИАЛИЗМ: 15 ЛЕТ СПУСТЯ

Вопросы человеческой одарённости и гениальности всегда волновали человечество. И понимание этой проблемы было спектром мнений от «Гений - это на один процент вдохновение и на девяносто девять потение» (Т. Эдисон) до «Гений - это прекрасная способность духа сразу распознать то, что ему на пользу» (И. В. Гёте).

Так что же такое гений, и можно ли гением стать? Миру известен художник Сальвадор Дали, объявивший себя гением, а затем гением ставший. В 60-е годы в Москве среди различных течений в творческой среде образовалось и течение СМОГистов - поэтов, объявивших себя гениями. Почти не известен эксперимент, поставленный группой уфимских художников 15 лет назад, ныне 45-48-летних, а в то время -кризисно 30-33-летних. О нём и речь.

Тогда независимо от Москвы зародилось течение гениализма, среди основателей которого были Е. Малютин, Н. Латфуллин, Н. Куприянов, Р. Ахметвалиев, М. Спиридонов, М. Давлетбаев, В. Жигулин. Ими была принята Декларация, текст которой приводится полностью :

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ГЕНИАЛИЗМА

1. Что есть гениализм, кто есть гений: Гениализм - Новое Искусство, совокупляющее в себе все прошлые, настоящие и будущие - Вечное, искусство, творимое гениями, каждым в отдельности и содружеством их индивидуальностей. Гсниализм - товарищество, открытое всем, в которое автоматически включается каждый, кто осознал и провозгласил себя гением и создает таковое - Вечное, Прекрасное. Истинное, это - мировоззрение. Гениальность - нормальное состояние личности; гений же тот, кто воплотил и воплощает Великое, то лучшее, на что он способен, и что может и должен свершить лишь он. Гений - истинно свободен и дарит свободой других, он смотрит на Мир сам как первый рожденный на свет, внимая всему, но поступает лишь так, как он считает Истинным; он взял на себя ответственность за всё в мире, зная, что судьба Мира зависит от него, как и от каждого. Гений - тот, кто истинно любит. Ты - гений, как я, как другой; каждому от рождения дано Всё, и каждый может и должен Всё и то единственное, что за него не сделает никто. Гениализм не совместим со злом, ложью; он - открытость Миру, свет, льющийся Всем.

2. Какое искусство Гениализм, его метод: Мир Единый, Живой, Мыслящий, Духовный, Материальный, Вечный, Бесконечный, Чудесный - Великое единство, Совокупность всех его проявлений, и Гениализм - искусство, которое вмещает в себе всё через великое И, И - всё связующее собою, не отрицающее ничего, а Вечность и Прекрасное, его организующий центр. Это Искусство, берущее Мир в Целостности, сущему, каждому дающее его место.

Оно - Итог всего и Начало Новому Прекрасному Неведомому. Кубизм, импрессионизм, сюр, дада, абстракт, гипер, примитив, классицизм, реализм и всё остальное имеют в нём своё место ради Целостной Картины Мироздания. Это - абсолютная свобода, любовь, которая не исключает ни одной индивидуальности и её склонности, приветствуя их, открывая всем бесконечный рост, конкретное делание.

3. Что делает Гениализм, гений: Все равны между собою своим достоинством при абсолютной свободе и неповторимости каждого. Осознавший себя - провозгласи себя и будь собою в великом Единстве, ты - гений. Не служи ничему, кроме Истины и Любви. Чувствуя связь с Миром, Мирами и Цивилизациями, используя все знания и Науки, делай своё" в Общем Великом Деле Добра, Создание Великой Картины, что озарит Мир и расправит и соединит всех собою. Твори на радость, учась у всего, абсолютная свобода фантазии и никакой лжи, непривязанность к манере. Творение новых форм.

4. Зачем Гениализм, его Цель: Объединение всех в Великой Целостности, которая есть Мир; раскрепощение каждого в радостном творчестве; содружество; любовь, солнце, счастье. Вселенский Коммунизм.

5. Где Гениализм: Гениализм есть в Мире, он здесь и будет везде.

6. Когда Гениализм: Сейчас и Навечно творит гений, творит всегда; и гениализм - лишь Этап к новой Форме, когда каждый осознает себя уже всем целым Миром. Настала Эра Гениализма.

7. Сколько Гениализм: Гениализм един, гениальных столько, сколько осознавших это - бессчётность. Итак, Гениализм провозглашён, он есть.

Уфа, 16 июля 1983 г.

Сам дух этого события, где, как это всё происходило, лучше всего передают строфы из поэмы Евгения Малютина «Звезда Востока» (1994 г.), посвященной другу Наилю Латфуллину:

85

За озером у парка
Мы собрались в обсерваторьи у дружка
Трубу он сторожил и фреску рисовал там
Друг оценил "Геньяльно но туфта!"
Слагали гениев призыв на звёздной карте
Там на века

86

Нам мир отчизна
"Друзья все гении! Назвался будь! Ура!"
Провозгласили манифест гениализма
Друг первый подписал Друзья Июнь Уфа
Твори свое прекрасное вне изма

87

У Дружбы монумента
Пошли по Городу сказал приятель "Вот
Мы гении и что с провозглашенья?"
Ответил друг. "Корабль уже плывёт
Истории то было дуновенье!"
Идёт восход

Потом у наиболее последовательных подписантов случалось и такое: приходит художник устраиваться на работу дворником, его спрашивают: "Вы кто? Чем занимаетесь?". Художник отвечает: "Я - гений. Живу на свете для того, чтобы осчастливить Человечество!". После этого кандидату на пост дворника приходилось в течение месяца проходить медкомиссию.

Творчество уфимских художников в настоящее время признано во всем мире, их картины приобретают ведущие музеи и частные собрания. Среди восторженных отзывов о работах уфимцев есть слова Ю. Григоровича, главного балетмейстера Большого театра России: "Давно знаю, люблю, ценю и восхищаюсь самобытным неординарным творчеством башкирских художников, Башкирия - родина великолепного танцовщика Рудольфа Нуреева, думаю, способна дать талантливых мастеров в любой области искусства."

Конечно, в Уфе работают мастера, которые не подписывались под этой Декларацией гениализма, но в художественной среде гениализм своё влияние оказывал. Уфимский гениализм живет, работает и в настоящее время: уже в 90-е годы под этой Декларацией подписались Ильдар Кудашев, Юрий Уждавини, Шамиль Галиев, имена которых на слуху в художественной жизни города.

Может быть, все-таки эта Декларация сыграла свою роль в жизни многих уфимских художников, и гениализм, 15 лет назад провозглашенный, лег в основу судьбы каждого их этих художников?

Уразбаев Вадим Наильевич — кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института органической химии Уфимского научного центра РАН. Выступает в местной печати со статьями по проблемам культуры. В данном тексте мы сохраняем пунктуацию оригинала.

литературный журнальчик
СУТОЛОКА
УФА/1998/2-3(8-9)
© Сутолока. 1998.

Булат МУХАМЕТДИНОВ. Из афганской тетради……1

КУБАИРЫ
в переводах с башкирского Фаиза ХАКИМОВА…….4
Роберт ИБАТУЛЛИН. Чёрный ворон, красное вино:
романтическая повесть…….7
Тамара НЕФЁДОВА. Из семейного альбома……30
Вадим УРАЗБАЕВ. Гениализм: 15 лет спустя…….32

Наш журнал является формой самиздата, но выходит при техническом содействии редакции газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА",
а также при сочувствии "НОВОЙ ГАЛЕРЕИ" и галереи "УРАЛ".
Часть тиража в рамках акции "ВЕЧЕРНЕЙ УФЫ" "БИБЛИОТЕКА" бесплатно передается в центральную городскую библиотеку Уфы и 35 её филиалов.
ТИРАЖ — 250 экз.

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ — Александр КАСЫМОВ
(3472)22 - 04 - 01

В ближайшее время в серии
ЛИТАЛЬМАНАХ
"ВЕЧЕРНЕЙ УФЫ" —
новинка:
Артур КУДАШЕВ
ПОСЛЕДНИЙ ЛИМОН
Рассказы

Справки по телефону: (3472) 22-04-01

№ 4-5 (10-11)

СУТОЛОКА
УФА/1998/4-5(10-11)
литературный журнальчик

ФотоГРАФИКА
Вера ШИБАЕВА

Проза
Игорь
МАКСИМОВ
Игорь ФРОЛОВ

А также трактат
и, кроме того,
лекция 1946 года

Поэзия
Светлана
СМИРНОВА
Александр
ЗАЛЕСОВ
Ильдар
КУДАШЕВ
Альбина
АХМЕТЗЯНОВА

Александр КАСЫМОВ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К ТИПОЛОГИИ ТИПОМАНИИ

Желая обогатить теорию литературы практической мыслью, предлагаю для размышления термин типомания, придуманный мною по аналогии с неприличным словом «графомания».

Как известно, в последнем понятии силен негативно-медицинский оттенок. С данным оттенком мы никаких аналогий проводить не будем. Страсть — дело хорошее. Во всяком случае, если ее поставить на правильные рельсы, то этот поезд может зайти (или дойти?) далеко. Страсть к писанию, само собой, — локомотив прогресса. Но только до тех пор, пока стрелочники не дремлют и пока рельсы не кончаются. Отважные первопроходцы (например, капитан Лебядкин или даже суровый Мартин Иден), мчащиеся вперед не разбирая дороги, — все-таки большая редкость. И потому к графоманам — двойное отношение. В народе уважительно-презрительное. С одной стороны: «Пишет, писатель!» С другой: «У, писака!» Простые люди, конечно, не сильно различают, где литература, а где — графомания. Но разве не в графомании

доведена до крайнего предела страсть к творчеству! Твори, выдумывай, пробуй!.. Не за эту ли свободу от канона (которая может выражаться в прикованности к нему: человек знает, скажем, слово «рифма», но рифмовать не умеет и уметь не хочет — именно потому, что знает), не за эту ли тягостную волю-неволю графоманов не любят члены СП?!

Безбумажная литература, придуманная Владимиром Войновичем, — красивая попытка встроить в социум не литературу, а именно графоманию. Попытка, встраивая, выбросить это странное занятие за скобки. Поставьте каждому по компьютеру — и литература, вполне может быть, кончится. Потому что были бы тут лишь мои персональные бяки-закаляки — это не было бы текстом, а на мониторе мои поползновения выглядят красиво. Разве не за то, чтобы выглядеть, борюсь я, сидя за клавиатурой?! Надо ли мне куда-нибудь дальше — на бумагу, в журнал, в книгу?! Рукописи не горят. А как быть с файлами?..

Компьютерные технологии предоставляют каждому могущему и желающему возможность хоть как-то да напечататься. Самое бредовое сочинение может гулять по Интернету, потрясая чувства всяким там юзерам, хакерам и как их там еще. Но уж чайникам-то в особенности. Потому что им, мало что понимающим в компьютере, нужна самореализация.

И тут я перехожу непосредственно к своему неологизму. Типомания — страстное желание печататься или, второй вариант, печатать (вся типология, таким образом, из рассуждений о двух типах состоит). В наше время дети не могли спокойно видеть пишмашинку. Как увидят — сразу начинают тыкать в нее пальцами, забывая иной раз их помыть. А теперь, теперь недоросли дрожат при виде компьютера, вспоминая при этом какую-нибудь кичуху электронную. Клавиатура их интересует не как буквы, слагающиеся в слова, а как возможность с помощью этих кнопочек включить какую-нибудь забаву, затягивающую, как болото. Как было написано в журнале «Столица», когда он еще выходил, я вижу буквы. Вижу и не вижу, добавлю я.

Тем не менее, отдельные человекообразные динозавры, перепившие когда-то фиолетовых чернил... Эти люди любят слово, которое можно размножать. Сначала сотворить, а потом — предать некоторому тиражу. Такой, можно сказать, креационистский подход. Такая, можно добавить, душевная склонность.

Не будем о душах, ибо тут мы переходим в область парапсихологии, которая на всех парах морочит людям головы насчет неосязаемой духовности, экстрасенсорики и еще чего-то, не менее загадочного. Тот, кто предает тексты печатному станку, вместе с писателями творит литпроцесс или, по-нынешнему, литературную ситуацию. Еще можно сказать: литературный пейзаж. Поэтому страсть печатать и печататься есть страсть ландшафтообразующая.

Чемпион России по этому виду культурной деятельности... Кого же назвать чемпионом? Главного редактора саратовской «Волги» Сергея Григорьевича Боровикова? Лучший русский провинциальный журнал, выходящий — с

перерывами, с мучительными зависаниями над бездной грозящего финансового краха, — но выходящий! Живущего в Челябинске Виталия Олеговича Кальпиди, который года этак с девяностого выпускает книги стихов, прозы, придумал журнал «Несовременные записки», осуществил двухтомную антологию уральской литературы?..

В отличие от столиц провинции постоянно угрожает безбумажность. Не в том смысле, что бумаги нет. Это в годы перестройки вдруг стало недоставать бумаги как сырья для полиграфии. Сейчас она — на каждом углу. Но издательства — и новые, и старые — вдруг осознали, что им надо зарабатывать. На ком, на чем? В Башкирии более 60 юридических лиц имеют издательские права, но, видимо, в них нет или почти нет типоманов. Оригинальные произведения выпускают, можно сказать, полтора издательства. Все жаждут дотаций. Писатели хотят гонораров... И какая тут может быть теория? Текст как идеологема хорош тогда, когда встраивается в другую, большую-пребольшую идеологему. Этот рупор усиливает звук и — в случае мастерского проектирования — позволяет книге выйти на большой конвейер, за работу на котором хорошо платят. Прежде печатались бесстрастно, но расчетливо. Отлучение от печатного станка для одних было наказанием, для других (естественно, не тех, кого отлучали) при этом освобождалась строка в темплане... Кому радость, кому горе — и никаких иных страстей. И до сих пор есть какой-то, хотя бы подразумеваемый, литературный высший суд. Он теперь деньгами распоряжается, а не позициями, но ведь позиция в издательском плане стоит дорого! (В известной степени сие изоморфно ситуации вокруг Букера. Каждый год слышишь, что его дали не тому, кому следовало. Так вот каверзный вопрос: а может быть, никому не следовало? С какой собственно стати? Заведите свою премию и рассуждайте о позициях и препозициях!)

Проклятые кредитки кроят литпейзаж, как хотят владельцы кошелька. И это нормально. Потому, что не надо продавать рукопись, а надо продавать книгу! Берите пример с Кальпиди! Он сидит в своем Челябинске за компьютером и выдает на-гора продукцию. Никогда его не издавал никакой «Совпис» или тем паче «Вагриус», ориентированный на бестселлеры! Он будоражит литературную и просто общественность, утверждая себя самого как культурный центр.

Это — уже почти самиздат, хотя теперь, наверное, многое что стало самиздатом? А мажет, и просто нет никакого ихиздата, превратившегося в подпоручика Киже.

Тут возникает вопрос о художественном вкусе, но, видимо, он возникал и при тотальной издательской системе. Понятия о вкусе меняются, и мы меняемся вместе с понятиями.

Александр БАННИКОВ
(1961-1995)

ЛЕС

Я — человек. Посему — логики вкось, и выпасть
из жизни просто. И сколь выпавших, кто не чета мне.
А лесть зависимых и презрение превосходительств
не дают равновесия, но вдвойне — вычитание.

Но у меня — вполовину. Меня не снедает лесть,
ибо нет подчиненных... И сегодня и завтра —
лес на краю деревни. Вечный лес.
Но кто у кого на краю? Не это ли самозванство!

Лес уступил опушку, елань еловую, краешек.
Ее пожрали дома, построившись в длинные версты,
тупые, будто бы голод. А кажется: лес, подокравшись,
подглядывает за людьми. А если и так — то, как взрослый

за дитем-недоумком, чтобы тот не поранился.
А я в этом мире — ином — познал, блуждая по лесу,
что справедлива природа тем, что в ней нету равенства.
Она совершенна, как Бог. Хотя никому не известно:

кто кого создал. Мне кажется, Бога — это вернее —
природа придумала, чтобы при родах помощник был... Впрочем,
черна преисподня оврага так же, как ямина в небе,
в которой, предположительно, Бог обитает. А в роще

осенней и темной, как смысл чужого наречия, многое-
многое можно узнать, особенно если устал.
К примеру: надо всегда идти за едою. За голодом
идти никуда и не надо. Голод приходит сам.

Но почему-то не хочется величать его великодушным...
Живут по законам иным и волк, и коршун, и рябчик.
И не равнодушен лес, как это мнится заблудшим.
Просто он не умеет отзывчивым притворяться.

Просто нету в лесу зависимых, превосходительств
и власти, и лести. И лес уже этим вечен. Его

сгубить если весь — он останется. В тебе — твоей хитростью лисьей,
во мне — злою волей к жизни, как у волка того,

Джек Лондон которого съел, вернее — его герой...
Неведомо как, но вернулся я снова к людям, хотя
из леса не вышел еще. И ноги спорят с горой.
И осень листья в лицо бросает, как рыжих котят.

Игорь МАКСИМОВ

ЗАПОВЕДНЫЙ

Встреча с лосем, где бы она ни была: в густом тальничке на припеке, где любят отстаиваться отелившиеся лосихи, на болотце ли с чахлым кустарничком, когда ветер гнет его, срывая последние листья, или просто на зимней дороге, когда лошадь вдруг захрапит и, высоко вскинув голову и навострив уши, остановится и даже попятится назад, пропуская впереди себя лесного великана, — всегда необычна и радостна.

Какое-то чудо происходит с нами в это время: место сразу преобразится, станет сказочно-красивым, картинным, будто видишь его впервые. Сам почему-то волнуешься. Может быть, в это время в нас просыпается древнее чувство родства и единства с природой?

Как-то зимой, спускаясь к своим стогам на Кургашлинской поляне, я увидел лося. Он стоял, положив кудрявую голову на круп, и наблюдал за мной. Я натянул вожжи. Лошадь стала. Пес замер.

Черно-бурый, как показалось мне сперва, чуть с сединой по бокам, лось скалой навис над белым оврагом. Слева и справа от него, словно расступившись, стояли кружевные березы. Я долго любовался этой картиной. Руки, наконец, устали, вожжи ослабли, сани скрипнули, пес рванул вперед и, обогнув темневшее внизу, в овраге, остожье, вылетел на бугор.

«Всегда так, — ворчал я, выбираясь из оврага: не даст посмотреть... Теперь все...» Ни лося, ни пса наверху не было. Два следа — крупный, одиночный, размашистый и рядом парный, неглубокими ямками — шли через поляну к березовой роще за пологой лощинкой.

Я развернул сани, очистил оденок — так у нас называют остаток стога — и принялся было накладывать сено, как послышался жалобный визг.

Ныряя в снегу, как поплавок, ко мне катился пес. Он то показывался, то исчезал в снегу. За ним с невозмутимым спокойствием из березовой рощи наблюдал лось. Казалось, он провожал пса прощальным взглядом.

Тяжело дыша и поскуливая, вздрагивая снежным загривком, пес черным комком повалился у ног лошади. Отвернувшись, больше уже не глядел

туда, где стоял лось, а мне хотелось получше его разглядеть. Не прошлогодний ли?

Вон и ямка корытом на том же месте, подле сухой черемухи, и пласты сена так же взрыты, искал соль. Не Белоштан ли?

Мне хотелось, чтоб лось повернулся задом. Я крикнул, взмахнул вилами, но он и ухом не повел: он замер, равнодушно глядя в мою сторону. Было тихо. Так тихо, что звенело в ушах. Березы, склоняясь, замерли, поблескивая белым перламутром.

Я стал навивать воз. И шорох сена, и запах сухой душицы и еще какой-то матово-сизой хрупкой травы, и эти белые березы — все было так необычно, сказочно-красиво в белом безмолвии

Я накладывал сено, искоса поглядывая на лося. Вот он, постояв, озорно мотнул головой, сделал шаг, другой и, мягко потряхивая пышной шубой и пружинно прогибая спину, скрылся в лощинке.

«Все, — решил я. — Зря кричал и махал вилами».

Но не прошло и пяти минут, как невдалеке, за летней дорогой, занесенной высокими сугробами, появилась сначала горбоносая морда, потом шея, высокая и узкая, как стенка, и кофейного цвета грудь. Лошадь забеспокоилась, насторожилась. Я погладил ее по бархатно-нежным ноздрям, обнял за голову, подкинул сенца. Потом снял с себя ремень, привязал пса к колу на проволоку, привалил его пластом сена, а сам полез на баганы.

«Только не стронула бы воз с места», — думал я, поднимаясь все выше.

Сияло солнце. Тысячами белых, сиреневых, синих искр мерцала поляна. Теперь лось уже не казался мне черно-бурым; он был светлее, бока шоколадно-серые, брюхо и ноги желтовато-белые.

Мы долго разглядывали друг друга. Я устал стоять на баганах. но все еще любовался гостем. Он ходил вокруг, то отдаляясь от стога, то приближаясь. И вдруг направился прямо на нас. Лошадь захрапела, тронулась. Я камнем свалился вниз, схватился за вожжи, но воз уже сполз. «Доигрался», — мелькнуло в голове. Нужно было перекладывать воз снова. Я разозлился, стало не по себе и отвязал пса.

— Возьми его, возьми! — закричал я, но пес и не тронулся с места. Он будто очнулся и, сладко облизнувшись, потянулся.

— Трус! — закричал я. — В какой момент и подводишь! — Взял вилы и сам пошел на лося.

По пути, увязая и падая, я прицелился вилами и бахнул. я думал, что лось испугается, но не тут-то было! Он озорно поглядел на «ружье» и ко мне.

Я назад. Добежав до саней и чуть отдышавшись и порядком струхнув, я стал поправлять воз. А лось кружил, кружил, подходил, заглядывал, будто проверяя, как я работаю.

Но разве это работа! Час битый я вожусь, руки дрожат, сено сползает, лошадь волнуется. Мне показалось, что лось издевается надо мной.

— Да иди же ты, иди! — закричал я. — Чего тебе надо?

Наконец лось будто понял меня, постоял и, как в сказке, высоко и медленно вскидывая угластые длинные ноги, поплыл вниз по глубокому снегу, словно растворяясь в сиреневой чаще березничка.

Зачистив оденок, я было уж собрался домой, как лес дрогнул. Тишину разорвал грохот, послышалось лязганье и железный скрип. Через минуту с бугра я увидел два трактора. Желтые, противные, как два колорадских жука, они тыкались в стороны, вязли в снегу.

«Вот зачем ушел лось, — догадался я после времени. — Он раньше услышал их грохот...» Я тронулся домой.

Воз переваливался с боку на бок, когда я поднимался по изуродованной дороге. Лошадь взмокла. Идти было тяжело и убродно. Но в душе била какая-то радость.

— Что это за лось? — спросил я у встретившегося охотника Таипа.

— Наверное, заповедный. Из заповедника убежал.

«Но заповедный, значит и неприкасаемый, хранимый», — думал я, шагая за возом. Впереди бежал пес. Он, как всегда, спешил: останавливался, обнюхивал кусты, пенечки, клочки сена и, подняв ногу, ставил свою роспись: «Здесь были мы».

Мы — это значит лошадь Майка, собака Актуз и я. А может быть, и заповедный.

ПУСТЬ БУДЕТ ТАК

Ни морозов клящих, ни метелей еще не было, и все это время мы держим скотину на луговом огороде. Загородил с осени стога и кормлю. Разложу зеленые охапки по углам, коровы просунут голову меж жердей, едят, точно из кормушек. У стогов — хлопот меньше: сено не возить, навоз не грести, двор свободный, и, главное, экономишь время и силы.

С утра по пути напьются в речке и на весь день.

Раздаю, раскладываю как-то сенцо, а в углах желтые орешки. Зачем, думаю, заяц в углы их насыпал. Так я же соленой водой из чайника прямо в стогу сено поливаю. Соль косому нужна, вот он и подбирает в углах соленые былинки.

Вчера одинок — остатки в стогу — подсолил. Заяц тут как тут: всю ночь крутился да, мало того, зайчонка с собой приводил. Одни следы крупные, лапастые, другие маленькие, мелкие. Так и ходили вместе, будто он настовичка этого за лапку водил. Сколько же у нас этих настовичков, листопадничков, травничков было! И лисы бегали, и норки сновали, на Амбарке рыбкой лакомились, а на Майгашлинской горе и теперь косачи зимуют.

Иду прошлой весной, снег уже сошел, местами только ледяные косынки да желтоватые сидки поблескивают. Наклонился — колбаски косачиные из березовых почек, где кучка, где две. Две ночи, значит, тут сидел косач. Штук тридцать этих кучек насчитал. Есть еще у нас косачи, водятся, но разве столько их было!

— Не поверишь, — говорил мне как-то старый лесник Засов Павел, — за баней на огороде береза стояла. Насядут на заре на эту березу косачи — веток не видать, висят. Как гири, кормятся. Выйду с ружьишком в сенцы, приложусь из окошечка, бах — старухе варево готово.

Весной по речкам норке такое раздолье, такие заторы в уреме, что вся пойма до самого разъезда становится заповедной. Вздуется Амбарка, на сто рукавов разольется; у разъезда озеро ходуном ходит, и кружится, не успевает вода в водоотводы уходить. Размоет насыпь, разворотит путь — путейцам морока.

Нынче тихо. Все брошено. Дежурку сожгли. Дорогу закрыли. Пустыня! Но и сюда дотягивается рука браконьера. Пробираюсь как-то по уреме, а у сваленной березки в вершинке крючки-самоловы. Удочки, только на зайца.

Кто позарился? Ну попадет один. Велика ли польза? Шкурка испорчена, мяса — на жарево...

Даю сена, со стога любуюсь: вязь следов на поляне, напрыски, скидки, петли. Вот здесь он грыз вербу, поднимался на задние лапки, скусывал тоненькие прутики — они послаще. А здесь лежал, отдыхал, ночь набегавшись.

Не тот ли это, которого утром случайно пластом сена привалил? Задумал хитрец поближе день переспать, лег под прясла, а я туда навильник зеленого. Эх, как выскочил! Ошалел. И сам-то я дрогнул от неожиданности. А он покатил, покатил, весело и задорно. И легко, радостно стало вдруг на душе.

Неужели кусок глухарятины дороже песни глухаря на заре?

Шкурка норки, кажется, не стоит тех фортелей, какие выделывает она, играя на речке. Нырнет и выскочит с рыбешкой в зубах, хищная, ловкая, вся огонь.

Пусть будет так, как было: чтоб и норки резвились, и косачи токовали, и зайцы бегали. Пусть будет так.

Светлана СМИРНОВА

ЦВЕТЫ И ВЕЩИ

* * *

Я была в антикварной лавке,
на старинные вещи смотрела.
Булавки острое жало
в теле бархата узко блестело.
И часы с тонким жалобным звоном
второй век уже время считали.
Они прямо в глаза смотрели
и шептали, шептали, шептали...
И я знала, что все проходит.
И печаль моя тоже пройдет,

как этот серенький день весенний,
как на реке ледоход.

ПОДСНЕЖНИКИ

Я забыла, как пахнут подснежники
за суровую черствую зиму.
Они дремали
на дне старой корзины.
Я купила примятый букетик —
я его пожалела.
Это была вся нежность,
что этой весной во мне пела.
Влажные хрупкие стебли
осторожно в ладонях держала.
За них я теперь — отвечала.

МАРТ

Благодать тишины в квартире,
лишь часы утомленно стучат,
напоминая, что в мире
наступил весенний разлад.

На окне пушится мимоза,
за стеклом — чахнет снег.
Одинокий прохожий
несет кому-то букет.
Это март за окном притаился,
дорога мокра от слез,
и густое синее небо
усеяно мелочью звезд.

* * *

Я запомню эту тишину,
белизну сугробов, елей сумрак.
Робко в мир входящую весну,
встречу с белочкой-плясуньей.
Неба яркий синий василек,
расцветающий счастливо.
Воздуха пьянящего глоток,
что вдыхаю я неторопливо.

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА

Зеленая ветка в обычном стакане
сердце задела своей простотой.
Зеленая ветка — зеленое пламя.
Бесхитростный символ жизни земной.
Я помню, тот вечер был теплым и светлым
и ветка грустила в открытом окне.
Но чьей-то рукой заботливо стерт был
отблеск заката на старой сосне.

* * *

Еще только июнь,
а мне кажется: снова сентябрь
бьется в окна и просится в дом.
Еще только июнь, а мне кажется:
пора листопада.
Но еще не цвели георгины,
еще не настала флоксов пора.
Еще только июнь...

* * *

Пахли липы тонко и сладко.
Вечерняя тишина
волновала, как чужая тетрадка
несбывшихся чувств,
облеченных в слова.
И куда-то бежали трамваи.
Был их путь блестящ и покат.
И казалось, что я знаю,
где ночует июньский закат.
И казалось, что ветер забывчив.
Мелкий дождь, как пыль, серебрист.
А воздух прозрачный первозданен и чист.
И душа обрывалась, как песня.
Затихала вечерняя грусть.
И казалось, что этот вечер
я, как школьник, учу наизусть.

Всеволод ГЛУХОВЦЕВ

ТРАКТАТ ИЗ РОМАНА

Итак, пояснение. Много лет назад, столкнувшись с некоторыми... некоторыми неприятностями, я довольно неожиданно задумался о том, что есть Добро и зло не как отвлеченные понятия, но как действенные события, ежесекундно окружающие нас. С тех пор я многое узнал, много пришлось передумать и осмыслить заново. Но буду честен: мне так и не достало чего-то, чтоб понять, отчего бывает Добро — или, равноправно говоря, почему абсолютно добрый Бог-творец, творя миры, творит их так, что где-то, пусть в одном из них, возникает зло. Разумеется, философы находят тому пресерьезнейшие объяснения: так, говорят они, Бог создает свои творения только свободными, чтоб каждое из них могло самостоятельно сделать выбор, поскольку лишь свободное личное решение существа быть в Царстве Божьем оставляет его там, в этом Царстве — в истинном полном бытии. Говоря иначе, никакое существо не может быть удержано в Царстве Божьем насильственно, это делается только собственным решением его.

Не согласиться с этим скверно, однако проследим ход дальнейших рассуждений.

Итак, каждое сотворенное существо обладает свободой. Но, обладая ею, кто-то из существ способен выбрать не только путь бесконечного самосовершенствования под началом Бога, но и возомнить, что именно оно может, а раз может, то и обязано стать первым, хозяином и бытия, и небытия, подчинив себе всё, в том числе и своего Творца. И вот находится такое существо — сатана, дьявол... и много есть ему еще имен. Он восстает против Бога, стремясь все мироздание подчинить одному себе, но ничего из этой затеи не выходит, никакой он не достигает власти, но повергает сам себя в неистовую бездну, прочь от творений Божьих, достигающих Добра, — и в этой бездне ему приходится создавать свое подлое царство зла, с тем, чтобы таким образом осуществить безумный свой план свержения Бога. В этом царстве прозябает и та часть творения, которую мы называем нашим миром, от чего над каждым из нас довлеет первородный грех рождения под черной властью. Плоть, в которую мы облечены, отравлена злом: чтобы она могла существовать, мы принуждены бороться; мы принуждены убивать живые существа, чтоб прокормить себя, и кто же знает, какой ужас переживает животное на бойне в последние мгновения свои!.. Нет, мы не знаем, не думаем об этом, поедая колбасу или бифштекс! Мы, люди, бьемся и друг с другом, человек с человеком, толпа с толпой, государство с государством, унижаем и поражаем друг друга, каждый из нас воочию знает это, знает, но не может избежать.

Но власть зла не всесильна. Невидимые лучи Добра проникают и в падший мир, пробуждая в падших существах стремление к свету и желание опровергнуть мрак псевдобытия, бессилие свое перед ужасным царством, где слабое и смертное создание чувствует себя песчинкой, которую в любой миг

могут стереть в пыль без следа и памяти. И кое-кто из грешных существ, познав свет Добра, вступает на верный путь к нему, самостоятельно делая мудрый и бесстрашный выбор. Обретшему бесстрашие удается сломить закон греховности, мешавший прежде восприятию Добра, — и вот уже свет и благодать озаряют душу бесстрашного, и сатана не властен над ним. А между тем, таких просветленных и неустрашимых субъектов немало, они творят добрые дела, и сила зла ничего не может сделать против них. И придет день, когда ужасный трон рухнет, не в силах противостоять Добру, и освобожденные, стремящиеся к свету, войдут в жизнь вечную. А сатана, он и некая часть других тварей, они, повергнутые, будут стараться укрепить осколки своего царства в нечто ущербное, но столь же гнусное. Но и это позорное обиталище не навсегда! Придет срок, и все они, и даже сатана, осознав свое безумство, искренне раскаются и будут прощены и приняты в мироздание Добра.

Так говорят философы. Такова концепция происхождения всемирного зла и поражения его бунта, одна из концепций. Нетрудно заметить, что она не без промахов. Прежде всего такой момент: Бог творит существа свободными, при том заранее зная, что кто-то из них непременно сделает свободный выбор в пользу зла. Зачем же тогда он, Бог то есть, это делает, для чего он творит мироздание? Обычный ответ такой: будучи абсолютно добр, Бог хочет сообщить доброту и кому-то другому, чтоб и другие были счастливы, причем главнейшим условием счастья должна быть свобода — потому Бог не может создавать несвободные существа, так как они были бы несчастны, что противоречит определению Бога как абсолютного Добра, свершающего только добрые дела. И когда какое-то из его творений ступает на путь зла, Бог ничего не может сделать с этим, ведь это существо имеет полную возможность свободного выбора. В таком случае всемогущество Бога сомнительно, а попросту говоря, его нет, всемогущества, хотя богословы с помощью различных ухищрений доказывают, что Бог все-таки всемогущ, но доказательства все очевидно разбиваются о факт существования зла. Некоторые богословы утверждают даже, что зло исполняет определенную положительную функцию, оно дает аборигенам падшего мира возможность сравнения его с Добром и, исходя из этого сравнения, сделать правильный выбор в пользу последнего. Потому-то, получается, Бог имеет право допустить существование зла. Согласитесь, что верить в такого вот Бога-императора, применяющего политику кнута и пряника, не очень хочется, наверное, в таком случае лучше и вовсе не верить. А если уж верить, то принимать за аксиому то, что Бог исключительно добр, что по доброте своей творит исключительно свободных существ и что какое-то из них, преисполнившись гордыней, делает ложный выбор: захватить верховную власть в мироздании. Но его смута неизбежно заканчивается полным поражением, раскаянием, прощением взбунтовавшегося и окончательным торжеством Добра. Но если так, то Бог не всемогущ, есть вещи могущественнее его, например, принцип свободы, являющийся словно бы высшим законом всего бытия, законом, непреодолимым даже для Бога, потому-то он, делая добрые дела, заранее уже знает, что его добро будет кем-то

перетолковано во зло. А свобода как высший безличный закон, она равнодушна и к доброму, и к злому, она просто поле, на котором развертывается драма Бога и творимого им мироздания, от нее никуда не деться, она была, есть и будет всегда. Но раз так, то разумно предположить, что в истории мироздания может быть не одно восстание и падение сотворенного существа, тем более если предположить, что Бог творит их бесконечно. Допустим, что падший мир прошел свой крут и вернулся к Богу, снова в облике ангела, каким и был до падения. Но где гарантия, что другой ангел, быть может, из вновь сотворенных, а может, из прежних — все они свободны, почему бы после длительного пребывания подле Бога не прийти к крамольному выбору?.. — так вот, где гарантия, что не будут бунты вспыхивать один за другим вследствие пусть греховного, но свободного (подчеркиваю: свободного) выбора? Что какой-нибудь ангел, подумав хорошенько, не ударится в революцию? И так будет всегда, твори — не твори Бог добро. Так будет, так не прекратится зло никогда. А тогда зачем бороться с ним, если оно неистребимо, если как ни старайся, все равно найдется новый Люцифер?! И еще одно: ну хорошо, пусть на всех нас, существах отлученного от Бога мира, людях, животных, растениях, планетах, звездах и галактиках, микроорганизмах — пусть на всем этом лежит тень безумного трона, пусть все это есть не что иное, как частицы исполинского тела Люцифера, потому они заражены, как гнилью, первородным грехом и потому заранее виновны и страдания терпят справедливо. Но ведь многие из нас делают свободный выбор к Добру. Мы ведь свободные существа, не тождественные сатане, хотя и есть частицы его плоти... И раз мы этот свободный выбор сделали, за что же нам эти страдания?.. Да пусть! Пусть даже не нам, а даже заблудшим и преступникам, замаранным в крови, даже всем им — и все равно это жестоко, так жестоко, чересчур жестоко, и разум отказывается признавать неизбежность этой жестокости, и выплескивается возмущение! Зачем он, Бог, творит мироздание, если знает, через какое горнило страданий предстоит пройти кому-то из его созданий, пусть даже по его тварной глупости и даже подлости! Не лучше ль вообще не делать ничего, никаких мирозданий не творить, если ты, Бог, бессилен перед равнодушной неживой свободой, если даже твоими добрыми, безусловно добрыми! делами, даже ими вымощена дорога в ад!..

Вот так. И не лучше ли признать, что Бога и вовсе нет? Не разумней ли предположить, что правит всем какой-нибудь закон, все равно какой. Например, такой: бесконечное противоборство двух равнозначно фундаментальных сил, Добра и зла, и эта непрестанная борьба — она и есть вечный двигатель мироздания? И если так, то не разумней ли навеки опечалиться, стать мудрецом, осознавшим непобедимость зла как одного из начал вселенной. И тогда с неизбывной грустью принимать этот мир таким, каков он есть. Кто знает, может быть и так. Но тогда вот что: зачем жить, если зло неустранимо? Затем только, что сам ты, ставши мудрецом, сумеешь избежать зла, а те другие, кто не понял... Ну что ж, грустно, но ничего не поделаешь, придется им страдать, они ведь не сумели понять того, что понял мудрый. Так думает мудрец, но

разве сам он не заблуждается? Он же сам плоть от плоти своего доброго-злого мира, неотделим от него, так разве не накроет и его тень зла? А когда накроет и придет страдание, тут и вся мудрость сразу позабудется, станет не до нее... Он может возразить так: да, бытие ужасно именно неустранимостью зла, однако подлинный мудрец, осознав это, стремится, напротив, к небытию, к нирване, находящейся по ту сторону Добра и зла, бытия вообще, где никакого страдания уже не будет. Но вот вопрос, а точнее, сразу ряд вопросов: если существуют как минимум два мира, мир бытия, страдания, и мир небытия, блаженства, то они неизбежно оказываются в каких-то отношениях один к другому, и кто его знает, какими могут быть эти отношения. Дружественными?.. Сомнительно. Враждебными?.. Тогда и нирване не дадут покоя, и ее будут, грубо говоря, трясти. И в ней не скроешься — вытащат оттуда, и тогда какой же смысл в достижении ее?..

Вообще же, пытаясь, как умею, изложить различные гипотезы происхождения зла, хотел, в сущности, одного только: лишний раз подтвердить давным-давно известную мысль о том, что любая проблема способна породить множество самых разнообразных толкования, причем в попытках отстоять именно свою точку зрения оппоненты рискуют угодить в схоластику, в никчемные словопрения и жонглирование притянутыми за уши доказательствами. Еще одна прописная истина: наш язык, неважно, какой, безразлично — русский ли, французский, английский... Так вот, наш язык, с помощью которого мы пытаемся описывать предметы и явления, всегда оказывается беднее нашего мышления с его образами и эмоциями, фантазиями, переживаниями, страстями. Мы так и говорим: «Не описать словами». В свою очередь, мышление, присущее нам, людям, также ограничено условностями, поскольку все, что мы мыслим, представляем себе, представляется нам в пространстве как в трехмерном вместилище трехмерных тел и во времени как в одномерной последовательности событий, происходящих с трехмерными предметами и связанных друг с другом жесткой причинно-следственной зависимостью. И потому, размышляя даже о таких метафизических предметах, как Добро и зло, мы неизбежно представляем себе и фон, и действующих лиц, и события этой драмы, а раз представляем, то, соответственно, и пытаемся объяснить и описать все это в привычных нам рамках пространства-времени и причинно-следственной зависимости. Наше мышление связано этими рамками, а потому и нет ничего удивительного, что, размышляя, мы утыкаемся во множественные логические тупики и в ту же бессмысленную высушенную схоластику.

Теперь можно подвести сказанному некоторый итог. Во-первых: условия четырехмерного пространства-времени навязывают нашему мышлению лишь отдаленное, приблизительное понятие о Добре и зле. Второе: я вынужден признать, что лично для меня проблема зла осталась неразрешимой. Я не сумел понять обстоятельств его происхождения, его природы. Я не знаю и того, возможно ли его одолеть. Но я уяснил себе давно и твердо: нельзя пассивно скорбеть о том, что мир пресыщен злом. Со злом надо сражаться. А для

того, чтобы успешно проделывать это, его нужно знать отчетливо. И нужно ясно понимать, что есть Добро.

Александр ЗАЛЕСОВ

ОСЕННИЙ СВЕТ

НАДГРОБИЕ ДЯГИЛЕВА

Мне будет сон.
В нем мне привидится
город, причастный всех тайн сотворения.

Это Венеция,
вечная вдохновительница
наших успокоений.

КАРАВАНЫ ЗАБВЕНИЙ

Смерть — это все караваны забвений,
просто бредущие через тебя
к реинкарнациям, зыбким, как тени,
как миражи, как миры, как судьба.

Смутно знакомы мне все превращенья,
будто когда-то случились уже,
где вместо мести и вместо прощений
были забвения всем, кто блажен.

Я не говорю ни о мести,
ни о прощении. Забвение —
вот единственная месть
и единственное прощение.
Хорхе Луис Борхес
«Фрагменты
апокрифического евангелия», 27

ОСЕНЬ

Осенний свет заглянет нам в глаза
туманным утром на исходе ночи.
Как отрешенная стезя,
приветствует нас бал всех одиночеств.

Даруя истинную роскошь,
недолгий импрессионизм
на восприятии, как росчерк,
оставит след всех пестрых призм.

И смена вечностей вдруг потрясает снова,
обозначая в нас, что свято.
А склонность ко всему цветному
восторгом, как огнем, объята.

Отбросив сдержанности маски
на званых гранях красоты,
в лавину сокровенных красок
рухнут волшебные мосты.

НЕМНОГО ЛИРИКИ

Мне ночь исплачется в лицо
дождем, рожденным долгим громом,
немых зарниц полукольцо
встревожит белых яблонь омут.

В коварных запахах весны
душа охотится за болью,
гармоний хрупкие весы
грозя перевернуть собою.

Отчаянно
        ростки тоски,
как окна,
        распахнутся настежь,
пробив
        волнующую брешь
туда,
        где образы и краски
творят
        ликующий мятеж!

Вера ШИБАЕВА

ДОМ ЧЕЛОВЕКА

Игорь ФРОЛОВ

ПРОРОК

...Всего живее помню тот легкий мост...
В. Сирин. «Петербург»

До сих пор, укрывшись в густых ветвях напротив светящегося окна, можно видеть, как нежный силуэт готовится ко сну. Это вечнозеленое воспоминание, вышибающее слезы стыда и восторга, так искривляет путь мысли, что после нескольких безуспешных попыток становится ясно — уже не вырваться. Роман, едва развернувшись, съеживается до реестра подготовительных материалов, а редкому читателю в качестве сомнительной компенсации предлагается принцип sapienti sat и крутая, но безопасная тропинка, выводящая к морю...

Где и когда игрок обернулся? Совмещая свои новые контуры с теми, что проявились в сумеречной воде прошлого, снова убеждаюсь, как выцвела, выгорела память за истекший полярный день (очень много света, нежных прикосновений, еще более нежного шепота, и постепенное возвращение к полутонам и полным тонам). Говорят, слабость памяти есть верный признак последнего круга воплощений, после которого твое заключительное имя присваивается свободному, еще недостроенному, созвездию — наблюдателю понадобится воображение свежерожденного, чтобы дорисовать твой полный скелет... Загвоздка в том, что я моста не помню. Приобретенная склонность к подозрительности заставляет думать, что молодой поэт, впуская своего кумира в свой рай, неосознанно использовал его в роли кошки, чтобы вселиться когда-нибудь следом в уже обжитое пространство эдема. (Здесь затонуло рассуждение о качестве чужого рая и о степени зрелости его яблок). Но, скорее всего, выигрывает вариант одряхлевшей памяти. Вот сабианский символ градуса, в котором завязло наше солнце: сгорбленная старуха на развалинах прежней жизни оглядывается в поисках того (когда же это было?), кто черным соболем одел ее блистающие плечи. Счастливые очевидцы — не то что не вымерли, совсем не постарели! — вежливо, но крепко подхватывают под руки и с веселым гомоном влекут по благоустроенному, перекрашенному маршруту. Вот лавочка, где вы любили отдыхать, вот портреты батюшки, сестрицы, вот ваша трость и ваши пистолеты, — а вот и мост. О, это важный пункт вашей великой жизни! Здесь вечный автор грыз в раздумье вечное перо — и альтернативная почка даже набухла и была готова выстрелить веткой, на которой вы бы еще пощебетали на радость нам — кабы не глупость друга ва-

шего, вояки. Нет, нет, не упирайтесь, вы еще так слабы, подогните ножки, мы понесем — вы легкий.

Малый вес — лишь одна из улик, приводящих к полной идентификации. Рассыпанные по листам автопортреты (как узнаваем этот впалый лоб!), масса разнотемных пророчеств, посеянных так щедро, что озимые взошли даже в текстах нового времени (от смерти матери до радуги в ресницах), та странная мания, в самых глубоких ее местах доходящая лишь до колен (как вы недогадливы, г-н публичный директор[2]! — хитрец просил ноги вашей дочери!), конечно, преступная склонность к кислым плодам (апрель[3] — неиспользованная рифма к имени той, чья смущенная заря заставила взволнованным эхом откликнуться его косматую свирель) и вдобавок эта отвратительная привычка ходить кругами. Корни ее так глубоки, что до сих пор пьют воду тех давних дождей, когда нельзя было уединиться ни в дневниках, ни в письмах. (Вот и теперь приглашенные гости после мучительного процесса журавлиной дегустации поднимутся из-за стола голодными и злыми. Может быть, только изящные женщины, даже не поняв всей скрытой тайны, скажут, задумчиво мерцая очами: в этом есть музыка...) Но более всего убеждает то детское болезненное дежа вю — внезапный наплыв тошноты при взгляде на две одинокие сосны — и, обгоняя обморок, бегом до бочки с дождевой водой, лицом в ее зеленую, кисловатую мглу; снова взгляд и снова спазм — где я это видел?! Меня сейчас вырвет... Дайте еще воды! В лицо ему плещите, трите уши! Как жарко, — хочется на воздух, на мороз, в одной рубашке...

Вот ключевая фраза из потусторонних архивов. До сих пор при взгляде на эту хрестоматийную картинку воспламеняются мои огнеупорные уши. Заслышав колокольчик среди январской ночи, истосковавшийся узник выскакивает навстречу влетевшим во двор саням в совершенно непотребном с будущей точки зрения виде: босиком на снег, в одной ночнушке, с прыгающими от немужского счастья губами — как дождавшаяся девочка, жена, старушка-няня, — ну, мальчик в лучшем случае, а в худшем — собачонка... Лизни его в лицо, если допрыгнешь — ах, как обознался! Но радость-то была искренней[4]! Тут бы и остановить, отсюда бы и поворотить оглобли бесценного друга, чтобы всю оставшуюся зиму длить во снах мгновение этой встречи и, проснувшись, плакать светлыми слезами обо всем, что было и что будет: вот освобожусь и въеду, наконец, в столицы, и столько будет смеха и вина, стихов диваны, девки на диванах! Если б знать — стегал бы дорогих лошадей плетьми, травил собаками — проваливай, тебе же будет лучше!..

Сидели в комнате, размачивали в холодном вине зачерствевшую дружбу, с трудом жевали. Всего-то и хотел позабавить друга сплетней, ждал в ответ добродушного смеха — пусть из сострадания к моей заброшенности, — с пониманием того, как на почве, унавоженной унижением, разрастается мания

[2] Оленин А. Н., директор Публичной библиотеки

[3] "Играй, Адель! "

[4] Пущин И.И., январь 1825 г., Михайловское

величия (заготовленное продолжение шутки). Господи, как много дураков! — но только двое помнят ту тишину, налившуюся кровью. В комнате вдруг запахло большими ногами гостя, сопревшей шерстью носков. Раздувшиеся от волчьего бешенства ноздри учуяли телячий запах вечно тринадцатого, который посмел усомниться в могуществе моего хищного слова, подгрызающего сухожилия царственным оленям! Ария столичного гостя повествует об остальном <…> они сильны, у них такие серьезные лица (подозреваю — и зады не менее значительны), такие указующие и грозящие персты. Иди, мальчик к нам, ты будешь петь, пока мы мощны весла упираем, а в конце получишь шубу мертвого царя[5]. Он, говорят, тебя отшлепал, а нынче вот в чулане запер, как пересолившего шута (и слово-то нашлось!). Засим — прощай. О времени мы сообщим — готовься...

Игра, следующая вслед за этим, не имеет земных аналогов. Даже библейская птица, переносящая доносы, — просто сорока в сравнении со мной. Есть немыслимое для смертного наслаждение, когда тощее, никому (вот это *«н и к о м у...»* попрошу курсивом, в разрядку, вприсядку!) не слышное слово опрокидывает общее, до неприличия упитанное, благое дело. Какой судья учтет, чем я поступился ради того, чтобы внедрить паскалеву песчинку в их мятежный мочеточник? Играя вслепую, гроссмейстер принес в жертву обоих данных ему летучих коней, оставшись в итоге пешим, — но зачем о грустном, если уже в самом дебюте сквозь лабиринты вариантов просвечивал полный разгром противника при множестве оставшихся у него растерянных фигур... И когда торопливое шуршание оборвалось точкой — справа от безмолвствующего народа — автор услышал в наступившей тишине, как скала общественной судьбы, повинуясь его заклинаниям, сдвинулась и нависла в ожидании последнего толчка над головами обидчиков. Со многими из них я, конечно, дружен, но, взяв паузу в несколько тактов, можно вспомнить те тайные вечери, где присутствовал в неясном качестве. Они же смеялись надо мной, перебрасываясь моей верой и заставляя меня подпрыгивать! Обид я не прощаю, друг, прости. Твое письмо — вернее, его платоновскую идею (подлинник сожжен в эпоху страха и деймоса) — его храню, как приглашение на казнь. Я обещал приехать, но, видит бог, не смог, и в доказательство — эта лапка мифического зайца, раздавленного сваленной на него ответственностью. Я и рад был — может быть, тогда, заметив за углом хрустящего пальцами несостоявшегося диктатора, я бы повел за собою ваши оцепенелые полки, — но разве мог я бросить на полдороге свой грандиозный эксперимент? В два часа ночи, когда мой добросовестный, честь имеющий призрак добрался, вошел и сел незамеченным среди суетящихся заговорщиков, далекий автор решил: пора! — и обмакнул свое волшебное перо. Восхитительная червонная аллитерация! Рога протрубили и, подчиняясь моему приказу, герои начали, не ведая (как я хохотал!), что в глухой деревушке знакомый их поэт, а ныне бог,

[5] "Борис Годунов", 1825 г., Михайловское

веселясь[6], прядет их судьбы, вычеркивая и вписывая, даря и отнимая, — попробуйте-ка против ветра, поднятого слабым словом! Да что бог — бери выше! — даже Зевс просил у парок пощады для Ахилла. Вот и теперь снисхождения не вышло — звук пощечины был как выстрел картечью. К вечеру все было кончено...

Здесь приготовлено много места для ликования, автоаплодисментов и веселой ругани. Вместо этого — отточие длиной в полгода и пять сухих щепочек.

Когда печь топят исписанными листами, когда кошмары иссушают ваши сны, а палочка уже не действует, сколько ни маши, — в таких случаях специалисты рекомендуют вернуться и, пройдя все заново, изжить. Согласно новейшим прозрениям, пациент, будучи еще рыбовидным зародышем, подвергался грубым нападкам, а точнее, ужасным притязаниям отца. Теперь заике предлагается встретиться с великаном и погрозить ему пальцем — ужо тебе!.. Сама встреча совершенно стерлась в испуганной памяти, но в книге почетных гостей дворца[7] сохранилась песня ручного скворца, — отрывок из Святого писания[8], изложенный привычным стихом, — как благодарность официального теперь пророка за новый язык и новую жизнь, будь она проклята!

Неосторожно слетевшее с вещего языка проклятие до сих пор тяготеет над всеми копиями. Все выглядит как приступ наследственной болезни, внезапный рецидив — с того же возраста и уровня, что были достигнуты предком. Характеризуется пограничным состоянием сознания: темно и холодно, пахнет пеплом, и тщетно ворошить остывшие стихи — ни уголька, ни искры... Да черт ли в них! — в конце концов, разве кто-нибудь облил слезами ноги гранильщика чужих камней, разве, вечно веселый и прыгучий, выходил один он на дорогу? Хорошо, оставим... Но дальше — хуже. Где бродил я на этот раз, когда раздавали стили, методы и манеры? Теперь, как результат прогула — ни прежней легкости, ни слез, ни предвкушений, — груженые смыслом караваны сухоногих слов никак не доберутся до зеленых миражей. О ужасная песня немца, катящаяся кубом, какой мелодией ни смажь! Невольный каменщик не успевает класть строку на строку — чернила, едва пролившись, сворачиваются и густеют — кровь, а не чернила, и над листом я тужусь и корячусь, как самозванец-бог над мертвецом, бессильно заклиная: встань, иди, скотина! Мертвец недвижим. Душа мала, но труп, как труд, огромен. Нет, верти назад — я буду слушаться, дай только попробовать! Иллюзий мне, неведенья любви! — я в лужах воробьем хочу купаться, хочу душить кого-нибудь сиренью (и удавить кого-нибудь взаправду. Злодейства мне! Полцарства за злодейство! На крест натурщика, натурщицу в костер — и жадно их мученья наблюдать, чтоб верно передать их в камне — не благо ли? Уж

[6] "Граф Нулин", 13-14 декабря 1825 г., Михайловское

[7] Чудов дворец, сентябрь 1826 г.

[8] Исайя; 6, 5-8

мнится мне, что благо... Зачеркнуто). Пожалуйста, назад — пускай закат сегодня на востоке — сейчас сосредоточусь и бездумно, легко рассыплю горсть искрящихся во тьме (гнилушек — добавит здесь недремлющий сарказм) во тьме стихов, — и почерк будет крив, дрожащ и тороплив, как бормотанье той сомнамбулы безумной, поляка праздного[9]. Ах, как его я ждал, заранее любя и ненавидя! Он упоил меня восторгом дивным, зубами скрежетать заставил — я при нем немел! — змеей во прахе виться... Теперь и я смогу — вот эта ночь моя! А утром, как и он, проснусь на крыше и не пойму вначале: взлетел или вскарабкался? Но вспомню: там, внизу, в тревожной комнате моей — там ждут меня листы, заполненные без помарок, и к ним готов бежать, скользить по водосточным трубам, срывая ногти... Сам себе не верю.

Он обещал приехать — вот главное. Он топтался перед уральским хребтом (как вырос и возмужал тот заяц!), и если бы не эта, привычная уже преграда, наверное, пустился бы дальше в своей кибитке-улитке. Мучимый собственным беззаконием, он дополз бы до своей холодной цели, чтобы через щель в высоком заборе увидеть тебя — постаревшую, уставшую от своего навязанного мужа, чья вина, прикованная к твоим щиколоткам (я так любил смотреть на них и ниже!) утянула тебя в глубину[10]... Это невозможно. Есть другой, избывающий все сразу, путь. Именно для того, чтобы выписать заблудившемуся герою рецепт спасения, я и берег последнюю частицу своей vis mágica. В состав сильнодействующего яда входит неутихающее воспаление чести (как это по-латыни, друг Гораций[11]?), много тоски и бессонницы, припадки бешенства, полное отсутствие денег, сбор листов сухой невкусной прозы, и отдельно — пустой взгляд рыжей донны и крепкое рукопожатие собственной добропорядочной статуи с одноименной площади (их уговор был даже мне неведом!). А белая голова — всего лишь чаша, в которую нальем. Ну, пей же!..

В тот день, я помню, был мороз. Под ослепительным небом искрились заиндевевшие до самых бровей каменные щеки домов, сани косились и скрипели на поворотах, в глаза брызгало солнце. Кто-то кланялся навстречу, приглашая куда-то, жестом вычерпывая меня из саней, кланялся вслед... Странно, что я не замечал эти прозрачные фигуры тогда — как и встречные сани с бесценным содержанием. Они скользнули мимо, и содержимое косило в другую сторону, такое бессмысленное, пастельно-розовое с голубыми тенями и бархатистыми от мороза лепестками. Унылая жена, очей очарованье, откуда ты, и кто иной пил твой бледный запах, окуная рыльце в твой пушок — все это уже не интересует уезжающего. После стакана лимонада хочется курить, жадно глотая горький дым, и ехать все быстрей — пошел, пошел! — туда, где речка подо льдом чернеет, где разгорается моя свобода...

---

[9] Адам Мицкевич, польский поэт

[10] М. Раевская-Волконская

[11] Автор знаменитого "Exegi monumentum..."

Последние ступени преодолеваются одним прыжком — перед тем, как распахнуть долгожданную дверь. В наступающей темноте (сгущалась и твердела так же быстро, как гипс на чужом, овечьем лице) убывающее божество еще успело заметить, как валился в рыданиях курносый апостол умной головой о камни — осторожно, чтобы не расплескать мысль о вдове; какие-то люди в бобровых воротниках грызли изножие креста, крепкими зубами разрывая на щепки, и кто-то совал недоверчивый взгляд в лишнюю дырку в ке[12]... Тем временем совсем стемнело, лошади пошли шагом и скоро встали. Коляску заносило снегом, и к утру только холмик на сверкающей равнине напоминал, что был проездом кто-то здесь когда-то...

...А пляж я перестелю на рассвете. Для полуденной сцены понадобятся азовский песок и мелкое, теплое море. Маленькая гостья была рада ему, как веселому, доброму зверю. Подобрав платье до колен, она играла с волнами, теряя при бегстве свои легкие следы, и белозубый прибой слизывал пенным языком эти детские еще строчки, этот лучший в мире двустопный ямб, — а ветер вообще вел себя по-хамски! Может быть, теперь, глядя на их дружную игру, ревнивый наблюдатель поверит, что море волнуется только из-за нее, и жизнь волнуется... Оставь же этих милых животных, оглянись, посмотри на меня — я приехал, как и обещал, моя радость! Все темное, что нас ждет, уже прошло, я еще ни в чем не виноват, и тебе нечего бояться... Этот день[13] я, не задумываясь, выбрал из предложенного веера, перед тем, как отыгравшую колоду запечатали навсегда. Но я не тороплюсь открывать его. Вчера, на закате, я достал из потайного кармана ночь драгоценного ожидания — и она все еще длится... Теплый мрак, остывающие камни, запах крабьего тлена — и где-то совсем рядом невидимое море перекатывает гальку за мокрой щекой. Дремать, просыпаться, на ощупь добираться до воды и, заплыв туда, где хвосты сонных рыб щекочут ноги, опускаться в темные глубины и, дыша жабрами, собирать для тебя жемчуг. А потом, лежа на берегу, на теплых плитах архея, курить, осторожно держа фильтр мокрыми пальцами и, смахивая с бровей соленые капли, смотреть на звезды... Не торопи меня, — я готов пить эту ночь бесконечно. Ты хочешь знать, что делал бог перед творением? Он предвкушал...

[12] кн. Петр (Вяземский)
[13] 30 мая 1820 г.

Моисей ПИЗОВ
(1905-1962)

«ДЕМОН» И ДЕМОНЫ

От публикатора

В основу данного текста положена лекция, прочитанная доцентом Моисеем Григорьевичем Пизовым перед учителями в январе 1946 года. Обратите внимание на дату: чуть позже, в августе, выйдет печально знаменитое постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Оно ознаменует собой новый виток репрессий — идеологических и самых обыкновенных, заканчивавшихся лагерем, а то и хуже. В 1950 году от них пострадает и сам доцент Башкирского государственного пединститута (впоследствии — Башгосуниверситета) Пизов. Он вернется из лагеря лишь в 1956-м с двусторонним туберкулезом. Не потому что реабилитировали, а потому что актировали...

Заголовок, данный тексту редакцией, отражает суть проблемы, о которой думал М.Г. Пизов. Поэт взыскует красоты. Чего взыскует демон? Поэт взыскует свободы? Чем отличается от нее свобода демона? «Личность растет, обособляясь, что ведет к разрыву»... Может, это и есть путь к бесоестдд (модное ныне словечко!). Но в другой своей работе Моисей Григорьевич утверждает: «Демон — не дьявол. Демон — это огромная, живая, стихийно бунтующая, но униженная сила земли, стремящаяся разрушить свою клетку — землю, — в которую она заключена». Правда, эта мысль и сегодня выглядит свежей? Особенно на фоне нынешних тектонических сдвигов...

Как Пизов говорит о Печорине, о том, что его все любили!.. И ни слова про то, что лишний человек. Моисей Григорьевич писал о Пушкине, Лермонтове, Гоголе со своих этико-эстетических позиций. И сегодня, переосмысливая литературно-художественные реалии, мы с интересом возвращаемся к наследию советского историка литературы.

Рукопись предоставлена в наше распоряжение вдовой ученого Елизаветой Лукиничной Васильевой.

А. КАСЫМОВ.

Немыслимо, говоря о Лермонтове, не сказать, какое значение для него имел Пушкин. Гоголь считал Пушкина «явлением чрезвычайным», преклонялся перед ним, верил в него. Самое существование Пушкина, с точки зрения Гоголя, было показателем, что в жизни есть красота. Гоголь как реалист широко смотрел на русскую жизнь и требовал, чтобы она была под стать Пушкину. Он не мирился с тем, что красота только в книгах; он хотел, чтобы и в жизни она была. «Есть народные песни и сказки, есть Пушкин, а как посмотришь вокруг — никакой красоты нет», — так говорил Гоголь. И Лермонтов постоянно писал об этом разрыве. Печорин отметил в своем журнале, что

он чувствует в себе «силы необъятные», что природа прекрасна. Но куда девать эти силы? Какая цель существования? Были ли ведомы Печорину эти противоречия, которые мучили и Лермонтова, и Гоголя? Шире всего Лермонтов сформулировал себя в «Демоне», которого писал всю свою жизнь.

Демон есть и у Пушкина — это общая формула и для Пушкина, и для Лермонтова. Это стихотворение очень показательно: насколько «Демон» принадлежит Пушкину, насколько Лермонтову. Когда читаешь «Демон» Пушкина, то возникают вопросы:

1. Какова была аргументация демона? Демон являлся в ответственный момент, в «часы надежд и наслаждений», в самый радостный момент жизни. Он клеветал на весь мир. Чем аргументировал? Без аргументации его клевета звучит неубедительно.

2. Зачем Пушкин рассказывает нам эту историю?

Аргументация демона против жизни не развернута, но сформулирована. «Он звал «прекрасное» мечтою». Прекрасное или реальность, или бред, мечта. Это волновало Пушкина всю его жизнь. Искусство как производство прекрасного, может быть, является ложью, а вдохновение — хлестаковщиной?.. Противоречия эти были известны и Пушкину. Но почему же эти мрачные мысли пришли к нему рано, в расцвете молодости?

«В те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия»...

«Все прекрасное — мечта» — аргументация демона.

Пушкин об этом рассказывает, чтобы объяснить свою творческую работу. Гениальный поэт, который занимается созданием красоты, а к нему с детских лет приставлен спутник — демон, который зачеркивает всю его работу. С ним нужна борьба. Поэт неустанно производит красоту, чтобы опровергнуть демона. Демон не верит ни во что. Нужно выбрать такой момент, чтобы красота прошибла демона, воздействовала на него. Любовь — это красота. Стихотворение «Ангел» — лучшая аргументация против демона. Эти два стихотворения Пушкина («Демон» и «Ангел») легли в основу лермонтовского «Демона».

Задача Лермонтова заключалась в том, чтобы, во-первых, развернуть аргументацию демона и, во-вторых, развернуть аргументацию против демона. Демон — не посторонний гость, с которым можно спорить. Сложность заключается в том, что демон — образ тех мрачных раздумий, того отрицания, существующий не на стороне, а в самом поэте, в Пушкине. Вести борьбу приходится не с посторонним, а самим собой. С собой бороться труднее. Речь идет о демоне, который сидит в нем самом, как сидел он в Гоголе и Лермонтове.

Анализируя образ демона, нужно отказаться от тех ассоциаций, которые возникают у нас с чертями.

Какие реальные мрачные обстоятельства породили эти мрачные размышления? Какими обстоятельствами был рожден демон Пушкина, Лермонтова, Гоголя?

Творчество Пушкина, Гоголя, Лермонтова — их книги говорят о чрезвычайном развитии страны, о высоком уровне русской культуры в XIX веке. Но вместе с тем нам известно, что эта дворянская культура выросла на известных социальных корнях. В русской жизни этой эпохи был чрезвычайный разрыв: на одном полюсе — Петербург, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, на другом — дикая крепостная деревня. Для художника важен вопрос о гармонии. Как подтянуть русскую жизнь к этому высокому уровню культуры, один полюс к другому? Это казалось невозможным. Пушкину, Лермонтову, Гоголю была понятна закономерность этого искусственного развития личности. Личность растет, обособляясь, что ведет к разрыву, иногда колоссальному. Тогда жизнь давала много материала для подобных сомнений, чтобы вести борьбу с демоном. Этот разрыв вызывал демонические сомнения.

И, говоря вообще, жизнь дает материал для таких сомнений. В жизни есть трагические обстоятельства.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь говорят о данной исторической обстановке как о частном случае диссонанса тех противоречий, которые имеются в жизни. Существует смерть. Она обессмысливает жизнь. Все мимолетно: красота, любовь — все проходит. К Пушкину «в часы надежд и наслаждений» приходит демон. У Лермонтова Тамара собирается выйти замуж. Свадебный пир в разгаре. Звучит музыка. Но вдруг примчался всадник: это — жених приехал мертвым. Конь с мертвым всадником — образ смерти. (Библейский «конь блед»). Как закрывать на это глаза? Вопрос о красоте жизни — вопрос сложный. Пушкин, Лермонтов, Гоголь в своем жизнеутверждении шли сложным путем, не обходя ни исторического, ни жизненного диссонанса. Пушкин в тридцатые годы особенно сильно горевал. Эти годы были исторически трудными для России. На очень холодной площади в 1825 году были разгромлены декабристы. Вся эпоха сложилась под влиянием этого события. Кромешный мрак царил над страной. Реакция и уныние. Пушкин, Гоголь, Лермонтов брали эти факты широко, в социальном плане.

«Думы» Лермонтова. Лермонтов часто вел этот грустный лирический разговор. В чрезвычайно важный момент Лермонтов говорит о своем поколении как явлении временном, подчеркивает исторический аспект явления, утверждает, что данные бедствия носят временный характер для истории. Это помогает ему бороться с демоническими сомнениями. Все плохое, что есть в жизни, не составляет всей жизни. Это — только звено, только этап.

В «Демоне» — пир и мертвый всадник — картина трагическая. На какой почве побеждает демон Лермонтова? Дух отрицания, сомненья — это дух обособления. Демон смотрит на жизненный процесс, как на всю цепь, а не как на отдельное звено. Демон абсолютизирует жизненный процесс. Смерть — разрушение, гибель. Кавказ — огромная каменоломня, но «природа не храм, а мастерская». В каменоломне, наряду с разрушением, создается новая творческая жизнь, создается прекрасное. На смерть, на разрушение Лермонтов сумел взглянуть, как на отдельный этап жизни. С черными противоречиями сумел справиться, смотрел широко.

У Пушкина все учились. Кто учился у Лермонтова? Кому послужил роман «Герой нашего времени» образцом, источником для новых ситуаций, для новых художественных построений? Критики писали о неоспоримой связи Льва Толстого с Лермонтовым; писали не без основания также о связи с Лермонтовым и прозы Достоевского. Лев Толстой много усвоил от Лермонтова. Наиболее плодотворным влияние Лермонтова было на Тургенева. Роман Тургенева «Отцы и дети» имеет связь с лермонтовским романом «Герой нашего времени».

Начальная ситуация романа «Отцы и дети» — отец встречает сына. У Лермонтова — Максим Максимович ждет Печорина. У Тургенева — приезжает друг Аркадия Кирсанова Базаров. У Лермонтова — Печорин встречает друга Грушницкого. (Аркадий = Грушницкому). Печорин и Вернер у Тургенева поменялись местами. Вернер — разночинец, изучающий природу, преклоняющийся перед естествознанием, скептик и материалист, врач по профессии. Это — тургеневский Базаров.

Крупный роман Тургенева «Дворянское гнездо» связан с лермонтовским «Демоном». Центральная ситуация — образ религиозно настроенной девушки, уходящей в монастырь. Религиозность ее носит не церковный, а мистический характер. Своеобразный роман с богом. Для создания «Дворянского гнезда» образцом послужил «Демон» Лермонтова.

Проблематика «Демона» развернута в романе Тургенева с большой широтой. Начальная ситуация «Дворянского гнезда» — закат. Приходит сплетник Гедеоновский. Собирается пленум действующих лиц. Паншин чуть не на лошади въехал в комнату. Его образ дан как образ рыцаря, кавалера. В лермонтовском «Демоне» начальная ситуация — жених на лошади, мертвый всадник. Паншин мертв, как мертвый всадник. С его образа снята трагическая форма, форма метафорическая. Дана реалистическая форма. Паншин контрастно противопоставлен Лаврецкому. Между произведениями писателей существует органическая связь. Одно произведение рождает другое.

«Герой нашего времени». Роман — центральный узел, связанный с предками и потомками. Лермонтов умер молодым, не дожив до 27 лет. Обычно полагают, что Лермонтов — богатый аристократ, блестящий гвардейский офицер, который вел рассеянную светскую жизнь и писал только на досуге, когда приходило вдохновенье. Но это неверно. Он, действительно, был богатый дворянин, гвардейский поручик, но это не мешало ему много работать. Он был глубоко трудящимся человеком. За свою короткую жизнь он написал очень много: около 400 стихотворений, несколько поэм, роман. Лермонтов оставил богатое литературное наследство. Он много потрудился для русской литературы.

Он — поэт и прозаик огромного, гениального таланта и глубокого философского ума.

В русской литературе первой половины XIX века их два: Пушкин и Лермонтов. «Герой нашего времени» имеет предков. Это — просветитель

Чацкий, который убедился, что Фамусовых просветить нельзя, что нужно бороться с системой, что нужна активная революционная тактика.

Чацкий — русский дворянский интеллигент. В 1825 году были разгромлены декабристы. Но пушками и бомбами нельзя убить стремление к гражданской вольности. Нельзя убить активную жизненную силу, нельзя убить революцию.

Лермонтов, хотя жил он в тридцатые годы, в своей гениальной душе носил идеи декабристов. Об этом говорит его дружба с декабристами в Петербурге и на Кавказе. Об этом говорят его произведения: «Жалоба турка», «Последний сын вольности», «Мцыри», незаконченный роман о крестьянском восстании «Вадим».

А. А. Блок сказал о Лермонтове, что в нем чувствуется «высокая культура». Он, дворянин, аристократ, знает, что революцию в белых перчатках сделать нельзя, не сентиментальничает с нею. В его отношении к декабризму сказалось стремление к свободе, присущее ему в высокой степени.

Предком романа «Герой нашего времени» является и пушкинский «Евгений Онегин». Еще Белинский указал на смысловое значение фамилий: Онегин и Печорин (Онега и Печора).

Онегин, как и Чацкий, русский дворянский интеллигент. В романе показано преодоление русского романтизма (байронического и иенского). Романтики противопоставляли индивидуум, личность — обществу, социальной системе, искали свободы и счастья на личных путях. Преодоление бунтарского байронического романтизма показано в «Онегине» через Татьяну.

Печорин — русский дворянский интеллигент, как Чацкий, как Онегин. Он — богатый, скучающий аристократ, который ищет развлечений. Он поражен предельным эгоизмом. Печорин, развлекаясь, губит тех, с кем сталкивается. Он погубил целую семью горцев, которые жили, как умели. Он погубил Бэлу. Он разбил жизнь княжны Мэри. Он убил Грушницкого. Он тяжко обидел доброго Максима Максимовича. Он расстроил жизнь Веры. Он развеял группу контрабандистов в Тамани. Никто не говорит, что Печорин должен быть другом контрабандистов, но покинутый слепой мальчик плачет — и его жалко.

Печорин — предельный эгоист. Но странное дело: почему же все тянутся к нему, буквально как к магниту. И все его любят: любит его Вера, и Мэри, и Бэла, и Вернер. Почему его любят?

В Печорине сидит Михаил Юрьевич Лермонтов со своими мыслями и со своим поэтическим гением.

Печорин — огромная жизненная сила, «необъятная», как он сам о себе говорит. В нем проявляется вековечное стремление человечества к свободной и широкой жизни. Кругом блещет многошумный и многоцветный мир природы, а жизнь человека похожа на жизнь в грязной Тамани.

Жизнь происходит в двух планах: большом, природном; малом, человеческом. Природа поэтами или очеловечивается, или выражается в человеческих свойствах.

У Лермонтова природа не то что очеловечивается, а живет реально, живет, как человек. Тучка ночует на груди утеса, утром исчезая неизвестно куда, а утес о чем-то плачет. Сосна грустит о пальме. Три пальмы, как три невесты, жаждут любви и ждут в пустыне своих избранников. Но прибывший в оазис караван путешественников срубил эти прекрасные пальмы и сжег их на костре. У Лермонтова — живая, непокорная, буйная природа, ведущая интенсивное существование, не похожее на жизнь человека. Его герой Печорин стремится к такой же интенсивной, свободной жизни. У него есть свои стремления и жизненные цели. Есть чувства и мысли. Недаром его другом является доктор Вернер. Как всякий человек, Печорин имеет прошлое и будущее. В прошлом у него была Вера, то есть вера в людей, в жизнь, в высшую жизненную цель. Он даже гнался за Верой, когда она его покинула. Но не догнал. Остался с ним Вернер. Он — доктор, скептик, материалист, атеист. Вернер плакал над умирающим солдатом (народ!). Но когда на дуэли Печорин убил Грушницкого, Вернер от него отвернулся. Убийство неприемлемо для доктора, не в его жизненном стиле. Каково будущее Печорина? Пойдет ли Печорин по пути Вернера? Этот вопрос в романе Лермонтова остается неразрешенным.

В предисловии к роману автор дает отрицательную оценку Печорину. Он «человек из пороков своего общества».

В романе Лермонтов затронул вопросы, волнующие все человечество. Они не вытекают непосредственно из текста — они стихийно вложены в роман...

РАЗНЫЕ СТИХИ

Ильдар КУДАШЕВ

* * *

Любимая ты меня просила
И я нарисовал твое лицо
На плотном мелованном картоне и
Повесил рядом с фотографией родителей
Твоих
Но если ты захочешь
Я рядом буду
И нарисую те врата...
Врата... Врата... Врата...

* * *

Мирозданье — это ты и я
Потому что я не могу быть один
Дельфины акулы
И может быть еще слоны и птицы
Неодиноко живут
Быть может во всем мирозданье
Только ты одна
Можешь быть
Одна одна
Я не могу быть один...
Мирозданье!..

Альбина АХМЕТЗЯНОВА

ВЕСНА

Широко раскинулся луг,
На лугу пашет плуг,
В небе бабочки летают,
Стрекозы по цветам порхают.

А за лугом течет река,
Течет река издалека,
Течет река весну встречать,
Воду в облака качать.

ВОРОБЕЙ

Сидел на дереве воробей,
А под деревом кот-злодей —
Черно-серо-белый кот,
Он добычи в лапы ждет!
Кота того звали Пират —
Он любит царапать ребят.

Елена СОЛОВЬЁВА

БЫЛА ЛИ ТАЙНА?

Всеволод Глуховцев. Перевал Миллера. Уфа, 1997.

Когда в руки попадает новое художественное произведение, неизбежно встает вопрос о целесообразности его прочтения. Как правило, читают люди с определенной целью: получить информацию, скоротать время, скажем, сидя в электричке, возможно, обогатиться новыми впечатлениями...

Стараясь получить как можно больше сведений о развитии современной литературы в Уфе, я обратилась к серии «Литальманах «Вечерней Уфы», где представлены фактически все направления литературной жизни города. В числе первых мне попала в руки повесть Всеволода Глуховцева «Перевал Миллера».

Само название, по моему мнению, обязывает. Всплывают ассоциации с «Грозовым перевалом» Э. Бронте, а также с Генри Миллером, известным модернистом начала века. В довершение ко всему на обложке данной книги помещена репродукция Гойи («два ведьмака, выехавших поразмяться»). Все настраивает читателя на таинственный, загадочный, немного гротескный лад.

Одна из отличительных черт стиля автора — намеренная расплывчатость, неопределенность: нельзя с полной уверенностью определить ни время, в котором происходит действие, ни город («Гостиница «Перевал» — не самая лучшая в городе, не самая худшая. Не на центральной улице, но и от окраины далеко»). То есть некий усредненный вариант, «золотая середина». Абстракция. А далее — весьма занятное смешение категорий различных эпох. «Преимущественный состав посетителей — средний и нижний слой мидл-класса». И — тремя абзацами ниже: «Что-с? Я не ослышался, Антон Валерьянович? Семь пустующих номеров?.. Вы, очевидно, изволите смеяться надо мною, милостивый государь?..»

Эклектика — вещь довольно привлекательная. И весьма плодотворная — с точки зрения получаемого результата. Другое дело, что всякое смешение чего бы то ни было подразумевает некую «концепцию», которую хотя бы вероятностно можно было бы вычленить. Иначе хаос так и остается хаосом.

Возможно, разговоры об идее произведения бессмысленны по своей сути. Я все же читаю с определенной целью — получить. Новую мысль. Фразу. Удачное определение. Новый взгляд на веши. И один из критериев «читабельности» — оригинальность подхода, необычный угол зрения.

Вынужденное смешение стилей, естественно, интригует. Банальный вопрос: «А что дальше?» — заставляет дочитать книгу до конца. В гостинице со странным названием «Перевал» происходят вполне обычные (по крайней мере, в начале действия) события. Двое приезжих привлекают внимание управляющего Антона Валерьяновича своим столичным лоском, необычностью. Мы бы сказали, стильностью. Чем и заставляют его жестоко страдать от

сознания неполноценности своего существования. Под видом проведения научных работ приезжие устанавливают «громоотвод» (вспомним Брэдбери с его «И духов зла явилась рать»), отвод которого уходит (как выясняется потом) в могилу некоего Миллера, появившегося в гостинице несколькими годами раньше и погибшего при очень странных обстоятельствах. Все обещает тайну, сказку, приключение. «А что дальше?» А дальше — ничего.

В гостинице скисает молоко, тускнеют зеркала, горничная Анна (как насчет Булгакова?) твердит о нечистой силе. А за взломанной дверью не обнаруживается решительно ничего. И никого. Никаких следов. По выражению швейцара Федора, «все именно так и закончится — пшиком. Не трагедией, а анекдотом за три копейки, унылым... и не смешным уже».

Итак, перед нами — пародия. Где романтика? Какая романтика? А была ли тайна? Герой книги убежден, что все же была. «...Что-то неизмеримо важное, может быть, главное о нашем мире и будущем его». И потому, собственно, не так уж важно, что именно происходит в гостинице.

Можно воспринимать повесть как «развлекаловку», а можно — как аллегорию. Все зависит от уровня читающего. Подтекст — штука довольно тонкая, и о его наличии (или об отсутствии) говорить можно долго.

Чувство, с которым закрываешь книгу, — разочарование. Облом. «И это — все?» Обманули!

В этом варианте обман читательских ожиданий, несомненно, удался. Возможно, до последней страницы он, бедняга, и не догадывался, что его все время водят за нос. Принимая все за чистую монету. «Вся наша жизнь — облом?» Или обман?

Или все же есть эта неразгаданная тайна где-то в стороне? И возможно ли разгадать ее?

Не буду распространяться о художественных достоинствах. Вероятно, можно было и лучше. Достоинство повести хотя бы в том, что заставляет ломать голову: «Зачем?» Зачем это было написано? Я совершенно согласна с Александром Касымовым (см. сборник «Голоса вещей», Уфа, 1997) по поводу психотерапевтического воздействия самого процесса писания (испытано на себе). Думается, написанное Всеволодом Глуховцевым все же представляет ценность не для одного только автора. Хочется верить.

г. Нефтеюганск

ДРУГИЕ ОТКЛИКИ НА НАШ ЖУРНАЛ И КНИГИ СЕРИИ «ЛИТАЛЬМАНАХ «ВЕЧЕРНЕЙ УФЫ»

А. Сафронова. Сутолока: Литературный журнальчик. 1997, № 4, 5 // «Волга», 1997, № 9-10.

В. Курицын. Малахитовая шкатулка-2 // «Октябрь», 1997, № 12.

А. Лапина. А «Сутолоке» спасибо за неспешность // «Новая Сибирь» (Новосибирск), 1997, № 47.

А. Лапина. Бытовой роман с поэзией // «Новая Сибирь», 1998, № 7.
В. Кальпиди. Записки из захолустья // «Уральская новь» (Челябинск), 1998, № 2.
А. Колобродов. Александр Касымов. Улетающий Обломов. - Уфа, 1997;
Игорь Фролов. Смотритель. - Уфа, 1997//«Волга», 1998, № 5-6.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр КАСЫМОВ. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К ТИПОЛОГИИ ТИПОМАНИИ.....1
Александр БАННИКОВ. ЛЕС.....3
Игорь МАКСИМОВ. ЗАПОВЕДНЫЙ.....4
ПУСТЬ БУДЕТ ТАК.....5
Светлана СМИРНОВА. ЦВЕТЫ И ВЕЩИ.....7
Вера ШИБАЕВА. ДОМ ЧЕЛОВЕКА.....1-4 стр. обложки, 9-12, 18-19
Всеволод ГЛУХОВЦЕВ. ТРАКТАТ ИЗ РОМАНА.....13
Александр ЗАЛЕСОВ ОСЕННИЙ СВЕТ.....16
Игорь ФРОЛОВ ПРОРОК.....20
Моисей ПИЗОВ. "ДЕМОН" И ДЕМОНЫ.....24
РАЗНЫЕ СТИХИ. Ильдар КУДАШЕВ. Альбина АХМЕТЗЯНОВА.....28
Елена СОЛОВЬЕВА. БЫЛА ЛИ ТАЙНА?.....29

Наш журнал является формой самиздата, но выходит при техническом содействии редакции газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА ",
а также при сочувствии "НОВОЙ ГАЛЕРЕИ" и галереи "УРАЛ".
Часть тиража
в рамках акции "ВЕЧЕРНЕЙ УФЫ" "БИБЛИОТЕКА" бесплатно передаётся в центральную городскую библиотеку Уфы и 35 её филиалов.
Наш журнал читают в городах Екатеринбурге, Липецке, Москве, Нижнем Новгороде, Салавате, Саратове, Челябинске. ТИРАЖ — 200 экз.

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ — Александр КАСЫМОВ
(3472)22 - 04 - 01
Адрес для почтовых отправлений:
450079, Уфа, ул. 50-летия Октября, 13,
редакция газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА"

© Сутолока. 1998.

1999 год
№ 1 (12)

СУТОЛОКА
УФА/1999/1(12)
литературный журнальчик

Проза
Роберт
ИБАТУЛЛИН
Артур
КУДАШЕВ

Поэзия
Анатолий СТОЛЬ
Алексей
КРИВОШЕЕВ
Мария
ГАЛЬПЕРИНА

ГРАФИКА
Сергей
КРАСНОВ

А также критика

Сергей КРАСНОВ

ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

Анатолий СТОЛЬ

СПАСЕНИЕ

* * *

Лишь один из тысячи спасется.
Улыбнется тихо на заре.
Лишь один из тысячи проснется,
А другой откажет вдруг петле.

А иной из мрака встрепенется.
Выскочит из беглой суеты.
И душа убийцы шевельнется.
Ослабеют поводы войны.

Лишь один, но все же это — сила.
Вдруг преобразится мир земной.
Души наши были б как могила,
Если бы не знать души живой.

* * *

О, Господи, я возле врат твоих
Смотрю остекленевшими глазами.
Ты наложил свой перст на нас двоих —
Венчать и отпевать нас с образами

Мне непонятен замысел и пыл,
С которым ты нас бросил под колеса,
Под жернова, не дав нам белых крыл,
А только холмик в тишине у плеса.

* * *

Под ногами не чувствуя почвы,
Уходя прямо вверх — в облака,
Я не смею заснуть этой ночью,
Да и днем не заставлю себя.

Мне заснуть не позволено ныне:
Кто-то должен держать небосвод,
Ежедневно взлетая к вершине,
Задыхаясь, дыша через рот.

Но однажды не хватит дыханья,
И я выдохну криком: «Вперед!»
Чуть заметное звезд колыханье
Обозначит последний полет.

* * *

В этом теле я очень невзрачен.
Может быть, оттого и умен.
Или просто мой ум чуть прозрачней,
Чем стена, оградившая дом.

О нее разбиваются думы
Всех великих и светлых умов.
Непослушные шепчут их губы
Имена неизвестных миров.

Но в отверженном городе веры
Страшный символ один обозначен:
Есть одна лишь единая мера,
И название ей — Стена Плача.

* * *

Я жажду Божьего ответа
На сто заутренних молитв.
Глаза больные ищут света.
А не зарницы горних битв.

Горит свеча, чадит кадило.
Как время медленно течет.
Но я дождусь тебя, Светило,
И озаренье снизойдет...

* * *

Я и Гомер — два брата:
Он на заре вздыхал.
Мне же восторг от заката,
Что целый век пылал.

День длинный-длинный кончался,
Солнце уже за хребтом,
Вечер луною зачался,
Мертвая глушь кругом.

Пел об Ионии старец,
Слывший весь день мудрецом.
Тыкал на небо он палец
И закрывал лицо.

Я же смотрю спокойно,
Боже, как мир красив.
Только немножечко больно,
Что обрывается миф.

* * *

У меня в глазу бревно.
Я не вижу его вовсе.
Может, это и смешно,
Но смеяться надо после.
Вижу я всегда не то.
Даже как-то неприлично.
Вижу темень, где светло,
И не верю себе лично.

Может статься, я соврал,
Загибая про сомнения,
Или просто передал
Свое чувство раздвоения.

Роберт ИБАТУЛЛИН

ДРЕВНИЙ ЛЕС

Я возвращался в Петроград из Ставки, куда часто ездил той осенью по служебным надобностям, и, переночевав во Пскове, теперь на довольно высокой скорости гнал свой мотор по шоссе. Очень уж хотелось добраться домой до темноты, хотя отвратительная погода и делала рискованными такие гонки — гнилой полутуман-полудождь не то моросил, не то просто повис в воздухе, буро-осиновый болотный пейзаж мерк в этой полумгле, как в густом гороховом супе — словом, погода стояла вполне военно-тыловая, безрадостная. Впрочем, закрытость кабины, бодрый рев двигателя, само это быстрое движение не давали окончательно впасть в хандру, клубы мороси дымились и улетали в электрическом свете, крашенная в защитный цвет цилиндрическая морда «паккарда», подрагивая, рвалась вперед Я миновал уже Гатчину, до города оставалось совсем немного.

Итак, маленькое путешествие подходило к концу. Завтра следовало отправляться на Мойку в военное министерство и отчитываться о поездке перед начальством; ну, а сегодняшним вечером еще оставалось свободное время, и. не забывая, конечно, следить за дорогой, можно было бы не без приятности помечтать о том, как же на этот раз его провести. Но — не мечталось. Странные мысли навевались — то ли этой мерзкой туберкулезной мглой, то ли темными астральными токами приближающейся столицы — как бы то ни было, мысли навевались самые странные, двусмысленно-нездоровые и фантастические, петербургские, одним словом. Город уже вырастал; проезжали пустыри и грязные, наспех сколоченные дома предместий; все чаще по шоссе, вперяясь в муть слепыми столбами света, навстречу вылетал и уносился мотор, все чаще приходилось обгонять ползущие подводы. Вот и Московская

застава. Выплыла смутная триумфальная колоннада. Выплыл передо мной контрольно-пропускной пункт Я притормозил; солдат, привычно переждав веер брызг, широко шагнул через лужу к мотору и козырнул.

— Ваше благородие, документы позвольте.

Я сунул руку в карман. Не глядя, показал в окно паспорт. Выхлопные газы, вспучиваясь бледным облаком и окутывая мотор и солдата никак не растворялись в сырой мгле.

— Все в порядке, ваше благородие. — Он козырнул вторично.

Путь был свободен.

Да, Петроград, теперь уже окончательно. Я въехал на Забалканский. Бурые дома с бесстыдно оголенным кирпичом их брандмауэров, бараки, бараки, свалки, бесконечные эти чадящие фабрики — «Сименс-Шуккерт», вагоностроительная, «Скороход»; пустые трамваи, сплошь оклеенные рекламой военного займа и почему-то вставшие, как в очередь, перед мостом через Обводной канал,— все это радовало глаз только тем, что ни на секунду перед ним не задерживалось. Прохожих было уже довольно много, и, по дурацкой привычке военного времени, народ шел безо всякого порядка прямо по мостовой. Чем ближе к Клинскому рынку, тем труднее становилось ехать. Определенно дичал Петроград, дичал с каждым днем. Толкались какие-то базарные бабы, шныряла между их трехпудовыми мешками явная шпана; офицер в шинели и фуражке стоял прямо на пути спиною ко мне и, не видя и не слыша меня, остановившегося, кажется, и не собирался отходить в сторону. Да что ж он тут встал, с тоской подумал я и ожесточенно дважды сдавил грушу клаксона.

Быстро офицер обернулся на гудок.

Да. В первый же миг я узнал его, как только, услышав резкий гудок, он так знакомо чуть дернул головой — узнал и разве что имя не успел вспомнить. И, увидев лицо — это повзрослевшее, заострившееся и усатое, но, несомненно, все то же, скуластое и низколобое под козырьком фуражки лицо моего старого соученика по кадетскому корпусу Кости Баранова, — уже окончательно понял: это он. Десять лет как мы не встречались. С тех пор, как я, окончив корпус с отличием, поступил в Петербургское инженерное училище, а он, со своим безнадежным баллом 8,2 — в какое-то провинциальное кавалерийское, — не стало о нем ни слуху ни духу. Друзьями и даже приятелями мы с ним никогда не были — но все же так вдруг хорошо стало на душе, так бесследно рассеялись тоска и муть, такое тепло разлилось от вида хоть чуть-чуть, но близкого человека — что просто невозможно было не высунуться за борт, не улыбнуться широко, во весь рот, и не поднять затянутую в перчатку ладонь в приветствии.

— Эй! Баранов! Узнал?

Он удивленно присмотрелся, нахмурился, просветлел.

— Г-греверс? Алешка?

Я счастливо рассмеялся.

— Садись давай! Вот встретились, а? — Я повернулся, открыл заднюю дверь. Крепко пожал барановскую руку, заметив, кстати, погоны (драгунского штабс-ротмистра) и георгиевский крестик. Неуклюже шваркнула о борт его шашка. Заскрипело сиденье, стукнула дверь; я тронул автомобиль с места.

— С фронта, да?

— Из г-госпиталя только что. В отпуску сейчас п-по ранению. А вообще да, с-северо-западный фронт. Б-белоруссия.

Странно, что-то он стал заикаться.

— А я из Ставки вот — домой.

— А, ш-штабист?

— Нет. На Мойке служу.

— В м-министерстве, что ли?

— Да, в министерстве.

Перед Технологической площадью пришлось-таки остановиться снова. Нескончаемая колонна солдат угрюмо топала со стороны казарм резервных полков, проходя с Троицкого проспекта на Загородный. Мы ждали. Мотор пыхтел и подрагивал.

— К-крутая тачка. — вдруг непонятно сказал Баранов — Т-тойота так?

Я обернулся в недоумении.

— Что?

— Что — что?

— Не понял ни слова. Что ты спросил? Это теперь такой окопный жаргон, да?

Баранов замолчал. Солдаты все шли — в барашковых шапках и серых шинелях, крепко обвязанные сумками и подсумками, с прилаженными за спиной котелками — колонна все шагала, она никак не могла кончиться, мерно вздрагивали над шапками штыки трехлинеек.

— Ты н-не слушай, — виновато заговорил наконец Баранов, — меня тут п-повредило слегка, говорю же, только сегодня с койки. З-заикаться вот начал, з-заговариваюсь иногда. С-сорвется вдруг с языка, а что такое, сам не пойму, ч-черт знает. Я хотел спросить, а-авто какой модели?

— А, авто. — Колонна наконец прошла, я дал ходу. — Это «паккард» двенадцатого года Хорошая вещица... Да куда мы едем-то, Кость? Ко мне?

— А где ты?

— На Фонтанке, рядом тут. Квартира своя... А что, поехали, проведем вечерок. Или другие планы? Я почувствовал, как он махнул рукой.

— К-какие планы.

— Сам-то где поселился?

— Да здесь, против р-рынка. Вышел-то папирос к-купить.

Мы выехали на Обуховский мост. Фонтанка мутно темнела направо и налево: дощатые причалы мокли под гранитными спусками, далеко проползала баржа, моторная лодка, покрытая брезентом, входила под арку моста. Проехав мост, я свернул на набережную, направо.

— Ну, рассказал бы, как там сейчас, на войне.

— Да к лешему ее, эту в-войну. Вот уже где с-сидит. Ты рассказывай лучше сам, как тут, в П-питере — Он усмехнулся. — Х-хорошо устроился ты! Гвардии п-поручик, я смотрю. Инженерное ведь о-окончил?

— Его, его, — ответил я. — Чин-то у нас одинаковый. Ты ведь кавалерия, штабс.

— Да ч-что там.

Мы уже приехали. Трехэтажный доходный дом, где я занимал квартиру, уже белел ионическим портиком бельэтажа над тротуаром набережной: за стеклянной дверью парадного уютно горел свет.

— Все... прибыли. — Я затормозил у подъезда. — Подожди минуту внутри, а, Баранов? Сейчас только поставлю мотор в гараж.

— Ага. — Он открыл свою дверь. — Ш-шофёром. значит, не обзавелся?

— Кем? — Я не смог сдержать улыбки. — Шоффэром, что ли? Да вот, как видишь.

Махнув рукой швейцару за стеклянную дверь — чтобы пустил гостя,— я въехал под темную арку и прямо на ходу просигналил: гудок клаксона и рев мотора гулко разнеслись в этом длинном черном туннеле. Мотор подскакивал, свет фонарей прыгал на стены, на булыжники, на облупленный арочный свод Я въехал во двор: дворник уже отпирал гаражные ворота. Закатив туда авто, я вышел, молча сунул дворнику его пятак и, под самым уже настоящим мелким дождем, перешагивая лужи, пошел через двор и арку назад, к парадному, где оставил Костю. Я вдруг пожалел, что пригласил его. В конце концов, за это десятилетие, чем только не наполненное, мы стали людьми совершенно разного круга; и потом, эта его поврежденная голова, идиотские словечки... мало ли чего я мог ожидать впоследствии? Да, осторожность и осторожность с ним! Я вошел в подъезд, молча хлопнул Баранова по спине. Мы зашагали по лестнице.

— О-один живешь?

— Денщик есть, а так-то — да, один... холостой.

— Я тоже с-свободен. — Баранов опять усмехнулся, и я заметил, что его усмешка — кривая и какая-то нервная. — Денег только нет свободу эту использовать... по н-назначению ... — Я вдруг понял: сейчас Баранов спросит, сколько я получаю; но, к счастью, мы уже поднялись в бельэтаж, отвлекать не понадобилось.

— А вот и квартирка моя.

— «Лейб-гвардии поручик б-барон Греверс»...

— Он самый — Я вытащил из кармана звякнувшие ключи — Федор мой дрыхнет, конечно, без задних ног... будить мы его... не будем... — Один за другим я отпирал замки. Толкнул дверь, сделал пригласительный жест — Ну — прошу.

— Благодарю, б-барон. — Он шагнул в комнату.

Федор, против ожиданий, не спавший, снял с Баранова шашку, шинель, сапоги с калошами; я отправил приятеля дожидаться меня в кабинет, а сам послал денщика в ближайший ресторан за легким ужином; был уже вечер,

пришлось зажечь электричество. Направляясь в кабинет к Косте, я некоторое время раздумывал, чем его перед ужином угостить: контрабандным ли коньяком или чем-нибудь отечественным — из довоенных запасов; но быстро устыдился собственной жадности — нет уж приму фронтовика, черт его дери, по первому классу— и, прихватив в кухне коробку консервов, вошел в кабинет.

Что-то мрачновато здесь было. Мутный сумрак стоял в высоком полуциркулярном окне, выходившем на набережную: бесшумно тек дождь по клеткам стекла; тяжелая портьера загораживала другое окно, что-то подводное чудилось в этом скупом освещении. Письменный стол с точеным шахматным силуэтом лампы на свинцовом фоне окна, глыбы мебели — все меркло в полутьме; картины казались сплошными черными квадратами в своих рамах Я не видел Баранова.

— Костя?

— Я здесь.

Его темная фигура выделилась из густейшей во всем кабинете темноты, в углу за тем окном, которое было занавешено. Мне вдруг очень захотелось, чтобы стало светло. Я дернул сонетку.

Как только люстра зажглась, кабинет в его желтом электрическом свете снова стал уютным, привычным и скучноватым. Вспыхнули бронзовые ручки на гнутых ореховых ящиках стола и бюро, залоснилась черная кожа дивана и кресел, портьеры стали шоколадными, оранжево-синий узор персидского ковра извивался под ногами, привычные пейзажи и лица смотрели с картин. Я подошел к окну и спустил вторую портьеру, закрываясь от внешнего мира полностью.

— Ага, — сказал Баранов, все это время неотрывно смотревший на картину, что висела над дверью, — т-так лучше. Именно так.

Невольно я поглядел в ту же сторону.

Я, конечно, и так прекрасно знал, что за вещь там висит. Висел там пейзаж под названием «Древний лес»; мой дядя-министр, выйдя в отставку, полностью отдался давнему увлечению и написал это полотно в числе многих других в том же духе. Невидимый закат бил густо-розовыми лучами в колоссальный сосновый бор; на переднем плане десяток гигантских вьющихся корневищ выползал из песчаного обрыва; краешек темнеющего неба едва виднелся над кронами. Чаща рдяных стволов стояла непроницаемой, но все же создавалось каким-то образом впечатление самой-самой что ни на есть бескрайней бескрайности, бесконечной глубины этого бора, казалось, разросшегося на весь мир.

Не знаю, насколько картина была хороша, но помню, мальчиком лет семи, гостя в дядином особняке на Гагаринской набережной, я был по-настоящему потрясен ею. Во всяком случае, среди других дядюшкиных работ, покрывавших, как обои, стены гостиной. «Древний лес» первым — и надолго — приковал мой взгляд. Само это название, любовно гравированное на медной табличке — «Древний лес»… Старшая сестра-гимназистка, начитав-

шись модных научных брошюр, уже успела к тому времени просветить меня насчет эволюции — и в этом обычном в общем-то сосняке из окрестностей петергофской дачи вдруг почудился мне тот самый великий лес, что миллионы лет назад, еще до появления людей и даже животных, покрывал, по словам сестры, поверхность Земли. Безграничность и — безлюдность, священная безлюдность. Вот что, увиденное, так сказать, сквозь картину, привело меня тогда в восторженное оцепенение. И теперь мне показалась довольно забавной та же реакция у взрослого человека офицера-фронтовика.

— Нравится, да? — спросил я, открывая сейф и нашаривая за кипами бумаг граненый хрусталь графина.

— Не то чтобы н-нравилась. — послышался странно отрешенный голос Баранова — Просто т-тот самый лес, Алешка. П-понимаешь? Именно тот.

Я поднялся от сейфа, держа объемистый графин довоенной рябиновки, и обернулся. Баранов все так же неотрывно рассматривал дядин шедевр. В руке у Баранова появилась сосновая шишечка на которую он время от времени переводил взгляд, и до меня не сразу дошла вся странность этого положения. Тем более что при виде графина, попавшего, очевидно, куда-то на самый край Костиного поля зрения, он ожил, быстро убрал в карман свою шишечку и повернулся ко мне.

— Вот это д-дело. — Он широко улыбнулся. — Где же ты такие сокровища добываешь, б-барон?

— Старый запас. Костенька — сказал я. вытаскивая притертую пробку, — старый запас. Будь добр, возьми со стола две рюмочки. Ужин сейчас принесут, ну, а пока… — Я поставил графин на журнальный столик, сел в кресло, стал открывать консервы. Баранов аккуратно наполнял рюмки.

— Б-бери, Алешка.

Я взял и поднял рюмку.

— За сухой закон, Костя.

— Ага, т-точно. — Он снова усмехнулся своей жалковатой кривой усмешечкой. — А если с-серьезно, Алеш, за победу.

Я кивнул.

— За победу. Мы чокнулись.

— ...Значит, как было дело, — неторопливо начал Баранов, на удивление быстро захмелевший, красный, почти переставший теперь заикаться. — В нашей пехотной д-дивизии два эскадрона драгун. Я — зам. ком. первого эскадрона. А у командира второго эскадрона день рождения. Так. Стоим на позициях. Боев нет, весна, затишье. Понятно, собрались отметить. Штабной блиндаж, спиртик там, к-кокаинчик, железочка. Граммофон даже раздобыли, все честно-благородно. А время — п-под утро. — Баранов бесцеремонно опрокинул еще полрюмки, похоже, чем дальше, тем меньше считаясь со мной. — И является тут прапорщик Серебряков из нашего эскадрона — а его в ночную разведку с разъездом п-посылали — ну и докладывает: так и так, произведена тактическая разведка в тылу врага, обнаружено, значит, то-то и то-то, и — самое главное-то что, — Баранов принялся наливать еще, — германский

автомобиль захвачен с водителем и офицером' О! Командир: «Орлы!» — говорит. А сам-то уже лыка не вяжет. И всем: «Вот он, господа офицеры — героизм русского прапорщика!» А потом как повернется ко мне и: «Штабс-ротмистр Баранов!..»

Костя хватил еще, и опять не закусывая. Я подумал, что следует отдать должное тому, как все же удалось ему выговорить свое воинское звание с его избытком согласных.

— Я под козырек. А и сам уже того... крепко. «Штабс-ротмистр Баранов, допросить пленных!» — «Слушаюсь, господин ротмистр!» И пошел, а что делать. Ведь он уже третье жалованье мне проигрывал, вот, значит, и подвернулся случай... спровадить меня.

Он вдруг замолчал.

— Костенька, — сказал я, — ты мне вроде обещал пояснить одну вещь.

— Погоди. — Баранов сделал останавливающий жест. — Погоди. Не все сразу, так И вот иду я допрашивать этих пленных. Подхожу к их грузовику, что-то они болтают мне, у меня по немецкому, ты помнишь, отродясь больше семерки не было, ну, киваю им, заглядываю, чего они там везут, везут они какие-то ящики, я говорю, ну, достать, открыть. Видишь, я сам, дурак, нарвался. Они не хотят. Я, понятно, за револьвер. Поняли. Достали, открыли. А сами-то, между прочим, подальше держатся, я тогда не обратил внимания, дурень. Смотрю. — Баранов опять потянулся к графину, — что: полный ящик стеклянных ампул! Вроде как с морфием, только здоровые, кубиков по полтораста, наверное. Что, думаю, такое. Ну взял одну, посмотрел. Так — чистенькая водичка. А немцы тут чего-то как закричат, я им — цыц! Да возьми и отломи горлышко.

— Послушай, не хватит тебе, а, Костя?

— Ничего, не жадничай... ах, хороша... Отломил. Ничего. Взял да и понюхал.

— И что?

Баранов поставил рюмку. Значительно посмотрел мне в глаза.

— Алешка, запах был — невероятнейший. Запах сосен. — Он кивнул на картину. — Свежей смолы сосновой. Чудо. Необыкновенное что-то. В жизни такого не чувствовал, ты понимаешь?

— Понимаю, — сказал я. — На какие-то химикалии ты нарвался, реактивы, наверное, для боевых газов. Ароматические соединения или как их там, я в химию тоже после училища не заглядывал. Ну, и дальше?

Баранов сморщился и махнул рукой.

— Химия, химия... слышали.... Мне тоже потом доктор объяснял. Что, мол, новейший какой-то газ, что мозг поражает, что этот наш прапорщик Серебряков, значит, полевую лабораторию захватил вроде как со всем германским запасом... что газовую атаку чуть ли не по всему фронту предотвратил... Не то все это, Алешка. Не то! — Он снова махнул рукой и потянулся за очередной порцией.

— Георгий твой, значит, за это?

— Куда!.. Это другое, это — Сарыкамышская операция, самое начало войны — я же на Кавказском фронте начинал-то. Не то, нет, не то все это...

Ресторанный ужин, давно принесенный Федором, так и остыл, нетронутый, в блестящих судках. Папиросный дым стоял пластами до самого потолка. За наглухо зашторенными окнами неизвестно было, вечер, ночь или уже, может; утро.

— ...Я вот что скажу, Алешка, — это был рай. Прекраснее всего, что только можно представить Ты прикинь (я решил, что это, должно быть, означало «вообрази»): который месяц нюхаешь одни портянки да конское дерьмо, да все в окопах, артиллерия все срезала подчистую — ни цветочка, ни травиночки... короче, я раз это вдохнул — и все. Все забыл. И ну давай нюхать и нюхать. Пока в глазах не стало темнеть, не выпустил.

— А потом?

— Потом ничего. Все как растворилось. Ни грузовика, ни немцев, ни блиндажей. Ни всей войны этой. Один лес. Великий древний бор. И вхожу в него, и даже не вхожу — у него же краев нет, неоткуда входить — а просто иду, и солнце сквозь ветки светит, и смолой пахнет, а вверху ветрище, и стволы так скрипят друг о друга, что под сердцем ноет. А потом очнулся в лазарете через десять дней... — Баранов болезненно сморщился. — На первых порах даже говорить не мог. До сих пор, видишь, бывает... И все лето и осень в госпитале... Десятка два профессоров меня смотрело... я же один единственный, кто от этой дряни-то пострадал. Ну… вылечили Сегодня только и вышел. Ты знаешь, что самое интересное-то?

— Ну?

Баранов, морщаясь, вытащил уже виденную мной сосновую шишку.

— Когда вернули шинель, вот это там лежало. Понимаешь? Я спрашиваю, откуда?.. — Чем дальше, тем с большим отвращением, еле ворочая языком, он произносил слова. — Не знают... Так и было, мол… А откуда она возьмется? Вокруг нас, я же говорю, на пять верст ни кустика... сбрито все...

— Хочешь сказать, из того самого леса?

— Врубаешься…

Я давно уже решил не обращать внимания на его причудливые словечки. Я показал на дядюшкину картину.

— Из этого?

— Да нет... этот-то вообще ни при чем... просто так. похож малость... Ой, барон... что-то нехорошо... много я с непривычки...

Я встал, взял ледяную руку Баранова.

— Пойдем, отведу.

— Пойдем...

— Во-от... вот так... спасибо. Ф-федор. А шашку... шашку мне. Ф-федор. Алеша. — бледный Баранов схватился за мой локоть. — Бога ради, п-прости меня. Ну, не рассчитал, не о-оправился еще с г-госпиталя. Прости, а?

— Не за что, Костя, не за что

— Ты н-не провожай Я недалеко, у в-вокзала. Я сам п-пойду.

— Да, да. Сам ты пойдешь. — Я застегнул шинель — На дно Фонтанки ты сам пойдешь. Федя, ну-ка быстро за извозчиком. Пошли. Костя. Держись за меня. Ступеньки.

В голове у меня еще слегка шумело — пожалуй, не стоило садиться за руль. Я понятия не имел, который час, и почему-то мне не каталось, что вечер пропал зря; да, я не жалел о встрече с Барановым. Лестница была ярко освещена. Баранов, одновременно держась за мое плечо и хватаясь другой рукой за перила, кое-как ковылял вниз. Вбежал на нижнюю площадку Федор.

— Извозчик у подъезда, ваше благородие!

— Спасибо, иди, — сквозь зубы (ноша была довольно тяжела) проговорил я. — Ну как, Костя?

— Порядок, б-барон.

— Сейчас дойдем... Ну, чего спишь-то? — крикнул я швейцару. — Держи дверь!

Вложив, кажется, в этот крик слишком много сил, я на миг перестал подпирать Костю; он, как назло не державшийся за перила в это мгновение, споткнулся на лестнице и рухнул на коленки.

— Уй!.. ..!

— Ничего… так… вставай. — Мы были у дверей. Я вдруг заметил, что сосновая шишечка выпала на пол, очевидно, на лестнице, и, катясь, догнала нас. Баранов, конечно, ничего не заметил: но мне пришло в голову: а что, если она — какая-то реликвия для него, уж очень трепетно он обращался с нею там, в кабинете. Я поднял ее, приятно шершавую, крепенькую, чуть клейкую от смолы и подал ее Баранову.

— Возьми, уронил.

— Ага спасибо. А-алеш.

Он сунул ее в карман. Мы вышли на набережную.

Дождь, похоже, давно перестал. В черноте спящих домов напротив светилось и отражалось в Фонтанке одно-единственное окно. Поздняя ночь была, конечно, не белой, но довольно светлой от всегородских огней: днища туч и зеркало реки тлели одинаковым темно-оранжевым заревом, и лишь черная, изломанная скатами крыш, трубами и антеннами полоса домов разделяла их, не давая полностью слиться. Лужи поблескивали. Воздух был сыр, холоден и свеж. Такси, ожидая нас, негромко пыхтело перед подъездом.

— Да мне н-недалеко… — начал было Баранов.

— Пошли. — Я открыл заднюю дверь машины: наклонился в тепло-пыльную тьму. — Здорово, командир. Повезешь?

— Смотря куда. А то мосты уж развели.

— Да нет, на Московском, за метро «Технологический институт». И обратно. Как?

— Нормально. Тридцать.

— Ну, поехали.

Мы сели. Машина тронулась; подъезд, ионический портик бельэтажа — все рванулось назад. Таксист молчал: кто-то приглушенно пел про радио ночных дорог, силуэт резинового пупса болтался под зеркалом.

— Не у самого и-института, — глухо проговорил Баранов, — дальше, напротив рынка К-клинского.

— Какого рынка?

— Фу, сквера «О-олимпия». Вот, — он повернулся ко мне, возобновляя прежний разговор. — п-пожалуйста. Опять с языка с-слетело, и что ты тут п-поделаешь. Посмотри как-нибудь из любопытства. Наверняка там д-до революции этот рынок был. Сколько раз уже так. А-а раньше-то сегодня, помнишь, когда ехали в твоей «т-тойоте» — «мотор», «п-паккард». И «шоффэр». И «г-граммофон» еще. Нет, ты скажи, откуда, А-алеш? Откуда?

Я не хотел ни о чем спорить. Мы уже проехали мост; абсолютно пустой, как зала дворца, проспект был ослепительно освещен, светофоры тихо и ни для кого перемигивались; перед площадью пришлось остановиться на красный. Блестел асфальт, блестели мокрые трамвайные рельсы, круглосуточные витрины киосков светились перед метро; игрушечно-драгоценная в подсветке прожекторов, крошечная триумфальная колоннада пылала далеко в перспективе.

— Я вот что думаю. А-алеша. — заговорил Баранов. — наверное, н-на самом деле я в этот лес как-то у-угодил. Черт его знает, что з-за лес, может, п-параллельный мир какой-нибудь, может, тот свет — н-не знаю. Да и знать не хочу. В общем, вытащили меня в-врачи оттуда. Вытащили. Вот я и з-забыл все. — Он чиркнул зажигалкой, закурил, — Короче, з-заглянул я куда не надо. В вечность, туда, где в-времени нет. Или есть, но как-то все с-сразу. Вот и зацепил другого времени что-то, к-кусочки какие-то, обрывки его. Или не другого даже в-времени, а мира другого, где я сам — д-другой. Э! — Он легонько толкнул меня локтем. — Алеша, ты чего? Спишь?

— Ладно тебе, Костя, — устало сказал я, — кончай. Отдохни немного.

Я, серьезно, хотел спать; было далеко за полночь, а наутро мне следовало отправляться на Мойку в мою компанию и отчитываться перед боссом о поездке. Машина, взметая брызги, мчалась по Московскому. Приоткрыв окно, Костя задумчиво курил, больше уже не заговаривая со мной; незнакомая певица пела полудетским голосом что-то тягучее про марихуану, было тепло, уютно, ни о чем не хотелось думать. Таксист
молчал.

— Ладно. — Он крепко тряхнул мою руку. — Значит пока, А-алеша.

— Пока! — Я захлопнул дверь — и, не удержавшись, вздохнул облегченно.

— Обратно, да?

— Ага. Давай на Фонтанку.

Таксист резко выкрутил руль; мы отъехали от тротуара. Фигура Кости еще мелькнула, попавшись случайно в зеркале, и исчезла; я не оглядывался.

Машина поехала обратно медленнее, чем сюда; я догадался, почему, и не удивился, когда безмолвный доселе таксист вдруг заговорил со мною.

— Что, крыша съехала у капитана?

— Да... вроде того.

— Афган? Кавказ?

— Да нет... То есть на Кавказе-то он был, но не это... — Я посмотрел в окно; в третий уже за сегодня раз я проезжал Технологическую площадь. — В Белоруссии служил в какой-то жутко секретной части. Там вроде химическое оружие то ли хранили, то ли уничтожали — не знаю. Сейчас уже все, закрыли ее. Ну и вез он куда-то грузовик этой гадости. Едет, дорога прямая, гладкая, весна, он окно открыл, вокруг — лесопосадки сосновые, солнце, тепло. И — сосновой смолой пахнет. Задышал полной грудью, размечтался, дом вспомнил… И тут бац ему что-то в лоб. В последнюю секунду успел по тормозам — и все, отрубился. Хорошо, с ним сопровождение было, вовремя вытащили.

— А что такое?

— Не понял? Это у него одна ампула с раствором лопнула от тряски, что ли. Пошли испарения. А там запах — натуральная сосновая хвоя. Не отличишь. Какой-то нервно-паралитический, что ли, короче, мозг разрушает. Он полгода потом лечился, только сегодня выписался. Да и то, видишь вот — не все в порядке.

— Не понял, а что это ему в лоб?

— А это он о баранку — лбом. Сам не заметил, как отключился. Я говорю, только из-за того, что стукнулся, успел в последний момент дать по тормозам. Да еще повезло, что окно открыто.

— Да...

Мы приехали. Таксист остановился перед подъездом.

— Сколько с меня? — Я достал кошелек.

— Как сказано — тридцать тысяч.

— Сколько? — Я не поверил своим ушам.

— Ты чего? — Таксист искренне удивился. — Тридцать — как договаривались.

— Да... тридцать. — Меня как оглушило. Нетвердыми руками я отсчитал шесть пятитысячных — Ничего... нормально... нормально.

Я вышел. Захлопнул дверь. Что же это было там, в такси, только что? Неприятнейшее головокружительное чувство, вроде дурноты — мгновенное и трудно передаваемое в словах ощущение потери миром реальности — уже проходило. Что это? Ведь я же совсем мало пил. Или этот барановский психоз, еще чего доброго, заразен? Я вдохнул побольше сырого набережного воздуха, закрыл глаза, попытался вспомнить. Удивительно. Только что я был совершенно уверен, что сижу в извозчике, и собирался заплатить рубль с полтиной — черт знает что! Впрочем, все быстро проходило. Я еще раз сделал глубокий вдох-выдох — воздух был просто на редкость свеж — и, выкинув из головы весь этот бред, спокойно пошел к подъезду.

Сергей КРАСНОВ

ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

(Иллюстрации к роману братьев Стругацких)

Алексей КРИВОШЕЕВ

ВОЗВРАЩАЙСЯ В СВОЙ ГОРОД!..

ДИПТИХ

1.
Заснуют стрелки улиц безумных.
Рельсы спутает дьявольский свист.
Псы увязнут, замечутся глумы.
Затопочет вальпургиев твист.

Тяжело одинокой Цирцее,
свет лица она сыплет в окно,
и бегут, спотыкаясь, метели,
но Улисс обезумел давно.

Голоса его душу смутили.
Только слышит, летят поезда.
И опять среди ночи и гили
беспокойная бродит звезда.

Все вокзалы распахнуты настежь.
И бессонные утра тошны.
И метели пути его застят.
И не льстит ожиданье жены.

2.
Тяжело, как близнец Командора —
что за рыцарь, окованный мощно,
прошагал одиноко, нескоро
в убеленной поземкою ночи?

И железный, погашенный короб,
без ветрил и нужды пассажирской,
он на правом плече приобрел.
Показалось, луна копошится.

Но в степной и ковыльной метели
померещилось солнце заката,
окна темных домов обалдели,
и душа ужаснулась крылато,

в заметенных, недвижных трамваях
лиловела последняя страсть,
в их обломках фигуры дремали
и хотели навеки пропасть.

Рыцарь за угол дома свернул,
только ветки сквозь сон прогудели,
только город протяжно вздохнул,
на вокзалах огни леденели.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

То была такая ж осень,
посещенная зимой:
первый снег тогда кололся
по потемкам белизной.

Просто тихо падал, белый,
в нищий сумрак октября,
не имея в общем дела,
не жалея, что зазря.

Наша жизнь недорогая
нас морочила тогда.
Била, слякоть ослепляя,
окон поздняя слюда.

И еще смеркалось рано
в разномастном городке,
огоньки воздушной раной
поражались налегке.

Облегченьем очищенья
за автобусным стеклом
и растенья, и строенья —
все струилось в голубом,

в золотом и прочем блеске.
Отдохни, моя душа!

За прозрачной занавеской
жизнь теплится не спеша.

С яркой зеленью герани,
в кухне, с чаем и с лихвой,
с грозным небом предсказаний
посчитаться не впервой.

* * *

С полки чашки достала и чай заварила,
ветер в комнате тень качал
голой кроны в окне, в ноябре унылом,
и дымился разлитый чай.

Был ли кто еще, ты не замечала,
я же знал: ближний лес шумит.
Стало ангельской памятью, все б листала:
чашки, кухонька, чая вид.

Не жена, не невеста, и ты затерялась,
в летнем платье сквозь лес ушла,
и, метя по следам, метель убивалась,
но искать тебя не увела.

В твоей комнате пусто, по-зимнему мама
за окном растеряла взгляд,
чай дымится, пахнет паром и щами,
во дворе замело листопад.

Не останется льда на твоем подоконнике,
ты вернешься, но дом не найдешь,
ты махни мне из ночи прозрачной ладонью,
на которую месяц похож.

* * *

Возвращайся в свой город, хорошо — со слезой,
с перехватом гортани, а нет, так и что же —
в сухомятку, со скрипом, почти неживой,
ножевое забывший, еще безнадежней.

Посмотри-ка, иль театра давнишнего нет?
Что ты в этом кумекал, мальчишка и неуч?
Для чего же летит инфернальный балет
через всей твоей жизни пылающий обруч?

Вот три розы под мемориальной доской,
точно греческий бог, гравирован Нуреев,
как мужчина силен и как женщина строен,
дух движенья и неги в СССРе.

Перекресток хорош, альма матер искусств
супротив, рядом мединститут, дом актеров:
ресторан, кинозал, коли был ты так шустр,
вспоминай-ка проделки трех юных бретеров.

Ах, бывало, бывало, в глухом переулке,
то ли плач это вьюги, то ль всхлипы подруги,
как коты, мы гульливы, сметливы, как урки,
но смелы и честны, и вот в этом все муки.

Потому не забыть, как ужасно прекрасен
жёглый водки глоток средь бурана и фальши,
как метели расстрел в ноябре был атласен,
это самоубийство сладчайшее наше.

Возвращайся ж сюда, пей, броди в переулке,
летом так хороши под колеблемым тентом
юных девушек стайки, их бюсты и булки
(что за дичь я порю!), не тяни с комплиментом.

АЛКОГОЛИКИ

Сухие алкоголики,
как осени буколики,
идут себе, шатаются
просто от ветерка.

— Куда идете, братики,
в своих неновых платьицах?
— А мы идем, касатики,
опохмеляться.

Им дела нет до дождика,
им просто выпить хочется,
коль до сегодня дожили,
все хорошо закончится.

А магазинов новеньких!
в них бутылок — столько их.

всех этикеток цвет!
Толкнули вещь недорого,
рубля набрали нового —
и горюшка им нет.

— Возьмем, браток, по беленькой,
нальем себе по первенькой,
а там и по другой.
Закусим гадость листиком,
и снова жизнь приблизится,
голуба, к нам с тобой.

Нам дела нет до дождика,
нам просто выпить хочется,
коль до сегодня дожили,
все хорошо закончится.
Идем себе, шатаемся,
прохожих не касаемся,
крутом шумит июль,
мы братики, мы кролики,
сухие алкоголики,
не трогай нас, патруль.

* * *

Ох, и славно меня напоили,
пил я много, но славно я спал,
а дилирий на то и дилирий,
чтоб чудак бесконечно устал.

Мельтешили века и минуты,
я смешал каждый миг, каждый час,
в этой жизни я все перепутал,
а не то, что положил на вас.

Рано утром, когда процветает
в небесах вековечный огонь,
вдруг в упряжке моей умирает
самый лучший, божественный конь.

Я не вижу пути дорогого,
никакого не вижу пути,
аввакумово вертится слово,
то, что надо покуда брести.

Сердце белому свету не радо,
если с бесами билось всю ночь,
видно, правда, тащиться нам надо,
ведь никто не сумеет помочь.

Что ж, бери свой испытанный посох,
изогнутую рабью клюку
и пугай воробьев безголосых,
негодующих вслед дураку.

* * *

Мои развилки — дерева пути.
Глазастый сок во льдистом заточенье.
И синий ветер в самоотреченье
в молебен их возносит и гудит.

Железным желобом в кровинке мерзнут гномы
И разве может кто, безумный и знакомый,
предугадать сошествие в метель...
…и тот, кто принял смертную истому...
Мне все равно, дробится ль цель.

Как Божье тело сладостна метель.
Шипит слеза в окошке слюдянистом.
Но белоснежной славою постель
сулит покой взволнованный и мглистый.

В оглохших коробах стожар смеркается.
На перекрестке распят Одиссей.
Белесыми глазами улыбается
фонарь, как облысевший фарисей.

НАВАЖДЕНИЕ

Я умру в осеннее ненастье,
выйдя после дождика гулять,
и душа, запевшая от счастья,
отстегнется, пробуя летать.

А с деревьев будут листья сыпаться,
и, во влажном воздухе сквозя,
души их с моей сумеют слиться,
как им было, Господи, нельзя.

Я сначала побреду аллеей,
но сверну, смочив башмак росой,
чтоб купить в ближайшей бакалее
поллитровку с чистою слезой.

Ворочуся, отопью из горлышка,
и займется сладко полымя.
Я припомню жизнь свою до донышка,
от нее побуду без ума.

Будут листья сыпаться и сыпаться.
Благодарно на скамье замру.
Это будет лучшая страница.
Я ненастной осенью умру.

Александр ЗАЛЕСОВ,
Владислав АБДУЛА

О ТОМ, ЧТО ВОКРУГ, ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Артур Кудашев. Последний лимон. Уфа, 1998.
Равиль Искандаров. Пять странных историй. Уфа, 1998.
Роберт Ибатуллин. Черный ворон, красное вино // «Сутолока». 1998. № 2-3.

1.

Эгобеллетристика, как повествование от первого лица, существовала всегда, с тех пор. как на чаре письменности кто-то впервые начертал: «Аз есмь»...

Каноны классической современной эгобеллетристики мы встречаем у Генри Миллера. Во-первых, характерна огромная внутренняя свобода автора и героя, никаких табу. Во-вторых, обостренный взгляд на мир через ту трещину, что, как известно, пролегает по сердцу поэта всякий раз. как что-нибудь происходит в этом мире В-третьих, легко возникающее желание читателя самоотождествиться с героем, ибо герой — это, скорее всего, почти вы плюс то, чего вам не хватает. Герой — симпатяга и чертовски талантлив, видел и перепробовал почти все, он не питает никаких иллюзий относительно общества, ироничен и наделен чувством юмора: окружен занятными персонажами и, наконец, успешно сверхсексуален. В-четвертых, действие творится сейчас и здесь, на улицах конкретного города. Это — энергичная, живая и здоровая проза. В-пятых, конкретика действия у Миллера разбавляется потрясающим потоком сознания, в который герой впадает, как в свободный полет, и попробуйте назвать автора, по сравнению с которым Генри Миллер выглядел бы менее значительным писателем.

Из русскоязычных авторов за Генри Миллером уверенно последовал Эдуард Лимонов, отбросив, правда, потоки сознания и вообще снизив присутствие элементов высокой культуры в своей прозе. И хотя Лимонову не нравилось, когда его называли «русским Миллером», как говорится, неча на зеркало пенять...

Лимонов заявляет, что находит Миллера «плохо организованным». В связи с этим вспоминается, что Хемингуэй однажды (в «Празднике, который всегда с тобой») вопрошал собеседника о Достоевском: как может писатель, который так плохо пишет, так глубоко тебя перепахать? Не в стиле и композиции дело. Сам Лимонов отнюдь не демонстрирует виртуозных композиционных построений, но остается при этом широко читаемым и весьма интересным автором.

Среди прозаиков, группирующихся вокруг г-на Касымова как собирателя и организующего качала уфимской пишущей братии, не смешавшейся со стройными рядами Союза писателей, манеру современной эгобеллетристики явно предпочитает Артур Кудашев, чей недавний сборник «Последний лимон» — явное тому свидетельство.

Автору далеко до внутренней свободы мэтров жанра, но такая свобода — всегда вещь относительная. Не чувствуется у автора на сердце та рана, сквозь которую можно было бы пропустить взгляд на мир и выдать как следствие что-нибудь свое, выстраданное, о любви к ближнему или на другую высокую тему, что опять же практикуют мэтры жанра. Но в остальном — весьма занятно.

В сборнике семь вещей на 45 страниц обычного книжного формата. Как там у поэта? «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита» Таково общее впечатление от прозы сборника. Или, как сам автор завершает свой «Рассказ для детей», первый в сборнике: «А правда как таковая — вот она, перед вами».

Живые, занятные персонажи, узнаваемые реалии нашей жизни: история отношений юного корреспондента с «Пионерской правдой»; обмен поддельной краски на поддельную икру близ уфимского аэропорта; тракторист, ищущий под Уфой сначала пропавший табун, а затем почти что самого себя; коммерсанты, вырвавшиеся в Питер и загулявшие без тормозов; вояки, травящие первоклассные байки; легкие деньги за рекомендацию на тот свет.

Чего же хочется читателю, познакомившемуся с вами, г-н автор, по этой книге? А наверняка хочется пройти с вашим героем, как старым знакомым, от телецентра до Инорса, посидеть в конкретном уфимском кафе, обжить с вами досконально этот город, увидеть эту конкретную жизнь вокруг вашими глазами и сопоставить виденное Но не сбивайтесь с тона, как это произошло при полном упадке духа в рассказе «Поцелуй меня крепче, бэби!», ибо весь рассказ свелся к печальной констатации факта: вот мужское начало и объект притязаний, а «секса не было». Поскольку никак это не обыграно и нет здесь ни тени иронии или юмора, то это весьма настораживает. Долой упаднические настроения! Мужское начало без победы в этом жанре все равно

что, скажем, демонический роман без нечистой силы. Не выходит именно так? Нет проблем, не вводите без нужды женские персонажи, и тогда вслед за «а» не придется мучительно придумывать, как бы сказать «б».

«Последний лимон» — так называется один из рассказов, давший название всему сборнику. Речь идет о последнем миллионе неденоминированных рублей, который герои рассказа не прогуляли, а оставили на дело. Название сборника — чисто на слух — навевает и такую ассоциацию, автор, избрав манеру современной эгобеллетристики, явно ориентируется на Эдуарда Лимонова. Более высоким ориентиром (и. заметим, уже не вторичным) был бы Генри Миллер.

2.

Совершенно другое направление и другой стиль в нашем уфимском литературном процессе представляет проза Роберта Ибатуллина, известного также под псевдонимом Равиль Искандаров. Тексты, что выходят из-под пера этого автора, — не литература жизни, а скорее литература мифа, которую у ценителей принято называть «магическим реализмом». Целью этого жанра всегда был поиск новых, необычных состояний бытия, средством изображения — органическое соединение реального и фантастического, серьезного и смешного, натурализма и феерии, демонстрация неких вечных архетипов, сопутствующих человеку на всем протяжении его истории Так, например, у Гофмана на одних и тех же страницах уживаются банальные бюрократы-чиновники и откровенная нечистая сила, а элементы волшебной сказки неотделимы от сатиры и социального гротеска. За отечественными примерами также ходить далеко не надо — герои Булгакова у всех на слуху.

Что же нам представил в этом плане г-н Ибатуллин?

К чести автора надо сказать, что арсенал используемых им в работе средств весьма разнообразен и современен. Имена Гофмана и других корифеев жанра — не единственные, что вспоминаются, например, при чтении «Пяти странных историй». Вот, скажем, рассказ «Узор ковра», где автор, явно с оглядкой на Борхеса, выписывает загадочную историю встречи Пушкина со своим двойником, историю, которая могла произойти только в пронизанном взаимными связями и отражениями постмодернистском пространстве. Или повесть «Странствия Лоэгайре», напоминающая авантюрно-приключенческую литературу в жанре «Тысячи и одной ночи» с продолжительными странствиями главного героя, таинственными волшебниками-каббалистами, вставными новеллами и т.д. Чувствуется, что автор неплохо знает историю, как отечественную, так и зарубежную, умело пользуется своими знаниями и — что очень важно — обладает собственной неповторимой повествовательной интонацией, придающей его произведениям особенный «вкус». Все его персонажи, будь то девочка из Елабуги 1941 года или средневековый византийский патриарх, одинаково убедительны и жизненны. Тем печальнее, что при всей своей обширной эрудиции г-н Ибатуллин пока не порадовал читателя сочинением, основанным на родном уфимском материале. А ведь наша ис-

тория и, тем более, современность куда как богаты на интересные сюжеты, которые сделали бы честь любому Борхесу. Может быть, Уфа — это и провинция, но это — НАША провинция, господин писатель! И мистики, и жизни здесь хватает, смеем вас уверить.

Примером удачного соединения этих двух материй можно назвать рассказ «Парк», пожалуй, лучший из упомянутого сборника. Никакая литература «магического реализма» невозможна без обращения к самому волнующему из человеческих чувств, и вот, наконец, любовь властно врывается в мир героев, преображая его не только метафорически, но и в самом что ни на есть натуральном смысле, меняет саму его ткань. В момент встречи двух любящих существ повседневная реальность отменяется, и неожиданно становится возможным все. Воскресает из забвения старый парк, расколдованный утренним снегопадом, необъяснимо накладываются друг на друга времена, и герой оказывается в новом мире, который, как мы понимаем, и является для него родным.

Любви посвящена и первая большая вещь автора, опубликованная недавно в журнале «Сутолока» повесть «Черный ворон, красное вино». Это — серьезная заявка на признание читателей и показатель возросшего мастерства г-на Ибатуллина. Повесть не только обладает сложным, хорошо проработанным сюжетом, не только прекрасно выписана стилистически и композиционно, но и читается с большим увлечением. Неискушенный читатель увидит здесь романтическую историю любви русского офицера и немецкой девушки, помешенную в эпоху наполеоновских войн и аракчеевщины, с элементами фантастики и магии, острой интригой и счастливым концом; знаток насладится постмодернистской игрой, тонкой авторской иронией, многочисленными отсылками к цитатам классиков — от Шекспира до Милорада Павича. «Мы сотканы из материала наших снов...» — так, кажется, писал великий автор «Гамлета» и «Ромео и Джульетты», и слова эти не случайно приходят на память при чтении этой повести. Ибо чем как не сном, волнующим, опасным и притягательным, кажется нам жизнь главных героев, которые даже не подозревают о своей сказочной сущности, чем как не сном (или просто книгой, написанной старым чародеем) оказываются их приключения в странной реальности России (или Джиннистана. как кому понравится)…

Так рождается литература. Может быть, автор пока не совсем точен в описании некоторых мелких деталей, пусть его за это критикуют специалисты. Мы же можем только пожелать, чтобы он и дальше совершенствовал и оттачивал свой особенный взгляд на реальность, не забывая при этом о нуждах читателя. Ведь современная проза просто обязана быть интересной, иначе ей не выдержать конкуренции с электронными средствами информации. А в том, что у творчества Р. Ибатуллина есть будущее, мы не сомневаемся.

От редакции. В журнале "Новый мир " (1998, № 11) в библиографии, составленной Андреем Василевским, упомянута повесть Роберта Ибатуллина "Черный ворон, красное вино".

Мария ГАЛЬПЕРИНА

ПОЧЕМУ ГОРИТ СВЕЧА?

ПИСЬМО

«…Кошелек обшит тесьмой.
Это — новый, тот украден».
Я пишу тебе письмо
Каждой клеточкой тетради.
Через свечку скачет моль
И раскачивает пламя.
«Как ты там. любимый мой,
Занимаешься делами?»
Почему горит свеча?
Электричество прикрыли.
Тени пляшут, и трещат
Обгорающие крылья.
Дождь, по шиферу звеня
И под крышу проникая.
Каждой каплей жжет меня
«Помнишь, казнь была такая?»
Ты прекрасен и далек.
Я — неверная, дрянная.
Жалко старый кошелек.
«Ну, пока. Твоя Даная».

ПЕСЕНКА

Меня не любит город,
В котором ты живешь:
То сыплет снег за ворот,
То льет за ворот дождь.

То обжигает пятки
Каленой мостовой.
Ах, что-то не в порядке,
Наверное, с тобой!

Быть может, ты скучаешь
Иль ревностью томим,
Раз так меня встречаешь
Ты городом твоим.

Но, путаясь в бульварах,
Я дом твой отышу
И этот город старый
За все, за все прощу.

«ПЛАЧЕТ ДЕВОЧКА В АВТОМАТЕ…»

1.
Видя, как много сторон у жизни,
Я не могу сказать ни слова,
Я не могу связать двух слов,
Я не могу усвоить основ.

Слезы мешают душе излиться.
Слезы мешают пролиться крови.
Всё продолжаю болеть и злиться.
Пью корвалол за твое здоровье.

Не одолею больше страницы.
Не одолею больше ступеньки. —
Доброе утро, не надо браниться.
Бросаю последние две копейки.

Мне бы сказать: приди, покажись мне.
Трубку кладут, засыхает провод.
Зная, как много сторон у жизни,
Я не могу сказать ни слова.

2.
Второй жетончик телефон глотает.
Не слышен голос, кабель неживой.
Я бью по рычагу — не помогает.
Я бьюсь о стены будки головой.

Я тратила монетки на трамваи
И говорила в трубку: нет так нет.
Теперь я снова номер набираю,
Звоню, звоню. Без страха, без монет.

Пусть там хватают трубку, пусть гадают,
Какое слово в звоне уловить.
Пусть бесятся и даже пусть страдают,
Пусть думают, как связь восстановить.

МОЙ ГЕРОЙ

Он бежал, перегоняя
Свою собственную тень,
Рассыпая и роняя
Пятипалую сирень.

Эти звездочки слетались,
Чтоб погаснуть на снегу.
Все, кто видел, улыбались,
Улыбались на бегу.

Что февраль и что дорога,
Если есть куда бежать?
А любви его так много,
Что в руках не удержать.

Он от снежных завихрений
Отрывался и взмывал.
Где он взял букет сирени?
Где-нибудь наворовал.

ТУЗИК

О, бог карт, меня не выдай!
Бог собак, меня не трогай!
Я иду своей дорогой
В абсолютно трезвом виде.
Абсолютно твердым шагом.
Безобидный абсолютно.
Я иду в пространстве людном.
Осторожно: я собака!
Я несу свои мыслишки
Через все свои невзгоды.
Я страдаю, но не слишком —
Видно, я не той породы.
Я имею к людям тягу.
Подбери меня, мой ближний.
Я бубновой масти рыжей —
Назови Тузом бродягу.
М ы ведь тоже, псы, азартны,
Нас не балует Фортуна,
Только ты, продувшись в карты,
Отыграешься на струнах.

Я служить тебе не в силах —
Я не сторож, не охотник.
Подбери собаку, милый,
Ты совсем один сегодня.
Я же вижу — ты раздвоен,
А со мною все же легче.
За удел твой человечий,
Хочешь, я луну обвою?
Не корми — я не за этим,
Не дразни — я не кусаюсь.
Боги, что же вы смешались?
Кто из вас Туза пометил?

СЕРОЕ ПЛАТЬЕ

Алеше Павлову

Завтра надену длинное серое платье
(к серому платью нужны бы ботинки на каблучке).
Вся любопытная женская шатия-братия
Будет гадать, что у меня в кулачке.

К серому платью нет у меня украшений
(к серому платью нужны бы ботинки на каблучке).
Завтра я в качестве счастья и утешения
Всем покажу, что у меня в кулачке.

Я в длинном платье буду похожа на фею
(к серому платью нужны бы ботинки на каблучке).
Спросят меня, но я объяснить не сумею.
Где им взять то, что у меня в кулачке.

Длинное платье не буду носить осторожно:
Серое платье, ботинки на каблучке
Только на завтра нужны — а без них невозможно
Чудо мое спрятать в моем кулачке.

Артур КУДАШЕВ

САМОУЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Предисловие

Необходимость создания настольного руководства такого рода назрела очень давно. Большому количеству людей в нашей стране очевидна практическая бесполезность многочисленных западных книг по саморазвитию и эффективной психологии, как старых и более поверхностных, типа Дейла Карнеги, так и новых и более наукообразных (см. многочисленную библиографию). Совершенно очевидно, что в нашей стране (назовем ее условно "Советский Союз"), при работе в наших коммерческих и тем более — в государственных организациях — проповедуемые западными психологами техники, методики, приемы не работают и работать не могут. Это аксиома и она не требует доказательств. Как говорит Стивен Кови, "эта проблема вне нашего контроля". Вместе с тем людям приходится жить и работать в "Советском Союзе", не имея никакой иной альтернативы. И людям необходимы практические советы на путях достижения наилучших результатов наиболее эффективными способами при наименьших моральных потерях.

Это руководство – для них. Оно научит всех желающих трем важнейшим навыкам: 1) Как правильно бездельничать; 2) Как правильно пить; 3) Как правильно воровать. Если каждый в этой стране научится правильно бездельничать, правильно пить и правильно воровать - в "Советском Союзе" настанет долгожданное благоденствие, и яркая звезда нашего отечества не закатится более никогда.

Автор.

часть первая
Как правильно бездельничать

Трудно переоценить позитивную роль лени в истории развития человеческой цивилизации Как много глупостей не было совершено, какого множества катастроф избежали люди благодаря тому, что некоторым сильным мира сего было лень подняться с трона и отдать соответствующие распоряжения! Именно благодаря лени некоторых правителей не состоялись все назревавшие вооруженные конфликты, и человечество не истребило само себя до конца.

А посмотрите на плодотворную роль лени в научно-техническом прогрессе! Все самые важные и самые принципиальные изобретения, как то: изобретение колеса, приручение огня и диких животных, создание графического письма и так далее были сделаны, скорее всего, от нечего делать. Будь благословенен тот оставшийся неизвестным австралопитек, который, презрев тупой энтузиазм собратьев, таскавших волоком бревна в свое гнездо, шланговал

и размышлял о том, как бы не так сильно уставать. Ведь это именно он и придумал в конце концов класть бревна друг на друга и катать их без усилий.

Итак, мы подошли к очевидному выводу: лень — это благо и достоинство, а лениться хорошо и полезно.

Приглядитесь, как много проблем у человека деятельного и инициативного! Рассмотрим, к примеру, поведение людей на трамвайной остановке. Как правило, вся масса людей на остановке делится на две неравные части. Большая половина, назовем ее стабильной, спокойна и настроена дождаться трамвая во что бы то ни стало. Меньшая половина, чаще всего состоящая из одного человека, нетерпелива и беспокойна. Им всегда некогда, они всегда куда-то торопятся (миллионы у них горят, что ли? Ездили бы на "Роллс-Ройсах"!). Торопятся они до такой степени, что, простояв десять минут, они в отчаянии плюют и пускаются в путь пешком. Естественно, через минуту подходит трамвай и увозит спокойную и ленивую половину. Настроение у человека деятельного, которого обгоняет трамвай, конечно же, становится отвратительным. А что если бы он был более ленив?

Наша жизнь, в особенности наша жизнь в "Советском Союзе" — это ожидание на трамвайной остановке. Важно все-таки дождаться трамвая и не пуститься в путь за минуту до его прибытия. А для этого нужно быть ленивым.

Поэтому — правило первое. Не торопитесь. Кривая вывезет. Быстрота нужна при ловле блох. Инициатива наказуема. Дайте ситуации измениться самой и управляйте ею таким образом. Если вам пришла в голову идея — досчитайте до десяти. Не говорите вслух. Утро вечера мудренее. Идея — как женщина, чтобы разобраться — надо с ней переспать. Помните, если вы высказываете идею хотя бы один раз или хотя бы однажды проявляете инициативу, то вам придется делать это постоянно. И когда в один прекрасный день у вас вдруг не окажется идей — вам скажут, что вы провалили все дело, что вы всех подвели и предали. А потому — молчите. Молчание — золото.

Правило второе. Никогда не бездельничайте, когда можно показать, что вы работаете. Это очень важное правило. В понимании этого правила — залог настоящего успеха. Не играйте на компьютере при шефе — играйте, когда он вышел. Не принимайте скучающих поз на совещаниях. Соберитесь, бодрствуйте, участвуйте в обсуждении вопросов, острите, возражайте. Это задел для того, чтобы в другие дни спокойно спать на своем рабочем месте.

Правило третье. Получайте удовольствие от того, что вы бездельничаете. Не будьте угрюмыми, когда вы ничего не делаете. Не совмещайте неприятное с бесполезным. Делайте либо то, либо другое. Радуйтесь жизни в полной мере. Будьте счастливы от того, что вас никто не видит, когда вы ковыряетесь в носу. Улыбайтесь, откладывая в сторону срочные дела. И, наконец, принимайтесь за работу только в случае крайней необходимости. То есть, когда действительно больше нечего делать.

часть вторая
Как правильно пить

Существует всего два взгляда на алкоголь. Одни считают, что потребление алкоголя — это безнравственная привычка. Другие думают, что распитие спиртного — это болезнь. В действительности не правы ни те, ни другие.

Правда заключается в том, что алкоголь — это обычная природная стихия, перед которой люди бессильны. Так же, как они бессильны перед дождем, снегом, сквозняком и прочим. В "Советском Союзе" климат в этом смысле более суровый, вот и все.

Зайдем с другой стороны. Положим руку себе на грудь с левой стороны, примерно на уровень второго, третьего и четвертого ребра, туда, где у большинства из нас находится сердце, и ответим на вопрос: возможно ли жить в "Советском Союзе" и не пить?

Ответы "да, возможно" не принимаются. Они даны либо неискренне, либо по болезни, либо по пьяни.

Предлагаю такой взгляд на вещи. Проблемы пьянства в нашем государстве нет и никогда не было. В действительности государство всегда было заинтересовано, чтобы его граждане пили Это приносило ему (государству), во-первых, колоссальную прибыль, во-вторых, делало граждан управляемыми (как известно, люди пьющие более эмоциональны, а стало быть более внушаемы) и, в-третьих, отвлекало людей от мыслей о булыжниках и стрелковом оружии.

На самом деле непьющий человек в "Советском Союзе" — это диссидент, смертник и изгой. Если ты живешь в общежитии и не пьешь — ты остаешься без друзей, без женщин и, в конечном счете, — без общежития. Если ты много работаешь, мало получаешь и не пьешь — ты становишься неврастеником, гипертоником и импотентом. Если то, чем ты занимаешься каждый день, лишено всякого смысла, и при этом ты не пьешь, извини, ты просто ненормален.

Итак, вывод — не пить невозможно. Следовательно, пить надо правильно, потому что пить все равно придется.

Так как же правильно пить?

Правило первое. Не мешай. Не мешай пиво с водкой. Не мешай удовольствие от опьянения с удовольствием от общения. Не мешай пить другим. Не мешай сахар в стакане вилкой. Впрочем, это из другой оперы.

Правило второе. Смотри, с кем пьешь. Смотри на тех, с кем пьешь. Не смотри на тех, с кем не пьешь. Уважай тех, с кем пьешь. Не пей с теми, кого не уважаешь.

Правило третье. Смотри, что пьешь. Слушай, что ешь. Вообще, пить надо много. Иначе непонятно — зачем пить?

часть третья
Как правильно воровать

Независимо от того, знают люди о том, что был такой Жан-Жак Руссо, или нет, — в любом обществе работает придуманный им "Общественный Договор". Это означает, что баланс между государством и
отдельным человеком все равно существует. Если государство что-то недодает человеку — он все равно получит это, только другим путем. Стало быть, воровать — означает брать свое, только тихо.

Предлагаю тест. Уверены ли вы, что не потеряете завтра то место, которое имеете сегодня? Ответы "да, уверен" не принимаются. "В жизни очень мало предметов, о которых можно говорить с уверенностью. Собственно, с уверенностью можно говорить только об этом". Так написал Сомерсет Моэм шестьдесят лет назад. То, что правильно для Моэма шестьдесят лет назад, то стократ правильно для нас теперь. Вывод — вы можете запросто потерять то место, которое у вас есть, а посему — ловите момент и пользуйтесь им. Берите свое сегодня, немедленно.

Не жалуйтесь, что на вашем месте нечего воровать. Это неправда. Так не бывает. Всегда и везде есть, что воровать. Подойдите к делу творчески. Если у вас есть только голые стены — вспомните, что они состоят из кирпичей. Значит, разберите стены и воруйте кирпичи. Знайте, если вас однажды застукают — вы потеряете гораздо меньше, чем то, что вы получите, если будете воровать во все остальные, неучтенные разы. Однако соблюдайте правила.

Правило первое. Не жадничай! Знай меру! Народное выражение "жадность фраера сгубила" - это очень простой и гениальный постулат. Не будьте фраерами, воруйте профессионально. Профессионально воровать — значит воровать незаметно. Воровать незаметно — значит воровать расчетливо. Не воруйте все подряд, не давайте эмоциям управлять собой. Оставляйте что-то другим. Оставляйте что-то себе на следующий раз.

Правило второе. Не испытывайте чувства вины. Воровать в этой стране придумано не вами, значит, и не вам прекращать эту традицию. Так было всегда и. скорее всего, так всегда и будет. Поэтому оставьте в покое свою совесть. Думайте о собственных близких, которые, если вы не будете воровать, останутся без денег, еды и крова.

Правило третье. Никогда ни в чем не признавайтесь. Признание — это сантименты, они годятся только для художественного кино. Вы живете в реальном мире. Ни в чем не признавайтесь, поскольку вы ни в чем не виноваты. Если не будешь воровать ты — будут воровать другие, или еще хуже — будут воровать у тебя. Между прочим, у тебя воруют в любом случае, знаешь ты об этом или нет, и даже в ту минуту, когда ты читаешь эту фразу.

Заключение

Итак, мы разобрали с вами три наиважнейших навыка, которые будут вам нужны постоянно, начиная с сегодняшнего дня. Помните, что навык без тренировки теряется, а потому начинайте прямо сейчас и делайте это каждый день. Обучите этим навыкам своих родных, близких и друзей. И не забудьте о собственных детях, ибо чем раньше они научатся правильно бездельничать, правильно пить и правильно воровать — тем раньше они преуспеют в жизни.

All rights reserved. Вообще, все олл райт. Все права на авторство этого руководства надежно защищены, поэтому не нуждаются в какой-то особой демонстрации.

Об авторе. Артур Кудашев совершенно неизвестный врач, психиатр, нарколог и психотерапевт, автор газетных, журнальных публикаций и выступлений нораби́о. В своем творчестве Артур Кудашев поднимает и опускает важные проблемы бытия и небытия.

"Может быть, и я?" - как бы спрашивает он своими текстами и ими же как бы отвечает на этот вопрос.

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий СТОЛЬ. СПАСЕНИЕ.....1
Роберт ИБАТУЛЛИН. ДРЕВНИЙ ЛЕС.....3
Сергей КРАСНОВ. ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ
(иллюстрации к роману братьев Стругацких).....1-4 стр. обложки, 10-15
Алексей КРИВОШЕЕВ. ВОЗВРАЩАЙСЯ В СВОЙ ГОРОД!.....16
Владислав АБДУЛА, Александр ЗАЛЕСОВ. О ТОМ, ЧТО ВОКРУГ, ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.....21
Мария ГАЛЬПЕРИНА. ПОЧЕМУ ГОРИТ СВЕЧА.....24
Артур КУДАШЕВ. САМОУЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.....28

Наш журнал является формой самиздата, но выходит при техническом содействии редакции газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА",
а также при сочувствии "НОВОЙ ГАЛЕРЕИ" и галереи "УРАЛ".

Часть тиража в рамках акции "ВЕЧЕРНЕЙ УФЫ" "БИБЛИОТЕКА " бесплатно передаётся в центральную городскую библиотеку Уфы и её филиалы.

Наш журнал читают в городах: Екатеринбург, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Салават, Саратов, Челябинск. ТИРАЖ— 120 экз.

Благодарим за моральную, материальную и техническую помощь Альфию Мухамедовну Курмангалиеву, Светлану Алексеевну Смирнову, Галину Константиновну Фадееву, Владислава Владимировича Абдулу, Роберта Ураловича Ибатуллина, Евгения Ивановича Ильина, Александра Геннадьевича Казака, Артура Рифхатовича Кудашева, Сергея Ивановича Матюшина, Григория Алексеевича Федорова, а также методическое объединение учителей-словесников Октябрьского района г. Уфы.

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ — Александр КАСЫМОВ
(3472)22 -04 -01
Адрес для почтовых отправлений:
450079. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13,
редакция газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА"

Сутолока/1999/1(12)

№ 2-3 (13-14)

СУТОЛОКА
УФА/1999/2-3(13-14)
литературный журнальчик

Проза

Рустам
ИЛЬЯСОВ
Джек
РОЗЕН

ГРАФИКА
ЭКСЛИБРИС

Поэзия

Станислав
ШАЛУХИН
Владислав
АБДУЛА
Сергей
ШАУЛОВ
Светлана
ШАМАРОВА
Михаил
ПРАВДЮК

и прочее

ЭКСЛИБРИС

так называлась выставка графики, прошедшая в уфимской "Новой галерее" в декабре 1998 — январе 1999 г. Некоторые из работ, представленных на выставке, мы воспроизводим в номере.

Ринат МИННЕБАЕВ
Айрат ТЕРЕГУЛОВ

Станислав ШАЛУХИН

СТИХИ ОБ ОДНОМ ИЗ МГНОВЕНИЙ

1. ЖИЗНЬ

Тихий свет лица…
На ладошке вдохновенья
упорхнувшего мгновенья
звездная пыльца.
Тихий свет лица...
24 июля 1988

2. ДЕНЬ БЕЗ НАЗВАНИЙ

2.1

Как улыбаются вода
и крылья бабочек, когда
пускает солнце корабли
и пар восходит от земли...
На 4 октября 1985

2.2

День без названий. В мире только двое.
Живых вещей касается рука.
О, детство мира! Пеною прибоя
сдувать с ладони влажной облака.
На 4 октября 1985

2.3

О, славься, горящее горлышко птицы!
О звери, трубите в рога или в горны!
Вы слышите, лопнули зерна пшеницы
и к солнцу подземному тянутся корни.
На 4 октября 1985

2.4

Синий дым на утренних полянах.
Бледный месяц в медленных туманах.
Колос, золотящийся во мгле...
Я дышу, я счастлив на Земле!
1970

2.5
Врасти руками в птичьи крылья,
вдохнуть свободу и размах,
и петь, и плакать без усилья,
и жить в сосновых теремах.
На 4 октября 1985

2.6
Когда затмится свет дневной
и бездну вызвездит из мрака,
я не скажу вам, что со мной,
от восхищения и страха...

2.7
Откину волосы в проснувшийся туман,
где шевелится трав рассветных океан,
шепну звезде: «Прощай, боготворю...»
И дверь земную тихо притворю.
На 4 октября 1985

3. ОГОНЬ

3.1
Дрожат и всхрапывают кони,
мир потрясается во мгле,
когда, как огненные кони,
несутся молнии к земле.
На 4 октября 1985

3.2
О, дуб этот черный средь снега и зноя!
Здесь молния пала в горящей сорочке,
когда разметалось пространство ночное
и сжалось в одной ослепительной точке...
На 4 октября 1985

3.3
Ого, последыш молнии — любовницы дубов,
сто красных, синих, желтых во рту твоем зубов.
Ого, какая злюка! Ого, куснул ладонь!
Домой его возьму-ка и назову «Огонь».
На 4 октября 1985

3.4
Жилище делает жилым,
очаг живым, а путь былым,
ладошку мглою розоватой
Огонь земной. Огонь крылатый.
На 4 октября 1985

3.5
Он ярок от века. Он жарок доныне.
Он раб человека. Он злится в камине.
Он в домнах и бомбах клянет свою долю.
Он вольный, как птица. Он рвется на волю.
На 4 октября 1985

3.6
Века в ладонях бредит пламя:
«О человек, в твой хлеб и хлев
еще ударит, плавя камень,
слепая молния, прозрев!»
На 4 октября 1985

3.7
Мигнув, соломинку слизнуть,
слизнув, до самых звезд взорваться
протуберанцами как путь
и состояние пространства.
3 февраля 1998

4. СОН

4.1
И попал я в страну дураков
и дурацких ее колпаков.
И чем выше дурацкий колпак,
тем смешней и... страшнее дурак.
1993

4.2
Интернацьонал играют.
О, траур бравурной меди...
Замученные лишь знают,
что жизнь пострашнее смерти.
15 сентября 1993

4.3
Когда ломают старый дом,
то рушится не только в нем,
а что-то рушится в былом.
И человек идет на слом.

4.4
Здесь в каждом подъезде вонь, ругань и топот.
Здесь жизнь как дурной затянувшийся опыт.
Блюет по дворцам и задворкам Россия,
где каждый пропойца варяг и мессия.
На 17 сентября 1993

4.5
Я плавлю в кулаке металл.
Но как я, господи, устал.
Меня не надо убивать.
Однажды просто лягу спать.
На 15 сентября 1993

4.6
Бродят сны и самогон под образами.
Спят вповалку бородатые рифеи.
И мерцают чародейными глазами
из-под лавок домовые котофеи.
На 17 сентября 1993

4.7
Земные морщины. Лесные хоралы...
До хруста напрячь позвоночник Урала
и так потянуться всей Русской равниной,
чтоб пот меж лопаток пахнул солониной.
На 17 сентября 1993

5. ДУМА

5.1
Даль и ветер в рвущейся листве.
Даль и вечность в спящем и бегущем.
У отцов осколок в голове.
У сынов раздумье о грядущем.
1976

5.2
Цари и царьки суверенной золы,
как Молох кровавый, и алчны, и злы.
О власть, ты как прежде преступник и бог.
Народ, ты как прежде заложник и лох.
1996

5.3
Крестом, что нами же сколочен,
распяли совесть, как Христа,
чтоб целовать ее в уста
публично, не боясь пощечин.
1974

5.4
Взрывая землю, леса и зданья,
топя младенцев и корабли,
быть может, мы все на одном заданье
уничтожения Земли.
1996

5.5
Воры и мещане, цари и бандиты,
мы кварки, мы кванты, мы байты, мы биты?
Потомки случайно очнувшихся зомби,
заброшенных тайно в земной катакомбе?
На 17 сентября 1993

5.6
Царю небесный, молись со мной,
страшнее бездны наш ад земной.
Здесь трупы плачут и кормят птах
младенцы во взрезанных животах.
На 15 сентября 1993

5.7
Вносите, братья во Христе,
в Апокалипсис взнос,
чтоб снова взвизгнул на кресте,
почуяв гвоздь, Христос.
1972

6. БОЛЬ

6.1
И гром замирает над зябкой лозою.
И кони стригут горизонты ушами.
И время над миром дрожит стрекозою.
И утка к утятам спешит камышами.
1985

6.2
О боль, тебя переживая,
соль проступает на висках,
когда волна твоя живая
смывает шрамы на песках...
1985

6.3
Дух и плоть. Безмолвие и крик.
Жизнь и смерть... принять и вдруг понять:
в этом мире даже ни на миг,
не прибавив, нечего отнять.
1974

6.4
Миру мир лишь учится, заметь,
и однажды станет справедлив,
ведь нельзя нам даже умереть,
горя никому не причинив.
1974

6.5
Из авианосцев мы выплавим ложки,
без всякой на черное время утайки
по-братски разделил! солдатские пайки,
а крошки мы скормим голубкам с ладошки!
1976

6.6
Звон. Купола. Золотые кресты.
Мне на чело возлагаешь персты.
Благословишь ли на светлый покой
весь этот мир у тебя под рукой?
1993

6.7
Когда размыты грани слова
и тенью движет лунный свет,
и умереть душа готова,
и смерти нет[14].
2 августа 1988

7. МОЛИТВА

7.1
Я прожил все. Мне нечего желать.
Дойти домой и рухнуть на кровать,
закрыть глаза и больше не проснуться…
О, господи, дай женщины коснуться!
1985

7.2
Вот так уходит женщина иная,
так лунный свет уходит на ущерб.
Глаза раскроет боль во тьме земная,
а в бледном круге блещет узкий серп.
1985

7.3
Женщину благослови, господь,
ясный дух и ангельскую плоть.
Ничего не вижу от любви...
Женщину, господь, благослови!
1993

7.4
Свете тихий... Мир парит меж небесами.
Дел земных не счесть. Не счесть небесных тел.
Смотрит девочка огромными глазами:
«Во-он ангел полетел...»
27 сентября 1993

7.5
Вышла звезда и упала, как капля в колодезный сруб.
Солнышком красным беременна заводь речная.
Девочку Время сдувает, как бабочку с рук.
Аве, земная...
27 сентября 1993

[14] Четверостишие написано в соавторстве с Анатолием Иващенко.

7.6
Моргает мотылек, что прожил целый век.
И ты с ним поморгай. День канул, как минута.
Что в мире не ценней, чем прошлогодний снег?
Куда летит Земля неведомо откуда?
1985

7.7
Быть улыбкой твоей, струной в унисон,
Боже правый, молю, наставь.
Моя жизнь меж людей — это явь сквозь сон.
Твоя жизнь — это дух сквозь явь.
1997

8. ДУХ

8.1
О, как с горизонтом птица,
с судьбою и с миром слиться,
и жизнь — как стрижи на срыве
в изрытом речном обрыве!
1996

8.2
Пусть огонь земной царит впотьмах,
я всегда мечтаю на заре
побродить на облачных холмах,
постоять на солнечной горе.
На 4 октября 1985

8.3
Земля. Пространство. Время. Свет...
Смотри с откоса.
На все в природе есть ответ.
И нет вопроса.
24 сентября 1985

8.4
Флотилия Солнца! За парусом парус!
Прибоя бегущие берегом взрывы...
Что в радужных трюмах? Гадаю и зарюсь,
зову и маячу с земного обрыва.
На 4 октября 1985

8.5
Цветным пятном деревья, люди, зданья
слились во мне, как в гонщике на треке.
Так шар земной мерцает в человеке,
когда он оглянется в мирозданье.
На 19 января 1980

8.6
Ни мгновенья, ни вечности нет.
Лишь движенье от сущего от сущему.
Время словно щемящий букет
вин старинных, жасмина цветущего.
27 октября 1993

8.7
Пусть плоть обманывает чувства,
струится Свет из Бездны Снов.
Весь мир, быть может, только русло,
но вышел Дух из берегов.
1996

9. P. S.
Не дрожат огни и годы на лампадах.
Забываю о невзгодах и ламбадах.
Тихий свет. Слова мои тихи.
И в стихиры просятся стихи.
На 26 сентября 1993

ЕЩЕ ОДНО СУЩЕСТВОВАНИЕ...

Данную стихотворную композицию я не изобретал, она явилась сама. Однажды ночью, сев зачем-то за машинку, я неожиданно для себя начал практически не писать, а печатать четверостишия, как мне тогда показалось, ни о чем и совершенно не связанные между собой. Они просто возникали во мне или где-то в моей ауре вокруг, как некие импульсы. Можно сравнить это с рассеянным возникновением плывущих вокруг мелодично мерцающих точек... Записав десятка полтора четверостиший, я вдруг понял, что, несмотря на возможность их развертывания, они способны и на обособленность и в глубине каждого из них мерцают и дышат родственные связи. Другими словами, я ощутил за ними, четверостишиями, и в них общее силовое поле некой цельной и странной для самого же себя формы. Причем, некоторые из этих «кусочков» совершенно точно знали, что делают. Например, четверостишие «Как улыбаются вода и крылья бабочек…» сразу же и очевидно заняло свое

место — то, на котором сейчас и находится как та самая точка, с которой все и началось. Хотя я четко ощущал: что перед ней мерцает еще одна точка: что после нее мерцают еще шесть точек — образуя нечто светящееся типа главки; и что таких главок будет семь плюс вступление и заключение, название станет десятым элементом. Точно так же повело себя и четверостишие «И гром замирает над зябкой лозою...»: сразу встало и ни за что не сходило со своего места. Другие бродили с одного очевидного места на другое, как катализаторы реакции. Поначалу я не вполне понимал, каково будет реальное расположение остальных четверостиший и комбинировал их, пока не уловил подсказку ведущих четверостиший и внутренний принцип следования ассоциаций.

Поначалу главок (по семь четверостиший) было — только первая, вторая, часть четвертой и последняя. Потом ощущение мерцающих импульсов ушло, оставив исписанные вкривь и вкось черновики и множество вариантов. Время от времени знакомый звон возникал вновь, и я уже знал, что это... Подобные кусочки-четверостишия писались и раньше — всегда, но у них был свой характер — хотя некоторые все же нашлись и потихоньку подтянулись в главки, другие, наоборот, вышли из них и существуют в этом даже поле где-то рядом как непроявленные нюансы или примечания — иногда входя, иногда выходя из композиции, нет-нет, да и меняющей свои очертания при сохранении внутреннего ассоциативного потока. Эти маленькие стихотворения вполне самостоятельны — одни в большей, другие в меньшей степени; некоторые из них уже публиковались и, дай Бог, будут еще публиковаться — и отдельно, и входя в другие циклы, и даже под своим именем, которое они теряют, входя в ткань общего поля.

Я принимаю их поведение с пониманием, хотя оно несколько сбивает с толку и не дает закрепиться никакому жанровому обозначению. Порывался обозначить как «ассоциативная поэма» (а бывают ли не ассоциативные стихи?), но этому воспротивился дух свободного передвижения. «Книга четверостиший»? Но этого не допустили компактность и упорно держащееся за свое место пятистишие «Тихий свет лица...». Другие обозначения просто ушли сразу и — Бог с ними. Все еще неуверенно чувствует себя и общее название. Иногда оно читалось как «Лицом к лицу». Но раздражала общеизвестность, вечная неточность и узость прямолинейности. Доставало то, что не сразу и осознавалось: какое это такое второе имя? Теперь иногда я вижу его — хотя и не вполне отчетливо, с разных точек, хотя и не знаю, как назвать. Да и надо ли называть то, что и в чем мы сами? Достаточно услышать далекий тихий звон, увидеть медленно наплывающие мерцания и поблагодарить судьбу за еще одно существование...

Станислав ШАЛУХИН

9 марта 1999

ЭКСЛИБРИС

Рамиль МАГЛИЕВ

Рустам ИЛЬЯСОВ

ПИСЬМА ПЕРЕД СОЖЖЕНИЕМ

Рельсы сворачивали. Снегарев шел вдоль них быстрым шагом. Из-за деревьев возник концевой вагон. Снегарев направился именно к нему, так как хотел выяснить, что же загружено в этом загнанном в тупик составе. Когда Снегарев подошел к последнему вагону, из него выпрыгнули двое и, прижимая что-то к груди, пошли к следующему. Снегарев двинулся за ними и, дождавшись, когда они взберутся, крикнул им, чтобы подали руки. Получив помощь и вскочив внутрь, Снегарев увидел еще одного бойца сидящего у костра.

— Вам приказано охранять этот состав? — спросил Снегарев. — Почему все вместе здесь?

— Греемся, — ответил бородатый, а скорее давно не бритый, в зимней шапке из собачьего меха. — Вот письма беляков жгем, их в последнем вагоне тысячи.

Снегарев сел у костра и протянул руки к огню, чтобы согреть с мороза. Варежек или перчаток у него не было, и пока шел, прятал руки за полами полушубка.

— Товарищ командир, — обратился один из рядовых красноармейцев, на взгляд Снегарева самый молодой, — может, эти письма не стоит сжигать? Может, там сообщения военные какие, а?

— Сомневаюсь, — ответил Снегарев, а сам разорвал первый попавшийся конверт.

Это было письмо домой. Тот, кто написал его, хвастался тем, что участвовал «в деле». Также автор письма хвалился, что был отмечен командиром как отважный боец.

— Что пишут беляки, товарищ командир? — спросил бородатый.

— Пишут, быть бы живу... — соврал Снегарев.

— Эх, написал бы я домой, если бы мог. — сказал самый молодой.

Снегарев надорвал следующее письмо и без чувства брезгливости стал читать и его.

«Дорогая, то, что сейчас происходит, когда-нибудь кончится... Я жду от нашего командования успехов в борьбе с большевиками... Помнишь ли ты Сальникова? Вот это был настоящий русский мужик. Он уважал Россию. Помнишь, как он однажды рассказывал о Пугачеве? Называл его злодеем, но мне казалось тогда, что он восхищался им, как восхищались графом Монте-

Кристо... Те мужики навроде Сальникова поймут, что жизнь сложнее, чем любая схема».

— Сальников, убери свои обмотки, а то сгорят, — бросил молодой.

— Сам вижу, — отозвался тот, что был в собачьей шапке, — иди-ка ты лучше сходи еще топлива принеси.

— Пошли, — потянул за собой молодой третьего бойца, который все время молчал.

Они вдвоем покинули вагон и оставили Сальникова и Снегарева. Снегарев задумался. Вот в письме Сальников и здесь рядом Сальников. Совпадение. А что? Все может быть. Снегарев посмотрел на подпись в конце письма, там было только имя. Тогда он подобрал конверт.

— Вы знали человека по фамилии Лукошин? — спросил Снегарев.

Сальников носмотрел удивленными с поволокой глазами на Снегарева. Он приподнялся над широким поленом, на котором сидел, и сдвинулся от костра, затем уже переложил от него обмотки, вытащил из-под себя полено и бросил в горящее на железном листе пламя.

— Знаю, — в раздумье ответил Сальников, — только тот ли это. кого имеете в виду… А в чем дело?

— Да вот, письмо, — ответил Снегарев, — значит — о вас пишет.

Снегарев прочитал вслух то, что до этого читал про себя. Сальников слушал, иногда поворачивая голову к открытым дверям, ожидая тех двоих, что ушли. Они не появлялись.

— Лукошины жили напротив моей сапожной мастерской, — сказал Сальников — Оба и муж и жена часто наведывались ко мне.

— Хождение в народ? — криво усмехнулся Снегарев.

— Ага, жена его давала мне книжки для образования, узнала, что читать люблю. Но у меня тогда времени не было, я только книгу о Пугачеве прочел. Интересно. Они еще разные книги давали, но я не читал, трудно было иногда... — Сальников снял собачью шапку и обнажил седоватые слипшиеся волосы. — Что книга? Жизнь вот у нас сейчас...

— Постойте. — прервал Снегарев Сальникова. — Лукошин, фамилия знакомая. Расстреляли мы третьего дня какого-то белого офицера Лукошина.

Сальников поковырялся в кострище, а потом плюнул туда. Костер без топлива тух, а те щепки, которые еще оставались, он зачем-то берег.

— Что ж, я сам одного офицерика укокошил, когда мы на станцию ворвались. Что ж, и он письма писал.

Снегарев на время замолчал, он обнаружил свое собственное письмо. Это письмо он адресовал своему брату, будучи заключенным на складе небольшого магазинчика, который превратили в тюрьму. Писал он письмо, ожидая утреннюю казнь. Брат у Снегарева служил у белых, а Снегарев во время допроса в штабе части, которая зацепилась на станции, увидел старого знакомого, друга детства — больше брата, чем его. Арестованный попросил переслать брату письмо, называя это последней просьбой.

«Брат, — писал Снегарев, — ты видишь, что дни белых армий в Сибири сочтены. В тылу происходят восстания, с фронта наступают красные армии. Подумай, брат, и о том, кто все-таки прав, мы или вы. То, что вы не можете, при всей помощи оружием и деньгами от стран Антанты, победить нас, говорит о многом. Брат, помнишь ли, как мы в детстве восхищались декабристами? Они любили свободу, и вот сейчас ради освобожденного труда... Если меня расстреляют, тебе придется позаботиться о матери. Она остается одна. Переходи на нашу сторону, еще не поздно».

То, что письмо не дошло, Снегарева поначалу огорчило. Но может, это и к лучшему? Что подумал бы брат, если бы узнал, что его не расстреляли? Подумал бы о нем, что он лгун. Что его освободили красные на следующее утро, этому брат мог и не поверить.

А вот еще одно письмо. От того самого офицера, который обещал переслать письмо брату. Он писал тоже к нему.

«Сергей, я сожалею о судьбе твоего брата, клянусь, я сделал все, чтобы он не был расстрелян, но закон выше. Почему он пошел за красными? Это для меня останется загадкой. Но помни, Сергей, теперь ты должен мстить и за своего брата, ведь в том, что он, пойдя за большевиками, погиб, прежде всего их вина».

Снегарев взглянул на Сальникова, тот протянул ему портсигар с куревом. Откуда у него эта вещица? — подумал Снегарев, отказываясь от сигарет, — он не курил. Портсигар был точно такой же, как и у общего с братом дореволюционного приятеля, письмо которого он только что читал.

— Интересная штука да? — слегка улыбнулся, прищурив глаза. Сальников. — Это я у офицерика взял. Штыком ударил во второй раз и на этот портсигар наткнулся. Достал его... Слышь-ка, командир, дай-ка мне тоже какое-нибудь письмецо, соскучился я по чтению.

Снегарев подтолкнул ногой вторую оставшуюся пачку. Сальников достал из разорванного конверта верхнее письмо и стал читать вслух:

— «Мам, тяжелое время сейчас, но ты жди — и будет лучше. Может быть, скоро я вернусь». Это как же он вздумал вернуться? — удивился Сальников и стал читать дальше: «Я мечтал о радостном будущем, когда я займусь мирным трудом. Помнишь Вареньку? Так вот, я женюсь на ней».

— Товарищ командир! — закричали снаружи. Снегарев встал на ноги и выглянул из вагона. Двое ушедших за топливом рядовых бойцов наставили винтовки на третьего в белогвардейской шинели. — Вот, товарищ командир, нашли, под письмами прятался.

Белогвардеец был молод и сухощав. Он выглядел измученным. По всей видимости, давно не ел. Да к тому же еще муки холода.

— Что ты здесь делал? — спросил Снегарев, спрыгнув на снег. Белогвардеец ответил не сразу, ответил утомленно, но с расстановкой:

— Прятался от вас. Ждал — чего, сам не знаю.

— Что же ты? Пробиватся бы к своим, или жила тонка? — поинтересовался Снегарев.

— Я хотел домой, — тихо, но не опуская головы, ответил молодой белогвардеец. Что-то в его словах показалось Снегареву знакомым.

— Домой, чтобы заняться мирным трудом? — спросил Снегарев. — Там тебя ждут? Хорошо. Пойдем. Снегарев кивнул вперед по направлению к станции. Всем красноармейцам приказал продолжать бдительно охранять состав. Он так и не узнал, что находится в вагонах, кроме писем...

— Вот что, — сказал Снегарев после некоторого молчания, — я тебе дам другую одежду и отпущу. Поедешь домой, понял? К Вареньке. И смотри у меня, только домой. Война скоро кончится. Жать, что она вообще началась. Когда-нибудь и я вернусь домой, — сказал он, глядя куда-то поверх заснеженных деревьев.

ЭКСЛИБРИС

Сергей МАДЖАР
Алексей КОРОЛЕВСКИЙ
Эрнст САЙТОВ
Филарет ШАГАБУТДИНОВ

Роберт БУРАНГУЛОВ

ВСЕГДА ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ АЗБУКА

Из философской поэмы в прозе
родословно безыскусственного Знания...

Публикуется с сохранением особенностей орфографии и пунктуации, присущих оригиналу.

Существует какое-то одно познание, которое не имеет никакого другого предмета, кроме себя самого и прочих познаний, да оно же есть и знание о незнании. Но относительно знания-то, как оказывается, мы утверждаем, что существует Такое, которое не есть знание никакой науки, а только самого себя и прочих знаний. Ведь это самое знание есть знание чего-нибудь и имеет некую Такую силу, чтобы к Чему-нибудь относиться. В нем есть только «то хорошее, что обладающий им, что б ы он ни изучал, легче научится и все ему представится яснее, так как при каждом изучаемом предмете он будет видеть еще и [самое] знание». А м ы то высматриваем чего-то большего и ищем этого самого благоразумия как чего-то более великого, чем каково оно есть. Ока-

зывается, что просто «в особинку» для нас эта самая наука, которой задача в том, чтобы приносить нам пользу.

Это — предел изменений вещи, как некое условие единства и красоты; причем, различение основано исключительно на Азбуке ума в отношении его инобытия в раздельном смысле речений: «то, что есть» и «то, в каком смысле оно есть».

Всегдашний принцип самодовления — высшая сплоченность бытия, его абсолютное единство, когда единство разлито по всем отдельным частям целого и тем с а м ы м превращает его в нечто [Как] «Б Ы» неразличимое. Само собой разумеется, что каждая вещь и весь мир в целом вовсе не является чем-то только неразличимым и нераздельным. Все существующее и различимо и раздельно и имеет отдельные части или моменты, относительно самостоятельные и образующие собою цельную структуру и едино-раздельную фигурность. Одно всегда существует для другого, другое же является тем, ради чего всегда существует существующее для другого. Однако в жизни изучение этой трудности общеизвестно.

Известно, что Понятие бытия должно быть таким, чтобы оно обосновало его полное самотождество во всех его инобытийных судьбах, чтобы не было для него никакой антитезы, которая ограничила его, определила его, чтобы оно само ограничивало и определило все судьбы как бытия, так и не-бытия.

Необходимо показать, что одно и то же сущее и есть сущее, и не есть сущее, а не то, что одна сторона сущего — сущее, а другая — не-су шее; объяснить совместность и одновременность сущего и не-сушего, и также «с у щ н ы й» характер не-сущего и видимое пребывание на почве формально-логических «законов мышления».

Не вдаваясь в сложные допущения, которых, собственно говоря, в природе нет, будем держаться живого самопротиворечия абсолютного одного как принципа и сущего, и мыслимого, и ума и слова. Одно есть совпадение не только всех категорий между собою, но и совпадение всего категориального с не-категориальным и даже вообще с вне-логическим, с алогическим, где «сущная» природа не-сушего обоснована в особом принципе: когда инобытие оказывается включенным в самый способ протекания действия и всецело отождествленным с ним. Говоря о чем- нибудь одном, м ы именуем его разными именами. М ы приписываем человеку цвета, формы, величины, пороки, добродетели и пр. Что это значит? Тот же вопрос в отношении к сущности можно поставить так: общаются ли между собой покой и движение? Тут ведь тоже идет речь о предмете и признаке его. Можно ли сказать, что ни один предмет не общается с другим предметом или что все предметы имеют общение со всеми предметами? Или, быть может, одни предметы таковы, другие не таковы? Если признать, что ничто не общается ни с чем, и в частности, что покой и движение не общаются с сущим, то это значит, что ни то, ни другое не может ни в каком случае мыслиться сущим. Явно, что это нелепо. С таким предположением нельзя ничего говорить о бытии. Но так же нелепо и обратное утверждение, ибо при нем самое движение вовсе остановилось бы и са-

мое стояние двигалось бы. Итак, возможно только учение о частичном общении и необщении, как то же и одно... Кроме мерности, меры как таковой, соразмерное, достаточное...

Какая-то благоустроенность ума и его самодовление.

Вычленив учения о качестве, мы находим, как три и шесть тысяч лет назад, два основных учения: одни считают истинным только телесное и чувственное, другие видят истину лишь в мыслимом мире, постигаемом только одним умом. Надо повторить точку зрения предшественников на обе эти школы.

I. Сторонники телесности не могут не признать, что тело есть нечто живое. А это значит, что они признают и душу ч е м-то существующим. Однако душа может быть справедливой и несправедливой, разумной и неразумной и т.д. Все это, равно как и самую душу, уж во всяком случае нельзя назвать видимым и осязаемым. А раз есть хоть в некоторой степени нечто нетелесное, то все учение оказывается ниспровергнутым. Значит, необходимо для опровержения учения о телесности только добиться признания, что бытие действует и страдает и что определение бытия есть сила, то есть сила действовать и страдать.

II. Обращаясь к «влюбленным в мыслимый мир», мы анализируем их учение так. Они признают раздельное существование становления и сущности: со становлением мы приходим в общение через чувство, с сущностями — через мышление; становление — всегда иное, сущность всегда тождественна и равна с самой собой. Но что значит приходить в общение? Что значит познавать? Познание есть прежде всего некая деятельность, и познанность — некая аффицированность Следовательно, сущему должно быть приписано движение хотя бы в той мере, в какой оно познается. И если это так, то неужели можно признать, что бытию не принадлежит ни движение, ни жизнь, ни душа, ни разумность, что оно и не живет и не мыслит, не имеет ума и стоит неподвижно? Поэтому надо допустить, что сущее одновременно и покоится, и движется. Тождественное, само себе равное и находящееся в том же отношении, не может ни стоять, ни покоиться. Но, с другой стороны, одно стояние убило бы жизнь, и было не объяснимо ни бытие, ни знание.

III. Итак, м ы достигли того, что признали необходимость учения о бытии и как о п о к о е, и как о д в и ж е н и и. Можно ли на этом результате остановиться? Стояние не есть движение, и движение не есть стояние. Оба они не могут быть объяты ни голым покоем, ни голым движением. Но тогда бытие не есть ни то и ни другое, а нечто третье, которому м ы приписываем и покой, и движение. Значит, бытие по своей природе и не стоит, и не движется. И как же тогда его мыслить? Поскольку оно не движется, оно должно быть признано покоящимся; а поскольку оно не покоится, оно должно быть признано движущимся.

Мы вновь пришли к неразрешимому противоречию, напоминающему то противоречие, к которому приводит анализ понятия небытия. Оба понятия

— сущего и не-сущего — запутываются в противоречиях: и надо искать иного пути, где возможно произвести анализ сразу по отношению к обоим.

Человек, обладая способностью к социальному бытию, всегда понимал, что уровень нерасчлененной и бессознательной стихии собственного знания всегда находится в противоречии опытно ощущаемому бытию. Поэтому, какую философию мог создать народ для которого сама «мудрость» есть, по корню слова мастерство, умение создавать вещь, понимание ее устройства? Древние грамматики прямо приравнивают эту «мудрость» — «искусству» и «ремеслу». — «А нынешние люди мудрые одно, как случится, полагают то скорее, то медленнее, чем должно, и после одного — тотчас беспредельное; средина ж е от них убегает».

Мастерски определив это бегучее, они закрепили его в азбучно организованном взаимоотношении количеств масс числа времени. Так и мы должны исследовать это чистейшее по природе.

Тысячелетия назад уже были меры и системы мер. Существование письменности связывают и с наличием мер, а государственности — систем мер.

Усилиями ученых всего мира была достигнута договоренность о введении с 1960 года Международной системы единиц физических величин (СИ). Хотя это и большое достижение, но, тем не менее, при жесткой учредительной унификации, сковавшей рассуждения о единицах и системах единиц физических величин, применение их обернулось в источник досадных неясностей.

По одним представлениям, основой измерений может быть лишь набор эталонов независимых физических величин. По другим — в природе все взаимозависимо, независимых величин нет. Второе представление вынуждено носить лишь отвлеченный философский характер без придания ему физической реальности, поскольку оно вступает в противоречие с первым. Считается, что указанное противоречие устранимо путем форм изложения, введением новых терминов и прочих попыток приписать характер одушевленности искусственно получаемым результатам взаимодействия частиц; причем, взаимоувязку физических величин объясняют опять-таки новой формой изложения.

Выразим в виде «незаписанного учения» условие возможности возникновения и существования этого чистейшего по природе в одиноко первоисточной мерности не нуждающейся в своем «международном признании» супергонки открытий «я, ради я», так как всегда есть и расчленяет единичную причину движений на движения перводейственные и вторично - действенные, внутренние и внешние — причина покоя, положения и утвержденности негибнущих вовне движений. Это виновник всякого различения всяческого движения, дающего каждой вещи невыразимо блистательную чистоту выпадающего на ее долю по природе движения, благодаря каковой чистоте каждая вещь хотя и движет себя самое и другое, но все же движет различно. Она принадлежит обособленной от тел сущности, отделяет от порождаемого чис-

тое, охраняя породительные причины и утверждая их в старейших достопамятных изречениях высшей Мудрости, действительно все связующей и сохраняющей, и которую, как м ы видим, люди вменили ни во что. В качестве же рождающей она создает устроение для творчества тому, что изводит, в их собственных жизнях.

Издревле установлено, что в подлунном мире Земля предоставлена в качестве породительной потенции Неба, выявляя его отчий, определительный, измерительный и держательный промысл, простираясь на все в качестве породительных [потенций] и порождая всю беспредельность подлунного, подобно тому как Небо создает разряд предела, доставляя границу и предел для вторичного (ведь граница и предел определяют наличное б ы т и е каждой вещи). Перемену порядков и распорядков в природе связывали с девятнадцатилетним циклом лунных затмений (в величинах XX века — 18 лет 11,3 суток (или 10.3), смотря по тому, входит ли это в период 4 или 5 високосных лет); причем, ответственно учитывалось, что Большая ось земной орбиты медленно перемещается в пространстве, что она переносит наиболее удаленные от Солнца и ближайшие к нему точки земного пути в другие места. Летопись, неизменно с погодой, велась в крупных исторических периодах с учетом того, что полный цикл этих движений завершается в 21 тысячу лет с переходом преимущества северного полушария Земли к южному.

Имея в виду, что сегодня доминирует вестибулярно-перевернутая часть лабиринта мышления людей, изложим «иную картину» в себе значимой цельности мышления, положив в основу знаменательный случай отсчета по Большой оси — затмение Луны Землей. «Третья часть ночи когда наступает, пред самой зарею», в Ночь с 7 на 8 ноября 1996 года, город Миньяр (Семигорье), Челябинская область России.

Известно, что

1) несовпадение (диспартность), обеспечивая высокотонкую различимость глубины рельефа изображений, служит источником получения информации мозгом о пространственных характеристиках объекта;

2) динамический монокулярный стереоэффект превосходит бинокулярный стереоэффект на средних и особенно на дальних дистанциях наблюдения при больших скоростях движения наблюдателя относительно объекта, что влияет на восприятие масштабов и удаленности наблюдаемого объекта. Впечатление увеличенных размеров объектов происходит от восприятия их не увеличенными, а приближенными.

Указываемый случай, кроме полного совпадения остальных примет, описанных древними, о «дружеской раздвоенности и половинчатости» Жницы, вызывает ярко выраженный эффект псевдоскопии до стереоинвертности; причем, подавляюще действуя на психику, вызывает борение с сознанием, отпечетлевая в припоминании свой вид и род Сильного управления, когда «Юпитер мычал, обратившись в б ы к а»... Как тут невозможно, чтобы кто-то, что-то узнав и сохраняя в памяти, не знал бы того самого, что помнит, в то самое мгновенье, когда он помнит?! Этой теплоты родства...

Как «Луна, заслоняющая от нас Солнце, ровно во столько раз ближе к нам, нежели Солнце, во сколько раз лунный поперечник меньше солнечного,— совпадение, н е повторяющееся н и на какой иной планете», Так и — отличим, что другое дело — причина и другое дело — то, без чего причина н е могла бы быть причиною.

Воспользуемся только двумя причинами: причиной «что» [вещи] и причиной, соответствующей материи. Ибо виды для всего остального суть причины [этого] «что», а для видов — Единое. А что касается материи, то э т о есть Тот субстрат, по которому называются виды в чувственном, а в видах— единое, и Таким образом он [субстрат] является Двоицей, именно Большим-и-Малым, названным [обобщая в чувственном] Сугубицей, почитая Так негибнущую суть сущностного знания в ы с ш е й Мудрости.

1) Одно не есть многое. Но то, что не множественно, не имеет частей и, следовательно, не есть нечто целое, ибо целое — то, что не имеет недостатка ни в одной части.

Итак, одно и не состоит из частей, и не есть целое.

2) Но, не имея частей, оно не имеет ни начала, ни конца, ни середины, потому что это были бы уж его части. Но Так как начало и конец суть пределы каждой вещи, то одно неограниченно, беспредельно.

3) В Таком случае оно и не круглое, ибо круглота говорит о равном расстоянии всех точек окружности от центра, и не прямое, ибо прямизна говорит о единстве направления: одно, будучи причастно прямой или круглой фигуре, имело бы части и было бы многим. Одно, следовательно, не имеет никакой фигуры.

4) Однако, не имея фигуры, или вида, оно не будет занимать никакого пространства, не будет нигде ни в ином, ибо тогда оно обнималось б ы сферою того, в чем заключено, а во многих местах этого иного оно прикасалось бы ко многому (а одному, не причастному ни частей, ни круга, невозможно во многих местах прикасаться кругу), ни само то в самом себе, ибо в этом случае оно себя ж самого и обнимало бы, будучи не и н ы м чем, как самим же собою, а быть Чему-нибудь в Том, что не обнимает, невозможно: всегда обнимающее и обнимаемое — две разные вещи, а не нечто абсолютно единое.

5) Одно, далее, не может и

А) двигаться ни

а) в смысле качественного изменения, ибо изменяющееся по сравнению с самим собой уже Тем с а м ы м не может не быть множественным. Ни

6) в смысле пространственного перехода, ибо

а) вращение вокруг себя предполагает центр и движущиеся точки, отличные от себя... самого, а одно не имеет Ни средины, ни частей,

b) переход же с места на место предполагает иное, во что одно вступает, в чем оно еще не совсем находится, но вне чего оно тоже уж не находится, ибо в него вступило, каковое разделение предполагает опять части, из которых одни в ином, другие — вне иного. Стало быть, одно не меняет места ни

как идущее куда-нибудь, ни как появляющееся в чем- нибудь и не движется ни как вращающееся на месте, ни как изменяющееся само в себе.

Но одно не может и

Б) покоиться на месте, и б о, не будучи в состоянии быть в чем -либо, например, в себе или в ином, о н о не находится в состоянии и быть в чем-нибудь одном и Том же.

6) а) Одно, д а л е е, не отлично от себя, ибо, отличаясь от себя, оно было бы отлично от одного и, значит, у ж е не было бы одним; б) о н о и не тождественно с другим, ибо в этом случае оно было бы Тем другим и не было бы самим... собой, Так что было бы уж не одним, а отличным от одного. в) Но одно также и не отлично от другого, пока оно — одно, ибо одно вообще не может быть отлично от чего-нибудь; одно не будет другим через то самое, что оно — одно, то есть чрез самого себя, а э т о значит, что само оно в себе не может быть отличным и потому не может быть отличным Ни от чего другого. Равным образом г) одно и не тождественно с самим собой, ибо когда что-либо становится тождественным Чему- нибудь, оно становится не одним; если единство ни-чем не отличается от тождества и одно другое предполагает, то одно, тождественное себе, должно быть и не единым с самим собой, то есть оказалось бы, что одно, будучи одним, не будет одним, что невозможно.

Итак, одно не тождественно ни себе, ни иному и не различно ни с собой, ни с иным.

7) Но свойства тождества разделяет и понятие подобия. Если бы единство получило некоторое свойство быть отличным от единства, то одно получило бы свойство быть больше, Чем одним, а это невозможно. Следовательно, одному не доступно Свойство быть тождественным ни себе самому, ни иному и Также подобным — ни иному, ни себе... Иначе говоря: одному недоступно Свойство быть и иным, ибо Иначе в нем получилось бы больше, Чем одно. Всякое Свойство одного делает его Уж многим, а не единым, и Так Как все то, что принимает Свойство отличия по отношению К Себе или иному, было бы Не подобно себе или иному, а что принимает Свойство тождества было бы подобно себе и иному, и Так Как одно не принимает этих Свойств, то оно не будет ни подобно, Ни Не подобно — ни себе, ни другому. [...]

Время — высшее и первое из всего. Оно все в себе имеет, и оно едино всегда: ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ НЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ НАСТОЯЩЕГО; совершая в течение года путь, ему обратный; и завтрашний день для нас на самом деле есть вчерашний, а вчерашний — завтрашний.

Стало быть, знание не есть ни ощущение, ни истинное мнение, ни смысл, соединенный с истинным мнением. Не знание зависит от чувственности, но чувственность от знания. Знание, по существу своему, независимо от чувственности. Оно осмысливает и тем оформляет чувственность. А это и есть Связное тело последовательности припоминания по основаниям. Память сама по себе отлична от знания и не есть знание просто, так что она и не должна быть обязательно чувственной. Видящий (и, стато быть, знающий)

что-нибудь по памяти — видит и знает нечто иное, Чем в чувственном восприятии. Да и из месяцев и из годов один невидим, является только принципом измерения и связи и совершает умозрительные и телесные круговращения, другой же явен и есть ограничение и мера солнечного обхода.

Это то, в чем все отдельные явления получают, как мы видим, рождение и откуда опять исчезают, утверждаясь Тем самым в себе с Той или иной определенной стороны в одном и Том Же КРУГЕ негибнущей самодвижимости начальных сведений закономерной необходимости, которая отовсюду говорит, что всякая [вычисляемая или построяемая] природа [вещи] о т п е ч е т л е в а е т свой вид и род [свои видовые и родовые образования] при помощи каждый раз особой пропорциональности в связи с Тем, что образующий элемент и ему противоположный [например, основание и высота четырехугольника] всегда находятся между собою в двойном отношении. Именно, первая [природа] с двойным отношением есть та [которая] с точки зрения отношения, переходит от числа 1 к числу 2.

...Одна Азбука, а не «цивилизованно»-азбучные наслоения понятий, определяет в языках чисто душевный строй истинно-сущих соприкосновений и поворотов незримо довлеющего совершенства положения, формы, порядка небуквенной данности высшей Мудрости и применяется это, если возможно, в образовании предложений. Так, чтобы получилось равенство одного вида другому тоже одному, если знаешь действительно сущее число.

Для этой Азбуки Эхда открывает бытие всегда сущее, а не блуждающее между становлением и разрушением, подчеркивая тем самым Достоинство этой Азбуки, которое заключается в том, что Оно есть полное взаимопроникновение и равновесие Круга повелительной причины и материи; причем, Азбука есть Такая материальная выраженность и явленность, которая характеризуется только тем, что в ней почило сослагательно незримое бытие как бытийственное преимущество тела и твари, земли, что создает мудрое равновесие всех сторон души, всех добродетелей души и, следовательно, говорам всех наречий и последовательно управляемым действиям общества, согласно законам «числа времени». Насаждение такой Справедливости и есть благое осуществление субстанционального примата материи с одним условием — вещественно утвержденная специфика земли — осязаемость...

...Существующее есть непременно познаваемое, а несуществующее вовсе никак не познается... Но если нечто Таково, что оно и есть, и не есть, то его место не в середине ли, между истинно существующим и тем, что никак не существует?.. В середине... А так как, о существующем у нас было знание, незнание же, по необходимости,— о несуществующем, то не надобно ли искать среднего между незнанием и знанием, если Чему- нибудь в Таком случается существовать? Конечно... Это среднее и есть мнение, которое надо строжайше отличать от потенции, возможностей или актов. А то, что Мы называем «верой» не есть ни незнание, ни знание. Это самое неделимое, всегда тождественное и себе равное, которое всегда «ЗНАЮТ», а [НЕ] «МНЯТ», имея в

виду три рода: б ы в а ю щ е е, то в чем оно бывает, то, по подобию чего происходит бывающее. В Таком Случае азбучная структура оказывается не висящей в воздухе, но вырастающей из недр самого же бытия и самой же действительности (и тем с а м ы м отличается практическим и реальным жизненным характером), является вполне самостоятельным предметом и переживанием этого предмета, содержащим свою цель в самом себе, и потому самодовлеющей и все элементы, образующие данный предмет, слиты в одно нераздельное целое и единое, которое уже не нуждается ни в своих отдельных элементах, ни тем более в чем-н ибудь постороннем.

...А говорят, что все — из двух начал, например, из теплого и холодного. Но что же они (учения) называют бытием, сущим? Если оно — нечто третье, помимо этих двух, то тогда получается уже не два начала, а три. Если же сущее — какое-нибудь одно из двух, то оба начала окажутся неравными: и все равно опять получится не два начала, а одно. Но положим, что оба начала суть сущие. Ясно и тогда что оба становятся одним.

Напротив того, учение, утверждающее, что все — одно и одно то и есть сущее, тем самым различает одно и сущее, именуя то и другое разными именами. Но раз два имени — два и сущих, а не одно. А раз сущее есть одно, то тогда и имени-то у него никакого нет, ибо кто положил имя, отличное от наименованного предмета, тот говорит о двух. Однако если б ы даже и возможно было положить имя, не отличное от предмета, то оно оказалось бы именем ничего; а если и в этом случае будут продолжать утверждать, что оно — имя чего-н и б у д ь, то есть К Чему-нибудь имеет отношение, то оно окажется просто именем имени, а не чего иного и «одно» — то будет одним одного, а не имени.

С другой стороны, философы, признающие единство, приписывают бытию и цельность. Что такое целое? Целое обязательно предполагает части. Правда, это части одного целого. Значит, абсолютно чистого одного не существует, но лишь раздельное одно; и единство есть некое определение, свойство сущего, а не его сущность. Но если цельность не принадлежит к сущности и сущее будет не целое, то ясно, что сущему будет недоставать себя самого, то есть сущее перестанет быть сущим, перестанет быть и бывающим. Бывающее, становление всегда есть тоже целое, так что нельзя наименовать ни сущности, ни рождения — как сущего, не полагая в существующем целого. Даже и количественно нельзя существовать чему-нибудь, не будучи целым, ибо при каком-либо количестве насколько оно есть, настолько необходимо быть ему целым.

Теперь мы можем дать удовлетворительное определение положениям некоторых учений и их природе.

М ы видим два рода подобия; одно из них производит подобия, другое — призраки. Призраки же или создаются при помощи известных орудий или так, что производящий их самого себя превращает в орудие создания. Последнее есть, между прочим, подражание — или при хорошем знании предмета, или при помощи только мнения о нем. Как и в прежние времена, поло-

жение то же: одни из подражателей — просты и прямодушны, другие — притворщики и люди лукавые.

Сводя все эти определения в Одно, м ы должны сказать так. Мы имеем дело с весьма импонирующим человеческим творчеством в словах, заставляющим противоречить самому себе и заключающимся в искусстве ложных мнений, то есть фантастический вид искусства образотворчества.

...Раз для основного, простейшего начала дела нужны все науки, то, надо понимать, что ни одна метода, имея в виду предметы неделимые как неделимые, не возьмется вести их к общему; все другие искусства направляются либо к человеческим мнениям и пожеланиям, либо к происхождению и составу, либо, наконец, к обработке того, что происходит и составляется; прочие же, которые, сказали мы, воспринимают нечто сущее, например, геометрия и следующие за нею, видим, как будто грезят о сущем, а наяву не в состоянии усматривать его, пока, пользуясь предположениями, оставляют их в неподвижности и не могут дать для них основания. Ведь если и началом б ы в а е т то, чего кто не знает, да и конец и середина сплетаются из того, чего кто не знает, то каким образом можно согласиться с таким знанием?.. Итак, Азбука одна идет этим путем, возводя предположения к самому началу, чтоб утвердить их и, пользуясь содействием и возбуждением рассмотренных предшественниками наук, направлять К Горнему. Азбучная мерность — это объективированная жизнь духа, отождествленная с объективными формами выражения, совпадающими с числовыми и геометрическими формами как именно становление в бытие из меры, полагаемой вместе с пределом; причем, это, как и сила, названо нами Сугубицей...

...Это и сила, которая оформляет сферу, являющуюся смесью предела и беспредельнего; причем, бесконечно большая сила не замутняемая и не затрагиваемая никакими переходами в область инобытия. Сила, проявленная в человеке как азбучный принцип самой духовности. Сила, в которой максимально реализована ее одухотворенность, ее одушевленность, но не в смысле просто живого существа, а в смысле Той одухотворенности, которой обладает и всякое неодушевленное тело, если оно стало предметом природной самособранности.

Азбука и есть (К а к] «Б Ы» оглавление наук, стоит у всех наверху и никакая другая наука по справедливости, не может заслонять ее. Ею должны заканчиваться все науки... Нужны и «азбучники»... Хранители кругооборота чистоты традиций.

Азбука, ее сообразность знанию, есть то самое, в чем мы после многих допущений и продумываний признаем сущность благоразумия, она-то досаднейшим образом оказалась у нас сущею бесполезностью; причем, «непривычно» самостоятельным предметом.

Тем не менее, вещественная «бесполезность» «благоразумия» — совершенно доказана.

...Тогда и проявится своя красота отличающаяся мудрой воздержанностью и большой личной в ы с о т о й...

Специальным исследованием Учения Платона об идеях достигнут результат, удовлетворяющий давно существующую в этом общественную потребность, попытки получения которого долгое время не удавались специалистам, что соответствует требованию изобретательского уровня, в частности: индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений [селективное изобретение], но не описанное, как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Сугубица есть сводное, обобщенное изложение четырех учений: о числе Тота, из Китап аль-Айн, идей Платона, Книги перемен. Таким образом обнаруживается долговечная по природе Азбука. Ее "Буквы". Первопричины совпадения бытия и мышления.

Владислав АБДУЛА

Я ВИДЕЛ АНГЕЛА…

МИМОЛЕТНОЕ

Улыбнись еще раз, подари мне немного забвенья.
Дай мне время считать про себя до пяти —
Чтоб поверить в любовь и забыть все сомненья
В нереальности этой минуты судьбы...

* * *

Я видел ангела.
Стоял он предо мной в одеждах белых,
шелестя крылами,
и взор его печальный
проник мне прямо в сердце.
Сквозь слезы я спросил:
«Как счастье мне узнать?»
Он не ответил.
Лишь только в руку мне
вложил горящую свечу
и в воздухе растаял.

* * *

Я, наверное, скоро проснусь...
Дай мне, Господи, силу и твердость
На дороге по имени «грусть»
Сохранить сумасшедшую скорость.

Дай мне, Господи, веру в себя,
Чтоб на том вираже не разбиться,
Дай мне снова у видеть Тебя
Сквозь любимые, близкие лица.

Я в душе сохраню этот свет
И надежду на новую встречу…
Только, Господи, выбора нет:
Я лечу своей боли навстречу.

* * *

Юлии П. — навсегда

Изменяется Время.
Весенней капелью,
Одинокой собакой,
        блуждающей в парке,
Дуновением ветра,
Улыбкой Данаи,
Тихим светом Луны
        в заколдованном небе...

Совершается Вечность.
Симфонией жизни,
Одиночеством смерти,
        безмолвным покоем.
Открываются двери,
И нет больше боли,
        не слиянной с любовью…
И звезды — близки.

Андрей ОШНУРОВ

ДУХ БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ОШИБОК

Отклик на « Трактат из романа» Всеволода Глуховцева
(Сутолока. 1998. № 4-5)

«...почему абсолютно добрый Бог-творец, творя миры, творит их так, что где-то, пусть в одном из них, возникает зло?»

В самой постановке вопроса выявляется неправильное понимание термина «Бог» и непонимание того, что мир находится в состоянии созидания, а не в законченном виде. Человеку, созданному по подобию божьему, назначена роль продолжить созидание. Бог — это идеальный Дух, не имеющий противоречий и ошибок. Человек — это несовершенный дух, имеющий ошибки. Бога никто не видел, он не существует в материальном воплощении. Дух организует материю. Если вы скажете, что раз дух нематериален, то он не существует в реальном мире, но ведь программы для компьютера тоже нематериальны. Дух содержится на материальных носителях и не существует вне материальных носителей. Даже клетка существует только потому, что внутри нее есть информация, которая не дает распадаться отдельным компонентам и удерживает их. Эта информация содержит программу развития. Когда программа исчерпывается, клетка стареет и умирает. В отличие от клетки и от животного человек кроме физиологической программы способен сформировать в себе духовную программу развития. Если ему удается это сделать, он попадает в «Царство Божье». Это происходит не после его физиологической смерти, а при его жизни. Все мировосприятие такого человека изменяется.

Термин «Царство Божье» следует понимать как состояние сбалансированной психики человека, которая в идеале не находится в противоречии с законами внешнего мира, а в реальности имеет мало противоречий. Технология достижения этого состояния зашифрована во многих религиях. В «Новом Завете» описаны упражнения по наращиванию духовного потенциала.

Зло — это ошибки, которые исправляются в процессе развития и зарождаются вновь на новом витке развития из-за несовершенства человеческого духа. Зло паразитирует на Добре, без Добра зло существовать не может. Если в какой-то отдельной точке пространства побеждает зло, то затем оно пожирает само себя и там образуется пустота (ни Добра и ни зла).

Сатана — это падший ангел. Именно бывший ангел. Потому что достигнуть определенного уровня духовного развития может только ангел. Сатана — это тот, кто взлелеял внутри себя похоть (ошибку в развитии психики). Когда ангел стал сатаной, то развитие его прекратилось. И он обладает только той силой, которой достиг в тот период, когда был ангелом.

Человек создан по подобию Бога. И человек — это единственное существо, которому позволено нарушать Закон Божий. Человек должен добровольно соблюдать этот закон. В процессе своего развития он должен постичь

этот закон и прийти к пониманию необходимости его соблюдения. Но чтобы быть способным в полной мере соблюдать этот Закон, надо иметь сильный Дух. И Дух надо вырастить внутри себя. Бог всесилен. Он побеждает всегда, но ему надо время, чтоб победить. В силах человека сократить это время или удлинить его.

Утверждение, что «зло исполняет определенную положительную функцию, оно дает аборигенам падшего мира возможность сравнения его с Добром...», — неверно. Это все равно, что сказать: «ошибка полезна, потому что дает возможность проявить Истину». Конечно, «ошибка» и «Истина» — противоположные понятия, но для существования «Истины» ошибка не нужна.

Не нужно зло для проявления Добра.

«Зачем он, Бог, творит мироздание, если знает, через какое горнило страданий предстоит пройти кому-то из его созданий?..»

Страдание — вещь субъективная. Вы страдаете от потока холодной воды, которая льется вам на голову. Затем вы узнаете, что холодная вода закаляет ваше тело — и вот вы уже сами льете эту воду себе на голову и испытываете от этого удовольствие. А если вы страдаете, защищая Истину, то вспомните, что, терпя такие страдания, вы укрепляете свою Душу. А когда ваш Дух окрепнет, то для вас не будет страданий в этом мире.

Сергей С. ШАУЛОВ

ДВОЙНИКИ РАВИЛЯ ИСКАНДАРОВА

Отклик па книгу Равиля Искандарова «Пять странных историй» (Уфа, 1998)

Время действия рассказов Равиля Искандарова простирается от восьмого до двадцатого века. Или, может быть, от двадцатого века до восьмого? Ничто в этих «странных историях» не имеет четкого направления. Времена сливаются, заменяют, вытесняют друг друга, и герой, проснувшись, оказывается иногда в совершенно иной эпохе. Конечно, сам по себе этот художественный прием давно стал банальным, но в данном случае интерес вызывает не он.

По собственному признанию автора, все в его сочинениях «идет от нашей родной прозы», «принадлежит русскому», даже если в рассказе речь идет о событиях 8-9 веков в еще варварской Европе («Странствия Лоэгайрэ»). Исторический антураж, тем не менее, выглядит очень правдоподобно, восстановлен иногда даже до мельчайших подробностей. Однако сознание героев целиком принадлежит двадцатому веку, его закату. Разъединение, разрыв сознания и реальности — основная тема цикла «Пять странных историй». Отсюда — столь характерные лля русской литературы мотивы двойничества и самозванства.

В этом смысле ключевой рассказ сборника — «Странствия Лоэгайрэ». Эта стилизация под средневековую литературную исповедь, несмотря на послесловие автора, прежде всего заставляет вспомнить не «нашу родную прозу», а классиков жанра: Августина Аврелия и Пьера Абеляра. Однако принц Лоэгайрэ (он же монах Лигарий, он же святой отшельник Дементий Хризоком) качественно отличается от героев «Исповеди» и «Истории моих бедствий». Постоянно меняя имена и личины, становясь то монахом, то заговорщиком, то каббалистом и чернокнижником, то отшельником, Лоэгайрэ проходит по самой поверхности Бытия, не касаясь его смысла

Автор убедительно строит модель современного игрового сознания. «Человек играющий» в любой из своих ролей — самозванец или двойник, он присваивает или дублирует чужую, уже сбывшуюся жизнь. Более того, в современном мире ничто больше не может быть воспринято как подлинное — об этом рассказ «Слово, забытое в августе».

Ольга Олеговна, главная героиня, не признала в эвакуированной из Москвы старухе (время действия — август 1941 года) Марину Цветаеву. Подлинное принимается за подделку, стихи поэтессы самозванно подменяют ее естество. Настоящее Слово убегает, не дается просто так, задаром: «Стихи, написанные так, должны были высосать всю кровь у той, что их написала». Вместо Слова на пути попадаются ненужные и пошлые словеса и словечки. Именно это и происходит в финале с Ольгой Олеговной, вспоминавшей Цветаеву, а вспомнившей ГКЧП. (Подобные абсурдные совмещения идей и образов давно стали общим местом современной литературы).

Подлинное время тоже распадается, теряется в своих двойниках и отражениях. Герой рассказа «Парк» незаметно переносится из нашего времени лет на пятьдесят назад, в эпоху расцвета СССР, «давно, казалось бы, погибшей Атлантиды». Какой из этих двух миров реален? А какой — только морок, обман?

Ответа на этот вопрос автор не дает, оставляя читателя теряться в догадках, путаться в подлинных и самозванных словах, в поисках истины — существование которой в нашей реальности проблематично. Можно назвать это постмодернизмом, а можно бегством богов, но, путаясь в терминах, мы только создаем новых двойников и самозванцев, нисколько не приближаясь к Слову, «забытому в августе».

Сергей М. ШАУЛОВ

МОЙ ПРОТОТИП

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ,
или ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОСТОТА

Остерегайтесь также святой простоты!
Все для нее нечестиво, что не просто;
она любит играть с огнем — костров.
Фридрих Ницше

Нам казалось, что будущее нам дано
В наших схемах по нашим лекалам.
Мы историю взяли, содрав заодно
До костей, что ее облекало.

Покрывала религий, поэзии, музык,
Философий — сдирали, как кожу,
Вырывали глаза, выжигали язык,
Нам ведь было чем проще, тем гоже.

Как расчетливый и похотливый Эдип,
В вожделенье добраться до сути,
Не смущаясь, мы правили всякий изгиб,
Вековечный, в угоду минуте.

И она обессилев и кровоточа,
изумляясь своим порожденьям,
Как безумная мать, солдатне Ильича
Отдавалась с ответным влеченьем.

Хаос оргий таких не видал отродясь:
Утопая в кровавой окрошке,
Мы вершили свою беспримерную связь,
Царства в карте стиравшие сошки.

Что ж теперь-то?
Лекальщик в стеклянном гробу,
Зашлифованный в траурный мрамор, —
Не поймешь по усохшему узкому лбу,
Он доволен ли сыгранной драмой.

И чего ж мы достигли в своей простоте?

Вот и век промелькнул, словно не был.
Завтра только читатель ученых статей
Будет знать, что мы — явь, а не небыль.

ГРОБЫ ПОВАПЛЕННЫЕ
молитва о прощении строителей коммунизма

Горе вам.., что уподобляетесь окрашенным гробам,
которые снаружи кажутся красивыми,
а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;
...вы сыновья тех, которые избили пророков;
Дополняйте же меру отцов ваших.
Евангелие от Матфея, гл. 23

Прости их — их ограбили,
Им выбили глаза.
Для них гробы повапили,
Отняли образа.

С тех пор они, убогие,
Творили, что велят
Им пастыри двурогие,
Ведущие их в ад.

Их башня Вавилонская
Росла не ввысь, а вглубь.
Их знамя — грива конская
Ценой в железный рупь.

Всю жизнь станки печатные
Вколачивали в мозг
Химеры кровожадные,
Как в разогретый воск.

И вбили правды спорные
До памяти в бреду.
Но душеньки их скорбные
Ведь чувствуют беду.

Воздастся ли по вере им —
И обратятся в прах,
Вослед иным империям
В повапленных гробах?

Ни умиротворения?
Ни в Слове просиять?
Ни горького прозрения
Изведать благодать?!

Им силы для страдания
Давала цель вдали
Да поза назидания —
«Народам всей Земли».

И вот почти построили
Мир глада и войны.
И души смотрят Троями —
Пусты и сожжены.

Так хоть бы причаститься им,
У края ризы пасть,
Вдохнуть, светлея лицами,
Живительную власть!

Прости же их, ограбленных,
Беспутных, злых, больных,
И от гробов повапленных
Отвадь, о Боже, их.

Хоть перед смертью вечною
Пусть схлынет жар со лба
И скорбью человечною
Пометит их судьба.

ЗАРОК

Не зарекайся от сумы,
Не зарекайся от тюрьмы,
От жизни долгой и скупой,
От возвращения домой,
Когда — уже в конце пути —
Поймешь: не стоило идти.

От слепоты и глухоты,
От вороватой простоты,
От полусогнутых колен,
От самых низменных измен,
От косноречия и от

Убогих жизненных забот,
Которыми любой живет,
От неожиданных гостей
И самых страшных новостей,
От муки, жгучей и немой,
С которой нет пути домой, —
Не зарекайся, ибо там,
Где тесно прожитым годам,
Поймешь с их трудной высоты:
Все, от чего зарекся ты,
Исполнилось. Все это — ты.

Когда бы знать, принять зарок
От легкой смерти в нужный срок.

ПОЭЗИЯ

Здесь поражений больше, чем побед.
Победы редки. И триумфы кратки.
Они не возмещают многих лет
Мучительной и безысходной схватки.

Мешают рифмы: пистолет — поэт...
Пусти в строку, и будет все в порядке,
Как пустота в серебрянкой облатке,
Где шоколадки и в помине нет.

Уж лучше ты, отчаянный разлад
Меж слова бытием и словом быта.
Все, что в душе убито, — не забыто.
Что не вошло в нее, — то мнимый клад.
Здесь каждый в праве на свое корыто.
Оставьте мне мой горький шоколад.

ШАУЛОВ, ЕГО СТИХИ И Я

Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.
Хорхе Луис Борхес. Борхес и я

Это все не собственно я —
Прототип мой, тоже — Шаулов.
В пору ту, когда в пах шлея
Больно раз-другой захлестнула.

Онемевший его двойник...
Вагабунд и рубаха-парень.
Он, воронежский озорник.
Был местами высокопарен.

Рвали сердце любовь и гнев,
Чужеродность гнала пинками.
Но, занюхав, порой — заев,
Он отстреливался стихами.

Он швырял в них слова, как псих.
Зная: им — не публиковаться.
Я теперь публикую их,
Перелистывая лет за двадцать[15].
Я не то чтобы «на коне».
Скажешь разве: «Не так уж плохо».
Но, оставив все это мне,
Он ушел со своей эпохой.

С ненавистной, нудной, тупой,
Лицемерной и вороватой,
Но, по-видимому, родной —
Породившей его когда-то.

Но ушел он, как жил, — в себя.
Ждет меня протолкнув наружу,
Нервы дергая и скребя
И посмеиваясь к тому же.

Наше время — отнюдь не мед.
Кот наплакал — вестей хороших.
Если уж стреляют влет, —
Продают тебя ни за грошик.

И когда, после стольких лет,
Я негаданно нарываюсь
На цензуру, которой нет,
Он толкается, оживляясь.

[15] Впрочем, скоро и тридцать лет.
А помедлишь – накрутит сорок.
Все равно, оберткой котлет
Обернется в свой срок весь ворох.
1998

И я чувствую эту жизнь,
Обретаю свою пропажу:
— Ну-ка, старый, посторонись,
Дай-ка я им еще раз вмажу!
1993

Джек РОЗЕН

МИФ О ЧЕМЕРИЦЕ

Из Плутарха, но по Зощенко

Сказывают, был в римском сенате такой обычай: ежели какой сенатор проштрафится или морда его другим сенаторам вдруг покажется паскудной, давали тому сенатору съесть всухомятку корень чемерицы, это трава такая ядовитая. Причем, без соли и хлеба. Фашистский такой обычай.

И был в том сенате в каком-то таком веке, когда еще Христос под стол пешком не ходил, такой сенатор Тит Лукреций. Шебутной такой мужик, все народ баламутил против республики. Супротив демократии, понимаешь... Твердой власти хотел. Чтобы, значит, не воровали все, кому не лень.

И было еще у того Тита прозвище — Сцевола это левша значит. Нет, это не тот Сцевола, что руку свою, дурак, на медленном огне сжег. Этот Сцевола был умный и ничего своего не сжигал: ни руки, ни ноги, ни еще чего. Просто или с перепою, или с похмелья парализовало правую руку бедолаге, да так она у него и висела всю дорогу. Даже на пленарных заседаниях сената, когда решали, куда поставить точку над «і».

Терпели, терпели сенаторы тоталитарную брехню Тита да и сговорились той чемерицей Тита накормить. Бесплатно. За счет налогоплательщиков.

Собрались сенаторы на очередное заседание. И подходит тут к Титу главный брехун сената, «спикер» по-нашему, и обращается к нему так важно, с церемониями:

— Слышь, Тит, мы тут с братвой побазарили и решили, что хватит и тебе небо-то зря коптить. Кислород, слышь, не казенный. На всех может и не хватить.

Тит, ясно-попятно, все понял, и сразу ему стало скучно:

— Бить, што ль, будете?

— Не, мы же не фашисты какие-нибудь. Нам важно, чтобы ты сам все осознал. Демократично. Небось, не при тоталитарном режиме живем. На вот, мы тут сложились и купили тебе...

И вытаскивает из-за пазухи корневище чемерицы. Сочный такой. Аппетитный. Аж слюнки текут, как в столовке сената.

Титу стало еще скучнее:

— Помыли хоть?

— Не боись, два раза мыли. Сам ходил на кухню, проверял.

— Да неудобно как-то при всех одному-то жрать. Может, разделим по-братски, как-никак четыре года вместе работаем, не чужие, небось...

— Да мы только что из-за стола. Ешь, ешь, не стесняйся. Персонально для тебя доставали.

Тит почесал-почесал затылок, да и принялся за еду. Аппетитно так зачавкал. А сенаторы заняли свои места и принялись смотреть на Тита. Ждут, значит. Переживают.

— Гляди, ест.

— Ясное дело, ест, ежели зубы есть.

— А че он? Гляди, и съел уже.

— Факт, съел.

— Слышь, морда, ты не морковку ему принес?

— Ну, морковка вроде красная.

— А че он съел да еще облизывается?

— А че ему еще делать? Наелся, значит. Сыт.

— А-а-а!.. Ребята, у него правая рука зашевелилась!

— Ух, ты!.. И подымается, как... у Юпитера!..

Пока сенаторы галдели. Тит себя совсем человеком почувствовал и начал махать правым парализованным кулаком, как эллинский чемпион из Олимпии. Выхватил он из потайного кармана римскую финку и вышел на середину Сената:

— А ну, суки позорные, выходи один на один!..

Сенаторы, естественно, смутились, неудобно им стало. Засуетились. А еще неудобнее стало спикеру. Тога промокла, и сидеть стало несподручно. Он, дурак, и встал. Тут сенаторы обрадовались и вытолкали спикера к Титу на разборку:

— По обычаю положено: раз встал, иди и сам говори с этой гнидой. Раз морковкой накормил. Хи-хи-хи...

Пошел спикер на разборку и говорит Титу:

— Слышь, Тит, кончай ты это. Не на улице небось, чтоб поножовщину устраивать. Тут сенат, понимаешь, а не сортир.

Сенаторы слегка осмелели и тоже стали погавкивать с мест:

— И то, Тит! Лучше бы помер, а?

— Титок, братан! Че колбасишься? Дай дуба! Делов-то... У приговоренного лицо стало зеленым:

— Это мне?! Дуба? Вам самим дуба! Под хвост!

В тот же миг сенаторы увидели, что лезвие финки полностью оказалось внутри спикера. Спикер вздохнул, процедил сквозь зубы: «Да ну вас, дьяволов», — крепко осерчал на жизнь, улегся на пол и помер. Сенаторы посмотрели на труп и принялись стыдить Тита:

— Че хулиганишь-то, Тит? Человек, небось, — не дерево...

— Это если в каждого ножик сувать, сенаторов не напасешься...

— И то... Эдак ты, Тит, один на один с народом останешься, а он-то знает, за какое место тебя повесить. Тит не стал слушать ораторов, побелел лицом, сел на корточки возле трупа и принялся усердно икать.

Сенаторы заботливо замолчали, скучковались, как хоккеисты перед матчем, и стали совещаться.

— Ишь, икает...

— Факт. Небось, не колбаску съел.

— Может, в столовку за молоком сбегать?..

— Нельзя. С молока диарея прошибет. Насвинит на президиум, оттирай потом благовониями.

— А может, вина неразбавленного?

— Помрет он с неразбавленного. Не сапожник же какой-то...

— А если спикером его выбрать?

— И то правда! Глядишь, к вечеру и помрет..

Пока сенаторы совещались, вице-покойник отошел от икоты и снова было взялся ругать демократию, но тут выяснилось, что у Тита парализовало челюсть. Этот факт сильно озадачил сенаторов и поставил под вопрос спикерство обер-трупа. Но Тит так убедительно махал римской финкой, что сенаторы махнули руками, как в амфитеатре, и единогласно выбрали Тита спикером. Может быть, из-за этого он к вечеру и помер.

Светлана ШАМАРОВА

ДВУЯЗЫЧИЕ

* * *

Деревья в инее, в снегу,
А я на дальнем берегу.
Мечусь в круговороте жизни.
А где-то иволга поет.
И розовые блики дня
Ложатся тенью на меня.

* * *

Ты уехал — и стало пусто
На душе моей, словно в аду.
Ты уехал — в памяти грустно:
Мы были с тобой в саду.
Каждый шорох и каждый стук —
Это ты и моя душа.
И свечи мерцающий звук —
И тени пляшут, не спеша.
Ты уехал — я жду твоего возвращения,

Лучик света, столь долгожданный.

* * *

Опять 38.
Опять сильный жар.
На улице осень,
А в сердце пожар.
Опять моросят дожди.
А северный ветер стучится в окно.
Стучится, стучится в бескрайнюю даль.
Уносит с собою мою всю печаль.

Нижеследующие стихотворения написаны по-английски.
В правой колонке — подстрочные переводы.

* * *

The crystaíwas broken,	Хрусталь был разбит,
My soul was open.	Моя душа была открыта,
Its strings were strangled	Ее струны ослабли,
And lost in two angles.	Две из них потерялись в двух углах.
My heart is aching,	Мое сердце ноет
Misled and awaken.	В заблуждении. Его разбудили.
My love is far away	Моя любовь — далеко
And cannot make my way.	И не может идти по моему пути.
My inner sight is blind.	Мое внутреннее зрение слепо,
Though premonition's right.	Хотя предчувствие право.
My thought is in the cage.	Моя мысль — в клетке,
My tenderness is rage.	Моя нежность — в ярости

* * *

It's minus forty outside,	На улице минус 40,
But I'm, my dear friend, all right.	Но со мной, мой милый друг, все хорошо.
Last winter love still keeps me warm.	Любовь прошлой зимы все еще согревает меня.
I'm even hot... the hottest storm.	Мне даже жарко... Самая страстная буря.
Do you remember me, my name?	Помнишь ли ты меня, мое имя?
If you could help to feel the same...	О. если бы мог чувствовать то же самое...

MERRY CHRISTMAS (СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА)

The Christmas time approaching
Will bring you Christmas dream.

And Father Frost for feasting
Will make a snowy cream.

The ground will be covered
With sweets and guivy cakes.

And our souls discoverd
And calmed by snowflakes.

Tree decorations swinging
Will tell you: "This is true";
And Chrisunas Star is singing
And Penetration through...

Bright lights and dear toys
Reminding you of childhood...

And faithfulness — and Vision's Voice
Thanks to Christmas brotherhood
And winter flowers will be the same
And wannest feelings of Hope
Will inspire your heart to live again
And Providence Voice will grow!

Приближающееся время Рождества
Принесет тебе Рождественский сон.

А Дед Мороз для угощенья
Приготовит снежный крем.

Земля будет покрыта
Сладостями и слоеными пирожными.

И наши души — раскрыты
И успокоены снежинками.

Елочные украшения, раскачиваясь.
Скажут тебе: "Это правда",
И Рождественская звезда запоет
И пройдет через душу...

Яркие огни и малые игрушки,
Напоминающие тебе о детстве...

И преданность — и Голос Предвидения
В хоре Рождественского братства,
И зимние цветы будут прежними,
И самые теплые чувства Надежды
Вдохновят твое сердце жить вновь,
И Голос Провидения станет громче!

REVIVAL OF LOVE (ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ)

I felt the revival of love.

It was in the image of Dove.
Which came to me to the north.
Endowed me with the force.
It wasn't a spook or a ghost.

It siezed up my heart to host.

Я почувствовала возрождение любви.

Это был Голубь,
Который прилетел ко мне на север.
Наделил меня силой.
Это был не дух и не призрак,
Но он завладел моим сердцем.

Он поглотил мои мысли, чтобы

It swallowed my thoughts to gain...
My nature and life again.
It made me write verses and sing.
But how I'll manage with this
closed ring...

завоевать
Мой мир и жизнь…
Он заставал меня писать стихи и петь.
Но как я выйду из этого замкнутого круга?..

* * *

I feel I will see the Star
Which will show me the Light,
Which will get through the Night
And will open my Sight.

Я чувствую, я увижу Звезду,
Которая даст мне Свет,
Который проникнет сквозь Ночь
И усилит мое Зрение.

I will see a sea of sensations
Covered by tenderness of dream,
A Stream of Love fascination
Love of colourful music sensation.

Я увижу море ощущений,
Покрытых нежностью Мечты,
Поток Любовного очарования,
Любовь с ощущением цветной музыки.

Flowers in my mind will be in ice
of suspicion
And my hopeful admission
Will be conquered by Fire of passion
And inevitable obsession.
I have been born for your life.
Please, believe me, my Lord,
I'm your providential wife...

Цветы моей памяти будут во льду
подозрения
И мое обнадеживающее допущение
Будет побеждено огнем страсти
И неизбежным наваждением.
Я рождена для твоей жизни.
Пожалуйста, поверь мне, мой Господин,
Я твоя жена, ниспосланная провидением...

We are meant for each other, my God.

Мы предназначены друг для друга, мой Бог.

SPRING WIND (ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР)

Spring wind has rushed into my soul,
Overwhelmed and crushed
All my world — the whole.
Penetrated into my words
And ran away towards —

Весенний ветер ворвался в мою душу.
Заполнил собой
Весь мой мир — все целое,
Проникнул в мои слова;
И бросился к —

	Моим чувствам и поступкам,
My feelings and actions	Ко всем привычкам и привязанно-
And all inside affections.	стям.
Imagine that in January sunny weather	Представь себе, что в январскую солнечную погоду
Lots of flowers saw us together.	Множество цветов видели нас вме-
How can it be that	сте.
	Как это может быть, что
Love was born in winter!	Любовь родилась зимой!
Then let it be —	Тогда пусть будет так —
My life was born in winter!	Моя жизнь родилась зимой!

ST. VALENTINE'S DAY (ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА)

This is a holy day.	Это святой день.
Our soul like in May.	Наша душа подобна маю.
Words of Love and words of Dream	Слова любви и слова мечты —
Are the feelings of lovely Stream.	это чувства чудесного потока.
A holy man called Valentine	Святой по имени Валентин
Said once "Let the sun shine!"	Однажды сказал: "Пусть солнце светит!"
The sun for all beloved	Солнце для всех любимых,
That warms the love above it.	Которое согревает любовь над лю-
Sweethearts, catch love and caress again.	бовью.
Sweethearts, let's memory retain.	Влюбленные, ловите любовь и ласку вновь.
A sweet wind is blowing from the Paradise.	Влюбленные, давайте память чувств сохраним.
I perceive it in your happy eyes.	Душистый ветер дует из Рая.
St. Valentine sends his cards with hearts.	Я чувствую его в твоих счастливых глазах.
	Святой Валентин посылает свои открытки с сердцами
Asking Cupid to forward his love with shafts.	И просит Купидона направить в них свои стрелы —
	свою любовь.

Михаил ПРАВДЮК

ЛИШЬ ЗЕРКАЛУ ДОВЕРИВ ОТРАЖЕНЬЕ

* * *

Фактура тела беззащитней,
Чем призрак вечности сильней.
Чернила в белизне бумаги
Сплелися линией ветвей.

В раздумье кадра кинопленки
Нетвердый ускоряет шаг
Твой сон, прерывистый и ломкий,
Твоя смущенная душа.

* * *

Сплетенье тел в обрывках суеты
Плывет над чашей сумрачного мира.
Незыблемы сожженные мосты
И намять, облаченная во мрамор.

Ты закрывала двери бытия,
Лишь зеркалу доверив отраженье.
Во тьме зрачка безумие тая.
Во тьме веков уснул стеклянный город.

* * *

Идентификация полета.
Идентификация распада.
Нас в раю встречает черный кто-то,
Помещая в звездность водопада.
Осыпаясь, маски золотые
Обнажают мерзостные лица.
И, эффект присутствия усилив,
Мы спешим внезапно затаиться...

СОДЕРЖАНИЕ

Станислав ШАЛУХИН. СТИХИ ОБ ОДНОМ ИЗ МГНОВЕНИЙ.....1
Станислав ШАЛУХИН. ЕЩЕ ОДНО СУЩЕСТВОВАНИЕ (послесловие к стихам).....6
Рустам ИЛЬЯСОВ. ПИСЬМА ПЕРЕД СОЖЖЕНИЕМ.....10

Роберт БУРАНГУЛОВ. ВСЕГДА ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ АЗБУКА.....14
Владислав АБДУЛА.Я ВИДЕЛ АНГЕЛА.....20
Андрей ОШНУРОВ. ДУХ БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ОШИБОК.....21
Сергей С. ШАУЛОВ. ДВОЙНИКИ РАВИЛЯ ИСКАНДАРОВА.....22
Сергей М. ШАУЛОВ. МОЙ ПРОТОТИП.....26
Джек РОЗЕН. МИФ О ЧЕМЕРИЦЕ.....30
Светлана ШАМАРОВА. ДВУЯЗЫЧИЕ.....32
Михаил ПРАВДЮК. ЛИШЬ ЗЕРКАЛУ ДОВЕРИВ ОТРАЖЕНЬЕ.....35

На 1-4 стр. обложки, а также 8, 9,12,13, 23-25 стр. — работы уфимских художников
с выставки "ЭКСЛИБРИС

городской клуб писателей и читателей
СУТОЛОКА

наш журнал выходит в рамках совместного проекта
Централизованной системы массовых библиотек города
и редакции газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА",
но является формой самиздата.

Редактор-составитель - Александр КАСЫМОВ:
(3472)22-04-01.
Почтовые отправления адресовать:
450079, Уфа, ул. 50-летия Октября, 13,
3-й этаж, редакция газеты "ВЕЧЕРНЯЯ УФА".

Тираж — ограниченный.
Сутолока
Уфа/1999/№ 2-3 (13-14).

СТАТЬИ

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ С ЛАУРЕАТОМ
Протокол одного заседания

На правах саморекламы

Здесь, видимо, нужно описать обстановку. Мы оказались в очень интересном месте. Каминный зал. Стены, выложенные красным кирпичом с закруглениями по углам. Валентина Кузнецова, посмотрев на эту, как она сказала, коробочку, размечталась: как, мол, хочется сюда вазочку, а сюда тарелочку... Известный художник-керамист Валентина Георгиевна даже на чаепитии в акционерном обществе «Теастан» продолжала – правда, мысленно – заниматься делом своей жизни. Искусством. Да и мы, все остальные, пришли в уютный дом чая тоже ради искусства, но – искусства слова. Наша церемония была затеяна для того, чтобы литературная премия «Вечерней Уфы» за 1996 год обрела хозяина.

Любите ли вы премии? Да кто же их не любит! - воскликнет читатель. Особенно, когда какая-нибудь из них лично тебе обломится... Но мы-то в редакции придумали высокую награду не для того, чтобы стимулировать чью-то корысть. А совсем напротив. Мы хотели поддержать ручеек литературно-художественного творчества и, возможно, поддержкой своей превратить его в реку. Мы хотели, выбрав лучшее из того, что было опубликовано под рубрикой «Литальманах», наградить автора произведением искусства и, если получится, наградой этой стимулировать рождение новых шедевров...

Стало быть, собрались мы в замечательном месте с совершенно замечательной целью – поговорить об искусстве. Пришли авторы и друзья литературной странички «Вечерней Уфы». И прошлогодний лауреат Айдар Хусаинов в первых рядах. Потому что в прошлом году премия была, но церемонии не было. Не было чая от «Теастана». Не было вкусовой гаммы, которая помогла бы понять, есть ли у тебя вкус художественный. А в этот раз мы все пробовали и пробовали ароматный напиток и все говорили и говорили о литературе...

...Чтобы валил. Пусть буран закроет перевалы и бушует неделю, - тогда отменят, перенесут, забудут... Снег, действительно, валил в этот весенний день. Но пробки на дорогах не помешали прийти всем. И вот уже редактор газеты и автор произведения-приза Валентина Кузнецова вручают его Игорю Фролову, написавшему рассказ «Перед снегом» («Вечерняя Уфа» от 14 ноября прошлого года, полужирным в данном репортаже – цитаты из Фролова). Приз этот не опишешь словами. Хорошо, что есть фотография, на которой лауреат и премия вместе.

Игорю Александровичу тридцать пятый год. Закончил авиационный институт. Воевал в Афганистане. Закончил медицинский институт. Работает врачом-рефлексотерапевтом. «Перед снегом» - его первая публикация.

И вот как раз о свободе печататься говорили почти все участники чайной церемонии.

Самое квалифицированное мнение прозвучало из уст генерального директора издательства «Слово» писателя Шамиля Хазиахметова.

- Мы, например, очень хотим издавать стихи, - сказал Шамиль Сафуанович. – И так, чтобы деньги платили не авторы, а мы им, Но очень трудно найти спонсора. Приходишь в банк: «Помогите с изданием книги». Как узнают, что речь о стихах – сразу отказывают…

Проза Игоря Фролова, действительно, очень поэтична. И видимо, для ее издания тоже будет трудно найти спонсора. Но собравшиеся были единодушны хотя бы в том, что свобода творчества, свобода слова – великое благо, даже если они дорого стоят. Все-таки партийная цензура – не сравнима с нынешней, финансовой. По всем статьям.

Итак – что ждет меня, лишенного чуждых мне перспектив? Я останусь один, и все будет, как было – но теперь я уже не сомну этот лист, как предыдущий. Литература – занятие, безусловно, одинокое. Но в какой-то момент мне все-таки показалось, что за чайным столом возникла некая художественная, да и чисто человеческая общность. Очень разные – биографически и литературно – наши авторы уяснили себе и сказали об этом вслух: место встречи изменить нельзя. «Литальманах» (не премия, но страничка) - одна из немногих в нашем городе возможностей участвовать в диалоге с читателем.

Я придумал такое слово: типомания, то есть страсть к печатанью. Нездоровая, прямо скажем, страсть. Каждый день почта приносит в редакцию стихи, которые не стихи, и прозу, которая не проза. И вот, прихлебывая чай от «Теастана», я думал о том, что нам удалось главное: за столом в «коробочке» собрались те люди, которые через год-другой, хочется верить, будут определять лицо русской литературы в Башкирии. Ни одного графомана, ни одного типомана. Ай да мы! Да и, кроме того, как вкусен кенийский чай под стихи, к примеру, Андрея Юдина в каминном зале. Даже если дрова не зажжены, потому что на улице снег и ветер, а камин в такую погоду дымит... И возможно, теперь даже читатель не сомнет лист с «Литальманахом», как предыдущий...

Александр КАСЫМОВ
Вечерняя Уфа. 1997. 25 марта.

В ЗВОНЕ СУТОЛОКИ НОВОЙ

Признаюсь с некоторым смущением: о выходе аж пятого номера русского литературного журнала «Сутолока» я узнал из небольшой информации Айдара Хусаинова, помещенной не где-нибудь, а в «Литературной газете». Узнал о том, что «читатели дружно голосовали рублем, спрашивали, когда выйдет следующий, на что редактор-составитель журнала – известный в Уфе литературный критик Александр Касымов отвечал: «Не беспокойтесь».

Вот такие пироги.

Можно лишь приветствовать появление такого издания за неимением солидного русского литературного журнала, за который все мы бьемся не первый год, но, как говорится, увы и ах! Ничего, что «Сутолока» невелика по объему, - я насчитал всего 16 страниц – мал золотник, да дорог. А пятый номер особливо дорог еще тем, что открывается стихами покойного поэта Александра Банникова, чье творчество, несомненно, является ярчайшей страницей в поэтической летописи нашей республики. Это признается всеми уважающими себя поэтами – и именитыми, и по-молодому авангардными, по закону диалектики видящими в этих самых «именитых» консерваторов, мешающих бурному движению юных талантов.

Судьба Саши Банникова не просто драматична, но и трагична: Афган, откуда он вернулся с соответствующим синдромом, башкирская провинция (Караидельский район), где он жил и работал по возвращении на родину, ранняя смерть – в 35 лет. Однако именно афганская война слепила его как поэта – импульсивного, раздираемого противоречиями, яростного. Но при этом – по-философски мудрого в каждой строчке, каждой строфе (да простятся мне эти банальные определения!). Недаром, едва попав на глаза сотрудников «союзных» журналов «Урал» и «Знамя», они тут же были опубликованы на их страницах.

Не собираюсь не только подвергать стихи Банникова, напечатанные в пятом номере «Сутолоки», хоть какому-то анализу, но даже давать им какую-либо пространную оценку. Могу лишь сказать: как бы высоко ни стал бы я их оценивать, оценка эта все равно не будет завышенной. Поэзия этого безвременно ушедшего поэта не может быть рассматриваема и, соответственно, оцениваема в плоскости нашей местной русской поэзии, она – из ряда высших ее проявлений, может быть, даже российского порядка, и в этом нет никакого преувеличения. Просто до нее еще не дошли руки тех критиков и литературоведов, которые определяют художественную шкалу русской поэзии. Но время такое придет. Меня же лично поражает интеллектуальный уровень этого поэта, его совершенно свободное парение в мировом пространстве, будь то человеческая история с ее инфернальными событиями и личностями, проникновение в суть человеческой души и плоти и самых обычных замет окружающей нас жизни.

Я уже не хочу о нетленном
        и вечном витийствовать.
Может быть, потому
        что созрел: из эклектики
наша общность – так
        сперме Онана библейского
по песку – жирным слизнем -
                до яйцеклетки
опостылевшей дщери Давида
        ползти околесицей...

Или:
Нервы мои — как негры
на древней галере.
Есть они, есть! Но восстали
и не гребут.
Роль капитана непосильна мне.
Верно,
из-за того, что кричать,
прикусивши губу,
никак невозможно...

Названный выше Александр Касымов не раз аттестовал стихи своего покойного друга в газетах «Вечерняя Уфа», «Советская Башкирия» и др. Аттестует он их и в своей книжке под вполне «авангардным» названием «Улетающий Обломов». «Существование одновременно в разных пластах геолого-археологического разреза, способность одновременно испытывать два взаимоисключающих ощущения (холода и тепла), умение умирать, живя, и жить, умирая, — такова трагическая оксюморонность Александра Банникова», - довольно парадоксально характеризует Касымов характерную черту творчества своего талантливого тезки. И с ним трудно не согласиться. И тут я хотел бы как можно органичнее перейти к книжке самого этого автора.

В прежние (скажем, брежневские) времена и «Сутолока», и «Улетающий Обломов», появись они на свет, считались бы небезопасным «самиздатом». Дух некоего самиздатства царит и в нынешнем их облике, хотя никакого особого бунтарства или конфликтного (с нынешним мироустройством) в них не замечается. Более того, автор «Обломова» как бы даже неожиданно (для меня, например) обращается к абсолютно классическим литературным героям – Чацкому и Илюше Обломову, которые застряли в зубах еще в наши школярские годы «изучения образов». Тут же помещены собственные стихи Касымова, публикацию которых, наряду с банниковскими, я считаю немалой смелостью.

В эссе «Переодевшись А.А.Чацким» автор как бы «раздевает» классическую (романтическую?) фигуру дворянина-мятежника, разоблачителя высшего света. В другом эссе – «Засаленный халат как символ свободы» оправдывается знаменитая леность героя романа Гончарова, лень эта представляется даже «признаком духовности». Никак не пытаясь входить в спор с Касымовым или даже ставить его умозаключения под сомнение (каждый волен иметь свое мнение – важно оригинальнее и как можно интереснее выразить это мнение!), я хочу только заметить одно: ведь романтический флер борца и изобличителя снял с Александра Андреича Чацкого еще Г. Товстоногов в своей знаменитой постановке «Горе от ума» с С. Юрским в роли главного героя. И произошло это, если память мне не изменяет, еще в 60-х годах. Как тогда возмущались интерпретацией не только самого Чацкого, но и Молчалина, Софьи и прочих персонажей. Ну и что? Проглотили. А почему бы не проглотить? На то ведь и классический образ, чтобы его толковать, как тебе забла-

горассудится. А вот, к примеру, в постановке Валентина Плучека той же пьесы в Московском театре сатиры Андрей Миронов создавал совсем иного Чацкого – воистину и борца, и обличителя. Как говорится, сам был свидетелем.

То же самое могу сказать и об Обломове.

Лень – это хорошо? Это – прогрессивно? Да ради Бога! По-моему, Обломов Олега Табакова в небезызвестном фильме Н. Михалкова получился вполне симпатичным и милым человеком. Мне лично это как-то все равно – злодей или милка, положительный или отрицательный. Главное, чтобы было высокохудожественно, западало в душу, будило сознание. Но разве не именно этим отличаются истинно классические произведения русской литературы?

К несомненным достоинствам эссе А. Касымова относится умение подать свое мнение читателю, их литературная (точнее – словесная) аранжировка, мастером чего, безусловно, является их автор, который делает очень важное и нужное дело, давно и упорно работая с молодыми авторами, безошибочно выделяя самых одаренных, защищая «опальных», настойчиво представляя на страницах республиканских газет сложных, малопонятных для рядового читателя стихотворцев.

А закончить эти заметки я хочу строчками Александра Касымова из стихотворения, посвященного Сергею Игнатенко:

Вода течет, но шелест
не измерить.
Измерив вдруг, нельзя
перепроверить.
И циферблат враз выгнулся
в спираль.
И стрелки утверждают:
время – даль.

И с этим никак нельзя спорить.

Только даль времени даст ответ на вопрос: кто сиюминутен, а кто вечен.

Насчет Александра Банникова она уже дала свой ответ.

Газим ШАФИКОВ
Вечерняя Уфа. 1997. 20 нояб.

ВИД НА БИБЛИОТЕКУ XXI ВЕКА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

«Вечерняя Уфа», приветствуя лауреатов ежегодной литературной премии, начинает свою культурно-просветительскую акцию.

Музеи и библиотеки – культура сохраняется именно в них. Сохраняется с тем, чтобы самое ценное – художественно и вообще духовно – передавалось

от старших младшим. «Книга, - сказал Александр Герцен, - духовное завещание одного поколения другому».

Понятен нынешний интерес к библиотекам. С одной стороны, пресса без конца сообщает о пожарах и наводнениях в книгохранилищах, о том, что там и сям библиотеки закрываются. С другой... Евгения Федоровна Ляшко, директор Центральной городской библиотеки, утверждает: «К нам хлынул мощный поток читателей». Этот поток вызван не только и даже не столько высокими ценами на книги в торговле. Главная причина в том, что увеличилась цена истинного знания. Работа в читальном зале стала необходимой частью профессиональной подготовки. Библиотеки испытывают потребность в энциклопедиях, справочниках, учебниках (и особенно, что говорит о переменах в обществе, - по гуманитарным дисциплинам). Читатели спрашивают толстые литературные журналы (хотя тиражи по сравнению с прежними временами низкие, читают журналы многие, и, кажется, число любителей «толстяков» стало увеличиваться)...

Все это – предисловие к тому, что наша редакция, вызвав бурю читательского интереса к "сокровищам домашних библиотек", решила обратить свой взор к библиотекам массовым, общедоступным. Каждый день требуется книга — помощник в делах, книга — попутчик и советчик.

Библиотека — это читатели, а у нас в последние годы все больше литераторов, обделенных читательским вниманием. Публикуясь в периодике, издавая книги за свой счет, нынешние писатели не всегда находят внимательную, сочувственно внимающую аудиторию.

Наша редакция решила принять посильное участие в решении этих проблем, объявляя акцию «Библиотека». Ее задача – соучастие в библиотечных делах, прежде всего – в формировании фондов. В рамках этой акции мы вместе с Центральной городской библиотекой, с отделом культуры администрации Октябрьского района планируем регулярные встречи авторов нашей рубрики «Литальманах» с читателями.

...Звучат фанфары: «Слушайте все!» Здесь, на ул. Комсомольской, 138, все это впервые. И трубачи из школы-гимназии имени Газиза Альмухаметова, и такое количество литераторов сразу. Редакция «Вечерней Уфы» передает городской и районным библиотекам книги, выпущенные нашими авторами: «Дыхание жгучее истории» Газима Шафикова, «Одолень-траву» Рима Ахмедова, «Тайны старого дома» Аллы Докучаевой... Теперь в библиотечных фондах будут и вышедшие как самиздат «Смотритель» Игоря Фролова, «Перевал Миллера» Всеволода Глуховцева, «Тихая проза» Игоря Максимова... Поставив перед собой скромную задачу, журналисты обнаружили, с какой готовностью откликаются на просьбу передать свои произведения в фонд городских библиотек литераторы. Чисто символическая акция превратилась в жест, если так можно выразиться, культурно-просветительский.

Художник Вера Шибаева поставила красивую точку – она передала библиотеке свое текстильное панно. Или, точнее, - красивое многоточие.

О том, что будут новые книги и новые картины, говорит вторая часть нашего мероприятия. В этот же день редакция «Вечерней Уфы» вручила свою ежегодную литературную премию. Учрежденная в январе 1996 года, наша премия стала знаком развития литературно-художественных традиций в городе. И замечательно, что в этот раз премию «Литальманах-97» (это – монотипия художника Ольги Самосюк) получил автор совсем молодой. Роберту Ибатуллину (литературное имя – Равиль Искандеров) 23 года. Закончив физический факультет Башкирского университета, он стал аспирантом. Его нынешняя специальность – древняя история. Нашей премией отмечены три рассказа Р. Искандарова: «Слово, забытое в августе», «Парк», «Узор ковра». Все эти произведения опубликованы под рубрикой «Литальманах «Вечерней Уфы».

Были поощрены поэты Андрей Юдин и Светлана Смирнова, прозаик Григорий Федоров. Выходящий при технической поддержке «Вечерней Уфы» самиздатовский журнал «Сутолока» вместе с художником Филаретом Шагабутдиновым учредил свою скромную премию – она вручена Гульсире Гиззатуллиной за рассказ «Богатырша» (лавры с автором разделил переводчик Айдар Хусаинов).

Кстати сказать, только что вышел первый номер «Сутолоки» за 1998 год. Из общего тиража (он теперь 250 экземпляров) часть безвозмездно передана в городскую библиотеку и 35 ее филиалов.

Премии, конечно, - не самоцель, но, может быть, при их помощи мы словно бы заглянули в библиотеку будущего века. Компьютеризация библиотечного дела (увы, с этим у уфимских библиотекарей – проблемы, как и с выходом в Интернет) – это все-таки только перемена инструмента. А вот превращение библиотечной системы в общегородской клуб – дело перспективное, тем более что на это не требуется дополнительных расходов. Было бы стремление. Стремление к сотрудничеству библиотекарей, читателей, писателей и журналистов...

Александр КАСЫМОВ
Вечерняя Уфа. 1998. 4 марта.

ИДОЛОЛОГИЯ И ЭСТЕТИК
(О поэзии и концепции журнала «Сутолока»)

1. Отталкивание от противного

Не то чтобы все стихи, которые А. Касымов публиковал в «Сутолоке», были совершенно профессиональными или, тем более, вдохновенными и нерукотворными. Скорее всего, касымовские авторы были просто менее зависимы от советской идеологии, от её реакционных стереотипов, насильственно насаждаемых в обществе идолов земной власти, идеалов, в жертву которым

были принесены многочисленные человеческие жизни за время существования СССР.

Хотя уже в книге книг Бог Авраама отменил мерзость человеческого жертвоприношения. Но исторический урок не был усвоен идеологами так называемого научного атеизма и коммунизма. Откат в «доисторические», дохристианские времена к идолам архаической веры следует назвать **идолологией**, стремившейся поглотить всю культуру в стране.

Что сказать об идеологии «научного атеизма»?

Во-первых. «Научный атеизм» в СССР вовсе не был ни атеизмом (в нормальном, нейтральном смысле слова), ни, тем более, научным. Он был насаждением «новой веры», «новым мифом» – как мы его уже назвали, «идолологией», абсолютизацией земной власти. И, под страхом наказания, предписывался всей культуре именно как новое слово в передовой советской науке. Но миф не может быть научным, он недоказуем, в отличие от научных истин, напротив, это – система верований. Если христианский миф – спасение человеческой души от смерти, постигшей тело, то идолология – это ад для человека уже при жизни (счастливы в аду только бесы). И если христианский миф, теология, истина о воскрешении Христа – это вера в спасительный исход человеческой жизни, в бессмертие души, то идолология – жуткий миф о жизни без истинной веры, без милосердия. Наука здесь ни при чём.

Во-вторых. Двадцатый век – действительно век великих научных открытий. И это имеет ограниченное, внешнее, техническое отношение к поэзии как виду искусства. Ведь наука оперирует общими понятиями. А любой научный термин есть условное обозначение научного объекта и без ущерба может быть заменён любым другим, таким же условным термином. Это – область «общих идей», которые, однако, настолько же и частные. И будучи частичными, идеи эти взаимно заменимы. Что мы и наблюдаем в истории науки (хорошо показал это Т. Кун в книге «Структура научных революций») Общие понятия в науке – не универсальные, не особенные, не изначальные, как идеи в искусстве. Этим искусственная терминология отлична от искусных образов.

Только в искусстве поэзии (глубоко семантическом), особенно в лирике, ни одно слово заменить другим невозможно. Только воспроизвести все слова заново. Повторить неповторимое. Этим искусство отличается от науки.

Ни одна «окончательно» утвердившаяся идеология, тем более безобразно чудовищная (идеология НКВД или Гестапо), не в силах сотворить божественного (неповторимого, только воспроизводимого) чуда из не заменимых ничем слов. Какой бы научной эта идеология самой себе ни казалась или ни была на деле. Она подвержена, к счастью, разрушению и замене. Иначе бы мы до сих пор служили фараону, оставаясь рабами.

Из всего сказанного выше следует, что ни одна идеология, в том числе «научный атеизм» (по сути своей идолология, раз допускались человеческие жертвоприношения ради достижения «светлого будущего»), ни самая передовая наука – не в силах написать ни одного гениального (выходящего за рамки своего времени) стихотворения. Потому что, как видим, в поэтическом искус-

стве дело состоит не в общих понятиях. Именно искусство поэзии ничем не заменимо. И без искусства слов нельзя понять любое другое искусство, прекрасное и само по себе. Поэзия напрямую связана с человеческим видом, человеком разумным. Поэтому поэзия – суть незаменимое смысловое средоточие и для любого другого вида искусства, менее семантического самого по себе (смыслового, понятийного). Поэзия, или искусство слова – есть искусство самого человеческого вида, без которого человечество обречено на несчастье и вымирание.

Наука, в отличие от искусства, не воспроизводит всю глубочайшую внутреннюю специфику, всю особенность человеческого вида как такового, но обустраивает его внешнюю жизнь, облегчая, порой непосильные, условия существования человека. Чего переоценить невозможно. Но как ни облегчай условия жизни обезьяны – человеком она не станет. Именно в силу её бессловесности – неразвитого языкового аппарата и отсутствия членораздельной речи, свойственной человеку.

Приведу пример, демонстрирующий уровневую разницу в человеческом отношении (наполнении, одушевлении и т.д.) между наукой и искусством. Известный советский поэт Леонид Мартынов по образованию был математик. А поэт, живший за век до него, Александр Пушкин, «скучал» на уроке математики и писал стихи. Имея весьма живой нрав (будучи подсознательным математиком), поэт не особо любил эту несколько отвлечённую в рассудочность, казавшуюся ему недостаточной, в сравнении с поэзией, важную в научном отношении дисциплину.

Зададимся сакраментальным вопросом: чьи же стихи лучше, важнее (полнее жизнью) для читателя, Мартынова или Пушкина? Ответ очевиден: Пушкина, а не Мартынова. Математики в стихах первого поэта – не меньше, если не больше. Одной вычислительной способности, развитого отвлечённого рассудка недостаточно для написания стихов.

И теперь общая картина. Производство и поэтов, и поэзии в СССР было подчинено общей трудовой разнарядке и поставлено на поток, как любой другой механически производимой продукции. «Незаменимых у нас нет». Таков был лозунг строителей «светлого будущего». Отсюда и нелепый спор, который вышел в 60-е между физиками и лириками. Чтобы закончить его окончательно, добавим, в свете вышеизложенного: физик не может быть лириком, а лирик не должен быть физиком. Хотя оба в некоторой мере и то и другое. Физик – плохой лирик, и наоборот. Слишком разные методы исследования, языки, разные реалии, разные цели и задачи. Физика – наука, лирика – искусство. Область пересечения их не абсолютна.

Советская идеология этого не понимала и не признавала. Поэтов перевоспитывали, наказывали, судили за тунеядство, залечивали в психиатрических лечебницах. Настоящих поэтов, разумеется.

Поэтическая номенклатура назначалась свыше органами идеологической власти. Это могли быть неплохие люди, образованные. Но не имеющие природного дарования и понятия о нём. Они получали все привилегии от го-

сударства за проповедь идеологии «научного атеизма», в стихах в том числе, часто искренне веря, что они уж точно знают, как надо писать, в отличие от тех, кого судили от лица строителей коммунизма, социалистической трудовой дисциплины – не «по гамбургскому счёту». А судили поэтов и писателей, талант которых действительно был от бога (реально, не номинально). Теперь это многим становится понятно.

2. Эстетик-издатель

А. Касымов был не только филолог по образованию (ученый), но и эстетик. Более того, он был пронзительный лирик. Ниже я приведу для примера его стихи. Касымова глубоко возмущала идеологическая фальшь и бездарь, занимающаяся не своим делом – искусством, не имея художественного вкуса. Конечно, он решил печатать «нормальные» стихи, «нормальных» поэтов, не государственных мегаломанов, никчемных идолологов и лжеученых в литературе, не «советских» поэтов, имя которым… теперь мало кто имена эти помнит, кроме архива. «Советский» поэт – нонсенс.

Александр Касымов принимал пишущую молодёжь прямо с улицы, не из официальных кругов. Хотя были поэты и оттуда, из немногочисленных в городе официальных литературных кружков. Желание штамповать «благонадёжных» поэтов у партии имелось. Чудовищная эта затея – жёстко контролировать творческий процесс – началась с учреждения литинститута и для самобытных поэтов часто плохо заканчивалась. Если не самоубийством, то психушкой или статьей за тунеядство. Но это отдельная тема.

Некоторые из кружковцев, приходящих к Касымову, бывали не вполне бездарны, как и те, кто приходил с улицы. Иные даже талантливы. Например, Светлана Хвостенко, Ринат Юнусов…

Но таланты не извлекали из кружковства практической выгоды. Во-первых, в силу своей непрактичности, а во-вторых, чему талант мог научиться у руководителя кружка, уступавшего ему по таланту, назначенного партией, идеологически выдержанного, но творчески мёртвого субъекта. При этом тот мог быть добрым человеком, мудрым наставником. Скорее немногочисленные в природе поэтические дарования, не стремясь к власти, сами бескорыстно делились обаянием, дарованным им свыше. Но кружок, бесспорно, хорош для дружеских отношений, если таковые образуются по ходу дела. Но умение дружить – это такой же дар, особый и редкий.

Первый номер «Сутолоки» – поэзия **Айдара Хусаинова**. Поэт А. Хусаинов разбирает обычную грамматику русского языка и собирает её заново, на свой манер. В эссе о его поэзии (на сборник «Адриналиния») я назвал это *реграммой*. В русский язык поэт внедряет некие формы башкирской грамматики, в результате его поэтика выглядит порой на грани возможности высказывания по-русски, иногда и за гранью. Зато в случае удачи в его русском

стихотворении, благодаря двуязычию автора, возникает как бы новый взгляд на мир.

Этот феномен его поэзии и есть реграмма, или деграмма (если грамматика разрушена до неузнавания). Непривычность для восприятия читающего по-русски тюркоязычной составляющей в его русских стихах есть неотъемлемая особенность его поэтической манеры выражения. Грамматика (соединение двух языков) конкретного выражения вступает в отношение с логикой высказывания как такового, возникает некая интрига, в случае удачи читатель испытывает неожиданный эффект. В противном случае – раздражение от недовыраженности по-русски написанного стихотворения. В любом случае необходимо соблюдать некий принцип, назовем его принципом глубинной грамматической непротиворечивости самого выражения, или природы основного языка. Иначе, получается, автор нечто подразумевает, а читатель теряет путеводную нить в глубину противоречиво (неграмотно, «не по-русски») выраженного смысла. По счастью, Айдар Хусаинов состоялся как необычный, прелестный лирический поэт. Я бы назвал его *малым романтиком*, в основе мировоззрения которого лежит двоемирие и субъективный идеализм. Это не оценка его стихов, а констатация факта, положения его авторского сознания. Насколько это так, судить читателю. Разумеется, поэт прошел и школу постмодернизма. Об этом свидетельствует и смысловая игра с чужими текстами, ирония над стереотипами, идолами общественного мнения. Любовная лирика Айдара Хусаинова, в случае удачи, пронзительная, светлая, лёгкая и чистая. К тому же с чертами эксперимента, часто удачного. В ней – то же обаяние романтизма и подлинного смыслового идеализма:

Поговори немного скуки,
Затепли ласточки огня.
Смени письмо свое на руки
Не на плече, так близ меня.

Любое дело пахнет смертью,
А после жизни точно смерть,
Как будто в небо тычешь жердью
В стремленье запросто взлететь.

Так вот же — ласточка летает,
Горит костер, идет тепло.
И только ты стоишь пустая,
Как будто жизни две прошло.

Стихотворение – драматичное и трогательное.

Вторая публикация в первом номере – подборка самого **Александра Касымова**, «Бегущая строка». О Касымове – чуть подробнее. Его лирика – акмеистический способ философского осмысления жизни.

Касымову мила вещность, заявленная этой школой ещё в начале 20-го века, материальная выраженность этого мира, его вдохновляла если не острота, то галльская ясность смысла и пластически выраженная радость жизни. А. Касымов – филолог (учёный) и эстетик (поэт). Мрачно настроенные идеологи (апеллирующие к идолам безликой толпы), привычно призывающие резать людей, объявляя их классовыми врагами, его откровенно отталкивали, пугали. Вся революционно-футуристическая шатия-братия, с нарочито дурными манерами (исключая раннего, любовно-лирического Маяковского и высокобезумного Хлебникова) давно перестала быть просто кровавой шуткой и пустым призывом к расправе. И многим людям, имеющим гуманитарный вкус, сильно осточертела проливаемая с начала века кровь своего же народа. Да хотя бы и чужого. Надоели издевательства над человеческой природой, попытки лишить человека глубины, отнять у него веру и возможность в спасение души, а взамен всучить ему обязанность поклоняться идолам и земным правителям.

А. Касымов был в меру публичным человеком, организовывал встречи, выступления своим протеже. Но он был и герменевтиком, то есть опять же в меру камерным человеком. Именно эта «камерность» необходима для сохранения образцового искусства. Маяковский хотел писать для безъязыкой улицы («улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать»). В конце концов улица и получила язык кровавого переворота и террора. Аббревиатуры, мёртвый революционный волапюк, на котором можно было только кричать и резать. Но не полноценно разговаривать – разве что официально, безлюбо, не по-божески. Улица не желает (как верилось Маяковскому), не может (до поры) говорить языком Пушкина, Цветаевой. В лучшем случае появляются эпигоны из числа поклонников, как певцы «под Высоцкого», например. Улица (толпа, рынок) не постигает необходимой камерности, герметичности и символичности поэтического выражения. Она всё понимает слишком буквально и плоско. Вульгарно. Высочайшая, недоступная для улицы напряжённость (углублённость) мысли и красота выражения сущности, без крика или скабрезности, ей, оглохшей от базарного хамства, сквернословия и кощунства – непонятны. Поэтому с улицы и приходят единицы, а не толпы – к истокам живой и чистой поэтической речи. Ну, разве что есть своя «красота» в хамстве и сквернословии…

А. Касымов вообще неуютно чувствовал себя в открытом пространстве. Просторы, степи наводили на него унылую тоску. Любил он смысловой эрос, мог влюбиться в автора, если влюблялся в его стихи. Происходило это мгновенно, на глазах радостно недоумевающего поэта. Так было, когда я впервые пришёл к нему в конце длинного, безрадостного рабочего дня. Я протянул ему стихи, Касымов, являя крайне кислую мину, будучи утомлён безмерно за день докучливыми посетителями, обречённо взял мои стихи. Как очередной

энтропийный отход бедного графомана. Взглянул на первый листок и мгновенно чудесным образом преобразился. Лицо его просияло! «О! А вы откуда вообще, чем занимаетесь?!» - воскликнул он, оживляясь. Хотя первое стихотворение, на мой взгляд, было не самым сильным, ранним. Стихи шли по хронологии. Но именно «Весна» привела его в восторг. Некоторые другие мои стихи – «стихийные», как он их, не совсем точно, называл – были ему не близки. А я их полагал как раз наиболее значительными. Они были менее пластичны, но более музыкальны, порой космически бесприютны. Но это его отталкивало, как ветер и пространство. Он был способен восторгаться, пьянеть от поэзии, от удачных чужих строчек. А. Касымов был редчайшим типом человека именно эстетического (не эстетствующего). Благодаря высокой духовной (словесной) чуткости подобных Касымову людей (их по пальцам можно пересчитать) стихотворец чувствует, что живёт не зря, что и его можно любить и ценить. Что его стихи делают счастливее кого-то ещё.

А. Касымов не очень-то верил в собственный поэтический дар. Возвышенно-трогательно стеснялся его, как чего-то едва ли не преступного для этого мира, не совместимого с мёртвыми законами. Но когда сам встречал редкое дарование, то искренне восхищался им и безмерно радовался встрече. Я видел, как у него трясутся от напряжения руки. Разумеется, такого чувства к себе ничем нельзя заслужить. На это способны только настоящие стихи, которые от бога. Но А. Касымов умел переносить это чувство и на поэта.

Этот удивительный человек, казалось, не знал ни ревности, ни зависти. Чужие или свои шедевры, какая нам, в сущности, разница? Выше себя, своих амбиций – только искусство поэтического слова, музыка, живопись… «Вот счастье, вот права!» Но для этого нам нужно иметь бессмертную, вечную – божественную часть души.

А. Касымов не был церковным или религиозным человеком. Хам оставался для него хамом, подлец – подлецом, будь он сколько угодно набожным. Но красота – это язык Бога, богов – мгновенно покоряла его, наполняла эросом и смыслом всё его существо. Тогда он весь лучился и был вполне счастлив. Я специально пишу об этом касымовском свойстве, поскольку оно едва ли не важнее многих стихов многих авторов-эксцентриков, влюблённых в себя безраздельно. Александр Касымов любил не себя, а Искусство. Восхищался им. Радовался чужой удаче как своей. Это особое чувство красоты, пожалуй, и есть основа подлинного, свободного таланта. Отличие дара божьего от яичницы. Оно и возвышает нас, пишущих, над самолюбием, если возвышает… Какая разница, ты или не ты Моцарт, если «Реквием» всё-таки написан? Я думаю, так радовался удачам друзей великодушный А. Пушкин.

А. Касымов оставил не много стихов, он не был, к счастью, графоманом. Напротив, его дар – великая требовательность к себе и ответственность перед русским языком, поэтическим словом в эпоху мертвой идеологии, уличного сквернословия, формализма или тотальной иронии. Но эти его стихи можно повторять бесконечно, как молитву, что одаривает и питает челове-

ка ощущением вечной жизни, если в нем проявилось эстетическое начало, бессмертная часть души:

Прижмитесь ко мне, моя скрипка,
Очарованье мое!
Медленны струны, и зыбко
Ночи холодное литье.

Медленно, медленно луны
Светят сквозь лед на окне.
Снежные темные дюны
В снежном же толокне.

Горечь скрипичных капризов
Льда не растопит, но все ж
Плавность ее экзерсизов
Вызовет в стеклышках дрожь.

Этот неслышимый отзвук,
Этот случайный ответ...
Скрипку швырнувши – на воздух,
Где никого уже нет!

Тамара Искандарова следующий автор «Сутолоки». Два ее стихотворения изобразительными средствами близки к народной поэтике, тематически – это городская лирика. «Моей судьбины тёмная звезда», так начинается первое стихотворение. Во втором описывается дождь в городе. Но вместе обе поэтики в конце второго стихотворения сливаются в сказку и волшебство:

Станут легкие жабрами в то же мгновенье,
И придет под водою ко мне озаренье.
Свет луны мне покажет дороги да плесы,
Буду лунным лучом я расчесывать косы.
(перевод А. Хусаинова)

Стихи лишены нарочитой тенденциозности или вымученной идеологичности, пусть они и не слишком изысканны по стилю.

Такие же естественные по духу стихи у **Юмабики Ильясовой**:

Желтые листья летят недалеко,
Разве они ошалевшие птицы?

Это замечательные строки. Далее, в переводе А. Хусаинова, заданный смысл обретает несколько неожиданный оттенок в силу двух слов, слегка кокетливых для контекста: «некстати» и «без грусти».

Разве им снилась радость полета,
Было некстати им освободиться.

Листья летят не по собственной воле,
Ветер поднимет, ветер опустит.
Мертвые листья, летящие в поле,
Нам говорят о свободе без грусти.

Далее – переводы с английского **Майи Фаттахутдиновой**, поэзия американских битников.

«Рынок в Калифорнии» Аллена Гинсберга. Дельный, внятный, убедительный перевод. Поэзия эта – суть ритмизированная проза, довольно демократического свойства, общепонятная и без рифмовки. Но это хорошие, образные, атмосферные стихи. И достойные оригинала переводы.

Другое стихотворение Хербета Эдварда Рида, «Призывнику 1946 года»:

….Но мы воевали напрасно: ведь мир не переменился.
Всё осталось на прежних местах:
Та же глубокая пропасть, разделяющая богатство и бедность,
То же засилие власть имущих…

Это прекрасные, ясные тексты, общечеловеческий и гражданский пафос их вполне понятен читателю. И он не устаревает.

Карл Сэндберг, «Туман». Короткая, пять строк, чудесная лирическая зарисовка:

Туман подкрался
Бесшумно, как кошка.
Присел,
На город взглянул –
И накрыл его мягкой лапой.

Эдвард Каммингс, перевод его стихотворения, написанного от лица солдата, с фронта, о собственной смерти. Графически оно оформлено в виде треугольной похоронки. И это еще не все. Уильям Карлос Уильямс, «Танец»:

В "Кермессе" великого Брейгеля
пары кружатся одна за другой и одна
за другой и ревут и гудят и пиликают
скрипки волынки рожки надрываются
лопнуть готовы с натуги и кружки
затеяли свой хоровод…

Такова англоязычная поэзия американских битников. И переводы Майи Фаттахутдиновой – достойны их пера.

Андрей Юдин, «Любить, не ощущая боли».

Хочется много доброго сказать о поэтах этого поколения, замороченных идолологией, но не принявших её. Представители его уходят в небытие. Если уже не ушли – как сильнейший, пронзительный лирик Анатолий Яковлев, многодумный, бессонный Александр Банников, светлый, чувствительный, спонтанный Ринат Юнусов, лёгкий, изобретательный, самоироничный Дмитрий Масленников, трагичная поэтесса Светлана Хвостенко…

Андрей Юдин примыкает к этому нашему поколению поэтов. Побудем минуту сентиментальными. Но никуда не деться от строгости оценок. Таков поэтический счёт и обычай.

Поэзия для начала должна быть только превосходной, чтобы ей впоследствии вообще существовать на свете во всей полноте и блеске.

Представьте, если мы начнём сдавать высшие уровни, уже даже не мастерства, но наития, вдохновения. Тогда скоро не останется и низших видов, напрямую зависящих от открытых, покорённых вершин. Ни ирония, ни юмор немыслимы без трагедии.

Когда мы «замалчиваем» достижения лучших поэтов – во имя распространённой массы средних способностей, – приходит расплата в виде падения массового вкуса. Это несправедливо, по меньшей мере для той же человеческой массы, достойной лучшей участи. Нехорошо, когда мы руководствуемся самолюбием, личными амбициями, «единственно правильной стратегией поведения» или чем угодно – чтобы осудить талант, объявив его поведение неудовлетворительным. Поэзия и бытовое поведение – вещи сугубо разные. И скорее уж поведение таланта (его срывы, которым он сам не рад) именно и зависит от недооценки пишущей посредственностью его поэзии, превосходящей средний уровень. Словом, от молчаливой зависти иных способных (приспособленных к системе) коллег. А талант – он ведь не от мира систем. И в литкружках – та же обычная практика. Среднеарифметический поэтический уровень существует сам собой, без крайних напряжений поэтического индивидуума. Особенно в демократиях. Поэтому таланту надо приходить в кружки уже сложившейся личностью. Иначе его всё оскорбит, и он оскорбит в ответ всё. Массовость любить за массовость трудно, с ней хорошо барагозить, карнавалить и бухать. Творить приходится в одиночестве, чуть ли не в изоляции. Чтобы ни малейшие, слабейшие излучения смыслов не затерялись в шуме развлечения. Одарённость, как хрупкий росток, требует от общества постоянной подпитки любовью. Это топливо для гениальных стихов. Чертополох лезет сам. Наслаждаться общими местами нельзя, неплохие (хорошие) стихи – оскорбление превосходным стихам, ради которых поэт жертвовал слишком многим. Но завидуют стихам, а не самоотдаче, порой (и часто) смертельной. Гений суть оскорбление, невольное, способному ученику. Как и наоборот. В демократии не политкорректно высказываться о чьём-то превос-

ходстве. Но поэзия – это всегда иная шкала, иной счёт, высший. Счёт на судьбу, на поэтическую вечность. Думается, А. Касымов чувствовал приблизительно так, когда печатал своих авторов, носился с ними, пестовал их как родных. Если влюблялся в их стихи.

Но это – небольшое отступление по теме об уровнях писательских способностей.

Стихи А. Юдина неравноценны. Но они резко правдивы, антиидеологичны, нетенденциозны. В этом их несомненное достоинство. Что касается мастерства, то оно, похоже, уступает банниковскому или яковлевскому. У А. Юдина нет (в журнальной публикации) той тотальной, совершенной продуманности, универсальной глубины и цельности, которые читатель найдёт в лучших стихотворениях своего поколения. У А. Юдина:

Я опираюсь на локтях,
Повиснув туловищем с койки,
О подоконник...

В превосходных стихах не нужно обгрызать оставшиеся случайно грамматические заусенцы. Я опираюсь локтями о подоконник – хотел сказать поэт? Тогда зачем нагромождение лишнего, искажающего ясность выражения. Иногда нужно такое материальное сопротивление чисто выраженному смыслу, но тут, вероятно, всё же не тот случай.

В этом стихотворении поэт раздваивается на ворона (символ мудрости) и человека пьющего.

Но логика двойственности далее не сохраняется, Вдруг оказывается, что ворон:

Откупорив бутылей семь,
Глазами вкруг меня поводит,
Выкаркивая нечто, вроде
(о, эгоист!): - Я есмь, я есмь...
А в заключенье дня всего
Сознание и солнце меркнут,
Что никому не опровергнуть,
Раз кроме птицы никого...

Роли неоправданно смешиваются и ясно одно: сознание точно померкло. Но этого мало, чтобы вышли идеальные, живые, превосходные стихи. Пусть они будут тёмными, но темнота эта должна светиться, блестеть, а не опровергать себя саму потёмками невыраженного «смысла».

Увы, это «противоречие» не единственное. В следующих, по-своему замечательных стихах, образ ребенка не продуман до конца. Если это реальный ребенок, то почему у него «одышка» и «посажены» бронхи? Или это взрослый детинушка, вообразивший себя ребенком? Читатель в недоумении.

Кроме того, «навалясь» на палку не говорится. Либо «валясь» либо «навалившись». Возможно, я придираюсь. В общем, поэту нужно навести сознание на трезвый фокус. Чтобы смысл не двоился. «Пей, да дело разумей»:

Я отдаюсь лыжне и скорости.
Несусь с горы, сомкнув лодыжки.
Как чувство с быстротою спорится! -
О, если б не было одышки...

Не возмущаясь и не сетуя,
Но грудью навалясь на палку,
Я со снежинками беседую,
Мне бронх посаженных не жалко.

Следующее стихотворение, по счастью, удачное. В нём поэт снова сетует на свою слабость, но это, возможно, то же проявление силы. Впрочем, это вопрос уже могущества и способа существования, а не только метода работы и простой грамотности. Что гораздо труднее, а потому и простительнее. Однако стихотворение, повторяю, замечательное:

Я бодрствую, а жизнь сама
Часов переставляет стрелки,
Но просветление ума
Не преподносит на тарелке.

Едва бессонницу свою
К себе сажаю на колени, -
Усталость вдруг осознаю
И то, что сам не в настроенье.

Как с тяжестью такою жить?
О, если б не сия помеха,
Я мог бы вечность сотворить
И сидя в скорлупе ореха.

Особый создавая мир,
Я мог б во всё войти со страстью,
С какой вникает ювелир
В изделье целое и - в части.

Андрей Юдин демонстрирует стойкую независимость от чуждого идеологического мировоззрения, вымороченного и неживого. Но и своё, «просветленное» миросозерцание любому стоит сумасшедшего труда. И поэт старается выработать таковое видение…

А. Касымов предпочитает публиковать стихи, свободные от ненужных, мертвящих признаков. От той же неоригинальности или ангажированности, «литературной партийности», тенденциозности.

С третьего стихотворения А. Юдин открывается во всей полноте своего обаятельного дарования, во всей своей оригинальности:

Тишина... В сугробах спят дома
До поры, и хочется до смерти
Спать и мне, как если бы чума
В дом пожаловала в тюке шерсти.

Что есть жизнь, что смерть, что явь, что есть
Этот нескончаемый и длинный?..
Пусть дверные петли ржа объест,
Так, чтоб дверь держалась паутиной, -
Всё равно...
Я слушаю, как червь
Точит шкаф.
Как всё нелепо в мире! –
Остров знанья: чем его размер
Более, тем и незнанье шире…
……..

И вот отличные стихи, их начало:

***

Ряд тополей роняет пух.
И над извивами суглинка,
Легко захватывая дух,
Кружится белая пушинка.

……..

В них поэт достигает поэтических высот.

А. Юдин – оригинальный, сделавший себя сам поэт. Независимая яркая индивидуальность, цельная, насколько возможно, поэтическая личность. Это и есть качество искусства, совмещение несовершенства и высшего достоинства. Замечу среди достоинств поэтический размер и ритм. Они традиционны, но ненавязчивы, проникновенны, убедительны. Они подчинены высшему единству – поэтическому замыслу. Последний, блестящий пример из этого поэта:

Гор сверкающие пики
Мой осваивает глаз.

И меж пиков - самый дикий:
Вставленный в кольцо алмаз.

Всё с идиллией граничит,
С пасторалью наяву,
Птица в небе птицу кличет,
Углубляясь в синеву
Бесконечно...
Тем не менье,
Хочется сильней, чем жить,
Маятник остановить,
Отмеряющий мгновенья...

Превосходно. Это классика уфимской поэзии, оригинальной и независимой от внешних и мёртвых смыслов или идолов массы. Хочется ещё легких, живых цитат, но надо заканчивать:

Натягивая шнур буксира,
Пыхтит по Белой катерок…

Далее, **Светлана СМИРНОВА, «Ксения Блаженная»**, удивительные стихи. Как удивительно само явление Ксении Блаженной в мире чистогана и наживы. Всё кажется мне, маловерному, что среди неверия могут закончиться и чудеса. И жизнь окончательно потеряет и радость, и смысл. Но не тут-то было:

В мужниной одежде в дождь и в снегопад.
Ходит неприкаянно – дивится Петроград.
"Я теперь не Ксения, я вовсе не жена.
Я по воскресении Андреем названа.

Что мне ваши вещи, деньги и дома?
Жаром Духа Свята душа моя полна.
Светлым ранним утром в церкви постою,
Ночью в тёмном поле Бога призову".

И **Юрий ИЛЬИН**, «Нашей жизни путь-дорога», два небольших стихотворения, о которых мало что можно сказать. Но настроение они передают. Вот второе из них, целиком:

Над травой большой, зелёной
Стрекоза летает вольно,
И кузнечик в той траве,
Он подобен стрекозе.

Анатолий СТОЛЬ размышляет о древней мудрости и законе пророка, которые видятся ему надёжным жизненным оплотом. И о современной вере… И заключает он своё размышление так:

Огнедышащий хмурый поток
Поглощает священную песнь,
Её дал нам когда-то пророк,
Говорят, что родился он здесь.
И теперь, отворяя врата,
Мы пытаемся в Вечность войти,
Но нельзя целым стадом туда,
Где и слово не может пройти.

Это, пожалуй, лучшие строки из нескольких стихотворений А. Столя, напечатанных в журнальчике. Автор пытается в них философствовать. Получается несколько доморощенная философия в стихах.

Светлана КУКАРИНА, «В моём дальнем нездешнем краю».

Чистая, романтическая лирика – «Где птичий рай»:

Где птичий рай —
Где спит седой рогоз,
Иль где в корыто
Высыпаны зёрна?
Где птичий рай?
Быть может, где навоз,
А может, в гнёздах на вершинах
горных?

Мягкий юмор:

Мне дают отдохновенье
От печалей и забот
Чай и вкусное варенье
И с икрою бутерброд.

Стихи – живые, изобретательные в меру авторских возможностей. И – они разнообразные, автор не застревает на одной какой-то манере. Но и стиля своего пока не выработал. Только «обещает»:

Я напишу тебе сонет,
Пропахший выбросом этана.
Он будет чист, как пуританин.

Он будет свеж, как лунный свет.

По-моему, замечательно, хотя где он, обещанный сонет? Или:

О, как Вы вешали лапшу
На благороднейшие уши!
Но нет, теперь я не пущу
Вас в свою страждущую душу!

Поучительные стихи, нечего сказать. А какой задор:

Птичка силится запеть,
но не тянет горло –
испугалася она,
и дыханье спёрло.

А вот настоящая драма:

Нет, не надо мне жизни иной –
Без тебя, вне тебя, не с тобой.
Нет, не буду тебя вспоминать
И не в силах тебя потерять.

Возвратись, возвратись, возвратись,
Буду снова страдать и молить,
Погляди на меня, погляди,
Дай чуть-чуть мне любимой побыть.

Что же, что рифмы заезжены, зато какое чувство:

А ты не слушался меня.
Душа грустила, улетала,
В нездешних грёзах засыпала
И таяла день ото дня.

Это так печально и понятно нам.

А вот **Наталья Власова**, одно стихотворение. Рассуждение в неспешном, эпически многозначительном тоне о затянувшейся, может быть, семейной ссоре, которая, впрочем, оптимистично рифмуется со спором. Вот только один характерный фрагмент:

Со мною в ссоре ты, и я с тобою
в ссоре.
За давностью времён неважен
приговор.
Нет победителей в том бесконечном
споре,
который мы ведём с тобою
до сих пор...

Рифмы – надёжные, спор – крепкий.

Владимир Коршиков подхватывает эстафету. «Надпись на кофейном сервизе» – стихи прелестные, этакая пастораль:

Я пастушка,
Ты пастушок.
Брось на пригорочек
Свой посошок!
Пусть попасутся
Овечки одни...
Видишь, какие
Чудесные дни,
Кустики, речка,
И дальний лесок,
И развязавшийся
Мой поясок,
Талию тонкую
Нежно обвивший...
……..

Стихи от лица хитрой пастушки, соблазнившей невинного пастушка – уморительно-прекрасны.

Андрей Шагалов, единое стихотворение. Его надо цитировать целиком. Есть разновидность стихов, написанных как бы «на голубом глазу», когда автор, «ничтоже сумняшеся», выдаёт некий перл. Как он у него выходит никому непонятно. Но эта особая смесь наивности и искренности (может быть, даже последней) производит разительный эстетический эффект. На грани или за гранью:

***

И вроде явь, кошмары вновь,
во сне как будто бы живу.
Тропа петляет вкривь и вкось,

знакомых лиц не узнаю.

Подружка-смерть, моя плутовка.
Зовёт, шутя, из темноты.
А жизнь — седая, и так ловко
все мысли сводятся к Любви.

Её же встретить не могу
ни во дворе я, ни на улице.
Но не во сне, а наяву
хочу увидеть даму-спутницу.

Такие стихи – важный человеческий документ эпохи, метрики души.

Наконец, один из сильных уфимских авторов и журнальчика, поэт **Александр Банников**. Яркий пример того, что мёртвая идеология, мрачная метафизика (неверие в живой дух, в космический ритм, во внутреннюю свободу человека творческого) способны были сделать с людской жизнью. Как необычайно талантливому поэту сначала сломали биографию, выкинули из института (тоже за поведение), потом в Афганистане лишили последней веры в человека, а заодно и здоровья. Достаточно почитать его афганские дневники об идолологии в действии. Талантливый человек виноват в том, что не умеет приспосабливаться к «законнической» лжи. Тут либо талант, либо способности. У А. Банникова был талант от бога, а не от партийности или карьеризма.

Я уже писал о стиле А. Банникова не один раз. Повторюсь, что это едва ли не самый безутешный поэт конца двадцатого века из всех известных мне. Он отразил отравленный всеми ненавистническими, воинственно-атеистическими идолологиями 20-го века воздух. Всю их мёртвую метафизику и гниющее заживо время, изолированное от несбывшейся, загубленной вечности (её божественной диалектики и глубинного ритма). А. Банников разуверился во всём после всего увиденного за свою короткую (34-летнюю) жизнь в стране прекрасных людей и железобетонных аббревиатур – в СССР. Кроме того, А. Банников, несомненно, при его таланте мог писать и счастливее, и с большим блеском, не трать он последние силы на борьбу за честную жизнь, за универсальную (поэтическую) точку зрения с анонимной злой ложью, прячущейся за личины и властные положения. А. Банников не хитрил, шёл своим путём и был в неравной борьбе избит своими идеологическими автобиографами, сломавшими ему судьбу окончательно. А поэтом он стал сам, вне школ и систем, кружков и модных программ. Что можно добавить к его бессонным, стоическим, невозмутимым последней невозмутимостью, стихам? А начинал он уверенно, светло и легко, невероятно музыкально и упоительно образно…

И выплеснули к свиньям, в мёртвый слой насаждаемой действительности всю полноту удивительного видения поэта эстетически тупые, но обличённые властью – чины не от бога.

Вадим БОГДАНОВ, «Наставление по стрелковому делу». Стихи в журнале, прежде всего, грамотно написанные. Вполне раскрыта проблема, связанная с освоением мужской профессии стрелка. Как научиться правильно убивать, во всяком случае, стрелять на поражение? Остаться при этом человеком, не стать убийцей. И в другом стихотворении – другая проблема: как сохранить свою мужскую независимость от женских капризов, а вместе с тем избавиться от тоски и одиночества, и своей неприкаянности, ощутимых порой без женщины.

Стихи написаны хорошо, умело. Они правдивы, искренни, без нарочитых прикрас. В «Банальной истории», самом эмоциональном стихотворении, поэт демонстрирует и составную рифму: «телеграмм ли / остограммлю», и разговорную лексику для убедительности бытовой картины мужского одиночества: «ты чего смурной?». Одиночество, скорее, «ребяческое», сиротливость – до прихода мамки с работы. Придёт, приголубит, накормит и будет радость и счастье. Такой детский миф, повторяемый взрослым мужчиной. А пока мамки нет, надо бедокурить, для полноты жизни. Стихотворение «Романтическая сказка» - это такая советская, не то чтобы идеологическая (скорее нормальная, экономическая) баллада о героическом освоении космоса. И она впечатляет. В. Богданов вообще писатель опытный, он же и прозаик, не только поэт. Набил и руку, и немало машинописных строк. В советское время большое значение придавали техническому, внешнему освоению космоса. Но мировая поэзия это делает с самого начала своего возникновения. Взять Древнегреческую культуру (и она не единственная). Философы, тем более поэты – осваивали просторы Вселенной, начиная с первого человека разумного. Они изнутри постигали Космос и населяющие его существа, сущности: элементарные, божественные, ангельские, демонические. Двадцатый век во многом утратил эту способность образного, сущностного постижения Вселенной, став научно-рациональным в основе своей. Духовная реальность захлопнулась, торчит только хвостик. От Возрождения – не говоря о Средневековье, когда материя ещё была чистой энергией духа. Двадцатый век вполне рационально и деловито запускает на «объекты» живой Вселенной своих искусственных жучков-паучков, в поисках ресурсов для земной прожорливой жизни. Героика, пусть несколько сомнительная («шкурная»), всё-таки сохранилась. Но эстетика стала слишком часто искусственной, неживой, функциональной. Оно и понятно, и цель такого освоения – извлечь выгоду из Космоса, мягко говоря, не слишком бескорыстна и прекрасна. Но стихи В. Богданова – хороши, и в самом их названии есть ирония, подтверждённая последними строфами:

После падали в атмосферу
И сгорали — такая жуть —
Лишь лучи дежурных радаров
Их последний следили путь.

Да бессонный ночной романтик
Думал: «Вот покатилась звезда»,
Успевал загадать желанье,
Что не сбудется никогда.

Евгений Парфёнов, «Опыты». Стихи, написанные в электричке. Но это надо читать. «Записки из электрички» – экспериментальная поэзия, к тому же «заумная». То есть смысл её постоянно теряется или вот-вот обнаружится:

МПАТКО

То во анкеб со апплою
Ащё спела спева спива
Ащё леся еся ягодь
Аз ещ клезена рякпива

Она тсолу тсоит тсерь
Ас лечет оймя зрицаля
Она тсолу тсоит тсерь
Свё дноо мсякжесь мааломь

Автор создаёт новый язык на ходу, который сам же, в первую очередь, силится понять.

Иосиф Гальперин, «Струнный квартет».

«Налицо» развёрнутость и широта технических возможностей, задействованных поэтом. Здесь исторические и культурные, и естественнонаучные ассоциации – в образах:

Кровь по жилам сожмётся упруго,
новой болью сердце скрепя...
Повернётся по малому кругу
и в затылок ударит себя.

ШОСТАКОВИЧ, СОЧ. № 110

Я — Иосиф третий, и потому играю уже на последние деньги.
Выигрыш, получается, минимален, а проигрыш — абсолютен.
Как ни сажусь я, друзья, никуда я, однако, не денусь,

если затеял сыграть струнный квартет на червовой эоловой лютне.
……
Выигрыш мой минимален — я вприглядку зрителя ближе,
я играл на другие деньги, я поставил на покер последние корки.

Стихи по форме напоминают одновременно и А. Банникова, и С. Хвостенко. Но они у И. Гальперина более, что называется, «головные», идущие от ума, а не от средоточия (души или сердца, которые тоже умные, но несколько иначе)

И. Гальперин обозначает эту драму, называя лирического героя Иосифом третьим, и показывает, что тот подменяет игрой в покер на деньги, бескорыстное творение стиха или высокую игру – исполнение в музыкальном искусстве. Игра стала, прежде всего, расчетом с целью выиграть, сорвать куш. А это уже не служение и полная самоотдача, как принято в высоком искусстве.

Такой стиль – как некий общий зачин – от Банникова-Хвостенко-Гальперина – возник отчасти от искусства битников, западных, или даже отечественных рокеров 70-х – через углублённо-смысловое противостояние им и через освоение экспрессионистской манеры письма. И, конечно, в силу собственных немалых интеллектуальных способностей всех трёх названных авторов. Эрудиция, богатый культурный ассоциативный ряд, философичность взгляда на мир у Гальперина в стихах заявлены, и, боюсь, они не каждому стихотворцу и читателю доступны. Последнее стихотворение – самое короткое, но и наиболее, может быть, удачное, просто прекрасно. Оно наименее умственное, более прожитое, важное и лапидарное:

Жёлтая взвесь день за днём отступает на дно,
пруд и черней, и прозрачней, чем месяц назад.
Я изнутри поднимаюсь, вижу пятно
мёртвого кокона — сбросил его шелкопряд.

Мощная зелень ещё не ослабла ни в чём,
и равновесие трётся о грани воды.
Держится лист, но прорежутся жилки на нём —
и шелкопряду не спрятать следы.

Аркадий Застырец, «Пентаграммы». Это удивительно интересные стихи и вместе с тем попытка воссоединить искусство с современной наукой. Попытка формулировать образно. Пентаграммы. Это серьёзный, важный опыт для современной поэзии. Ведь наука, так развилась за один двадцатый век, что вместить всё знание современному поэту почти не под силу. А между тем настоящий поэт обязан это сделать, чтобы снова вернуться, уже обогащённым новейшим знанием о материальном мире, к живому и свободному (в отличие от науки) искусству чистой энергии духа. К сущностному и образно-

му постижению сам**о**й бесконечной и вечной вероятности бытия, к процессу его творения по наипрекраснейшим, небывалым ещё (не воплощённым пока) моделям возможного, неисчерпаемого существования.

Здесь ничего не даст античных стёкол
Сцепление в гудящих небесах…

А. Застырец ставит проблему существования бескорыстного, прекрасного, высокого искусства и веры в современном – продажном (торговом) и научном (цивилизационном и тоже торговом) мире. Если всё сведётся к прикладной науке и торговле, пропал «человек». Его, единосущно-божественного, без изящной словесности, без художественного Слова, которое было (и есть) вначале всего – уже не будет на свете... Купцы, двуногие без перьев, огрызки яблок и дрозофилы останутся, а человек исчезнет. Если уже не исчез:

Торг изобильный сулит суета на причалах,
Скрежет летящих цепей будоражит купца...
Радостный миг! И на этих прекрасных началах
Будем стоять до конца. До какого конца?

Удивительно, но А. Застырец не страшится даже пренебречь и красотой этого мира, моря, скал – не самими по себе, это он, конечно, ценит достаточно. Но он не цепляется за их посюсторонность, а идёт, как следует поэту, до конца и дальше, в бесконечность:

Как бы душу ни грели всечасно
Подтвержденьем дарованных прав,
Только смерть весела и прекрасна —
К этим тёплым ступеням припав.

Любящий поэзию увидит отсылку, которую поэт ему оставляет для нахождения спасительного смысла бытия. «К этим тёплым ступеням припав» – ассоциация к великолепным Бунинским строкам:

Позабуду я всё, вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав,
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленам припав

(у И. Бунина – предстояние перед Всевышним)

Сердцу атеиста-циника, расчётливо торгующего истинами этого мира (любого), эти строки ничего не подскажут. А между тем в них истинный тре-

пет действительного предстояния человека перед Богом-отцом по прошествии своего земного пути. Такие пентаграммы от поэта читатель способен вычитывать не только в поучение и назидание, но и на радость, на счастье себе и другому, способному видеть мир сердцем и очесами поэта.

Удивительно чистые образы находит поэт, проживая в обрушенном, казалось бы, мире:

В воскресный день в распахнутой прихожей
Там девочек в цигейковые шубки,
Двойняшек, одевает гувернантка
И за руки по воздуху ведёт.

Скрипят ремни, рессоры и полозья
Усилием лоснящихся лошадок,
Объятых паром свежего дыханья.
Вперёд, вперёд! Куда как хорошо!

Поэт читает строки из «толстого романа», они прочнее исчезающего мира.

Хочется цитировать подряд эти стихи, такие они ясные, удачные и – точные, в смысле смысла. Они – о главном для человека христианской культуры, просто для человека. Не для тщеславия-обогащения: демонов, мрачных завоевателей, земных властителей или торговцев продуктами поглощения-обогащения, а для человечности любого специалиста, бессмертной частичке души, если она в его душе ещё чудом задержалась:

Хочется верить, и хочется видеть,
Двигаться, вовсе не ведая боли.
Видимо, я не смогу ненавидеть —
Стало быть, стану любить поневоле.

Человек может позволить себе не жить «по законам джунглей», не быть «волком», выгрызающим свои интересы у брата. То есть человек – это тот, кто не хочет (да и не может уже) ненавидеть. Так просто и точно это определение, подсказанное поэтом.

Стихи совсем не морализаторские, но вполне – и только – художественные. Они показывают всю красоту, которую увидел сам поэт. Красоту и смысл.

Бой смертный за Отчизну мастерски изображён в стихотворении (без рифм) «Фермопилы». И триста спартанцев способны выстоять насмерть, но отстоять Родину своего духа от нечестивцев. Это воистину победительные строки. Лютое описание подлинной битвы, непреклонное знание, дарующее победу над заевшимся и наглым врагом:

Триста отчизны простор запирают собой,
В грусти свирепой застыв у последней заставы.
Шелестом тропы торопят: "Пора тебе, Ксеркс!"
Трупы ему не претят — к бою выпростал стяги.
С грохотом ставят ступни, за отрядом отряд,
Златом блестят, как персты степенного перса...
Серпом по перстам — спартанцы стригут наступленье
Версту за верстой. Стой крепостью, натиск терпи!
У монстра в горсти нам ли испытывать страх?
……..
Пусть не стихают стук, и треск, и скрежет зубовный!
Пусть в исступленьи стенает гривастая стая!
Есть гнев, стало быть, есть у Зевса прекрасная злость
На сытых эллинским мясом до рвоты!
…….
Пасть им судьба и кустами ползти,
Глотая песок и кусая уста себе в кровь!

Это весёлая, последняя битва для воина духа – за свою истинную Родину.

«Еврейские песни», в переводе Майи Фаттахутдиновой.

Начинаются с притчей. «Из благословения Иакова». Кому не известны эти прекрасные и мудрые стихи? Они о том, как чужая жена, в отсутствии мужа, заманивает юношу к себе в дом – на погибель его. Слова из притчи:

Сын мой, сохрани слова мои
и заповеди мои сбереги при себе.
Сохрани заповеди мои и живи,
и учение моё — как зеницу глаз твоих.
Навяжи их на персты твои,
напиши их на скрижалях сердца твоего.
Скажи мудрости: ты сестра моя! —
и назови разум родным,
Чтобы предохранить себя от жены чужой…

Первая и вторая песни, **Ицик Мангер:**

Надо сказать, что это классическая еврейская поэзия, она – питательна для души, приятна для ума, и очистительна для духа. И ещё – она игрива в лучших эротических традициях мира. Вот неожиданное и смешное окончание второй песни, «Жар-птица»:

…Всё это слышала жена —
Айдл-дидл-дой —

На мужа кинулась она
И бьёт сковородой:
«Всё шиксы у тебя в уме,
Небось, не вспомнишь обо мне,
Супруге дорогой!»

И переводы М. Фаттахутдиновой – хорошие или блестящие. Но это надо читать целиком, чтобы насладится и юмором, и красотою, и свободой этого достойного, древнего народа. Песни – весьма украшают замечательный касымовский журнал.

Второй автор песен **И. Лайзерович.**

Это так же поэзия традиционная и отчасти народная.

Ещё публикация **Айдара Хусаинова**. Четыре стихотворения, уже широко известные «в народе». «Значение слов» - название подборки.

Первый стих посвящён литальманаху газеты «Вечерняя Уфа», который выпускал А. Касымов. Второй стих – перекличка с пастернаковским «Определением поэзии». Третий стих стал бы приблатнённой или дворовой песенкой, вернись эти времена. Нет, всё же это городской романс:

Она была певицей в неком баре,
Он был несостоявшийся бандит.
Она ему сказала: «Слушай парень,
Ты для меня ничем не знаменит».

Он снял тогда часы с одним брильянтом
И вынул из кармана острый нож,
И сразу оказался неким франтом,
Которого вот так не проведёшь.

Это чисто Хусаиновский, авторский, уморительный юмор, который покоряет читательское сердце.

И тут уже случилось, что случилось,
Явилась страсть, огромная, как зной….
…….
Потом она припомнила, однако,
Как в детстве, ни с того и ни с сего,
Её схватила жуткая собака,
Лицом напоминавшая его.
Чрез полчаса ударило омоном.
От бара не осталось ничего…
…….
Она жива и ныне в Чекмагуше,

Растит его прижимистых детей,
И ангелов возвышенные души
Летают, как получится, над ней.

Окончание – сама прелесть.

Последнее стихотворение А. Хусаинова, «Подражание башкирской поэзии» – одно из моих любимых, и оно – свидетельство той романтической идеальности стиля, о которой я уже говорил выше:

Стоит берёза бледно-голубая,
Течёт ручей от неба до земли,
Но свет её неверный выпивают
Все небеса, лежащие вдали.
Видны в воде закрытые ресницы
Всех лилий, обомлевших от луны.
Сорвать бы лилию и с нею насладиться
Тем, что сулят мучительные сны.

Но страшно, страшно ночью голубою
У озера, лежащего нигде,
Что из воды появятся толпою
Все девушки, живущие в воде.

Михаил Правдюк, «Купание красных рыб». Юмористическое название свидетельствует об игре ума поэта. И это такой городской, драйвово-интеллектуальный и музыкально-любительский (в нужном смысле) текст. Это – постмодернизм. Плотно, динамично, набирая скорость, ускоряясь до предела, до «улёта»:

...музыкальная композиция — не что иное,
как фрагмент альбома 1967 г. малоизвест-
ной группы, игравшей в основном психо-
делический блюз. Коктейль из фри-джаза
и элегантных вечерних платьев. Поздрави-
тельные открытки к Рождеству. Верёвочки
и обрывки сонного бреда сплелись
в непонятном танце. Они стали колыбе-
лью для кошки. Просветление подобно но-
вому рождению. Я пытаюсь излечиться
пивом и медитацией на телеэкран.
Удивительно, что я жив до сих пор.
……..
Насекомые, как правило, бесстыдно обна-
жены. Сцены квартир населены манеке-

нами. Однажды произойдёт невообразимое.
Мы оживём, мы будем создавать произведения искусства. Музыка серебряных статуй.

У М. Правдюка есть блестящие, отличные тексты.

Сергей Гриценко, «Двадцать». Три стихотворения. Стихи, полные метафорической образности смысла, искусные. «Двадцать» – это возраст лирического персонажа трёх стихотворений, что следует из названия подборки. Основная идея всех трёх стихотворении – идея крайней серьёзности, ответственности и опасности поэтического искусства:

Двадцать
……..
В диалог об искусстве
Мягко вплетаю тени
Смелых ассоциаций,
Фабулы сновидений,
Отголоски оваций,
Ласки ревнивых женщин,
Горечь, любовь, злобу...
Как ни крути, легче
Всё же уйти, чтобы
Просто в живых остаться…

Фаиза Хакимова, Кубаиры. Переводы с башкирского. Форма поэтического сказа, выражающая народную мудрость:

Языком, что без костей,
Злоречиво не треплите;
В жизни следуйте своей
Слову пожилых людей:
Опыта их нет ценней,
Назиданий нет мудрей.

Александр Банников, «Лес». Любопытно, что сохраняя некую, видимо, чисто советскую монументальность в поэтической форме своих стихотворений, А. Банников разрушает веру в эту форму. Она у него мрачна и только. В конце «великой эпохи» у воина-афганца, которым был поэт, не осталось никаких иллюзий для оптимизма и веры в этот, исчерпавший себя окончательно, эон:

Я — человек. Посему — логики вкось, и выпасть
из жизни просто. И сколь выпавших, кто не чета мне.

А лесть зависимых и презрение превосходительств
не дают равновесия, но вдвойне — вычитание.

Но именно в звучащем безутешно и спокойно стоическом голосе заключен весь героизм атеистического времени, потерявшего веру в самоё себя. Это предельно горькая правда об обессмысливании жизни («без божества, без вдохновенья») – странным образом отрезвляет здравомыслящего читателя.

Светлана Смирнова, «Цветы и вещи». Удачное название подборки характеризует акмеистическую манеру С. Смирновой. Чувствуется благотворное влияние А. Ахматовой на её поэзию. Милый узнаваемый мир, здравый смысл, горечь и вера – разве этого недостаточно для трудной, но полноценной человеческой жизни и поэзии? Поэзия эта по-женски и камерна, и хороша. У её автора не возникает желания преодолеть или развить акмеистическую линию, включив в неё современные открытия или более древние и глубокие знания о мире:

МАРТ

Благодать тишины в квартире,
лишь часы утомленно стучат,
напоминая, что в мире
наступил весенний разлад.
На окне пушится мимоза,
за стеклом — чахнет снег.
Одинокий прохожий
несет кому-то букет.
Это март за окном притаился,
дорога мокра от слез,
и густое синее небо
усеяно мелочью звезд.

Александр Залесов, «Осенний свет». А. Залесов – филолог по образованию, он знаком и с эзотерикой, и с импрессионизмом, и экспрессионизмом – по-своему, творчески, изнутри. Его стихи несут на себе некое, в случае удачи, единство этих трёх моментов знания. Этим они и очаровательны. Другая грань его поэзии – некоторый эксперимент. Он добавляет смысловой остроты его выразительным строчкам, иногда резким, ломающим ритм. Иногда неожиданно комичным, это тоже часть эксперимента. Может быть, не самая удачная (эффект незапланированного комизма). При лапидарности, яркости и глубине смысла лучшие стихи поэта достигают своей выразительной цели и неслоновьих ушей читателя, неожиданно поражая его гармоничным эффектом:

НАДГРОБИЕ ДЯГИЛЕВА

Мне будет сон.
В нем мне привидится
город, причастный всех тайн сотворения.

Это Венеция,
вечная вдохновительница
наших успокоений.

Великолепные стихи.

Ильдар Кудашев, два верлибра **и Альбина Ахметзянова** – детские стихотворения. Обаятельная подборочка.

Анатолий Столь, «Спасение».

Первое стихотворение о «живой душе» утверждает важнейшую мысль, что одна только «живая душа» способна спасти многие неживые души. И это действительно так… Далее следует лирика, с мотивами, для неё традиционными. Это вера, любовь, человеческая доля, даже есть дидактика:

У меня в глазу бревно.
Я не вижу его вовсе.
Может, это и смешно,
Но смеяться надо после.
Вижу я всегда не то.
Даже как-то неприлично.
Вижу темень, где светло,
И не верю себе лично.

Алексей Кривошеев, «Возвращайся в свой город». О себе говорить в объективной манере трудно или невозможно, поэтому передам буквально то, что говорил о поэте Алексее Кривошееве его издатель и критик Александр Касымов. От себя скажу только: мне важна метафизическая и мистическая сторона предмета поэзии как выражение единственной, живой, духовной реальности, включающей в себя все другие возможные миры. Таков изначальный побудительный мотив, интуиция моего творческого искания, сколько себя помню. А помню я себя эпизодически ещё младенцем... Он и говорить не умел, а уже кричал, когда его пеленали, чтобы не стягивали намертво в кокон из пелёнок. Поэтому для меня целью поэзии всегда было освобождение моего глубинного «я» от материальных пут, от тавтологии логико-физических законов этого мира, их противоречий. Разрешение всего этого в гармонии.

А. Касымов незаслуженно высоко отозвался о творчестве А. Кривошеева. Он сказал ему при встрече в 1998 году, что ждал появления такого поэта

лет пять, после встречи и публикации им стихов поэта – А. Банникова (умер в 1994). Что у них обоих, как он выразился, «конвертируемая» поэзия и её можно публиковать в столичных культурных издательствах, а не только в провинциальных. А. Касымов проиллюстрировал своё впечатление от знакомства с поэзией А. Кривошеева: «У меня, – сказал он, – была вот такая литературная линейка (тут он отмерил в воздухе руками полметра), а у А. Кривошеева – вот такая (тут он щедро отхватил метр).» Эта, отчасти юмористическая, оценка свидетельствует, конечно, о внутренней свободе и щедрости самого А. Касымова, которые возникают в избранных душах от любви к искусству, а не к себе самому. Стихи А. Кривошеева в «Сутолоке» даны в первой редакции.

Мария Гальперина, «Почему горит свеча». Мало сказать, что это гармоничные, прекрасные стихи – их нужно читать, получая от самого прочтения удовольствие.

Станислав Шалухин. В некотором смысле противоположно позднему абсолютному отчаянию банниковской музы, странно брезжащему надеждой – усталое, но восторженное, очарованное дарование другого замечательного поэта. С. Шалухин не меньше Банникова был умучен мрачной бессмысленностью (за отменой живого духа) многолетней жизни в СССР. Вот его строфы, четверостишья из журнальчика:

* * *

Я плавлю в кулаке металл.
Но как я, господи, устал.
Меня не надо убивать.
Однажды просто лягу спать.
На 15 сентября 1993

Мечтает поэт отдохнуть от бессмыслицы жизни, тяжелее которой, быть может, ничего нет.

* * *

Интернационал играют.
О, траур бравурной меди...
Замученные лишь знают,
что жизнь пострашнее смерти.
15 сентября 1993

* * *

И попал я в страну дураков
и дурацких ее колпаков.
И чем выше дурацкий колпак,

тем смешней и... страшнее дурак.
1993

Но поэт неустанно ищет выхода из злостного, безбожного абсурда этого мира в образах космической, осмысленной красоты, не зависимой от нашего низкого и убогого мирка с идолком в кровавом уголке. И здесь его стиль становится отрешённым, углублённо-созерцательным, проникающим в благую, умную сущность вещей и мироздания, в образную сердцевину смысла материальности.

О, дуб этот черный средь снега и зноя!
Здесь молния пала в горящей сорочке,
когда разметалось пространство ночное
и сжалось в одной ослепительной точке...
На 4 октября 1985

* * *

Как улыбаются вода
и крылья бабочек, когда
пускает солнце корабли
и пар восходит от земли...
На 4 октября 1985

Радость жизни здесь выражена вполне пластично, наглядно. Она не рукотворна и в своей красоте.

Трудность для становления такой поэзии была в том, что для неё в Уфе не было своей школы. Но символистский, как у С. Шалухина, уровень выражения требует большого мастерства и знания так называемой метафизической манеры письма, выучки у неё. В начале 20-го века были поэты-мистики, глубочайшие выразители небывалых, неслыханных вещей и сущностей. А. Блок, В. Иванов, В. Ходасевич, Г. Иванов. Но визионеров в истории вообще было немного. С уходом русских символистов духовная почва этого глубинного мироощущения стала иссякать, хотя не исчезла. Мандельштам, Пастернак, Тарковский, Заболоцкий и немногие другие поэты советского времени подхватили её и по-своему развили.

Уфимские поэты, полуофициальный или вовсе андеграундный слой (они есть и в Касымовском издании) тоже крайним усилием добирались до сущности вещей в искусстве, до самой вещности слов и выражений.

Но в Уфе этот опыт, часто трагический, работающий напрямую с хаосом общей жизни, был почти неизвестен. Легковерная публика видела в неофициальных поэтах часто одну неприглядную сторону. Хотя это не была частная сторона их. Это была реакция на чудовищную фальшь официоза (неизбежного, как зло). Но администрация с лёгкостью вешала на них всех собак. Их делали ответственными, «козлами отпущения». Таланты оказывались по-

винны в общественном зле. Поскольку не скрывали его, как требовала партийная дисциплина, а честно выражали. И поэтический дух в иных избранниках мучительно жаждал и тосковал по истине и красоте. Ибо он, дух живой, в них-то и жил.

С. Шалухин в своём поколении, старших Банникова поэтов, был одним из таких страстных «постников», духовидцев, ищущих подходящую форму для выражения прекрасного, невидимого физическим оком. Нужно было вырастить новый символистский орган для шестого чувства, для трансляции и выражения сверхмирового «пространства». Проникнуть в невыразимую глубину смыслового ряда, за пределы материальной выраженности. В дух живой. Проникнуть и выразить. Задача непосильная в одиночку. С. Шалухин искал таких учителей, но не находил, или находил с опозданием, с трудом, с разочарованием… Эта была драма его жизни, о которой вряд ли вполне догадывались окружающие его люди, кроме немногих, близких по духу.

Поэтому, из-за прерванности великой символистской традиции, не всё у С. Шалухина одинаково удачно получалось – хватает и общих мест, иногда как будто недостает вкуса. Как всем нам, пишущим.

Врасти руками в птичьи крылья,
вдохнуть свободу и размах,
и петь, и плакать без усилья,
и жить в сосновых теремах.
На 4 октября 1985

Здесь образ перегружен натуралистичностью изображения. При внешней грандиозности образ скорее громоздкий, чем убедительный для выражения естественной лёгкости. Громоздкий он и в смысле грамматики, множественных чисел: «жить в сосновых теремах». Множественное число ради рифмы.

Множественности в образе в избытке, но недостаёт единственности, центрирующей смысл сквозного для стихотворения образа. Всего много – и рук, и крыльев, и теремов, нет лишь единственной и желанной цельности, дающей гармоническое удовлетворение… Повторяю, причина не в даровании прекрасного поэта С. Шалухина, а в неосвоенности великой школы поэзии русского реализма и её символической потерянности. Сам символизм никогда не исчезал бесследно, он есть даже в математике. Но в отличие от науки, выразительницы общих мест и всегда частичных концепций, искусство универсального высказывания – поэзия – сильно пострадала в СССР. Отсюда часто встречаемое в советское время стихотворческое дилетантство окраин. Либо столичная вычурность, игровое
эстетство, растерявшее живую реальность, чистую энергию духа. Героична уже сама попытка С. Шалухина воссоздать подлинную русскую поэзию:

МОЛИТВА

Я прожил все. Мне нечего желать.
Дойти домой и рухнуть на кровать,
закрыть глаза и больше не проснуться…
О, господи, дай женщины коснуться!
1985

Здесь важнее всего обращение к божеству, молитва о некоем касании, которое иному касанию – рознь. Не всякого касания всякой женщины взыскует поэт. Но последнего, чистейшего, идеального. Другие стали обыденностью. Поэтому молитва, обращение к божеству, вечной женственности, о которой знают мистики и поэты. А не просто прямая просьба у конкретной гражданки женского пола. Если это нужно кому-то объяснять... С утратой глубинно-проникновенного, символического видения, боюсь, что необходимо пояснить. И прежде, чем коснуться – не проснуться…Для внимательного читателя здесь бездна смысла.

За С. Шалухиным следует **Владислав Абдула**, с тремя стихотворениями и образами неземного в них. Третье – весьма элегантное «изложение» смысла жизни, оно – о неизбежном слиянии нашей боли с любовью, чего мы так желаем, порой напрасно и невозможно. Я усматриваю здесь ту же попытку символического осмысления жизни в целом.

Сергей Шаулов – литературовед-профессионал, университетский преподаватель, представлен в «Сутолоке» как замечательный поэт, подборкой «Мой прототип». Здесь с литературной школой, с культурой – всё в порядке. Автор «нужные книги в детстве читал». Поэт не дал сбить себя с толку многочисленным нечеловеческим учениям двадцатого века: кровавым революционным призывам, безбожной (бесчеловечной) доктрине советской власти и так называемой «простоте» воцарившегося надолго «хама» – этого «нового человека» вне классов и сословий, иногда жившего в нас даже против нашей воли. А в иных – никто другой, кроме него, и не жил. Конечно, «советский человек» не был «хамом» всецело, но тенденция к хамству, искусственно создаваемая, в нём была. Прежде всего, в откровенно шутовской манере религиозной критики. Её, религию, недалёкие атеисты пытались представить ещё глупее, чем она могла даже в иных случаях действительно быть. Но «советский человек» всё же рос в великой стране, с оригинальным и мощным культурным наследием, которое постепенно снова открывалось, несмотря на идолологический саботаж упрямых правителей. Но налёт фальшивой, грубой, самонадеянной наивности и незнание подлинной
человеческой природы привились «новому человеку», наспех сделанному искусственной властью по своему подобию. И апломб при этом у них «обоих» был чудовищный, размером с мировую революцию.

Фашисты в то время параллельно коммунистам тоже вывели и выращивали нового человека «высшей расы» – «истинного арийца» и «белокурую бестию». Одно и то же бахвальство и самовосславление там и тут, один плачевный исход и долгие мучения многих тысяч людей, включая самих мучителей…

Стихи С. Шаулова в целом несколько академичны, но художественно убедительны и внятны – и с философской стороны, и с точки зрения поэтического искусства слова.

Есть даже сонет, канонично выдержанный, видно, в посрамление немощной, ложно навязанной нехудожественной простоте, которая не лучше воровства. И сонет, и другие стихи – достойны своей истинной простоты выражения, – адекватной, а не декларируемой и показной.

Стихи С. Шаулова – культурное явление, важности которого нельзя переоценить. Как любое серьёзное свидетельство истины или зла, помогающее многим людям, плохо понимающим по простоте, что происходит, определиться с главными ценностями, стоящими миллионов жизней подобных нам существ. Здесь же и «молитва о прощении строителей коммунизма», стихи с библейски выдержанной смысловой символикой.

Светлана Шамарова, «Двуязычие». Стихи незатейливые, но трогательные, искренние. О любви двух сердец, о разлуке с любимым и температуре 38. Про жар и осенний пожар, как северный ветер уносит вдаль всю её, героини, печаль. Некоторые стихи Светланы и вовсе написаны по-английски, с подстрочным переводом на русский. Что необычно. Практика, прямо скажем, редкая. Читателю – судить или наслаждаться. Замечу только, что английский язык Светланы Шамаровой заметно меняет и её авторскую стилистику. Это в любом случае любопытно.

Снова **Михаил Правдюк,** «Лишь зеркалу доверив отраженье». Стихи его рассудочные, или скорее, что называется, головные. Я не вкладываю в это слово никакого умаления, только обозначаю угол зрения автора. Это – образный абстракционизм, высокий авангард:

«*Сплетенье тел в обрывках суеты / Плывет над чашей сумрачного мира. / Незыблемы сожженные мосты / И память, облаченная во мрамор*»**.**

По-моему, замечательно. Но это не конец:

«Ты закрывала двери бытия, / Лишь зеркалу доверив отраженье. / Во тьме зрачка безумие тая. / Во тьме веков уснул стеклянный город».
«Идентификация полета. / Идентификация распада. /Нас в раю встречает черный кто-то, / Помещая в звездность водопада».

Стихи интеллектуально затейливые и симпатичные. Даже некоторая наивность, свойственная рассудочным стихам, здесь им к лицу, судите сами:

«Осыпаясь, маски золотые / Обнажают мерзостные лица. / И, эффект присутствия усилив, / Мы спешим внезапно затаиться...»

Михаил Правдюк – студент-филолог (закончил Башкирский государственный университет в Уфе). Это – его первая публикация.

Не все направления А. Касымов успел вполне представить в журнале. Не всех талантливых поэтов напечатал за короткое время. Но есть сильная поэзия в Уфе. Есть символические, акмеистические, реалистические, авангардные, иронические, любовно-эротические и юмористические тенденции.

Алексей КРИВОШЕЕВ
Сентябрь 2019 г.

ПОЭЗИЯ. ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

Сергей ИГНАТЕНКО

Александру Касымову

Я унесу с собой отсюда
Прикосновенье милых уст,
Цвет мёда, белизну посуды,
Вина и хлеба терпкий вкус.

И, может быть, старик убогий
В знакомой хижине у скал
Заплачет ночью не о Боге —
О мальчике, что Богом стал.

Разрушат храмы и могилы
Во имя призрачных идей.
И будут новые Марии
Своих оплакивать детей.

Но Вифлеемская звезда
На небе вновь не загорится.
Всё повторится много раз,
И ничего не повторится.

1999 г.

Александр Касымов о поэзии Сергей Игнатенко:

В русской поэзии в XX веке было такое направление – обэриуты, близкое, между прочим, к художнику Павлу Филонову. От игры в мир поэты постепенно пришли к прозрачной глубине в понимании мира. И моё личное ощущение: Игнатенко идёт по тому же пути… Для него существенны противопоставления добра и зла, Бога и беса, созидания и разрушения, красивого и безобразного. Важно то, что последняя пара во многом синонимична первой. Стихи Игнатенко тематически близки его полотнам, они – суть его живописных размышлений, их живописность конкретна и лаконична…

Светлана СМИРНОВА

СУТОЛОКА

Смешная речушка Сутолока,
Течёшь из каких полей?

Смешная речушка Сутолока
Толчёшься меж двух церквей.

Деревья склонили головы
К зелёной воде твоей.
Бежишь из какого столетия
До наших беспутных дней?

Пройду по мосту чугунному,
Знакомому с детских лет.
Его ограда старинная
Вьётся и в дождь и в снег.

По этому мостику в церковь
Когда-то впервые шла.
У Святого древнего Сергия
Приют я душе нашла.

Истоки. Уфа, 1996. № 24 (23 дек.).

Памяти Александра Касымова

***
Двери скрипят – это входит,
выходит Вечность –
Дует сквозняк перемен.
Это бездомный ветер
коснулся и наших стен.

10 августа 2003 г.

***
Не могу ни писать, ни дышать.
Это облако белое с краю
Продолжает легко уплывать.
Я из вида его уж теряю.

Время властно на нашей земле.
Ну, а там – другие законы.
Ты в зелёной лежишь тишине
На краю цветущего склона.

И уже не достать, ни сказать
Слов последних, что не успели.

Ну, а жизнь продолжает вязать
Дни бегущие и недели.

18 июля 2003 г.

***

Я в сарафане с ромашками.
В городе – лето.
Клумбы цветут, фонтаны живут.
И так прохладны, лиловы рассветы,
Что жаркие полдни непременно придут.
Всё как всегда, как в июле бывает,
Из мелочей соткан летний уют.
- И без тебя грохочут трамваи,
минуты лениво куда – то текут…

25-26 июля 2003 г.

***

Ты знаешь теперь все секреты вещей,
Все тайны и все загадки,
Что затаились во мгле словарей,
Что с нами играли в прятки.
Ты теперь за незримой чертой,
Ты в другом, ином, измеренье.
И оттуда наблюдаешь с тоской
Жизни земной теченье.

28 июля 2003 г.

***

Останется лишь имя – звук пустой.
Как ранит это мирное затишье.
Оно сравнимо с пустотой.
Оно сравнимо с зацветающею вишней.
Когда лишь мир вокруг и простота
Обычного явления природы.
Но нас пугает эта немота
И эти переходы.

26 августа 2003 г.

***

Душа всего лишь горсточка тумана,

Радужный комочек тишины
В этом мире непонятном странном,
Где суетой неизлечимо мы больны.
И вот я у твоей могилы,
Где много пышных лаковых венков,
Где время навсегда застыло.
И не найду простых и нужных слов.
Но что слова? Ведь ты их не услышишь.
Я астры медленно кладу.
И пусть цветок тебе напомнит
Холодную сентябрьскую звезду.

***

По дороге дикий ранет,
В запылённых ветках
Сентябрьский свет.
Ранетки мелкие
Как красные бусины –
Это тебе мой прощальный привет.

22 сентября 2003 г.

***

Когда ты умер, мыло всем раздавали
С клубникой крупною на обёртке.
Вдалеке звенели трамваи,
День был душный, как монета затёртый.
. . .Это было в июле.
Четыре месяца уж прошло.
За окном моим снегопад.
Снежинки падают беззвучно, легко –
В сугробах утонет мой сад.
Я буду тебя вспоминать по ночам,
Ты будешь являться во сне.
Мёртвые знают дорогу назад
При призрачной круглой луне.

15 ноября 2003 г.

***

Понемногу станешь забываться:
Сотрутся в памяти все наши разговоры.
Понемногу будешь растворяться
Где – то в Мировом просторе.

И звездою станешь, не земным событьем,
Которыми так полнится земля,
Чтоб с Вечностью как с родиною слиться
И забыть, как пахнут тополя.
В иной реальности, совсем в другом обличье
Найдёшь успокоенье от забот.
Земля как пёрышко заманчивое птичье
Куда – то мимо проплывёт.

22 ноября 2003 г.

***
Посидела на холодном осеннем ветру у могилы.
Неуютно здесь: пусто, голодные стаи ворон.
Жаркое солнце остыло со дня твоих похорон.
Теперь ты памятник, а был человеком.
Отражением света мрамор блестит.
И пушистая красная астра
У подножья сиротливо лежит.

28-29 октября 2004 г.

ДВА МАКА

Два мака из страны Морфея
Тебе я на могилу принесла.
Два мака, что алея,
Давно уплыли в зеркала.
В их лепестках, широких как ладони,
Хрупкость чистоты.
Два мира: сон-реальность
Блаженно в них слиты.
В бутылке из-под минералки
Они стояли на ветру.
И было жалко, жалко
земную красоту.
А небо здесь казалось плоским,
и облака над головой
Расплавленным тягучим воском
Куда-то плыли в пыль и зной.
И я давно уже забыла
твои глаза, твои слова,
Как от стихов кружилась,
звенела голова.

Ведь всё проходит, всё не вечно,
Всё лёгкий дым.
Лишь облака плывут беспечно
Под небом голубым.

6 июня 2005 г.

***

Наверно облетели маки
И грустно голым стебелькам
Стоять одним в прохладной влаге
И встречным кланяться ветрам.

Лишь облака вдали густые
Над ними медленно плывут
Быть может, там, за горизонтом,
Они пристанище найдут.

6 июня 2005 г.

«Вечерняя Уфа. 2003. 23 авг.

Истоки. Уфа, 2013. № 40 (9 окт.).

ПРОЗА

Игорь ФРОЛОВ

НЕГАСИМОВ И ДРУГИЕ
Рассказ

Вернувшись из армии, я не узнал страну. Все ускорялось и перестраивалось. Теперь можно было тунеядствовать и спекулировать, не боясь наказания, и так же безнаказанно говорить все, что ты не мог сказать какие-то два года назад. Мой полученный до армии диплом инженера с тисненым гербом на синей обложке казался мне атавизмом эпохи индустриализации и пятилетних планов. Сойдя с трапа самолета, перенесшего меня из-за гор и пустынь, я вступил в эпоху индивидуальной свободы.

С собой я привез две вещи - деньги и план построения великой жизни. Деньги в новых условиях начали быстро таять. Когда есть возможность поить девушек шампанским, кормить икрой черной осетровой и персиками, возить исключительно на такси, а розы дарить по старинке - букетами, - то золотое дерево солдата превращается в голый куст задолго до наступления законной осени. И когда через несколько месяцев в моем ранце показалось дно, я понял, что наступило время построения великой жизни. По упомянутому плану сделать это я мог только одним способом - написать роман про оставшуюся за горами войну. Такой роман, чтобы под его тяжестью прогнулся мир. "Да, пусть этот мир прогнется под моей войной", - думал я, шагая по городу, - руки в карманах камуфляжной куртки, в ее нагрудном кармане - японский плеер, и в ушах молотом по барабанным: "Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве, пожелай мне удачи в бою, пожелай мне..."

Под эту музыку, уже почти нищий, я и трудоустроился. Вряд ли можно назвать трудом полставки слесаря в маленьком дошкольном учреждении. Это была почти синекура - я чинил сломанные стульчики и шкафчики, вставлял дверные замки, вешал гардины и выполнял прочую мелкую работу, которой было совсем не много. Работал вечерами, когда оба этажа маленького дома пустели, - только поварихи на кухне еще звякали и брякали, укладывая в сумки сэкономленный за день казенный провиант, да сторож (вот синекура полная) обходил коридоры и комнаты, принимая здание под охрану...

Сторожем здесь служил недоучившийся студент медицинского института - бросил на пятом курсе после двух "академов", окончательно убедившись, что больные люди - не его призвание.

- Да и здоровые тоже, - сказал он в первый мой рабочий вечер, когда мы обмывали знакомство. - Помню, привели нас в гинекологию, там все парни рвались к смотровым креслам, едва головой в распяленных пациенток не залезали, - а я как глянул в зеркало, меня чуть не вырвало...

- В какое зеркало? - не понял я.

- Да не в такое, - махнул он рукой на висевшее на стене зеркало. - Ладно, проехали, не в зеркале дело. Я с тех пор смотрю на девушек и насквозь их вижу, мимо внешней красоты - сразу внутренности - почки, кишки, каловые камни, - и содрогаюсь. Так и уродом моральным стать недолго, до патологии дойти...

Звали его Патрик. Неважно, как нарекли его родители, он откликался только на это имя, только им и представлялся. На мой вопрос, уж не ирландец ли он, Патрик обиженно пожал плечами:

- При чем тут Ирландия? Это мой будущий сценический псевдоним.

Вечер нашего знакомства продлился в ночь, вторая бутылка наполняла нас святым духом любви и доверия, и Патрик открыл мне свою тайну, о которой, по его словам, знали единицы. Бросив институт, он устроился в этот скрытый во дворах, окруженный забором и старыми тополями домик, чтобы вызреть в нем, как в коконе, и выпорхнуть уже во всей красе сразу под юпитеры и софиты. Цель его была конкретна - он хотел стать солистом группы "Веселые ребята". На дежурствах Патрик пел, оттачивая голос (который, должен признать, у него был, но скорее оперный бас, чем эстрадный фальцет), и отращивал волосы - к моменту созревания вокальных данных волосы должны были достичь такой длины, чтобы после химической завивки превратиться в шар мелких кудряшек.

- Как у Макаревича, что ли? - спросил я.

- Как у Гнатюка! - обиделся Патрик. - Конечно, как у Хендрикса! Символ музыки свободного мира!

Я хотел напомнить про Анджелу Дэвис, но не стал.

Пока же Патрик мыл свои советские волосы хозяйственным мылом, потом жестко спутывал, натирая полотенцем, и уже массажной щеткой придавал получившемуся колтуну форму вздыбленного попугайного гребня.

Патрик открылся мне, я в ответ рассказал ему о своих творческих планах, и мы решили, что соединение наших устремлений пойдет на пользу обоим. Я стал оставаться вместе с Патриком на его дежурства. Вечерами, когда солнце светило в окна старшей группы на втором этаже и его красные косые полосы лежали на паласе, я сидел посреди комнаты на маленьком стульчике за маленьким столиком с псевдопалехскими маками на фанерной столешнице и стучал по хилым клавишам печатной машинки "Москва". Вокруг меня вдоль стен на таких же маленьких стульчиках сидели куклы в коротких платьицах и белых трусиках, - расставив ноги и подняв руки, они слушали, как поет Патрик. Он пел на первом этаже в комнате младшей группы, и его густой горячий голос поднимался по лестнице на мой этаж и колыхал оконные шторы. Поначалу я не мог писать под это пение, которое прерывалось на любом месте песни и начиналось сначала. Но скоро привык и уже не обращал внимания, как не обращал его на шум дождя, ветра, листвы за окном. Удивлял только выбор репертуара - вместо того, чтобы учить песни "Веселых ребят", Патрик перепевал пластинку "По волне моей памяти", которую он постоянно крутил на старом проигрывателе "Аккорд". Скоро я знал все песни

наизусть, иногда, отвлекшись от сочинения текста, подпевал вполголоса: "Тихо плещется вода, голубая лента". Патрик хотел поехать с этими песнями к их автору, чтобы Тухманов, пораженный провинциальным чудом, рекомендовал бы его в тот самый вокально-инструментальный ансамбль.

- Но почему ты не поешь песни "Веселых ребят"? - не понимал я.

- Потому что они мне не нравятся, - отвечал Патрик. - Зато у "Ребят" есть слава и деньги.

За ползимы, пока не решившись на роман, я написал две маленькие повести. Первая, по-хемингуэевски простая, - про один эпизод войны; вторая, стилистически изощренная, - непонятно про что. Это был всего лишь прикорм, который я бросил в литературные журналы, чтобы критики успели обсудить два текста и представить нового гения читателю, тогда как гений будет вдумчиво писать свой роман. Но пока я сочинял план романа, заполняя записные книжки в прогулках по городу, в котором уже пахло весной, из журналов начали приходить отказы. От каждого письма уши и щеки мои горели так, словно в конвертах были не редакционные бланки со стандартно вежливым: "к сожалению, мы вынуждены..." - а оплеухи и пощечины. Когда количество отказов сравнялось с количеством уведомлений о получении, я понял, что мой блицкриг провалился. Патрику я ничего не сказал, чтобы не пугать его. Говорил, что жду ответов, журналы всегда тянут. Он успокоенно пел, а я валялся на вечернем солнечном паласе, как на пляже, окруженный куклами, и, слушая, как он поет, думал, что делать, и так уплывал в дрему.

Иногда к нам заглядывала сестра Патрика. Она была участковой медсестрой, а наш дом стоял на ее участке. Вот она и заходила по пути. Творческая натура, она рисовала, писала стихи, много читала и любила поговорить со мной о литературе и почитать мне свои стихи, сидя на паласе в позе русалочки на датском камне.

Она была чернявой, кудрявой, круглолицей большеглазой хохотушкой, и звали ее Лизой. Но, произнося свое имя, она как-то нежно присвистывала, и получалось "Лиса". Мне нравилось это имя.

Ей нравилась моя проза. Вернее, она говорила, что нравится. В каждый свой приход просила что-нибудь новенькое и читала машинописные листки, лежа на животе на пушистом паласе, и ее босые ноги медленно и нежно трогали друг друга, явно приглашая мою руку включиться в их игру. Но я не решался. Она была старше меня на два года, замужем, имела ребенка, и ее брат пел на первом этаже.

Как-то раз ранней весной, когда только начал таять снег, она ворвалась возбужденная и рассказала, что ходит на квартиру к народному поэту, ставит его жене капельницу.

- Это шанс! - воскликнула она. - Дай мне что-нибудь небольшое, я ему передам почитать, он поможет, рекомендацию в издательство напишет, а то и в Союз писателей в Москву пошлет!

Я вяло отбивался:

- Не хочу я попрошайничать. И потом, он поэт, а у меня про войну...

- Он - участник войны, был ранен, вот как раз поймет! - горела она.

И я сдался, решив, что судьба не может посылать целого народного поэта просто так. Выбрав из повести про войну две машинописные странички с эпизодом боя, я вручил их посланнице.

Она ушла, пообещав вернуться через два часа. За это время во мне воскресли прежние мечты - я чувствовал, как из дома, в котором жил поэт ("Тут недалеко, перекресток Ленина и Достоевского", - сказала она, убегая), распространяется волна удивления. Я видел, как он поднимает телефонную трубку, звонит кому-то в Москву и читает в трубку мои строки...

Лиса пришла и тянула время, рассказывая, какая у поэта квартира, какой он сам вблизи - большой и седой, как белый медведь, как он и она, пока в вену его жены по капле точился кавинтон, пили чай с шоколадными конфетами в виде разных морских ракушек - она даже не думала, что такие бывают!.. Наконец, насладившись моим терпеливым мучением, перешла к главному.

- В общем, дала я ему твои листочки. Вот, говорю, друг моего брата пишет, не могли бы вы взглянуть. Он взял. Знаешь, взял двумя пальцами, брезгливо так, а на лице читалось - ох и надоели вы мне...

- Я же говорил! - с досадой воскликнул я. - Не надо было!

- ...Взял он листочки и ушел в кабинет, неся их двумя пальцами перед собой, как дохлую мышку за хвост. Вышел через несколько минут, держа их уже двумя руками, и сказал: да, это, конечно, писатель...

Она сделала паузу.

- Ну и? - не выдержал я.

- ...А дальше он так задумчиво, глядя в окно, сказал: а раз он писатель, то пусть дальше мучается. Писатель должен мучиться...

- И все?

- Не все. На прощанье он посоветовал отнести рассказы в "Вечерку", там есть литературная страница. Хочешь, я отнесу?

Конечно, я отнес свои тексты сам. Вошел в Дом печати, поднялся на третий этаж, нашел в коридоре редакции отдел культуры, постучал. Но редактора литальманаха на месте не оказалось, и его соседка вежливо предложила мне оставить рукопись на столе - "только телефончик написать не забудьте...".

Редактор позвонил через неделю и пригласил меня на разговор. Когда я вошел в кабинет, за столом, что был в прошлый раз пуст, сидел усатобородатый, большеухий и большеротый человек в больших, как окна, очках и без одного переднего верхнего зуба.

- Ну что вы мне опять принесли? - тряс он листком. - Почему опять так безграмотно?

- Так... Не русский же я... - бормотал сидящий на краешке стула человек, которого я не сразу заметил за стоячей рогатой вешалкой с висевшим на ней пальто.

- Да и я, как вы можете догадаться, всего лишь россиянин! Но если решили писать по-русски, пишите грамотно! Или пишите на родном и отдавайте переводить!

Когда удрученный автор ушел, я шагнул вперед и представился. Редактор преобразился - он перестал топорщить бороду и широко - в пол-лица - улыбнулся, поднимаясь навстречу и протягивая руку.

- Негасимов, - сказал он. - Александр Францевич...

И, усевшись, мы начали разговор.

- Сразу хочу спросить, - сказал он, - кто вы по профессии?

- Врач, - неожиданно для себя соврал я.

Наверное, я назвал профессию, представители которой дали великих писателей. И я не боялся разоблачения, потому что был уверен - мы видимся первый и последний раз. Какие такие провинциальные газеты, куда я пришел?

- Странно, - сказал Негасимов. - Тогда я не понимаю, откуда в вашем тексте столько этих ужасных техницизмов?

- Я еще окончил авиационный институт, - сказал я правду.

- А, значит, еще и авиационный? Когда это вы успели? - пробормотал Негасимов. - И все же, мне кажется, вертолет на пуанты встать не может, это вы перегнули...

- А вы, наверное, поэт? - насмешливо спросил я, уже готовый встать и уйти.

- Ну, в общем, да. А что? Не любите поэтов?

- Люблю. У них мышление специфическое. Как у женщин. А женщин я люблю...

- Не сердитесь, - сказал Негасимов. - Мне ваши тексты понравились. Только... нет ли у вас чего-нибудь... как бы точнее сказать... человеческого, что ли?

- Не про войну? - уточнил я. - Есть. Но это вы точно не напечатаете. Вот, пожалуйста...

И я протянул ему несколько машинописных страничек.

- Беса? - прочитал вслух Негасимов. - Это по Достоевскому? Заметил, вы - писатель филологический, аллюзии всякие... Ладно, я прочитаю, позвоню через несколько дней.

Но телефон зазвонил, когда я, придя из редакции домой, раздевался в прихожей.

- Послушайте, господин Набоков! - возбужденно кричал редактор. - Я когда начал читать и понял, о чем вы, с ужасом ждал, когда же вы все испохабите! Но вы прошли меж дождевых струй! И пусть меня уволят, но я это напечатаю!

- Вы с ума сошли! - радостно кричал я в ответ, царапая ключом холодильник. - Вам этого не дадут сделать! Я же просто так дал, не в расчете на печать! Вам никто не позволит, даже и не пытайтесь, - а то я вообще стану нон грата в местной прессе! И вы вместе со мной!

- А вот поглядим! Нет, нам определенно надо выпить водки!..

Конечно, этот рассказ не напечатали. Негасимов показал мне верстку снятой полосы, на которой был мой рассказ с оставленным окном для рисунка. В этом окне замредактора начертал стремительно: "А. Ф.! Ваш протеже, конечно, гений, но не для нашей газеты!"

- Гордитесь хоть этим, - сказал Негасимов. - И давайте что-нибудь не столь щекотливое.

Я принялся писать и написал три рассказа. Один за другим они были отвергнуты замредактора. В творчестве и ожиданиях минуло лето, канул сентябрь. Негасимов бесновался - такого с ним не было никогда, он всегда публиковал кого хотел.

- Это мистика! - горячился он, когда я приходил в редакцию. - Наверное, что-то не так с вашей кармой. Дошло до того, что, когда я набираю ваше имя, мой компьютер зависает! Я - убежденный атеист и реалист, а вы шатаете основы моего мира! Пришла пора выпить водки...

Наступил октябрь. Мы с Негасимовым пили водку. Патрик к нам не присоединился, но и не пел. Негасимов, войдя и поздоровавшись с открывшим ему сторожем, вежливо спросил у него, нет ли в здании ремонта, и в ответ на удивление пояснил, что на подходе к зданию ему показалось - рабочие поют. Уже наверху, получив мои объяснения, Негасимов долго сокрушался, хотел спуститься и принести извинения, но потом решил, что так будет еще хуже, и смирился.

За окнами лил дождь. Опрокинув в большой рот рюмку, Негасимов сказал:

- Я, между прочим, на вашу "Бесу" стихотворение написал, вот...

Он достал из кармана сложенный вчетверо листок, развернул, протянул. Я взял. Стихотворение, написанное большими, наклоненными в разные стороны буквами, начиналось со слов "Звуки приплывают по воде", дальше говорилось про таинственный сад и запретный плод.

- Это вам, - сказал Негасимов. - Дарю.

- Спасибо, - сказал я, продолжая смотреть в листок, по которому буквы брели, как мигрирующие в поисках воды грустные слоны, носороги и гиппопотамы.

- Это страшная вещь, - сказал Негасимов, опрокинув очередную рюмку. - Теперь, обнимая свою дочь, я думаю, чтобы ей не попался такой змей, как вы...

- Не я, а мой лирический герой, - сказал я.

- Да бросьте, - махнул в меня рюмкой Негасимов. - Это обманка для критиков и читателей, а уж мы-то с вами знаем... Так что замред правильно сделал, что не пропустил. Плохо только, он теперь в каждом вашем тексте видит опасность. Его нужно чем-то отвлечь... - говорил он, глядя в оконный струящийся размыв. - Мысль крутится... Когда-то давно я видел какой-то фильм. Там еще Гундарева играла. Помню кадр - она сидит у окна, дождь,

осень, по окну вода течет... Понимаете? Вот что-то такое нужно написать... Представляете ощущение? Напишите такое, отвлечем внимание цензора...

Он говорил, говорил, говорил, прерываясь только на рюмку. Мы лежали на паласе в позе римских патрициев на пиру.

- Схема моего сближения с автором проста, - говорил Негасимов. - Сначала я влюбляюсь в текст, потом в человека. Вас, - он крутанул лежавшую между нами пустую бутылку, - я уже люблю...

Бутылка, покрутившись, указала горлышком на Негасимова.

- Я тоже вас люблю, - сказал я и икнул.

- Но на брудершафт мы пить не будем, - глядя на бутылку, сказал Негасимов. - Останемся на "вы", так вернее...

На следующий вечер, глядя в запотевшее окно, я вспомнил про Гундареву в неизвестном мне фильме. Сев за столик, всосал своей китайской ручкой чернил из пузырька, придвинул чистый лист и написал первое, что пришло в голову: "Октябрь уж наступил". Нарисовал на полях профиль Пушкина, потом профиль Негасимова, который оказался вылитым пушкинским бесом из "Работника Балды", и продолжил. Рассказ написался за ночь. На следующий вечер переставил куски местами, отрезал, добавил, ночью отпечатал и утром отнес в редакцию.

Негасимов был в восторге:

- Именно об этом я и говорил! Импрессия! Надеюсь, что зам ничего не поймет и пропустит! А вообще про что это? Если вдруг спросит...

- Про то, как я с парашютом первый раз прыгнул, - сказал я и ушел спать, оставив Негасимова перечитывать рассказ с учетом полученной ориентировки.

До выхода Литальманаха был еще целый месяц, оставалось только ждать. В это время Лиса решила, что ее брату тоже не помешает помощь в восхождении на вершины славы. В нашем учреждении, конечно, было пианино, а у Лисы была подруга Лика, когда-то окончившая музыкальную школу по классу фоно и, что важно, недавно расставшаяся с мужем.

- У нее теперь до фига свободного времени, - добавила Лиса и аргументировала в ответ на гримасу брата: - Она научит тебя аккомпанировать собственному пению, а то что за певец, который даже "Собачий вальс" не может сбацать!

Она привела Лику на дежурство и увела меня - чтобы не мешал им заниматься. Но на следующее дежурство Патрик попросил меня остаться.

- Кажется мне, - сказал он, - что эта учительница музыки хочет не только музыки. А я не хочу, я все либидо сублимировал в горло! Потом за все отыграюсь - сам знаешь, сколько у нас, певцов, поклонниц, есть из кого выбрать...

Я остался. Сначала мы втроем пили вино. Лика встряхивала длинной соломенной гривой - она вообще напоминала веселую лошадь - от осанки и длинного лица до радостного ржания, - много говорила, обращаясь то к одному, то к другому. Патрик явно нервничал - наверное, ему было жалко те-

рять время и хотелось петь. Я, правильно понимая свою задачу, ненавязчиво налаживал контакт - то невзначай касаясь мизинцем своей руки мизинца ее, то коленом - ее коленки. Она не убирала. Когда наступило время решений, я встал и, пожелав им хорошо позаниматься музыкой, пошел на свой второй этаж. Мимо меня пробежал Патрик, крикнул Лике, что только дверь закроет, а мне прошипел:

- Не спи!

Я не спал почти час. Лежал на полу на двух положенных поперек матрацах, читал и правил новый рассказ, иногда отрываясь и прислушиваясь к звукам снизу. Было тихо - никаких фортепианных гамм. Через час лестница заскрипела. Она скрипела так осторожно, словно по ней поднимался грабитель. Я затаил дыхание и ждал. Она вошла на цыпочках, встретила мой взгляд, спросила "не спишь?". Ее ненакрашенные ресницы были мокры.

- Представляешь, - сказала она, садясь рядом по-турецки, - я так и не смогла уговорить Патрика позаниматься. Он сказал, что нужно настроиться, помедитировать. Лег, закрыл глаза и через минуту захрапел! Как это называется?

Потом она рассказывала про свою неудачную семейную жизнь. Я с тоской слушал обязательную программу, иногда встревая и пытаясь увести ее в сторону. Но лишь когда, сочувственно кивая, я начал поглаживать ее коленку, она замолчала. Сидела, прислушиваясь к моим пальцам. Вдруг засмеялась сквозь слезы, спросила:

- Как думаешь, я его совсем не интересую?

- Понимаешь, у него сейчас любовь с музыкой, - сказал я. - Не расстраивайся.

И, сев рядом, мягко, по-братски, привлек ее к себе. Она доверчиво склонилась.

...Через несколько минут, когда все одежды валялись на полу, она, вцепившись в мои волосы, закричала так, будто ее зарезали.

- А-а, ч-черт! - крикнула она, зажмуриваясь. - О-о, г-господи!

- Я, я! - неожиданно для себя переходя на нелюбимый немецкий, зарычал я.

Потом внезапные любовники отдыхали, лежа на матрацах, - они разошлись, как льдины, но сдвигать было лень.

- Ты же не думаешь, что я бэ? - сказала она, водя пальчиком по моим губам.

- Ну что ты, - искренне ответил я. - Какая же ты б...? Ты б... не видала...

- При чем тут б...? - вскинулась она. - Я имела в виду бревно! Не показалась ли я тебе холодной? Уф! Б...! Как ты мог такое подумать! Нет, ну надо же, я - б...! Ну, спасибо!

Она отвернулась.

- Так я же и говорю, - успокоил я. - Не понял только, зачем шифровать такой знаковой буквой? Какое же ты бревно? Ты такая темпераментная, я еле сдержался, когда ты закричала.

- И не сдерживался бы, - сказала она. - Сегодня можно...

"А вот вам", - подумал я, складывая за спиной фигу.

Была дождливая осенняя ночь, когда я проводил ее домой, - она жила недалеко, но путь через лабиринт дворов был извилист.

На следующее дежурство она пришла снова. Потом еще. И еще. А ночью, когда, проводив, я садился за свой маленький письменный стол, она возвращалась телефонным звонком, чтобы говорить, говорить.

Незаметно пролетели две недели. Я вдруг обратил внимание, что полностью утратил одиночество. Лика теперь была со мной всегда - если не телом, то бесконечными телефонными разговорами. Однажды я заикнулся, что мне нужно поработать, - мол, завтра должен отдать последнюю редакцию рассказа в "Вечерку", там никак не пропускают рассказ, требуют редактуры, а я не могу сосредоточиться.

- "Вечерка"? - радостно встрепенулась Лика. - Чего же ты молчал?! У меня там друг работает, правая рука главного редактора!

- Негасимов? - на всякий случай спросил я. - Александр Францевич?

- Нет, его Валера зовут. Завтра позвоню, и уже послезавтра тебя напечатают! - сказала она и приблизилась, мерцая очами.

На следующий день она сообщила:

- Я позвонила Валере, он все обещал сделать. Правда, ногу недавно сломал, оказывается, но он по телефону с главным договорится.

- Спасибо, - сказал я. - Но, может, не надо? Редактор сам разберется, а то как-то неудобно...

- Не думай об этом, - прошептала она, закрывая своей ладошкой мой рот. - Я все устроила, наслаждайся жизнью...

Но наслаждение мое быстро убывало, утекало в какую-то щель, образовавшуюся в моем бытии.

- А то ты не знаешь, в какую, - говорил Патрик. - Бери пример с меня, я все силы бросил на достижение цели и скоро буду на вершине. А ты застрял, попал в капкан. Я читал, что в таких случаях волк отгрызает свою конечность...

Я и сам чувствовал, что Лика отклоняет меня от великого пути, на который я едва ступил. Но и никаких конечностей отгрызать не хотелось, тем более что мне, в общем, нравились наши скользкие барахтанья, ее развратное бесстыдство, с которым она изображала куклу, принимая в белых трусиках кукольные позы и представляясь механическим голосом:

- Меня зовут Суок, мальчик. У меня нет сердца, но есть что-то другое...

Я хотел ввести наши отношения в нормальное русло - когда женщина есть один из элементов твоей свободы, а не прикованная к тебе тачка с обязательствами.

На очередном свидании я попытался объяснить ей поэтику своего существования.

- Понимаешь, я, как Ихтиандр, - говорил я, - выныриваю на воздух, в жизнь, чтобы не атрофировались легкие. А так в основном я дышу жабрами, я

все время под водой своих фантазий, я опускаюсь на самое дно и ищу самую главную жемчужницу, чтобы вскрыть ее и извлечь самую главную жемчужину...

- Ты ее нашел, просто не понимаешь, дурачок, - ответила она, раздеваясь и кидая мне в лицо бюстгальтер, который попал чем-то твердым прямо в глаз.

Еле сдержав крик, я грустно улыбнулся и сказал, растирая глаз:

- У меня страшно болит голова.

- Сейчас пройдет, - бурно дыша, она скидывала туфли.

- Не пройдет, - сказал я, сморщившись. - Это на всю ночь, я знаю.

Она остановилась и растерянно смотрела на меня. Я не мог смотреть ей в глаза и прикрывался ладонью, изображая страдание от головной боли. Гордо взмахнув длинными соломенными волосами, она отвернулась и начала одеваться.

- Надеюсь, ты меня проводишь?

- Не могу, - сказал я, чувствуя надвигающуюся свободу. - Еще светло, добежишь. А я прилягу (помедитирую - хотел добавить, но сдержался)...

- Вот ты, значит, как? Все, я больше не приду! Слышишь? Я больше не-при-ду!

Я молчал, сжимая пальцами виски. А когда внизу хлопнула дверь, немного выждав, спустился, выглянул осторожно, потом вышел в осеннюю желтую сырость и закурил с облегчением. Патрика не было, он теперь приходил, когда она уходила.

- Ваши кошачьи крики мешают петь, - говорил он, - разрушают мою звуковую гармонию.

Я вдыхал дым пополам с холодным мокрым воздухом и чувствовал, как возвращается вытесненное женщиной свободное одиночество. Когда звякнула калитка и послышались легкие шаги, я вздрогнул, решив, что Лика передумала меня покидать. Но это была Лиса. Она слегка запыхалась, щеки ее горели, глаза смеялись.

- Красную шапочку вызывали? - спросила она, показывая на свой красный кокетливо скошенный берет. - Я на минуточку. Вот, пирожки пекла, решила вам занести. Братец здесь?

- Братца пока нет, - сказал я, отчего-то радуясь ее появлению, - но пирожки я приму...

- Есть с луком-яйцом, есть с мясом, а есть с яблоками, - доставала она теплые свертки и вкладывала их мне в руки, касаясь моих пальцев своими.

- Может, зайдешь, чаю попьем? - предложил я.

Она посмотрела на часы, на небо, на меня, и когда я понял, что она согласна, звякнула калитка.

Это вернулась Лика.

- Ты думал, я уже не приду? - сказала она, улыбаясь. - А я пришла, анальгин тебе купила, вот. - И, будто только заметив Лису, повернулась к ней: - Приветики, а ты к брату?

- Зачем анальгин? - спросила у меня Лиса недоуменно.

- Голова у него заболела, вот я и сбегала, - быстро отвечала Лика, пока я соображал, как себя вести. - Ух ты, пирожочки принесла? Кому? Муж на дежурстве, что ли?

Лиса не ответила, достала сигарету, закурила. Сделав несколько глубоких затяжек, спросила у меня:

- Так ты напечатался в "Вечерке"?

- Вот, жду, - сказал я.

- Уже скоро, я договорилась, - встряла Лика.

- Нет, ну вообще! - вскинула глаза к небу Лиса. - Ты-то с кем могла договориться?

- С кем надо, с тем и договорилась! - гордо встряхнула гривой Лика. - И все же ты как тут?

- Да вот, по вызову, - сказала насмешливо Лиса, выдыхая дым подруге в лицо. - У пациента голова заболела от кое-кого, пришлось помощь оказывать. Анальгин ваш уже не нужен, можете его сами съесть.

- Пирожками лечишь? - кивнула на свертки в моих руках Лика. - Петя бедный на дежурстве надрывается, а его жена другим мужикам пирожки носит, на Петины деньги, между прочим, испеченные...

- Дура ты, Лика! - сказала Лиса, и я увидел, что она уязвлена. - Как была в детском саду кусачей злючкой, так и осталась.

- А ты была ревой-коровой, чуть тебя укусишь, сразу в крики и к воспитательнице...

Я стоял с пирожками в руках и не знал, что предпринять. И тут - на этот раз спасительно - звякнула калитка.

По дорожке, выставив вперед бородку и закинув сумку на ремне за спину, стремительно шел Негасимов. Сумка его тоже позвякивала. Подойдя, он поклонился дамам, пожал мою теплую от пирожков руку и сказал:

- Я звонил, но никто не отвечал. Решил без предупреждения - дело неотложной важности. Но, я смотрю, вы заняты?

- Мы с подругой уже уходим, - сказала Лиса, беря Лику за рукав, будто боясь, что та убежит. - А пирожки вам как раз пригодятся...

- И анальгин утром в самый раз будет, - Лика сунула мне в карман упаковку таблеток.

И они ушли вдвоем мирные и дружные, взявшись за руки.

- Весело живете, - заметил Негасимов. - Глядя на вас троих, я целый рассказ сочинил. Хотите, сюжет подарю? Назовите его "Негасимов и другие"...

- Что, нужен новый рассказ? - сказал я. - Опять отвергли?

Но на этот раз Негасимов принес добрую весть. Он разлил водку, мы выпили, закусили пирожками - Негасимов, несмотря на свою хрупкость, откусывал полпирожка сразу, - и, налив по второй, он рассказал мне, что альманах подписан в печать и выйдет через неделю.

Поискав в себе радость, я не обнаружил ее. Было даже немного обидно, что этот рассказ преодолел цензуру. Получалось, что я снизил накал гениальности, добавил посредственности, которая и удовлетворила чуткого, как канарейка, замредактора.

- Неужели никаких замечаний? - спросил я с надеждой. - Там всякие намеки есть...

- Не знаю насчет намеков, но зам сразу по прочтении подписал. Значит, вы сумели обмануть, усыпить внимание...

Чтобы отогнать последнее подозрение, я спросил, работает ли у них некий Валера, правая рука главного редактора, он еще недавно ногу сломал, - говорят, он меня пролоббировал.

- Что он сделал? - поперхнулся водкой Негасимов.

- Ну, в смысле, слово замолвил...

Негасимов захихикал.

- Валера, который сломал ногу, - сказал он, - это наш шофер, и в литературе он главному не советчик. Даже не как тот полотер...

Через неделю выпал снег и вышла газета с моим рассказом. Я читал себя утром, вернувшись домой от киоска. Газета пахла белой свежестью. На подзаголовочном коллаже силуэт, очень похожий на мой, сидел за столом у окна, в котором стояли силуэты заснеженных деревьев. Я читал свой рассказ недолго - строки, которые я мог перечитывать в машинописи бесконечно, загнанные в газетные колонки, вызывали чувство отторжения. Я вдруг увидел, как отвратителен мой рассказ, - испачканные сахарным сиропом слова липли к губам. "Какой позор!" - шипел я, скользя по тексту боковым зрением, чтобы не видеть и не понимать.

Позвонил Негасимов, поздравил, спросил, счастлив ли я, удивился моей реакции.

- Первый раз вижу человека, который хочет скупить весь тираж не для раздачи знакомым, а для самосожжения, - сказал он расстроенно. - И что теперь, мне ставить на вас крест как на писателе? Только я задумал издавать журнальчик...

- Не знаю пока, - сказал я, - может быть, я отравился литературой, посмотрим. Но вам я благодарен безмерно!

Вечером на дежурстве Патрик усугубил мой скепсис. Прочитав рассказ, он сказал:

- Странно. Сколько с тобой общаюсь, никогда не подозревал в тебе такой густой шизофрении...

На мои просьбы уточнить, что он имеет в виду, Патрик мялся, перечитывал, но уточнить так и не смог.

- Не знаю, - сказал он. - Не по-человечески как-то... И быстро - читаешь, будто с горы на лыжах мчишься, а что внизу ждет, не знаешь...

Я удивленно перечитал рассказ и увидел, что он был написан черепахой. От такой путаницы стало еще хуже.

Позвонила Лиса, поздравляла и восхищалась - сравнивала рассказ почему-то с гладиолусом. Я немного воспрял - гладиолус был все же лучше, чем черепаха на лыжах, - и пожаловался, что Патрик поставил мне диагноз.

- Слушай его больше! - утешила Лиса. - Он за всю жизнь только одну книгу прочитал, про Витю Малеева в школе и дома, на которой, видимо, и надорвался как читатель.

Позвонила Лика.

- Поздравляю! - сказала она. - Хочешь, я приду, и ты сможешь меня отблагодарить? Ведь это благодаря мне ты стал настоящим писателем...

- Благодарю, - сказал я. - Но сейчас у меня болит голова. Я скоро вас приглашу отметить это событие - всех причастных...

- И Лису с пирожками? - ехидно спросила Лика и бросила трубку.

Я облегченно вздохнул.

После публикации моего рассказа Патрик вдруг перестал петь и ходил задумчиво.

- Теперь пора, - однажды сказал он. - Я созрел. Ты стал писателем, я должен стать певцом. Нужно ехать в Москву к Тухманову, пока Новый год к горлу не подступил, а то ты за зиму в Переделкино переберешься, а я отстану навсегда...

- Какое там Переделкино? - удивился я. - Сам же говоришь - шизофрения.

- Так это и есть признак гениальности. Ты не для народа писатель, а для писателей, они тебя скоро примут, вот увидишь. И мне нужно торопиться, чтобы нам вместе взлететь. Чувствую я, ракета у нас одна на двоих, как бы не получилось так, что ты улетишь, а я останусь.

Была суббота, и Патрик дежурил с утра. Валил снег, улицы были белы, пушисты и глубоки. Я пришел к обеду и застал Патрика в возбужденном ожидании.

- Это знак! - сказал он, показывая на летящий за окном снег. - Посиди здесь, я вернусь через час.

И, ничего не объясняя, он оделся и канул в белую глушь.

Через два часа в дверь постучали. Я спустился, открыл и замер. Передо мной на крыльце стоял красноносый клоун в одежде Патрика. Клоун был в кепке с помпончиком, из-под которой в обе стороны торчали облачка волос. На кепке и на волосах лежал снег. Клоун был грустный и злой одновременно.

- Молчи! - воскликнул он и вошел. - Надо помыть и расчесать...

Он снял кепку, стряхнул снег, и вместо клоуна я увидел перед собой грустного спаниеля.

- Что с тобой? - сказал я, кривя и кусая губы, чтобы не рассмеяться. - Тоже шизофрения?

- Ну "химка" же! - с отчаянием выкрикнул Патрик, взбегая по лестнице. Волосы его взлетали и опадали в такт. - Видишь, фигня какая-то получилась, а не шарик...

Он вымыл голову и расчесал ее массажной щеткой, но мелко завитые волосы не желали стоять дыбом, образуя негритянский шар, - только пышно свисали по бокам головы.

- Джузеппе! - горестно восклицал Патрик, ероша волосы перед зеркалом. - Асисяй! Все кончено! В таком виде не то что в Москву - здесь на улицу нельзя показаться! Сейчас проулками пробирался, хорошо хоть снег...

Через час мучений и стонов Патрик сдался и позвонил сестре. Он всегда обращался к ней, когда не знал, что делать. И она всегда его спасала. Вот и теперь Лиса не оставила брата в беде. Через час она пришла и привела с собой Лику. Оказалось, Лика сама стригла своего мужа и, по словам Лисы, стала настоящим мастером.

- Я ей настойчиво советую переквалифицироваться в мужского парикмахера, - не удержалась Лиса от шпильки. - Грудью в шею потыкаешься - и замужем уже...

Но Лика не обиделась. Она достала из сумки футляр, открыла - там лежала черная электрическая машинка с насадками, ножницы, расческа, - разложила все на столе, предварительно расстелив белую тряпочку, - и движения ее были плавными и экономными, словно она готовилась к хирургической операции.

- Ну? - сказала она, стрекоча ножницами в воздухе. - Клиент созрел?

Из комнаты вышел Патрик, прижимая волосы руками. Девушки смеяться не стали, усадили его на стул, обернули простыней, поставили перед ним снятое со стены зеркало, в котором отразилось опрокинутое, полуобморочное лицо клоуна перед казнью, - и Лика занесла над его головой звонкий сверкающий стрекот. Но прежде она погрузила в унылую шапку волос свои цепкие руки, пошевелила пальцами, потянула и сказала:

- Все ясно. И куда ты с такими волосами собрался? Они же слабенькие, корни не держат, волос падает под своей тяжестью, тут никакая "химка" не поможет. Кальция не хватает твоему брату, - повернулась она к Лисе. - Пеки ему пирожки с глюконатом...

И, защемив между указательным и средним большой клок волос, отхватила его двумя щелчками. Хлопья падали на простыню. Патрик сидел с закрытыми глазами, и мне казалось, что он сдерживает готовые брызнуть слезы.

Мы с Лисой вышли покурить, чтобы не видеть, как Патрик превращается в лысого мужика, - приговор Лики не оставил ему надежд даже на короткую прическу.

Снег все валил. Мы стояли на крыльце и смотрели, как прямо на наших глазах растут белые шапки на ветвях, заборах, подоконниках, перилах балконов, крышах...

- Зима пришла... - сказала Лиса. - Давайте отпразднуем?

- Приход зимы? - спросил я.

- Вообще все, - сказала она. - Зиму, твой рассказ, лысину Патрика... Петя сегодня дежурит, сын у бабушки...

- Может, Негасимова позвать? - предложил я. - Как-никак он мой крестник...

- А может, не надо? - помолчав, сказала Лиса. - Вы с ним потом отдельно в вашем бомонде отпразднуете. А мы сегодня просто посидим - в самом начале зимы. Да и братцу сейчас чужие глаза как соль на рану...

И мы пошли сквозь набухшее снегом пространство в ближайший магазин, купили водки для мужчин и ликер "Амаретто" для женщин, колбасы, сыра, шоколада и вернулись как раз к окончанию операции.

Патрика не удалось увидеть лысым - сразу после стрижки он с помощью Лики повязал на голову детскую пеленку в уточках и зайчиках на манер банданы. Но похож он был не на пирата, а на человека, с которого сняли скальп, - оранжевые зверушки на белой косынке походили на пятна проступившей крови, - и на лице скальпированного было страдание.

- А что, - сказал я, - так даже лучше, образ нетривиальный, а то сейчас на эстраде все "химкой" трясут...

- Не трави человека, - строго сказала Лика. Она неотступно следовала за Патриком, готовая, наверное, подхватить его, если он начнет падать. - Не так просто расставаться с надеждой, не знаю, понимаешь ли ты... - И она многозначительно посмотрела на меня.

Я радостно промолчал и, звякнув пакетом, прошел в кабинет налаживать праздник. Лиса пошла за мной.

В тот вечер Патрик напился. Косынка-пеленка скоро съехала ему на затылок, обнажив бело-синюю поверхность, и Лика, вжимая его лицо в свою грудь, целовала сотворенную ею лысину и утверждала, что шишки его головы говорят о его музыкальной гениальности. Патрик не вырывался, только поворачивал лицо так, чтобы дышать. Играл магнитофон. Наши с Лисой руки нежно боролись под столом на ее бедре. Когда моя рука убегала и скользила в сторону главной тайны, ее рука, выждав немного, спохватывалась, догоняла и возвращала нахальную беглянку.

- Давай потанцуем? - склонившись к моему уху, шепнула Лиса хрипло.

- Не могу встать, неудобно, - сказал я, направляя ее руку к причине моего неудобства.

- Какой меч! - восхищенно простонала она. - Я теряю сознание...

Лика уже целовала безвольного лысого певца, оседлав его колени и зажав его голову локтями. Доносившееся чавканье создавало полную иллюзию поедания хищником жертвы. Руки жертвы вяло лежали на талии хищницы.

Мы с Лисой танцевали под долановскую "Леди в голубом" - и песня вела нас, сплетенных, извивающихся, как две змеи, из кабинета - сначала в коридор, а потом в большую комнату. На паласе лежал голубой прямоугольник фонарного света, в котором плыла тень летящего снега, - и эта тень накрыла нас.

Лиса была податлива и восторженна.

- Ты гений, - говорила она, когда мы выныривали и лежали, отдыхая в тени снегопада. - Ты станешь знаменитым, я знаю...

Ближе к полуночи я проводил ее домой. Когда спускались по лестнице, услышали из кабинета крик Лики.

- А, ч-черт! - крикнула она. - Ч-черт, вот черт!..

И я не понял, это был крик наслаждения или отчаяния.

После Нового года Патрик и Лика поженились. Я не мог поверить в реальность этого события.

- А как же музыка? - спрашивал я Патрика. - Скоро волосы отрастут, как же Тухманов, слава, поклонницы?..

- Чушь, - отмахивался Патрик. - Мистика или нет, но когда я волос лишился, у меня словно глаза открылись - какой я к черту певец? Только по пьяни "Ой, мороз, мороз" орать - это я могу и в семье делать.

Иногда я бывал у них в гостях. Лика ходила передо мной торжествующе - в коротком халатике, в пушистых тапочках. Глядя на ее щиколотки, я даже смутно завидовал Патрику.

- Семья - это истинно мужское, - говорил он, моя в раковине посуду. - Я был таким идиотом!

Он уволился из сторожей, сказав, что займется настоящим делом, - у Лики есть связи. Я занял его место, чему был очень рад. Стояла хорошая долгая зима. Я сидел в тепле за маленьким столиком и писал череду маленьких рассказов ни о чем. Зима была похожа на вечность, и рассказы получались под стать ей - время в них стояло или медленно вращалось. Иногда я думал, что это куски из будущего романа, и тогда они начинали немного нравиться мне, окутанные контекстом неизвестности, как огоньки в ночи.

Ко мне приходил Негасимов, показывал верстку затеянного им журнальчика. Журнальчик был тонкий, но это не смущало его редактора, - он говорил, что литературный пейзаж должен быть прозрачен, чтобы всех было видно.

Негасимов ждал от меня новых рассказов для журнальчика, но я не признавался, что пишу, ссылаясь на непроходящее отвращение к своему печатному слову.

- Клин клином вышибают! - кипятился Негасимов, расплескивая водку. - Вы должны писать, а не лечить вашу контузию прикладыванием мягкого женского к одному месту! Вам мало того, что женщина сгубила вашего друга?

- Почему сгубила? - удивился я. - Мне кажется, он счастлив, говорит, делом занимается...

- Делом? - усмехнулся Негасимов. - Не хотел я вам говорить, да и ваш несчастный друг просил не выдавать... Встретил я его недавно на сипайловском рынке - вы там не бываете, - ботинки искал себе зимние. И купил вот эти, хорошие, югославские, - у вашего друга, между прочим. Да-да, он торгует там прямо из баула. Смутился, меня увидев, объяснять стал, что это временно, да я-то знаю...

Я молчал, потрясенный. Негасимов был доволен произведенным эффектом.

- На этот раз предназначенный вам снаряд попал в него, - сказал он. - Но если вы будете столь же беспечны, постригут и вас...

Уходя, Негасимов попросил меня поклясться, что начну писать прямо сейчас, как только закрою за ним дверь.

- Ни дня без строчки! - воскликнул он, вываливаясь на крыльцо. - Только пишите уже о жизни, а не о женщинах!..

Я пообещал. Закрыл за ним дверь, поднялся в большую теплую комнату с пушистым паласом, сел за свой маленький столик, зарядил в каретку чистый лист и напечатал, не задумываясь:

"...Стояла долгая хорошая зима. По четвергам ко мне приходила Лиса. Она стучалась и, когда я открывал, весело спрашивала:

- Кому тут плохо? Медсестру вызывали?

Целуясь, мы поднимались по лестнице на второй этаж. Перед большой комнатой с пушистым паласом она отставала ненадолго и появлялась уже в белом халате на голое тело. Колени и бедра ее были холодны с мороза". Я блаженно потянулся и посмотрел на часы. Уже наступил четверг.

Бельские просторы. 2011. № 9. С. 8-20.

Айдар ХУСАИНОВ

СЛУЧАЙ АЛЕКСАНДРА КАСЫМОВА
Отрывок из романа «Голова Олоферна»

Не могу не порекомендовать к прочтению. Глубоко трагический документ, описывающий мучительное существование личности в состоянии полураспада. Редакторы «Крещатика» (если таковые в таковом существуют) не посмели тронуть своим целительным ножом это мычащее и кровоточащее.
Жизнеописание Багрова–правнука читайте в романе Айдара Хусаинова «Культур–мультур» — не пожалеете. Вы поймёте, наконец, что творится в душе этого человека, и больше не будете к нему так строги.

Касымов. Человек с душой маленькой девочки

Я долго не мог понять, почему не познакомился раньше с Александром Гайсовичем Касымовым, ещё во времена литературного объединения при газете «Ленинец». Он же был лучший друг Иосифа Гальперина, правой руки и неформального лидера литературного объединения, и вот я не помню, чтобы Александр Гайсович появился хотя бы единожды.

Он стал приходить только после того, как мы с ним познакомились после моего возвращения из Алтайского края, и то он скорее фыркал в кулуарах, чем активно участвовал в обсуждениях. Не думаю, что он пришёл туда

потому, что это я его позвал. Просто бурлило перестроечное время, ему захотелось новых ощущений.

И всё же ещё до моего отъезда в Москву он устроил нашу поездку в Стерлитамак, на какой–то вечер в ДК «Сода». Нашу — это Света Хвостенко, Слава Троицкий и я. Помню, мы потом пили всю ночь и под утро, расчувствовавшись, я спросил у него: «Можно я буду называть вас Саша и на ты?»

Касымов на это страшно разозлился, хотя я там был единственный, кто был с ним на Вы. Однако именно это и привлекло его внимание ко мне, потому что я всё же умел быть вежливым, деликатным и уважительным, чего Александру Гайсовичу с его снобизмом как раз не хватало вот в каком смысле – сам он был человек деликатный, а журналистская среда — это среда хамоватая и бесцеремонная, люди тут прожжённые и всё понимающие, среди них быть романтиком, схоластичным догматиком и снобом, каким был Касымов, очень трудно, точнее сказать, невозможно.

А Касымов любил так небрежно сказать: «Мы тут Айдара отдали в учение в Москву, в Литературный институт», словно я был дворовым его человеком.

Но для него не пустыми словами были понятия чести и совести, другое дело, что они не всегда соотносились с реальностью и порой разительно, до противоположности. Как-то он мне сказал:

- Не могу я понять, как это вы, Айдар Гайдарович, одновременно пишете такие чудесные стихи и такую чушь в свою газету «Нефтепереработчик»? Не могу я поверить, что это написал один и тот же человек.

Кстати, о тех же моих заметках в газете Светлана Хвостенко сказала: «Это так забавно — вначале идёт метафизический пейзаж, а потом какой–то завод».

Касымову же казалось честным быть всегда настороже и писать любые тексты всеми фибрами души, всем усилием организма, что, разумеется, очень быстро опустошает и даже убивает человека.

Его схоластичность и догматизм проявлялись и в том, что некоторые мои стихи он опубликовал в «Вечерней Уфе» раз пять. Просто я приносил их нарастающим итогом, и он снова и снова выбирал те, что ему нравились, забыв, что он их уже печатал. Да к тому же чем больше читаешь стихи, тем они больше тебе нравятся, есть такое дело.

Так что первый наш опыт общения был не то чтобы неудачным, это была скорее притирка, потому что я, разумеется, с восторгом слушал Александра Гайсовича, мы разговаривали часами. Он–то был по-настоящему образованным и культурным человеком. Но и нежным душой, конечно.

Как больно жить, ещё больнее плакать.
Уже минула маята и слякоть.
И останется листики подшить,
И в папку эту пачку заключить.

Так он пытался закрыться от мира, но в общении со мной забывал об этом.

А я и правда был его учеником, мне нравилось всё, что он говорил, он слушал то, что я иногда вставлял в разговор — разве это не причина, чтобы быть в восторге от человека? Мы очень быстро с ним подружились, но я так всю жизнь и говорил ему «вы» и «Александр Гайсович». Я знал, что он этого хотел. Он же мне говорил и ты, и вы, а когда особенно злился, то называл на вы и по имени–отчеству.

Именно он обнаружил, что у меня интересное сочетание имени и отчества и первым стал так меня называть. Разумеется, всё остальные мои друзья и коллеги знать не знали, какое там у меня может быть отчество.

Интерес Касымова ко мне поднимал мой авторитет и интерес ко мне, моё уважительное отношение к Касымову поднимало его авторитет. Так что мы, что называется, нашли друг друга.

И всё же это ещё не вылилось во что–то судьбоносное и важное, так что я, не задумываясь, подал документы в Литературный институт, когда такая возможность появилась. Мне об этом сказал Рамиль Хакимов, за что я ему навсегда благодарен.

С Касымовым я даже не советовался на эту тему. Это беда провинции, что отношения складываются долго, годами, если не десятилетиями, а рвутся легко и не задумываясь. Но в данном случае мы просто разошлись, как в море корабли, правда, обещая друг другу писать, что мы и делали вообще–то.

Так что в 1990–м году я уехал в Москву, на учёбу в Литературный институт, а он перешёл на работу в газету «Волга—Урал», где стал ответственным секретарём и редактором литературного приложения «Белый лист».

Он там публиковал каких–то банальных москвичей, чему я всегда удивлялся во время своих наездов на каникулы. Однако отношений с Касымовым я не терял, писал ему письма, как уже сказал выше, выполнял его поручения по «Белому листу» в Москве, а однажды получил на жд вокзале несколько пачек этого издания для музея Пастернака в Переделкино и успешно их переделкал по назначению.

Помню, как однажды я приехал в Уфу поездом, а меня никто не встретил. Никто — в смысле брат, я с ним созванивался за пару дней. Была уже ночь, первый час, я стоял на железнодорожном вокзале и не знал, куда податься. Наконец я позвонил Касымову, и он без никаких сказал, чтобы приезжал к нему. Это же были девяностые годы, нищета, я вёз в подарок дочери бутылку кока–колы, больше ни на что денег не было. Мне, наверное, надо было её оставить детям Касымова в подарок, но, увы, я не догадался.

Утром мы попили чаю, о чём–то поговорили, за мной заехал брат, оказалось, что он просто перепутал день, и мы с ним уехали.

Так что кроме литературы, кроме размышлений о жизни, которым я сейчас предаюсь, была и просто жизнь как таковая и в ней надо было жить. Под этим я подразумеваю обстоятельства времени и жизни. Почему–то, когда я вспоминаю то время, мне на ум приходит только ночь, только тьма и ужас

обыденной жизни. Словно не было ни лета, ни тепла, ничего такого, а только вечная зима. Возможно, всё дело было в том, что мы встречались с Касымовым по вечерам или по ночам, когда ехали с какой–то пьянки.

И я знал, что Касымов ходил пешком, и сам не раз видел его фигуру в чёрном пальто и какой–нибудь непонятной лохматой шапке, отчего он казался одиноким брошенным псом, как он брёл по проспекту Октября к себе домой сперва на остановку округ Галле, а потом, когда переехал, на угол Шафиева и Проспекта.

Потом я узнал, что он порой бродил и по ночам, и это было понятно, потому что надо было куда–то выплёскивать ярость и тоску непонимания и неприятия, которое его окружало.

Прижмись ко мне, моя скрипка,
Очарованье моё!
Медленны струны, и зыбко
Ночи холодное литье.
Медленно–медленно луны
Светят сквозь лёд на окне.
Снежные тёмные дюны
В снежном же толокне.
Горечь скрипичных капризов
Льда не растопит, но всё ж
Плавность её экзерсизов*
Вызовет в стёклышках дрожь.
Этот неслышимый отзвук,
Этот случайный ответ…
Скрипку швырнувши — на воздух,
Где никого уже нет!

(*авторское написание)

Через много лет, напитавшись его атмосферой, некий Прилипала напишет рассказ как раз о скрипке, и у меня такое ощущение, что именно Касымов там главный герой, его душа там выведена под видом маленькой девочки, что вообще–то проливает свет на многие обстоятельства жизни.

Я помню, как мы с ним ходили в мастерскую к художнику Сергею Игнатенко, выпивали, говорили обо всём на свете, как однажды собрались в мастерской художника Дубинского среди большой группы художников и архитекторов. Увы, я там не прижился, а Касымов там был свой, но свой как–то условно, почти как клоун, как поэт.

При этом он усиленно не хотел быть поэтом, потому что собственные стихи его не удовлетворяли, они приходили в противоречие с его максималистскими взглядами, которые он частично почерпнул из времени обучения в БГУ, а там преподавали лютые схоласты и догматики. Чего стоит один Ромэн Гафанович Назиров, который мне заявил, что в Уфе не было, нет и не может

быть литературы! Касымов, тем не менее, частично сам утвердился в мыслях, которые были страшно далеки от той жизни и тех реалий.

И всё же постепенно он нашёл выход к жизни. И мне самодовольно казалось, что это именно я пробудил его к живой литературной деятельности, пробудил в нём интерес к живому общению с поэтами нового поколения, вырвал из сухой академически–филологической журналистской среды, в которой он пребывал вполне формально, не физически, а так сказать мысленно, в своих принципах и убеждениях.

На самом деле он избрал для себя новую стратегию поведения, которую позаимствовал всё–таки у Иосифа Гальперина, который много лет его опекал и тащил в литературу.

Касымов не был лидером, пусть он первым проторил дорожку в «Ленинец», а потом за собой привёл Гальперина. Зато потом он ждал год, чтобы Гальперин закончил школу, чтобы вместе с ним поступить в Москву, в МГУ, на факультет журналистики. Но его, разумеется, туда не приняли, даже по тем временам он выглядел как фрик и все его знания — это были знания догматичные, разумеется.

Из–за этого он не смог учиться даже в БГУ, который бросил через год или два. Зато в газете «Вечерняя Уфа», куда его перетащил всё тот же Гальперин, он вполне прижился.

Теперь Гальперина не было, он уехал в Москву, закрылась газеты «Волга—Урал», Касымов вернулся в «Вечернюю Уфу», к унылым новостям ЖКХ, и я вернулся из Москвы с новыми мыслями и идеями.

Собственно, как Гальперин опекал Касымова, так Касымов стал опекать меня со всей страстью неофита и нового гуру. Из этого родилась литературная премия «Вечерней Уфы», и я стал её первым лауреатом, из этого родился журнал «Сутолока», в котором был опубликован мой перевод рассказа Гульсиры Гиззатуллиной «Богатырша», из этого родилось литературное объединение, которым недолгое время руководил Александр Гайсович, пока его не изгнали добры молодцы Бобчинский и Добчинский, его же и питомцы. Отсюда родились и статьи, в которых он рецензировал книги своих питомцев–сперва меня, а потом и других, их было не мало, почему бы им самим не написать об этом?

И даже работа на московский литературный журнал «Знамя» было для него скорее просто некой прибавкой авторитета, чтобы непослушные его питомцы слушались его и не смели перечить ему.

Стремясь к нелитературным целям

Беда этой стратегии жизни, стратегии опеки и заботы, окутывания со всех сторон была в том, что она была бессодержательна, направлена только на вызывание ответной любви и уважения, если не сказать преклонения перед учителем и гуру.

Помню, как он разозлился, когда увидел, что я посвятил свой роман «Башкирский девственник» не ему, а нашему писателю Сергею Ивановичу Матюшину. Он не увидел в этом логики, а жаль, потому что в этот момент человек победил в нём литератора и его склонность к литературной игре.

Кто–то уходил от Касымова постепенно, вырастая из отношений учитель–ученик, кто–то, цинично попользовавшись, предавал, кто–то вообще не понимал, что это такое было, но результатом было одно — разрыв.

И когда все уфимские подопечные Касымова отошли от него, он призвал на Уфу гнев богов и решил обратить свой взор на Москву. Но Москва бьёт с носка, роман с москвичами и московскими институциями закончился ещё быстрее, чем уфимская эпопея, и бедный Александр Гайсович Касымов заболел и умер. От отчаяния, в первую очередь, от разбитого своего сердца, от того, что странным образом эта стратегия, в основе который был негласный односторонний договор — я вот вас буду любить и вы в результате полюбите меня тоже, так вот эта стратегия купли–продажи оказалась неэффективной и не сработала.

Я думаю, что ошибка Касымова была в том, что он пытался литературой достичь целей нелитературных, то есть чтобы его любили и уважали. Увы, литература, как, впрочем, любая деятельность требует безоговорочной к себе преданности. Просто безусловной. Увы.

Кокетливая дурочка машинка:
Каретка — вжик, звоночек -
дзинь да дзинь.
Садятся буквы — чёрные
пушинки
На писчую бумагу.
И — остынь,
Оставь надежды,
коль коснёшься клавиш.
Придумал — не улучшишь, не поправишь
И не заточишь нож…
Не трожь меня. Не трожь!

Серьёзно?

Ещё одной проблемой было то, что Александр Гайсович был сноб. Разумеется, это была его защитная реакция на мерзости этой жизни, но факт остаётся фактом, его схоластические бредни и всякие глупости были для него дороже человека и порой он страшно злился на какие–то проявления жизни, когда это того не стоило, конечно.

Так, он страшно серьёзно относился ко всей это советской благоглупости типа союза журналистов, союза писателей, он полагал, что книжка долж-

на быть издана только в госиздательстве, что пошутить насчёт каких–нибудь священных коров общества — это возмутительно.

Однажды он привёл меня на собрание клуба интеллигенции, который проводила Татьяна Дмитриевна Шабанова, известный педагог, большой подвижник и научный деятель в Уфе. Милые дамы с восторгом слушали стихи, а потом стали задавать вопросы, вполне себе трогательные. Разумеется, я был для них всего лишь ребёнок, который читает стишки, стоя на стуле. И вот кто–то задал мне вопрос — каких политических убеждений я придерживаюсь.

В моей голове промелькнула тысяча мыслей, и я выбрал позицию, которая была наиболее далека от Александра Гайсовича и милых дам. Я же должен был произвести на них впечатление, чтобы они меня запомнили!

Я сказал:

- Я монархист!

Опустим завесу милосердия над концом этой сцены, но Касымов и вправду на меня разозлился и несколько месяцев со мной не разговаривал.

А это уже была перестройка, ругали коммунистов, что, я должен был сказать, что я коммунист? Либералом я тоже быть не хотел, потому что вокруг были одни либералы и демократы. Касымов так и не понял, что это была шутка, потому что политикой я не интересуюсь. Он это знал, но в ту минуту забыл.

На его пятидесятилетие в круг гостей я опять выкинул шутку, я сказал:

- Ах, Александр Гайсович, как же я вас терплю!

У его гостей вытянулись физиономии, поскольку они тоже были люди его круга – советская такая интеллигенция, шестидесятники. Слова им не скажи.

Однако это была ещё и правда, которую они тщательно скрывали, потому что Александр Гайсович был неудобный человек, его мало кто любил за его приверженность литературе и поэзии. За непрактичность. За то, что он не участвовал во всех этих играх внутри трудового коллектива. Я их косплеил, так сказать, выразил их отношение к нему.

Александр Гайсович, конечно, это понял, и когда мы остались втроём с Сергеем Игнатенко после вечера, он сказал, что всё это правильно, что мы и есть его друзья.

Кстати, когда его юбилей только приближался, встал вопрос — не наградить ли его, не дать ли ему какое звание. И послышались голоса — он же ещё так молод!

Ну да, в каком–то смысле Касымов до старости, до которой он не дожил, был молод душой. Он был в душе ребёнок.

***

Я и старый молодой,
но и молодой, как старый.
Что за птичка козодой?
Воду пьёт без всякой тары.

Без посуды нет уюта.
Без посуды счастья нет.
Жизнь моя — моя каюта.
Выключать не надо свет.

И, разумеется, Касымов был романтик, который полагал, что своё дело надо делать добросовестно и ответственно. Это, разумеется, правильный подход, так, Касымов не просто писал про репрессированных, он ещё изучил все законы, к ним относящиеся, в результате чего стал бесплатным юрисконсультантом для своих знакомых и сослуживцев. Однако силы человека не беспредельны, в какой–то момент это стало его тяготить, но отказаться он уже не мог. И это неправильно, на мой взгляд. Впрочем, дело не в том, что я считаю это правильным или неправильным, дело в самом Касымове, у которого не осталось сил, чтобы жить.

Уфа, как известно, это тысячи мелких деревенек, мало как связанных друг с другом. Касымов был редкий человек, который конвертировался по ту сторону границы, но он всё равно оставался чужим. Я имею в виду писательскую братию, которая предпочла умереть, но лишь бы не принять другого человека в свои ряды. Я уже писал о том и повторю ещё раз, что, если бы Касымов стал главным редактором «Бельских просторов», а Андрианов стал его заместителем, оба до сих пор были бы живы, и журнал стал бы явлением культурной жизни. Но в момент, когда Касымову надо было дать эту работу, ему её никто не дал, разумеется.

***

Я твой книгоноша
С пустой зелёной
сумой.
Всё роздал и продал,
И я возвращаюсь
домой,
И яко писахо,
вот так на базар и понёс.
И ты не узнаешь,
что ты был всё время со мной.
И голос, и книжки,
и стук от колёс…
И я возвращаюсь с пустою сумой.
Среди людей

Касымов был редкий человек, который любил писателей, художников, актёров и прочую художественную братию.

Про дружбу его с Сергеем Игнатенко я уже писал, но тесные связи у Касымова были практически со всеми интересными художниками. Он прихо-

дил на выставки, он бывал у них в мастерских, он освещал их малейшие успехи, писал в газете и про то, и про это. Он их просто любил, вот в чём дело. Конечно, художники сами люди бедные, конечно, Касымов и не ждал, что они ему чем–то помогут. Но это удивительно, что никто не догадался, что, будь в руках у Касымова своё издание, он бы ещё больше и лучше освещал культурную жизнь республики, чем, когда он это делал в «Вечерке», в которой главным было прохождение соответствующих масс по трубам.

Касымов писал и про актёров и актрис, про режиссёров и их спектакли, про концерты разные, про музыкантов, вообще нет ни одной сферы культуры, куда бы он как Буратино не просунул свой любопытствующий нос. И обо всём он писал с любовью, даже когда ругал.

Не думаю, что это ошибка, считаю это замечательным свойством Касымова как деятеля культуры -делать что–то потому что любишь, а не потому что хочешь за это денег. То есть если ты что–то делаешь за деньги, тебя ценят как профессионала, но и только. Любви так заслужить невозможно. Любовь — это то, что рождается от бескорыстия и широты души.

Сто процентов так жить невозможно, что–то надо делать и для денег, никуда не денешься, но в главном, если в тебе нет бескорыстия, то этим заниматься бессмысленно. Я имею в виду творчество, разумеется.

К сожалению, окружение Касымова, которые было интеллигенты максимум в первом поколении, его любовь полагали простодырством и недалёкостью. Они думали, что им легла масть и эксплуатировали бедного Александра Гайсовича. Ещё и подгоняли, и обижались, что всё так медленно. И это тоже не прибавляло ему сил, поскольку любовь рождается долго и мучительно в сердцах людей.

И, разумеется, мало кто прощал Александру Гайсовичу то, что считалось взбрыками и чудачествами. Как человек с развитым эстетическим чутьём он плохо переносил советскую действительность, а уж постсоветскую тем более. Это казалось в нём странным, дескать, вот человек отрывается от коллектива, и если прибавить его страшную образованность, высокий рост, задранную по-Мандельштамовски назад голову и очки на носу, то вот вам и портрет интеллигента, который в семье своей родной казался девочкой чужой. Кстати, эти строки Касымов порой не без горечи цитировал.

Страшное прощание

1 марта 2003 года мы проводили в музее Нестерова вечер памяти Шалухина. Мы — это члены литературное объединение УФЛИ, куда Касымов не ходил. Делал он это, как он любил говорить, из педагогических соображений, то есть наказывал меня за то, что я не ходил на его литературное объединение. Но выше я уже писал, что в нём он собрал в первую очередь Бобчинского и Добчинского и всячески им потакал, пока они наконец его не вышвырнули. Ушлые ребята, они договорились с союзом писателей и переместились туда.

Но Касымов был и не очень хорош как руководитель литературного объединения, я знаю это по вечерам, которые он проводил и где я, разумеется, бывал. По своей натуре он был монологист, он солировал сам и не давал людям выступать, он хотел, чтобы слушали только его самого.

Он выступил на вечере памяти Шалухина, сказал о нём многое, в том числе, в его голосе прозвучала растерянность, что вроде как же так, ещё недавно он был с нами, и вот его нет.

На следующий день увидел я его в Доме печати, он был жёлтый–жёлтый. Я был настолько поражён, что сказал ему:

- Рамиль Гарафович перед смертью тоже был такой!

Касымов вяло махнул рукой. Его положили в больницу, потом сделали операцию. Но всё было тщетно – у него был рак печени.

Мы все ходили к нему в больницу, образовалось целое паломничество и все, как дураки, ему говорили нарочито бодряческим голосом — мы ещё погуляем, давай выходи и проч.

Но так говорят, когда дело дрянь.

Дело и было дрянь.

Он вышел из больницы словно еврей из Освенцима, одни кожа и кости. Я приходил к нему на Спортивную. Было неловко, но и как–то душевно.

- Я, наверное, к зиме умру, — сказал он и посмотрел на меня быстрым взором, словно хотел услышать опровержения. Но я был настолько подавлен, что не знал, что же сказать на это.

***

Диспозиция такая -
никого не принимаю.
Ничего не принимаю,
ни таблеток, ни еды.
Я сижу у жизни с краю
И зову свою беду.
Коль услышит, не придёт.
А придёт, так окорот
Будет быстрым — энергичным,
Может быть, психиатричным.
Ты звучи, моя дуда.
Не придёт ко мне беда.

Наконец мы попрощались – я уезжал на две недели в санаторий Талкас на семинар драматургов. И я до сих пор помню его улыбку и синие сияющие глаза.

Милый, бесконечно родной, чудесный человек и друг!

На Талкасе в какой–то день принесли ворох свежих газет в библиотеку. Я раскрыл одну — там было написано, что Касымов умер. Случилось это 15 июля 2003 года.

Послесловие к жизни

Стратегия Касымова оказалась неудачной в его жизни.

Однако она сработала в перспективе, когда подопечные Касымова вдруг увидели, что они никому не нужны, что никто и никогда не полюбит их, как Александр Гайсович. И тогда они обратили свой взор долу, но было уже поздно.

Но и сегодня это сожаление не является содержательным, его питомцы не пишут о нём воспоминаний, не издают его книг, не рассматривают его творчество каким–то образом в контексте уфимской и российской литературы, им просто жаль, что теперь никто не оказывает им такого внимания. Прилипала вообще заявил мне, что не придёт на презентацию книги Касымова, которую мы выпустили коллективными усилиями, что не купит её, поскольку это деньги пойдут мне. Такая вот странная логика!

Тот же Прилипала написал в своей статье в журнале «Бельские просторы», что Касымов старался зажечь огонь литературы в Уфе, а огонь всё не зажигался, что эпоха Касымова кончилась. Разумеется, никакого огня Касымов зажигать и не собирался, для него это была вполне себе личная интимная часть жизни. Поэтому он так глубоко переживал все разрывы со своими протеже.

***

Кто–то книгу напишет, а кто–то надпишет.
Жизнь проходит, и жалко её.
Только небо, возможно, земное услышит
перед тем, как охватит леса забытьё.
Города — как леса. И пожары, пожары!
Дым Отечества горек, а сладок дымок.
И душа возлетает наподобие шара
между чёрным и белым, т. е. между строк…
Так и срок подойдёт не совсем календарный.
Вот зарубка на стенке превращается в крест.
Распахнувши глаза, человек благодарный
приземлится, как ангел, на вечный насест.

Однако сказать, что эпоха Касымова кончилась, тоже нельзя. Потому что он своей деятельностью показал пример, что литературой можно жить, что это интересно, что это круто и увлекательно, чего не могли понять члены русской секции союза писателей, ныне благополучно забытые.

Так что в конечном итоге обаяние деятельности Касымова не пропало втуне, поскольку это живой пример искренней любви к литературе, к её живым носителям — писателям. Наследником Касымова, хотя он с ним не был знаком, я бы назвал прозаика Салавата Вахитова, который в 2010–х годах из-

дал целую серию книг уфимских авторов. Это явление до сих пор удивляет всех и вспоминается как золотое время.

Так что любой труд и любая стратегия не пропадают, но сохраняются в том или ином виде, как пример того, как надо проживать свою жизнь или как не стоит этого делать, но в любом случае обогащая культуру.

Истоки. Уфа, 2019. № 26 (26 июня). С. 8-9.

P.S. Судьба первого поколения

Так же, как и Касымов, Шалухин был интеллигент в первом поколении. Отец Касымова был большая шишка в организации, которая занималась заготовкой ресурсов на случай войны, отец Шалухина служил в каких-то органах, был в больших чинах. Оба выслужились с самых низов, а потому со временем превратились в рьяных служак, которые и дома не забывали, кто они и что они. Соответственно, и дети должны были вести себя так, чтобы никто не мог упрекнуть их родителей ни в чём, чтобы не скинули их с должности.

Возможно, именно это обстоятельство и сподвигло обоих к литературе и поэзии. При таких отцах излишняя двигательная активность не поощрялась, а если тих в уголке сидишь с книжкой – что же тут плохого?

Так что и Касымов, и Шалухин были интеллигенты в первом поколении, а это означало безусловное доверие всему, что написано в книжках, и безусловная вера в те идеи, которые узнал и вычитал. И ещё – неуверенность в себе это означало:

Я ещё не стреножил время, не примерил вещам названья,
На земле я ещё недавно, а как будто бы жил всегда.
Разве смог бы я мёртвый камень обратить в города и пламя
И принять этот мир, как будто бесконечные знал года…

Коммунистическая идея тогда была уже безнадёжно скомпрометирована, а посему нужно было найти какую-то новую идею. Касымову повезло, потому что он встретил Гальперина, который открыл перед ним чудесный мир страны Кастилии, как называл это сам Касымов. Это был мир, я бы сказал, таких куртуазных маньеристов типа Пастернака, пред которым Александр Гайсович, бедный, млел всю жизнь. Пастернак, он двух слов не мог связать от косноязычия и заворота мозгов, но казался таким аристократом для бедных. Он и жил в каком-то таком придуманном мире, где люди воюют за правду и стоят стеной за идеалы.

Если бы не Сталин, Пастернак бы умер достаточно быстро. Это, кстати, мне напомнило историю, как журнал «Новое время», когда пришли к власти близкие им по идеологии бандиты, быстро лишился своего здания в центре Москвы, а потом и вовсе потерял печатную версию.

Интеллигенты во втором поколении прекрасно знали цену этим людям, они скорее над ними посмеивались, потому что знали, что Пастернак – это банальный сталинист и такой вот экзот, сохранённый то ли по прихоти вождя, то ли по звонку из Лондона.

Чтобы всё это понять, надо почитать дневники Чуковского, как они с Пастернаком лицезрели сияющего и могущественного, хотя и самих стихов довольно.

Но для Касымова всю жизнь казалось, что Пастернак и иже с ним такие рыцари без страха и упрёка, и этот образ для него в конечном итоге воплотился в круг журнала «Знамя». Этот круг не постеснялся затравить своего друга и товарища Татьяну Бек, что им был Касымов!

Пока Касымов работал на них по удалёнке фрилансером, готовя обзоры на их бездарных авторов, он был им интересен. Но когда он захотел места за столом, его интеллигентно, но твёрдо послали куда Макар телят не гонял.

И разумеется, такого разрушения своего мира Касымов даже представить не мог. Так что ничем хорошим его жизнь закончиться не могла, если бы он не поменял свои взгляды. Но интеллигенты в первом поколении, увы, сделать это практически не могут.

ВОСПОМИНАНИЯ

О ТОМ, КАК ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ УФИМСКИЙ ЖУРНАЛЬЧИК «СУТОЛОКА»

В марте 1996 года, после многолетнего перерыва, я вновь начала писать. Пошла проза, которая мне не давалась в детстве и юности.

Я написала свой первый рассказ «Вербное воскресение» и затем ещё несколько коротких рассказов и прозаических миниатюр.

А осенью, в октябре, ко мне вернулись стихи.

Рассказ «Вербное воскресение» и некоторые стихи я посылала в «Вечёрку», Но они не были опубликованы.

Мои первые стихи «Сутолока» и «Вы не забудете меня...» опубликовал Владимир Денисов в «Истоках». Рассказ «Вербное воскресение» тоже был опубликован в «Истоках», а через несколько лет в альманахе «Петрополь», № 10, 2006 г. С.-Петербург (председатель редсовета Андрей Битов, издатель Николай Якимчук).

Позже, когда я уже была в числе авторов «Литальманаха» газеты «Вечерняя Уфа», Касымов сказал, что рассказ был «слишком горячо написан» и поэтому они не решились его публиковать.

Из моей прозы в «Литальманахе» был опубликован всего один рассказ «Обычная история». Я считалась поэтом, и поэтому газета регулярно публиковала мои стихи.

Имя «Александр Касымов» я впервые прочитала в стенгазете «Тропинка», которая издавалась одноимённым литобъединением в БГУ, и почему-то запомнила. Позднее оно мне часто встречалось на страницах разных газетах.

Мне казалось, что это человек со сложным характером. Я его представляла невысоким, плотным. А он оказался худым и долговязым, очень ранимым. Александр Гайсович, как ёжик, прятал свою чуткую ранимую душу в иголки.

Из повести «Квадратик кварца»

«В Университете имелось литературное объединение «Тропинка», но я не решалась туда обратиться, хотя в 10-м классе, когда я посылала свои стихи в местную молодёжную газету «Ленинец», поэт Мадриль Гафуров меня приглашал в литературное объединение «Метафора», которое работало при «Ленинце». А «Метафора» по уровню была, конечно же, выше студенческой «Тропинки».

«Тропинка» выпускала стенгазету с одноимённым названием и вывешивала на видном месте. Как только поднимешься по лестнице на свой факультет, так и упираешься взглядом в газету.

В этой стенгазете я прочитала и почему-то запомнила имя автора одного стихотворения, Александра Касымова. Стих был про то, как он ходил с девушкой в кино и они смотрели детектив.

Я остро позавидовала ему: печатают! И с горечью подумала о том, что меня никто никогда, наверное, не напечатает…

Я не могла заглянуть в будущее и не знала, что именно Александр Касымов через много лет будет вести Литобъединение при газете «Вечерняя Уфа» и будет меня регулярно печатать в «Литальманахе» и в своём журнальчике «Сутолока».

Через некоторое время после своей первой публикации в «Истоках» я решила отнести стихи в «Вечернюю Уфу».

Из Дневника

4 февраля 1997 г.

Вчера было тепло, температура спала, и я поехала в редакцию «Вечерней Уфы». Чувствовала, что надо туда съездить, и не ошиблась. Зашла к Докучаевой, она внимательно на меня посмотрела и сказала, что авторами занимается Касымов. Но его сегодня нет, он будет завтра.

На следующий день, когда я поднялась по лестнице на третий этаж, где располагалась «Вечёрка», дверь в комнату, расположенную прямо напротив лестницы, была широко распахнута. Ко мне спиной за печатной машинкой сидел худощавый мужчина в сером разношенном свитере. Он обернулся и холодно спросил: «Вы ко мне?».

Предложил сесть. Я вынула из сумки свои тетрадки. В то время я стихи писала от руки на листках в косую линеечку. Компьютеров ещё ни у кого не было.

Он раскрыл тетрадь и как закричит радостно: «Смирнова!..». Мне было очень лестно, что он узнал меня по почерку. Он помнил всё: моё имя, домашний адрес.

Александр Гайсович попросил меня принести все написанные мной стихи. Стихов было немного – одна общая тетрадь в красной обложке.

И вот в конце марта в «Вечерней Уфе» было опубликовано три моих стихотворения.

До обеда я чувствовала себя именинницей. Вышел «Литальманах» «Вечерней Уфы», а там мои стихи!

А потом настроение пропало. Ведь Касымов напечатал не то, что я хотела, а то, что хотел он. После обеда я была в редакции. Он так и сказал: «Напечатал, что хотел». В общем, напечатал три моих небольших, цветочных, как я их называю, стихотворения.

Меня поздравил с публикацией, сказал: «Вот и состоялся ваш дебют. Работу с вами продолжим – все рукописи остаются у меня».

В общем-то я счастлива, конечно.

Ещё он добавил: «Вы мне нравитесь больше всех». И при этом у него был очень серьёзный вид. Но я ему не поверила.

***

В 90-е годы прошлого века в Уфе не было русскоязычного литературного журнала. Печататься русским авторам было негде. Издавалась мизерным тиражом газета «Истоки», которая изредка публиковала художественную прозу и стихи. И в «Вечерней Уфе» раз в месяц выходил «Литальманах».

Опубликоваться в «Вечерней Уфе» было престижно. Газету выписывала почти каждая уфимская семья, она была популярна. Если опубликуешься в «Вечёрке», значит, тебя прочитает весь город! Тираж газеты в то время составлял 56 000 экз.

Идея создания литературного журнала витала в воздухе, но пока этого журнала не было.

Как-то летним днём 1997 года мне позвонил Касымов и сообщил, что составил первый номер литературного журнальчика, который решил издавать. Назвал он его «Сутолока». Пригласил меня в редакцию, посмотреть.

Первые три номера издавались без обложки, на скрепке, обёрнутые калькой. А последующие - тоненькой книжкой, при технической поддержке газеты «Вечерняя Уфа».

В сентябре 1997 года прошла презентация журнала. Вот как я её описываю в своём дневнике:

Из Дневника

19 сентября 1997 г.

Были художники, журналисты, авторы нашего «Литальманаха», Александр Филиппов с Денисовым из газеты «Истоки», Роберт Паль – председатель русскоязычной секции Баш. СП. Приходила Докучаева, первый заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Уфа».

Денисов со мной поздоровался, я сухо ему ответила. Он встал рядом с моим стулом и так и простоял весь вечер. Мест свободных не было.

Р. Паль сказал, что журнал – хорошее дело, но его возмущает название. Почему «Сутолока»? Это помойка! Её никто не знает, как и сам журнал.

Денисов в этом месте злорадно хмыкнул. Но после Роберта Паля выступил Александр Филиппов: «Газета наша бедная, как и мы сами. Но всё-таки небольшую сумму денег на издание вашего журнала мы с Денисовым собрали». И передал деньги Касымову. Мне это было очень приятно!

После выступления Денисов подошёл к Касымову, что-то говорил. И они даже обнялись.

По поводу названия Касымов сказал: «Сутолока не всегда была такая. Я жил неподалёку. Мы в детстве катались с её склонов. Склоны реки были в зарослях орешника».

Я всегда думала, что Касымов жил неподалёку от Сутолоки. Но спросить его об этом не решалась, не было подходящего момента. А Денисов и

Паль, наверное, подумали, что название журнала связано с моим первым стихотворением, опубликованным в «Истоках».

Филиппов принёс новый номер своей газеты и раздал всем присутствующим.

Много говорили о поэте Банникове, о прозе Игоря Максимова.

Роберт Васильевич Паль сказал, что хотели издать книгу Игоря Максимова, но в «Китапе» - долгая история. А других денег не нашли. Придётся ждать, когда Белорецкий металлургический комбинат встанет на ноги и сможет выделить деньги на издание этой книги.

А Максимову уже 77 лет!

В «Новой галерее» проходит выставка акварели Ильдуса Валитова. Мне очень понравились его работы. Среди них есть и мечеть. Жаль, что я не прочитала свой стих о мечети. Я слишком волновалась и решила много не читать.

Кстати, Паль ему сказал, чтобы он не слишком давил на своих авторов, считался с их индивидуальностью.

***

Последний номер «Сутолоки» вышел в 1999году.

И в том же году начал издаваться толстый литературный журнал на русском языке «Бельские просторы».

Светлана СМИРНОВА

«СУТОЛОКА» ДАЛА НАМ ШАНС

Осенью 1996 г. я решил показать свои тексты кому-нибудь, кто «разбирается в литературе», и с этой целью обратился к своей приятельнице – журналисту газеты «Вечерняя Уфа» Рашиде Красновой. – Иди к Саше Касымову! – сказала она мне. Я пришёл.

Касымов, худой бородач с хитрыми, как мне показалось, глазами, безропотно принял стопку моих листочков и предложил заглянуть на неделе. А «на неделе», при следующей встрече сообщил, что мои тексты – «это, в общем, литература». Так я стал писателем. Хотя нет, настоящим писателем я стал чуть позже, когда увидел свои опусы напечатанными. Сначала в «Вечёрке», а потом, кажется, в начале 1997 г., - на страницах импровизированного «журнальчика» (касымовское название) «Сутолока». Мой рассказ «А ля Декамерон», по мотивам старых армейских анекдотов, попал в самый первый его номер. Пишущему человеку очень нужно стать человеком печатающимся. Так сказать, перейти из теоретиков в практики. Это важный эволюционный скачок, своего рода выход из воды на землю, безвозвратная перемена всего

творческого метаболизма, и в моей личной истории это навсегда связано с «Сутолокой» и Касымовым.

Значение «Сутолоки» для местного литературного процесса середины 1990-х годов очень велико. Она была первой и, возможно, единственной «крышей» для нашей, так сказать, неофициально пишущей братии и сестрии. «Сутолока» дала нам шанс, я горжусь тем, что был к ней причастен. У меня был весь архив «журнальчика», но несколько лет назад я кому-то отдал его почитать. Кому – не помню. Верните, люди добрые!

Артур КУДАШЕВ
Август 2019 г.

НАШ «ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР»

Больше пятнадцати лет тому назад безвременно ушел из жизни Александр Касымов, человек, ставший легендой русской литературы в Башкирии. Мне посчастливилось быть знакомым с ним, пройти как начинающему автору через его умелые наставнические руки – чем можно гордиться, ибо с бесперспективным начинающим он не стал бы возиться. Я и горжусь. Он вообще, насколько я успел понять, был в оценках вполне категоричен: если в ком-то не видел потенциала, то говорил об этом корректно, но прямо, без утешений, давая понять, что как литератор собеседник его не интересует, ну а в остальном он, Касымов, желает ему всего наилучшего.

Только вот это остальное отныне должно было протекать уже без Касымова, ибо для Александра Гайсовича оно, по сути, не существовало. Он виделся мне человеком не от мира сего в самом лучшем смысле этой идиомы: обыденная жизнь и художественный текст, эту жизнь описывающий – несомненно, вещи однокоренные, но очень разные, примерно как лес и мебель: материал-то один, а вот все прочее… Ну и разумеется, насколько различно столярное рукоделье, от деревенской табуретки до царского трона, настолько же различны и плоды изящной словесности; человек, литературно одаренный – неважно, читатель или писатель – тот, кто умеет разглядеть в рутинной суете жизни второй, третий, тридевятый план бытия. Писатель, однако, еще и умеет вытащить из высот и глубин невидимые для многих проекции, сделать их зримыми – опять же, правда, не для всех.

Александр Касымов обладал этим волшебным зрением в высшей степени и потому, конечно, жил в мире качественной литературы – первичный поверхностный мир ему был мало интересен. Он был читателем и ценителем

самой элитной квалификации; думаю, это у него и было сильнейшим профессиональным качеством. О прозе его я не слышал отроду, о стихах – доводилось, но не читал, я не большой любитель версификаций, да и сам он был о собственных стихотворных опытах не очень высокого мнения. Критические статьи Касымова кажутся мне суховатыми и стандартными, хотя как критик он сумел стать «игроком высшей лиги»: печатался в ведущих журналах России и был отмечен их специальными наградами, что, кстати, для провинциального культуртрегера огромное достижение. Но все же повторюсь, не настаивая и не собираясь спорить: я считаю главнейшим достоинством Александра Гайсовича литературный вкус, в том числе способность видеть будущее в неумелом тексте, полном авторских детских болезней. Именно поэтому Касымов стал своего рода магнитом, в свое время притянувшим к себе одаренных уфимских (и не только) начинающих, иные из которых сегодня сделались состоявшимися писателями, издающимися на всероссийском уровне, чего, конечно, не могло произойти без того давнего стартового толчка. Допускаю, что в ком-то он не разглядел таланта, ошибся; но уверен, что среди тех, кто оказался втянут касымовским силовым полем в его орбиту – бездарей нет. Уверен и в том, что каждый из этих людей, независимо от того, как сложилась их литературная и человеческая судьба, сегодня с благодарностью вспоминает своего «первого тренера» - меня как-то все тянет на спортивные аллюзии, но спорт в самом деле является наиболее обнаженной моделью жизни, в нем все проявляется нагляднее, чем в других сферах… впрочем, это, как говорят, совсем другая история. А наша история идет своим путем, наша память жива, хранит хорошее, старается не вспоминать худое – ну, а самое лучшее, надеюсь, мы сумеем передать поколениям, идущим следом, и имя Александра Гайсовича Касымова навсегда останется в истории русской культуры.

Всеволод ГЛУХОВЦЕВ
Август 2019 г.

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА «СУТОЛОКА»

Сегодня сложно себе представить, как обстояло дело с литературой в Уфе в начале 90-х годов прошлого столетия. Но при желании все можно сделать, так что я бы хотел рассказать, как оно было, с точки зрения активного участника событий тех лет.

Но прежде чем я перейду непосредственно к изложению истории журнала «Сутолока», который издавал покойный литературный критик Алек-

сандр Гайсович Касымов, хотел бы остановиться на истории одной литературной судьбы.

В 1993 году уфимский писатель и художник-монументалист Петр Алексеевич Храмов закончил свой выдающийся роман «Инок».
Он разослал его по московским литературным изданиям, откуда не получил ответа. В 1995 году он скончался.

Роман сохранила вдова его брата Олеся Георгиевна Храмова. Она обратилась к другу автора, художнику Николаю Александровичу Пахомову с просьбой о содействии изданию романа. Пахомов принёс роман в официальный литературный журнал «Бельские просторы», где его безусловно отвергли.
Однако роман попал в руки вашего покорного слуги, я отослал его в литературный журнал «Крещатик», который издаётся в Германии, где он и был впервые опубликован в двух номерах в 2003 и 2004 году. Вышла только первая часть, а если бы мне в руки попал роман полностью, то он был бы полностью напечатан.

Собственно, такова была в то время судьба любого талантливого литератора и литературного произведения в провинции - быть отвергнутым, забытым, неопубликованным, оболганным или замалчиваемым.

Если представить себе литературную жизнь провинции как ржавую железную бочку, то наружу, к жизни, в живую литературу талант мог пробиться только через случайное крохотное отверстие, которое ещё надо было обнаружить. Удавалось это не всем.

Что же касается официальных изданий, то это были бочки внутри бочки, то есть двойной отбор, двойное сито.

Так что если встаёт вопрос, почему же роман «Инок» публиковался частями в 2008, 2009 и в 2011 гг. в журнале «Бельские просторы», то ответ прост – умер его главный редактор Ю.А. Андрианов, а новой команде печатать было нечего, портфель был пуст. Да и я использовал своё влияние, которое тогда ещё было. Пока был жив Андрианов, публикация была невозможна. Однако даже эта публикация была в сокращенном виде, в этом легко убедиться, если сравнить с более поздними изданиями.

Кстати, первые отзывы об «Иноке» как раз были тоже за рубежом после выхода журнала «Крещатик».
Вот что писал критик, литературовед и публицист, доктор филологических наук Валерий Леонидович Сердюченко: «Два дня, чертыхаясь, раскладывал по компьютерным папкам роман Петра Храмова "Инок", но был вознаграждён читательскими радостями, каких давно не испытывал. Пётр Храмов написал пронзительно-ностальгическую эпопею о детстве, при чтении которой невольно приходят на память "Детство и отрочество" Льва Толстого, "Детские годы Багрова-внука" Аксакова-старшего, "Детство" Максима Горького и "Детство Никиты" Алексея Толстого. О, наши собственные детства, отрочества и юности! О, эта пора краснощёкого, цельного и беззаботного возраста

жизни! Было и скрылось за поворотом, и уж никогда, никогда не вернётся снова, как не повторятся первые пламенно-целомудренные касания к женской груди, восторги утренней рыбалки в косых лучах восходящего солнца, святые герценовские клятвы на Воробьёвых горах и многое другое, из чего сложился роман Петра Храмова "Инок". Честное слово, стану умирать, возьму его с собою». (http://lebed.com/2004/art3841.htm).

А вот отзыв Людмилы Геннадьевны Вязмитиновой, российского литературного критика и поэтессы: «... и традиционное бытово-реалистическое повествование (Петр Храмов, Уфа). И, на мой взгляд, роман Петра Храмова "Инок" - лучшее прозаическое произведение номера. В жанре исповедально-автобиографической повести, ведущейся от имени ребенка, к которому относится этот роман, писалось много во все времена, и XX век здесь не исключение. Тем не менее проза Храмова выделяется удивительно гармоничной простотой, и это же относится к нравственной позиции героя романа. При том, что автору удалось передать ее как единственно возможную с точки зрения как истинной нравственности, так и здравого смысла и даже спроецировать ее в будущее, описав встречу героя романа с незнакомкой, явившейся ему в виде женщины-военврача:

«Потоптавшись немного, оглядел ее ладные сапожки, ладную шинельку и, наконец, взглянул в ее лицо под серенькой ушаночкой, лицо простенькое и удивительно милое. Долго не мог я отвести взора от света простоты, ясности и миловидности, даже не предполагая, что только такие женские лица будут волновать меня всю оставшуюся жизнь».

Можно сказать, что в духе описываемого им времени Храмов сильно модифицировал традицию Шмелева: то, что у Шмелева описывалось как делаемое открыто, у Храмова – как требующее двойной бухгалтерии общения с людьми. При этом позиция героя отнюдь не декларируется, а передается через подробности нелегкой обыденной жизни семьи эвакуированных интеллигентов, и хотя некоторые эпизоды страшно читать, рассказ ведется в неизменно спокойно-благожелательной манере». (Журнал «Крещатик», № 25, 2004 год. http://www.kreschatik.kiev.ua/).

Ну, так что же тогда сказать об эффекте, который произвело появление на свет литературного журнала «Сутолока»?

Наверное, разговор надо начинать с самого начала, с истоков.

Так вот, в газете «Истоки» мы начали собирать антологию русской поэзии Башкирии XIX-XX веков. И на второй или даже третий год вдруг стала вырисовываться картина большой и многообразной, замечательной литературной жизни, которая тогда бурлила и кипела в Уфе и регионе. Каждая публикация, сперва их готовил я, а потом присоединилась краевед Янина Свице, словно открывала потаённую, забытую Атлантиду - новые, а вернее сказать, возвращённые имена поэтов и прозаиков, критиков. Достаточно сказать, что в Уфе на базе литературного опыта, накопленного в предреволюционные годы, в начале 1920-х гг. выходило пять литературных журналов на русском языке!

И вот вся эта жизнь была обрушена, и рубежом стало начало 30-х годов. Журналы закрыли, а стихи и прозу запретили публиковать в периодической печати. И поэты, и писатели исчезли как класс.

Типична судьба талантливого поэта Петра Трегубенкова. Он был вынужден уехать в Челябинскую область, где его репрессировали в 1937 году.

Так что литературная жизнь в Уфе превратилась в пустыню на долгие два десятилетия.

Возрождение ее началось в пятидесятые, когда партийный деятель Василий Васильевич Гредель организовал в БГУ литературное объединение «Тропинка», куда привлек, что называется, талантливую молодёжь.

С тех пор шло медленное накопление сил и умений, уфимская литература возрождалась заново на пустом фактически месте.

Символом этой пустыни можно назвать безымянного поэта прежних лет, который жил в Бирске. У него была библиотека старых изданий. В один день полыхнуло огнём, деревянный дом загорелся и сгорел дотла вместе со всеми книгами. Как видите, даже имени этого поэта я не помню.

И, разумеется, в этой пустыне одиноко возвышались редкие официальные издания, к ним и сводилось существование литературы.

Приведу цитату из воспоминаний известного уфимского писателя и журналиста Иосифа Гальперина: «…в первой половине 70-х в Уфе состоялся страшный идеологический переполох по поводу литобъединения при «Ленинце». Оно называлось «Метафора». Костяк ее составляли Газим Шафиков, Станислав Сущевский, Мадриль Гафуров и Эдуард Годин, люди не слишком уж диссидентских настроений, но сохранившие вольность в суждениях (в разной степени и по разным поводам), присущую поколению 60-х годов».

Историю переполоха недавно описала Рашида Краснова, которая во время этой истории работала в «Ленинце» и ходила в «Метафору» (под тогдашней своей фамилией Курбангалеева). Кратко их диссидентский поступок в ее описании выглядит так: ребята после заседания лито по обычаю сбросились, оказались в какой-то сторожке (или вагончике), начали выпивать и громко разговаривать на литературные и прочие темы. Нашелся доброжелатель, подслушавший разговор (что было нетрудно, учитывая градусы - как выпитого, так и полемики), настучал в КГБ. «Метафористов» туда таскали на допросы, в результате лито закрыли, его членов на какое-то время перестали печатать. Сущевский уехал в Махачкалу, «репрессии» коснулись даже таких безусловно советских людей, как Мадриль Гафуров (родной брат тогдашнего редактора «Ленинца» Марселя Гафурова, а ныне - секретарь рескома КПРФ) и будущий лауреат Газим Шафиков. (https://www.proza.ru/2012/08/30/936).

Постепенно шло накопление людей и сил, наконец, возникло литературное объединение при газете «Ленинец», которое возглавил Рамиль Гарафович Хакимов. При нем, при деятельном участии поэта Иосифа Гальперина стала возникать неофициальная литература. В работе этого литературного объединения принимал участие и Александр Гайсович Касымов, друг Иосифа Гальперина.

Ваш покорный слуга тоже был участником этого литературного объединения, так что именно здесь я услышал о существовании литературного института, Рамиль Гарафович Хакимов меня туда и направил, башкирская поэтесса Тамара Ганеева поддержала мою кандидатуру в Союзе писателей, меня поддержали Гальперин и Касымов, так что жизнь сложилась так, как сложилась. Я отучился в Москве с 1990 по 1995 год. Закончил Литературный институт им. А.М. Горького. Это имеет значение для рассказа моего.

Теперь понятно, почему в Москве было много самиздата. Читая воспоминания о диссиденте Прибыловском, я пришёл к мысли, что, разумеется, это было подконтрольное явление, призванное одновременно решать несколько задач.

Туда вбрасывались нужные мысли, там подбирались нужные кадры, а тех, кто зарывался, как наказание и воспитание отправляли в места не столь отдалённые. Главное, что там задавалась парадигма мышления. Узкая парадигма, если хотите.

В провинции же самиздат строго контролировался. Да и развитие провинции тоже, разумеется, строго контролировалось, она отставала лет на двадцать как минимум, в Башкирии так на тридцать два года.

Помню всего два случая, когда я столкнулся с самиздатом. Близкая родственница, которая была студенткой БГУ, показала мне тетрадку с поэмой Ахматовой «Реквием». Я тут же ее прочитал и был изумлён, что в ней много пафоса и мало художественного содержания как такового.

Как видите, Ахматова - это ничего особенного, не такой уж это крамольный автор, но даже тогда я помню атмосферу и даже страх от соприкосновения с чем-то запретным. Будучи юным студентом, я это, разумеется, ощущал.

Второй раз я случайно увидел у знакомого книгу Солженицына «Бодался телёнок с дубом». Я попросил почитать, но мне отказали. Я воспринял это легко, потому что не знал ещё, кто такой Солженицын. Теперь я благодарен, что эта книга не попала мне в руки тогда.

Во-первых, она могла попасться на глаза моим бдительным соседям по комнате, а я жил в общежитии весьма консервативного сельскохозяйственного института. После чего последовал бы донос и исключение из института, армия и смерть.

Во-вторых, книга могла меня перепахать, что называется, и я мог сойти с катушек, результатом стало бы отчисление из института, армия и смерть. Жизнь была бы поломана навсегда.

Когда я прочитал эту книгу через много лет, она уже не произвела на меня такого оглушительного впечатления.

Вот, собственно, и весь самиздат, который я видел.

Через много лет мне показывали какие-то издания, которые выходили в Уфе, но их беда была в том, что они не выходили за пределы круга из пятишести человек и не становились общественным явлением, и не влияли на людей.

А если бы вышли, если бы повлияли - их бы посадили.

Так что первый опыт самиздата в Уфе, я полагаю, начался только в 1988 году, когда мы с моими друзьями Ринатом Юнусовым, Володей Глинским, Валерием Трошиным и некоторыми другими вышли к кинотеатру «Родина» и стали продавать свои стихи, напечатанные на бумаге формата А4. Там было очень много людей, которые приобрели наши тексты, так что поэзия пошла в народ. Поскольку это были лирические стихи, и была перестройка, нас никто не посадил, даже не обратили внимания.

Но эта волна быстро схлынула. Она продолжалась всего два года.

Любопытно, что этот наш уфимский Арбат начался на два года раньше московского. Но благодаря местным особенностям он схлопнулся, не став чем-то выдающимся. Я, например, знаю людей, которые читали стихи на Арбате в Москве и купили потом квартиру там же, вообще поднялись. Уфа, разумеется, таким отношением к поэзии похвастаться не могла и не может.

Я собирался рассказать о журнале «Сутолока», а рассказываю о себе. Но на самом деле это рассказ о ситуации в литературной жизни тех лет.

Отсталость Уфы заключалась в том, что даже старые формы существования литературы здесь казались странными, невозможными, глупыми, смешными. Когда я привез крохотную книжечку стихов, которую мне издал в Москве поэт Иван Новицкий, друзья-поэты просто пожали плечами, а Касымов долго хохотал, придя в страшное возбуждение. Да я и сам тогда считал, что правильная книга - это толстый том на триста страниц в твёрдом переплете.

Однако мысль эта запала мне в сердце, в 1994 году я издал таким образом в Москве роман «Башкирский девственник», а потом уже в Уфе две книги «Не только Новицкий» и «День. Душа. Диоксин». Это были тоненькие книжечки с черно-белой обложкой и бледными ксероксными страницами. Касымов уже куда благосклоннее к ним относился, отзывался на них в печати.

Когда я принёс ему перевод рассказа Гульсиры Гизззатуллиной «Богатырша», мы сделали его совместно с писательницей и сценаристкой Зухрой Буракаевой, её был подстрочник, он стал его увлечённо читать, а потом задумался.

В то время он вернулся из газеты «Волга-Урал», которая благополучно скончалась в результате экономических передряг, в газету «Вечерняя Уфа». Раньше он не только был ответственным секретарем демократической газеты, но и издавал литературное приложение к ней под названием «Белый лист», там, кстати, вышел отрывок из моего романа «Башкирский девственник». Но в основном он публиковал там каких-то банальных москвичей.

Но «Вечерка» была официозное уважаемое издание, которое было посвящено проблемам ЖКХ, литературы там было мало, и Касымов откровенно скучал.

А здесь он словно сделал стойку, несколько дней был недоступен, а я тогда работал в Доме печати, мы встречались ежедневно. Помню, идёшь вниз

по лестнице, а на третьем этаже стоит Александр Гайсович, курит сигаретку. Ну, мы и впадали опять в бесконечные разговоры на часа два.

А тут он попросил меня принести ему подборку стихов, а потом попросил адрес издательницы, которая имела небольшую типографию в районе ВДНХ, где я издал свои книжечки.

Он был в восторге, это было видно, однако в детали не вдавался. Наконец он сказал, что решил издавать журнал, что будет презентация, что тираж скоро выйдет.

Презентация состоялась в галерее «Аймак», была такая в своё время. Начальником в ней состоял Айрат Рамазанов. Галерея находилась в длинном доме на Горсовете с видом на памятник Ленину и Русдрамтеатр. То был октябрь, если не ошибаюсь, была промозглая осень, в небольшом зале галереи собралось довольно много людей, имеющих касательство до литературы. Были даже местные почвенники, и тогдашний главный редактор газеты «Истоки» Александр Павлович Филиппов, глава почвеннической организованной литературной группы, даже вручил Касымову какое-то небольшие вспомоществование. Через несколько лет ученик Касымов предаст учителя и уйдёт под начало Филиппова, видимо, это была благодарность за хорошее воспитание.

Сама презентация прошла довольно сумбурно, Александр Гайсович выступал на публике довольно нервно, но в целом итог был положительным, первый номер расхватали, ощущение события было у всех.

И Александр Гайсович взялся за работу.

Эти года полтора пробежали для всех в лихорадочном возбуждении, Александр Гайсович делал «Сутолоку», я собирал альманах «Голоса вещей», вокруг клубились начинающие уфимские авторы нового поколения, те, кто только делал первые шаги - кто в литературу, а кто в литературное небытие.

Когда вышел в свет альманах «Голоса вещей», разразился страшный скандал. Я о нем писал в другом месте, но сейчас есть смысл говорить о нем, потому что он сильно повлиял на отношение Александра Гайсовича к жизни. Все дело в том, что к этому времени в литературу стали подтягиваться люди моего поколения, но, так сказать, запоздавшие.

Причина их запаздывания была в том, что они никак не планировали быть писателями, для них литература оказалась запасным аэродромом.

Если Александр Гайсович по первой профессии был журналист и журналист высочайшего класса, то я после окончания Сельхозинститута работал инженером лесного хозяйства года полтора, а если бы пошёл по этой стезе дальше, то вполне мог состояться, поскольку уже за это время вывел лесничество в передовые, организовал бригаду лесорубов, выполнял планы, вполне уживался с начальством. Но я осознанно ушёл в литературу в самом начале жизненного пути.

В принципе, это можно сказать обо всех писателях предыдущего и моего поколения, кто пришёл в литературу по зову сердца.

Иосиф Гальперин был не только выдающийся журналист, но философ, политолог, организатор, политтехнолог, чуть ли не единственный политик

времён всего уфимского общественного движения перестройки, да и в Москве он сказал своё весомое слово.

Талантливые поэты: Светлана Хвостенко была прекрасный журналист, Ринат Юнусов - великолепный предприниматель. Я могу так перечислить всех наших прекрасных поэтов, каждый, кроме поэзии, был специалистом высокого уровня в жизни.

Те, кто пришёл в конце 90-х, не состоялись в своей профессии и потому пришли в литературу от отчаяния, оттого, что некуда было больше идти. Но посыл у них оставался прежний - хорошо устроиться в жизни. Поэтому они рассматривали литературную деятельность именно с точки зрения приспособленчества.

Однако путь в официальные издания им был заказан, потому что там сидели матёрые советские графоманы, им не нужны были нахлебники. Они сами пожирали вкусные пироги.

Поэтому эти господа-неудачники облепили Александра Гайсовича в надежде, что он станет для них стартовой ракетой.

Поначалу так оно и было – журнал заметили в Москве, помещали на него отклики, вполне благожелательные барственные московские отклики.

Но как только разразился скандал в связи с выходом «Голосов вещей», эти люди предпочли отмолчаться, уйти в тень. Я попросил одного из таких людей написать в защиту Александра Гайсовича заметку, он написал, но двусмысленную. Как бы вот и нашим, и вашим. Опубликована она была в тогдашнем единственном издании – газете «Истоки». Где, кстати, и был опубликован огромный наезд на нас с Касымовым.

Так сей господин засветился и в нужный момент устроился туда работать. Перешёл на темную сторону, как оказалось.

Я рассказываю об этом потому, что любая жизнь и любое деяние имеют свои причины и следствия, и атмосферу, в которой они существуют.
Вокруг стояла атмосфера 90-х, все вокруг рвали и метали, обогащаясь и выстреливая в космос, все хотели куда-то попасть и требовали от других, чтобы они им это обеспечили.

Сами они при этом не желали и пальцем о палец ударить.

Александр Гайсович издавал журнал на собственные средства. Я не помню сегодня цифр, но тогда подсчитывал, что если бы сто человек покупали журнал рублей по двадцать, то это окупало бы себестоимость. Но никаких ни ста, ни двухсот, ни тысяч людей, конечно, не было.

Я помогал и деньгами, и собственными силами насколько мог. Помогали и другие, но всего этого было, увы, недостаточно.

Есть тут и моменты, о которых нельзя умолчать. Александр Гайсович задал очень высокий темп работы, он издавал журнал ежемесячно. Это изматывало, требовало много средств, тем более что стоимость издания росла из-за инфляции. Нужны были новые тексты, нужна была редактура и корректура, верстка, все это Касымов делал сам.

А ведь были ещё семья и трое детей, которых надо было кормить.

Кроме того, Александр Гайсович считал, что журнал – это его детище. Он никому не позволял трогать его руками, он сам определял повестку, он сам выбирал, что публиковать, а что нет. Это порождало соответствующее отношение к нему, люди не хотели считать его своим. Они бы и так этого не сделали, а тут они прямо демонстрировали своё безразличие, что Касымов воспринимал болезненно.

А когда прошёл интерес от новизны, любопытства стало меньше, люди стали меньше интересоваться журналом.

В конечном итоге после полутора-двух лет он прекратил издавать «Сутолоку».

Жизнь после «Сутолоки»

После «Сутолоки» Александр Гайсович переключился на московские издания. Его приметили в журнале «Знамя» и стали ему заказывать статьи на тексты банальных москвичей. Это была отличная возможность себя показать. И Касымов себя показал, став первоклассными литературными критиком. Все что он делал, он делал профессионально, тут нет слов.

Другое дело, что он разочаровался в местной литературной публике, были моменты, когда он всех под одну гребенку с размахом припечатывал, мол, нет литературы. Попадало и мне под горячую руку.

Но опыт существования самиздатовского литературного журнала остался. В чем его уроки?

Прежде всего, замечательно то, что журнал был всеядным, без такой вот ярко выраженной идеологической концепции. Достаточно было соответствовать определённому уровню художественности и можно было в него попасть. Для провинции, где противостояние быстро доходит до уровня ненависти, это было важно. Журнал объединял и давал возможность людям привыкнуть друг к другу, что очень важно для нормального общения.

Второй вывод скорее негативный - чем быстрее развивался журнал, тем непонятнее он становился. Ощущение, что стоит идти чуть быстрее, чем окружающая среда, так сразу же попадаешь в полосу непонимания и отрицания. Поэтому есть смысл такого рода литературные журналы делать раз в квартал. Впрочем, кто же прислушивается к выводам!

Люди все равно будут делать как хотят.

Третий вывод заключается в том, что каждый номер журнала воспринимался как событие, только когда проходила презентация. И это очень важный, как мне кажется, вывод. Пока люди не пощупают журнал, не купят, он словно и не вышел.

Дальше речь пойдёт о самом Касымове. Боюсь, что он несколько переоценил свои силы. Он был бы отличным ответственным секретарём журнала, на редактора он не потянул.

Журнал – дело общественное, многолюдное, вокруг должны клубиться люди, каждый из которых должен делать своё малое дело, которое в сумме даёт большой результат, который каждый считает своим.

Касымов с его ярко выраженным фаворитизмом был способен только на отношения один на один, многолюдье его скорее пугало и раздражало.
Еще один момент – Александр Гайсович очень хотел быть счастливым человеком. Когда он находил человека или какое-то дело, которое пробуждало в нем счастье, он вцеплялся обеими руками и чуть ли не зубами и верил, что это навсегда.

А когда отношения либо дело заканчивались, он испытывал страшное разочарование, настоящую трагедию. Эту трагедию он переживал всегда один и никому никогда не жаловался. Он был, по сути, чрезвычайно одиноким человеком всю свою жизнь. Он мог кому-то довериться, но не до конца, ненадолго.

Мне рассказали историю, достоверность которой я не могу подтвердить, мне об этом ничего не известно. Но она кажется характерной для Касымова.

Некие два юрких деятеля, недовольные тем, что К. ругает их стихи, подобрали девушку и подослали ее к нему, снабдив рукописью текстов, ещё неизвестных критику.

К. пришёл в восторг, стал хвалить стихи, а потом влюбился в девушку, так что даже звал ее замуж. Девушка не выдержала и во всем призналась. Это стало концом отношений с двумя юркими деятелями.

Мне Касымов ничего подобного не рассказывал, какими бы мы ни были друзьями. Но я полагаю эту историю возможной.

Кстати, она, казалось бы, говорит о том, что Касымов мог давать разные оценки в зависимости от отношения к человеку. Разумеется, это не так.

Дело в том, что стихи – явление интегральное, в них учитываются все действующие факторы, а не только текст.

Один и тот же стих в устах пожилого пенсионера и пятнадцатилетнего юноши звучит совершенно по-разному. В первом случае - это уже потолок, все, на что способен товарищ. Во втором оценка будет выше, потому что у человека всё впереди. И так далее, и так далее.

Так что Касымов чутко реагировал на литературу и в своих оценках в конечном счете не ошибся.

Птенцы гнезда Касымова, мы все оказались людьми преданными литературе, кроме некоторых вполне понятных исключений.

И это очень важный момент.

Сегодня, очевидно, потому что другие сферы для жизни закрыты или требуют больших усилий, все больше молодых людей стремятся в литературу. Общество, казалось бы, идёт им навстречу, проводятся конкурсы, разного рода фестивали, семинары, выделяются гранты. И здесь очень важно понимать, что из себя представляют те, кто выступает в роли мэтров - преподавателей, кто и что пытается передать юным и начинающим литераторам.

Человека можно научить быть литературным работником. Но стать писателем, причём настоящим писателем - невозможно. Настоящий писатель, словно чёрная дыра, заглатывает всё, что попадается ему на пути, чтобы потом породить новую вселенную. Конечно, он ищет своих настоящих учителей, но если попадётся бездарный - он тоже будет пущен в дело и перемолот до элементарных частиц, которые будут пущены в строительство.

Но вот тем молодым людям, которые хотят просто существовать в сфере литературы, бездарный и негодный преподаватель может испортить жизнь, привив им нежизнеспособные принципы и мотивы.

Касымов видел в людях лучшее, и он пропагандировал настоящую любовь и преданность литературе. Для него не стояло вопроса, чему служить. Он сам был таким и ценил в людях и прививал им именно такое отношение.

Касымов был прекрасен тем, что в общении с ним у всех, в том числе и у него самого, рождались гениальные мысли. Он как никто способствовал оформлению неясных звуков в прекрасное, волнующее произведение литературы. И это было счастье, которое трудно представить, можно только пережить.

«Сутолока» даёт об этом представление. Как хорошо, что уфимская писательница Светлана Смирнова сохранила для нас полный комплект журнала. Все уфимские библиотеки, в которые Касымов отдавал номера «Сутолоки», к сожалению, отправили их на списание.

Я спускаюсь по лестнице в Доме печати, касаясь лакированных перил. Светит солнце в большом стеклянном проеме, отражаясь от стеклопакетов коридора. Я дохожу до промежуточной площадки и поворачиваюсь, чтобы идти дальше.

На третьем этаже стоит худой человек, курит сигарету, глядя в невидимое небо.

- Здравствуйте, Александр Гайсович! - улыбаюсь я.

И, как всегда, останавливаюсь поговорить.

Айдар Хусаинов
Июль 2019 года

ВСПОМИНАЯ КАСЫМОВА

Вспоминать знакомство с Александром Гайсовичем приятно и грустно, как бывает, когда испытываешь ностальгию по далекому оставленному месту, с которым было связано столько значительного и судьбоносного. Для меня он был и остался одним из тех открытых и важных для моего самочувствия лиц уфимского пространства, которыми оно при моем появлении повернулось ко мне и которые потом почему-то так скоро и невозвратимо скрылись за горизонтом жизни, одно за другим, оставляя чувство пустоты и отстраненности. А

начиналось мое пребывание в Уфе в середине 90-х (не вспомню уже, конечно, точных дат, поводов и обстоятельств) – году в 96-м или 97-м я оказался в Доме печати, в редакции «Вечерней Уфы», где работал Александр Гайсович.

Я привез в Уфу остатки авторских экземпляров первой в нашей стране литературоведческой книги о В.С. Высоцком, написанной в соавторстве с Андреем Скобелевым и изданной в Воронеже, и дарил их людям, которым, как мне казалось, это могло быть интересно. С такого эпизода, собственно, и началось наше знакомство. Книга из той части жизни, где я был читателем и в какой-то мере специалистом, по тогдашнему разумению, могла дать первое представление и обо мне. Александр Гайсович, сидя за рабочим столом, заваленном рукописями, взглянул на обложку и сказал:

- Знаете, а я не считаю Высоцкого творцом.

Не поручусь сейчас за дословность передачи, может быть, фраза была построена несколько иначе, но «не считаю Высоцкого творцом» - это точно, и слово «Творец» здесь можно было бы написать с заглавной буквы, - так категорично и без возможности возражений это звучало. Может быть, это было только мое впечатление, но я почувствовал, что ошибся, и понял, что спорить в этом случае бессмысленно, - приговор был, что называется, выношен и вынесен, в те времена еще совсем не был редкостью и не выглядел так уж маргинально.

- Это и ненужно, - ответил я. - Он сам за себя постоит.

И мы перешли к другим темам.

Начиналась недолгая, увы, история «Сутолоки» - замечательного инициативного издания, им созданного, тогда еще непривычно свободного от цензурного надзора и давшего выход к читателю целой компании литературной молодежи. Прикоснувшемуся в предшествующей жизни к «областнической» поэтической среде в нескольких городах и весях Союза, мне это начинание представлялось чрезвычайно важным и нужным.

Я приносил старые стихи, не дошедшие когда-то до печати, и новые, уфимские, Александр Гайсович их читал, некоторые ему нравились. Кажется, вот это: «Он умывается и плачет…». В какой-то момент у меня возникло ощущение двойственности моего авторства, словно я приносил стихи поэта, жившего в другую, ушедшую эпоху, и я попытался это обыграть. Так возникло стихотворение «Шаулов, его стихи и я», которое привело его в заметное недоумение. Прочитал раз, не понял, перечитал – то же, еще раз… Ах! Ну да, вот! И жест – легкий шлепок худой длинной ладонью по лбу.

Удивительно, не помню, чтобы мы когда-нибудь спорили или пытались друг другу что-то доказать. Близки как будто не становились, разве что в переписке чувствовалась своеобразная возможность дружества, мы переписывались по-немецки – он это предложил, а я согласился. Тогда еще толком не началась компьютерная эра, и наши письма на немецком языке доставляла традиционная почта. В этом не было ни пижонства, ни позёрства, ему хотелось упражняться, чтобы не забывать язык, и я был рад той же возможности. Содержания писем это никак не сковывало и не определяло, мы – переклика-

лись… И до сих пор от этой переклички послевкусие доброжелательности и благодарности.

Все это мало походило на отношения поэта и критика. Литературно, поэтически мы так и оставались на своих позициях. Читая некоторые его статьи, я понимал величину и уровень этой критики. А он, думаю, даже когда в моих стихах что-то бывало ему не по нраву, понимал, что поэзия – разная и объемлет всё. Меня профессионально и, наверное, экзистенциально влекла в ней барочная, мистическая традиция, трагическая и трагедийно-игровая бездонность Слова, а он, как мне кажется, чувствовал себя своим в поэзии действительности вещей и текущего времени, как бы это ни понимать.

А потом, потом… По слову Высоцкого, «мне не стало хватать его…», как, догадываюсь, многим и многим другим.

Сергей ШАУЛОВ
Сентябрь 2019 г.

ПЕРВЫЙ

Я познакомился с Александром Касымовым в марте 1995 года, когда Алла Докучаева, тогда зам. главного редактора «Вечерней Уфы» передала ему мою машинопись «афганской» повести «Ссадина». В то время составитель «Литальманаха ВУ», выходящего раз в месяц в «Вечерке», сидел в отделе писем, куда я и приходил к нему. Мы соревновались в ехидстве. «Зачем у вас столько технических терминов? - кривился он. - И разве вертолет может встать на пуанты?» «А вы, наверное, поэт?» - говорил я с интонацией, подразумевающей второсортность поэтического мышления перед прозаическим, и он, вдруг смутившись, отвечал утвердительно. Потом была длинная история попыток опубликовать в «Литальманахе» нового автора. Мне пришлось написать пять или шесть коротких рассказов, каждый из которых Касымов заверстывал в очередной альманах. На пятый отказ руководства он в сердцах отдал мне верстку, на которой было написано начальственной ручкой: «Ваш Фролов, конечно, гений, но не для нашей газеты». «Возьмите на память, - сказал Касымов. - Когда я предлагаю к публикации в этой газете автора, его всегда печатают. Вы - первый, с кем у меня не получается. Даже компьютер, когда я набираю вашу фамилию, выдает черную метку - зависает...» Но на шестой раз все получилось, и в ноябре 1996 года вышел мой рассказ «Перед снегом». В честь этой маленькой победы мы с Касымовым выпили водки, и я надписал ему его газету с моим рассказом: «Моему первопечатнику - с благодарностью!». Так началась наша дружба.

Однажды, вернувшись из отпуска (был август 1998), я зашел к А.Г. - тогда он уже сидел в отделе культуры, - и он познакомил меня с новым человеком в его, Касымова, литсообществе. Нужно сказать, что к тому времени это сообщество уже сложилось. Касымов публиковал новых поэтов и прозаиков в своем Литальманахе, присуждал особо понравившемуся ему автору премию

«Литальманаха ВУ», потом делал маленькую книжку этого автора. Первым его лауреатом был Айдар Хусаинов, вторым - автор этих строк. Книжки он верстал сам на своем рабочем компьютере, потом печатал сто экземпляров на ризографе - в той же типографии, где печаталась «Вечерка» (на книжках значилось "Литальманах газеты "Вечерняя Уфа"). Как потом я понял, верстка и печать этих простейших книжек в две скрепки были тренировкой перед более сложным проектом.

Итак, в августе 1998 А. Г. познакомил меня с моим ровесником, поэтом Алексеем Кривошеевым. Когда Алексей откланялся, Касымов сказал мне: «Кажется, я нашел поэта, стихи которого можно конвертировать с нашего республиканского уровня на российский. И теперь, когда вы с ним есть у меня, можно, наконец, делать журнал».

Передаю его слова не для хвастовства. Возможно, он говорил их всем своим креатурам - и Хусаинову, и Глуховцеву, и Кудашеву, и Нуриеву, ets. И в самом деле все они и стали авторами первого в Башкортостане русскоязычного литературного журнала - вернее, журнальчика, как обозначил его главный редактор, корректор и верстальщик Александр Касымов. Помню, мы с ним поспорили по поводу названия. Конечно, я не имел ни права, ни намерения делать творцу журнала замечаний, но он сам спросил, нравится ли мне название «Сутолока». Я честно ответил, что не нравится - как не нравилась мне и одноименная городская речушка, превратившаяся к тому времени в (что называется грубо, но метко) речку-говнотечку, куда стекали банные сливы и нечистоты из лепившихся по склонам оврага частных дворов. Касымов хмыкнул и сказал, что для него Сутолока происходит от тюркского су-кала - городская/крепостная вода. Но мне показалось, что в его интонации мелькнула насмешка, - вполне возможно, он подразумевал и намек в названии на всеядность речушки, в которой городские нечистоты смешивались с чистой водой. Действительно, журнальчик, несмотря на его малый объем, нужно было чем-то наполнять, авторов же явно не хватало, да к тому же, как сетовал Касымов, авторы эти были ленивы и писали очень мало. Однажды он передал мне свои слова, сказанные им одному московскому издателю в ответ на его вопрос о том, что нового написал Фролов. «Фролов, - ответил ему Касымов, - это уже из области археологии. Не пишет...» Теперь, когда я сам поварился в собственном соку, пытаясь объединить ручейки в речку местной словесности, я прекрасно понимаю раздражение Касымова на самодеятельных литераторов, пишущих от случая к случаю, ждущих вдохновения, свободного времени, денег, любви и пр.

«Сутолока» не была, строго говоря, литературным журналом. Это был культурный проект, где самиздатовский журнальчик служил поводом для встреч тусовки поэтов, художников, музыкантов. Выход каждого номера Касымов отмечал презентацией в библиотеках, в художественных галереях, где пили коробочное вино из одноразовых стаканчиков, закусывая тонко нарезанными апельсинами.

Мне хотелось как-то поддержать Касымова в его деятельности, но лишних денег у меня не было, и я, внимательно прочитав один из номеров «Сутолоки» - там был рассказ Ибатуллина «Узор ковра», мой (не помню, какой), текст самого Касымова о его поездке в Веймар, - напечатал на машинке критический отзыв, где говорил о плюсах и минусах текстов. Подписался И. Александровым и отправил письмо по почте. Касымов был в восторге. «Представляете, - тряс он передо мной конвертом, - письмо пришло просто с улицы! Кто этот человек? Хорошо бы его найти, нам такие люди нужны!» Мне стало стыдно за свой розыгрыш, признался я только через год, но Касымов не обиделся, посмеялся по-доброму.

Издание Касымов вел на свои деньги - с авторов, насколько знаю, он ничего не требовал, но пытался на презентациях как-то «отбить» затраты, продав хотя бы несколько экземпляров. Помню, как на одном из таких мероприятий, проходивших в галерее Ольги и Бориса Самосюков, главный редактор газеты «Истоки» Александр Филиппов вручил Касымову конверт с некоторой суммой – на развитие журнала. Интересно, что на моей памяти это был единственный случай такой публичной поддержки касымовского проекта, оказанной к тому же его идейными противниками. Касымов, как известно, был весьма радикальным либералом. Он сразу невзлюбил ельцинского преемника за его «гэбистское прошлое», и тот факт, что у нового президента день рождения, как и у Касымова, 7 октября, не нравился Александру Гайсовичу, и я иногда подтрунивал над ним по этому поводу. Газету «Истоки» он называл черносотенной, хотя однажды, когда я застал его курящим на лестничной площадке второго этажа вместе с Александром Филлиповым, он был весьма миролюбив и познакомил нас. Но года через два, когда я сообщил Касымову, что Филлипов пригласил меня работать в «Истоки» и я согласился, он отреагировал очень резко. Но резкость эта, к моему удивлению, была направлена не против политики газеты - он не произнес чего-нибудь нравоучительного вроде «в этой газете не должен работать порядочный человек». Он решил уязвить побольнее. В то время я работал в поликлинике, в дневном стационаре массажистом, и Касымов сказал: «Каждый должен делать то, что он умеет делать хорошо. Вы - хороший медик, но журналист вы никакой, и не нужно начинать». Я тогда не обиделся, только посмеялся, напомнив Касымову, что по образованию я - инженер, и если освоил медицинскую практику, наверное, освою и журналистскую. Я знал, что Касымов переживает не лучшие времена - у него появился конкурент - толстый литературно-публицистический журнал «Бельские просторы». Конкурировать с настоящим «толстяком» (хорошая бумага, госфинансирование, большая редакция) было не то что трудно, - невозможно. Проект «Сутолока» сразу превратился в самодеятельность, несмотря на то, что БП был журналом чисто советским по боязни открыть новое, «почвенническим» по духу, что сразу отметил Касымов. Но продолжать делать «Сутолоку» с появлением настоящего, пусть и скучного «толстяка» Касымову стало скучно. Кстати, в «Бельских просторах» не относились к «Сутолоке» как к самиздату. Когда меня попросили дать что-

нибудь для публикации в БП и я предложил рассказ «Пророк» о Пушкине (был 1999 год - год 200-летия Александра Сергеевича), в редакции решили, что, поскольку этот рассказ печатался в «Сутолоке», то «Бельские» его взять не могут. То есть «Сутолока» признавалась полноценным литературным журналом. Пришлось дать в БП повесть «Ссадина» - тем более что по объему она не лезла ни в «Литальманах», ни в «Сутолоку».

Именно в возникшей конкуренции на еще недавно пустом поле уфимского литпроцесса я вижу и причину нежелания Касымова, чтобы я работал в «Истоках». Он вообще не любил, когда кто-то из его «птенцов» откалывался и создавал свою структуру. Так, он пережил откол поэта Анатолия Яковлева, который создал свою группу, забрав Андрея Юдина, Рустема Вахитова, Аркадия Аршинова, к ним примкнули Вадим Богданов и Светлана Чураева, - одним махом Касымов лишился стольких талантов.

Айдар Хусаинов учредил Уфимское литобъединение, куда Касымов, если правильно помню, пришел только один раз. Я начал работать в «Истоках», и оказалось, что черносотенный Филиппов дает столько свободы, сколько я могу переварить. Мы создали в газете «Литературную гостиную» в четыре полосы, выходившую еженедельно, - в ней публиковались прозаики и поэты - старые и молодые, известные и неизвестные, «классики» и постмодернисты, - причем поэтические подборки достигали 400 строк, - и это стало ударом не только по «Сутолоке», но и по «Литальманаху». Случилось еще одно странное для Касымова событие. Он уже был постоянным критиком журнала «Знамя» и вознамерился пригласить в Уфу поэтический десант из нескольких молодых, но знаменитых поэтов - помню имена Веры Павловой и Дмитрия Воденникова. Но оказалось, «Вечерняя Уфа» еще не достигла той степени гласности, чтобы опубликовать на своих страницах стихи высокой степени эротической напряженности. Тогда я предложил Касымову всю Литгостиную «Истоков» и гарантировал публикацию. Он согласился, но тут же начал говорить, что, несмотря на всю мою деятельность, я должен из этой газеты уйти. Я в ответ напомнил ему, что моя «черносотенная» оказалась намного либеральнее его либеральной «Вечерки», на что он обиделся, и мы расстались (помню, это случилось в начале проспекта Октября, напротив здания, где сейчас располагается редакция «Бельских просторов», в которой работаю в настоящий момент). Московский десант так и не состоялся. Не состоялся и переезд Касымова в Москву - что-то не срослось с местом работы в том же «Знамени». Последним мероприятием, которое провел Касымов, был день памяти поэта Станислава Шалухина, погибшего в 2002 году в автомобильной катастрофе. 1 марта 2003 года, в день рождения Шалухина, Касымов собрал нас в музее Нестерова. А на следующий день он слег и через четыре месяца умер. Когда я вспоминаю то бурное - его стараниями - литературное время, - время становления русской литературы Башкортостана, - я всегда думаю, что Касымов ушел, когда увидел, что раздул этот костер, процесс, как говорится, пошел, но в процессе начали появляться новые точки роста, которые он уже не мог контролировать, не мог тем ростом управлять единолично, как было в

90-е. И это действительно было его временем - он рос сам и взращивал нашу литературу. «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Я бы разделил эту поэтическую формулу в применении к Касымову. В 90-е он жил, а когда в «нулевые» времена сменились, он умер.

В этом, 2019 году, Александру Касымову исполнилось бы 70 лет. В который раз предложу какому-либо причастному к культуре или образованию органу – будь то министерство, вуз, средство массовой информации, - учредить премию им. Александра Касымова – За лучшую литературоведческую и литературно-критическую работу. Имя Александра Гайсовича Касымова должно звучать, как и прежде.

Игорь ФРОЛОВ
Сентябрь 2019 г.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

АБДУЛА (наст. фам. – Абдулов), Владислав (р. 1969) – автор стихов, статей по философии традиционализма, литературе модернизма и метафизического реализма. Работает в Институте нефтехимпереработки РБ в Уфе. Участник евразийского кружка при кафедре философии БашГУ. ***245-248, 283-284***

АХМЕТЗЯНОВА, Альбина (р. ?) ***221***

БАННИКОВ, Александр Геннадьевич (1961-1995) – поэт. Родился в поселке Магинск Караидельского района РБ. В 1985-1986 гг. служил в Афганистане. Окончил Башкирский педагогический институт. Был участником литературного объединения при газете «Ленинец». С 1990 г. работал учителем истории в Магинской школе. Автор поэтического сборника «Человек-перекресток» (1992). Стихи и проза публиковались во многих республиканских и российских изданиях. В 2003 г. вышел сборник стихов и очерков А. Банникова «Афганская ночь». ***86-92, 196-197***

БОГДАНОВ, Вадим Алексеевич (р. 1973) – поэт, прозаик. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ. Публиковался в центральной и республиканской прессе, коллективных сборниках. Автор романов «Если бы судьбой была я…» (2001, совместно с С. Чураевой), «Книга Небытия» (Москва, 2006), книги стихов «Если бы я был…» (Уфа, 2012). ***94-97***

БУРАНГУЛОВ, Роберт (р. ?) ***273-283***

ВЛАСОВА, Наталья (р. ?) ***82***

ГАЛЬПЕРИН, Иосиф Давидович (р. 1950) – писатель, журналист. Родился в г. Оренбурге, с 1958 г. жил в Уфе. С 1969 года работал журналистом в уфимских изданиях, в 1977-1990 гг. являлся участником литобъединения при газете «Ленинец». С 1990 года переехал в Москву. Работал в журнале «Новое время». Печатался в различных периодических изданиях, автор семи книг стихов и книги прозы «Крики во сне» (2011). Лауреат первой премии конкурса «Писатель года 2015», финалист конкурса «Поэт года 2015», дипломант премии-ордена им. Кирилла и Мефодия (2017). В настоящее время живет в Москве и Болгарии. ***84, 104-105***

ГАЛЬПЕРИНА, Мария (р. ?) ***249-252***

ГИЗЗАТУЛЛИНА-ГАЙСАРОВА, Гульсира Мирзаевна (р. 1957) – башкирский прозаик, переводчик. Родилась в г. Каган Бухарской обл. Узбекской ССР, но своей родиной считает деревню Идяш Зианчуринского р-на Башкирии. В 1979 г. окончила филфак БашГУ. С 1979 по 1996 гг. работала в газете

«Башкортостан», с 1996 г. – зав. сектором издательства «Китап», 2002-2003, 2007 и 2011 гг. – ответ. секретарь журнала «Башкортостан кызы», в 2003-2007 гг. – сотрудник журнала «Ватандаш». Автор повестей «Обитель души» (2003), «Дыхание рая», романов «Подарок», «Хадия». Произведения Г. переведены на русский и турецкий языки. Перевела на башкирский язык произведения Э. Хемингуэя, первую книгу Ветхого Завета «Бытие» и др. Засл. работник культуры РБ (2009). ***12-19***

ГЛУХОВЦЕВ, Всеволод Олегович (р. 1965) – прозаик. Кандидат философских наук, доцент ВЗФЭИ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт). Публиковался в журналах: «Дружба народов», «Бельские просторы» (Уфа), газетах: «Известия», «Вечерняя Уфа», «Истоки». Книги выходили в издательствах: АСТ (Москва), «Азбука-классика», Лениздат (Санкт-Петербург). Член Союза писателей России и Союза журналистов РФ. Живет в г. Уфе. ***203-207, 385-386***

ГРИЦЕНКО, Сергей (р. 1978). Родился в г. Бирске РБ. Автор стихов. ***143-145***

ЗАЛЕСОВ, Александр Юрьевич (р. 1963) – уфимский поэт, журналист. В 2013-2015 гг. работал ответственным секретарем газеты «Истоки». Публиковался в журналах «Сутолока», «Бельские просторы», коллективных сборниках. Автор книги стихов и прозы «Свойства строки». Участник литературного объединения «УФЛИ». ***207-208, 245-248***

ЗАСТЫРЕЦ, Аркадий Валерьевич (р. 1959) – поэт, литературный переводчик, журналист, драматург. Родился в Свердловске в семье театральных артистов. В 1981 году окончил философский факультет Уральского государственного университета. С 1991 года — главный редактор газеты Уральского отделения РАН «Наука Урала». В 2003—2008 годах — главный редактор екатеринбургской газеты «Городские Куранты». Кроме педагогической и журналистской деятельности Застырец сотрудничал со свердловскими рок-группами как автор текстов. В 1994 году принимал участие в российско-американской конференции по современной поэзии «New Freedoms» в Нью-Йорке. Известен как поэт, переводчик — с французского и старофранцузского, английского, словенского, прозаик, эссеист, публицист и драматург, автор доброго десятка пьес и оперных либретто. Живёт в Екатеринбурге. ***118-123***

ИБАТУЛЛИН (псевдоним – Равиль Искандаров), Роберт Уралович (р. 1974) – писатель-фантаст, учёный, педагог. Родился в Уфе в семье служащих. В 1996 г. окончил физмат БашГУ по специальности «теоретическая физика». Ушёл в аспирантуру на исторический факультет. С 1998 г. был помощником

координатора Уфимского филиала Института «Открытое общество» (фонд Сороса). В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории в Казанском ГУ. Работал в БАГСУ. В 2003 г. переехал в Москву и с этого времени работает в Моск. гос. академии водного транспорта. Преподаёт физику и концепции современного естествознания. Автор научно-популярных статей на темы физики, астрономии, космонавтики, футурологии. С 1995 г. печатался в уфимских периодических изданиях. В 1996 г. был удостоен премии газеты «Вечерняя Уфа». В 2013 и 2015 гг. был опубликован его наиболее известный роман «Роза и Червь». ***43-46, 154-188, 228-238***

ИГНАТЕНКО, Сергей Николаевич (р. 1955) – российский живописец, педагог, засл. художник РБ (2004). Родился в Уфе. С 1977 г. – экспонент республиканских, зональных, региональных, межрегиональных, всероссийских, всесоюзных, международных, зарубежных и групповых выставок. В 1982 г. окончил худож. отделение УГИИ. С 2004 г. **–** преподаватель живописи, рисунка и композиции на художественном отделении Уфимского училища искусств, в 2014–2019 гг. **–** заведующий отделением. Член творческой группы «Март» (1989-1993). Представитель концептуального направления изобразительного искусства Башкортостана. Государственный стипендиат Министерства культуры РФ (2006). Обладатель Золотой медали «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России (Москва, 2014). Обладатель Золотой медали Межрегиональной выставки «Урал – XI» (Тюмень, 2013), Гран-при I Межрегиональной биеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт» в номинации «Живопись» (Магнитогорск, 2014), медали «100 лет образования Республики Башкортостан» (Уфа, 2019). Произведения хранятся в БГХМ им. М.В. Нестерова, Галерее «Мирас» (оба **–** Уфа), Музее современного русского искусства в Джерси-Сити (США), Министерстве культуры России (Москва), Галерее Аллы Булянской (Лондон), Нефтекамской картинной галерее «Мирас» (РБ), картинной галерее «Янгантау» курорта «Янгантау» (Салаватский район РБ), в частных собраниях в России и за рубежом (Австрия, Германия, Голландия, Израиль, Италия, Польша, США, Франция), в том числе в коллекции М.Л. Ростроповича и Г.П. Вишневской. ***345***

ИЛЬИН, Юрий (р. ?) ***64***

ИЛЬЯСОВ, Рустам (р. ?) ***270-273***

ИЛЬЯСОВА, Юмабика Салахетдиновна (р. 1957) – башк. поэтесса, член Союза журналистов и Союза писателей РБ и РФ, депутат Гос. Собрания – Курултая РБ IV созыва, засл. работник печати и массовой информации РБ. Родилась в селе Акъюлово Хайбуллинского р-на БАССР. В 1979 г. окончила

БашГУ. В 1979-1991 гг. была корреспондентом, зав. отделом лит-ры и искусства газеты «Башкортостан пионеры». В 1994-96 гг. возглавляла отдел лит-ры и искусства газеты «Башкортостан». В 1996-99 гг. работала ответ. секретарём журнала «Башкортостан кызы». Избрана членом президиума и правления Союза женщин РБ и исполкома Всемирного курултая башкир. Автор сб. стихов: «Падают, падают золотые листья» (1990), «Не желтей, лето!», «В ракушке», книги сказок «Таинственная ночь» (1993). Является автором поэмы «Салават». ***37***

ИСКАНДЕРИЯ, Тамара (наст. имя – Тамара Ишбулдовна Юлдашева) (р. 1958) – башк. поэтесса, переводчик, драматург, журналист, член Союза писателей РБ и РФ. Родилась в деревне Кияуково Ишимбайского р-на БАССР. Работала швеей-мотористской. В 1981 г. окончила БашГУ. Работала в газетах, журналах, на радио и телевидении РБ. С 2010 г. – гл. ред. журнала «Акбузат». Автор сб. стихов «Золотое сечение» (2008). ***36-37***

КАСЫМОВ, Александр Гайсович (1949-2003) – журналист, литературный критик, поэт, искусствовед, культуртрегер. В 1970-1990-х годах поддерживал многих начинающих уфимских литераторов, печатал их произведения в республиканских и российских изданиях. Основал и редактировал самиздатский литературно-художественный журнал «Сутолока» (Уфа, 1997-1999). Публиковался в журналах «Бельские просторы», «Волга», «Знамя», «Октябрь». Автор книги «Улетающий Обломов». Лауреат премий журнала «Знамя» и института «Открытое общество» (Фонд Сороса). ***12, 26-30, 31-36, 68-75, 97-100, 135-136, 141, 193-195, 215, 303-304, 307-309***

КОРОЛЕВСКИЙ, Алексей Григорьевич (1941-2013) – рос. художник. Родился и умер в Уфе. В 1963 г. окончил худож.-пед. училище в Свердловске. График. Член правления Башк. Союза художников с 1976 г. Участник республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок. Засл. художник РБ (1997) и РФ (2008).

КОРШИКОВ, Владимир (р. ?) ***82***

КРАСНОВ, Сергей Борисович (р. 1948) – народный художник Башкортостана. Родился в Уфе. В 1968 г. окончил художественное отделение Уфимского пед. училища № 2. С 1978 по 1981 гг. работал в творческих мастерских Академии художеств СССР у академиков Е.А. Кибрика и О.Г. Верейского. Куратор Башк. академии художеств. Краснова считают представителем «фантастического реализма», мастером аэроландшафтов, приверженцем интеллектуальной живописи. Живет в г. Уфе.

КРИВОШЕЕВ, Алексей Владимирович (р. 1964) – поэт, переводчик, литературный критик, член Союза писателей РФ. Окончил филфак БашГУ и РГГУ. В 1999-2008 гг. жил в Санкт-Петербурге. Работал литературным редактором (отдел поэзии) в газете «Истоки» (Уфа). С начала 1990-х гг. публикуется в различных республиканских и российских изданиях. Участник литобъединения «УФЛИ», петербургского лит. клуба XL, клуба Литературных знакомств, Театра поэтов на Пушкинской 9. Автор поэтических книг: «Ночные птицы» (1999), «Исполнение пустоты» (2004), «Осязание юности. Верлибры» (2004), «Единорог» (2008), «Свободное поздно» (2009), «Парадоксы и посвящения» (2010). Проживает в Уфе. ***239-245, 309-343***

КУДАШЕВ, Артур Рифкатович (р. 1967) – прозаик. По профессии – врач психиатр-нарколог, кандидат мед. наук. Автор прозаических книг «Последний лимон» (1998) и «Бедлам Пост» (2009). Публиковался в литературных журналах «Сутолока» (Уфа) и «Бельские просторы» (Уфа) и в сборниках «Нестоличная литература» (2003), «Америка глазами русских писателей» (2004), «Голоса вещей – 2» (2008) и «Тайная история монголов» (2008). Финалист Всерос. лит. конкурса им. Ю. Казакова (2009). Живет в г. Уфе. ***22-26, 57-64, 253-257, 384-385***

КУДАШЕВ, Ильдар (р. ?) ***220-221***

КУКАРИНА, Светлана (р. ?) ***77-79, 116-117***

МАГЛИЕВ, Рамиль Рафаэлевич (р. 1960) – график, педагог. Родился в Уфе. В 1983 г. окончил худграф БГПИ. Преподаватель Уфимского училища искусств. Член Союза художников (1996).

МАДЖАР, Сергей Владимирович (р. 1958) – живописец, график, педагог, засл. художник РБ (2013). Родился в Уфе. В 1980 г. окончил худграф БГПИ. С 1983 по 1993 гг. работал иллюстратором Башк. кн. изд-ва. В 1992-1994 гг. – художник журнала «Светлячок». С 2002 г. преподавал в Уфимском училище искусств, с 2007 г. – в УГНТУ, с 2010 г – в Артклубе. Работает в разнообразных видах и жанрах традиционной живописи и графики. Пишет портреты, пейзажи, натюрморты. Некоторые работы складываются в тематические серии: «Цветы», «Замки», «Старая Уфа», «Первый снег», «Уленшпигель», «Тристан и Изольда», «Скандинавские мифы и саги», «Библейские и евангельские сюжеты». За время работы в Башкирском книжном издательстве выполнены серии иллюстраций: «Башкирские легенды», «М. Твен «Принц и нищий» и др. его произведения», «Веркор «Сказки для горчичников» и мно-

гие другие. Лауреат премии «Любимые художники Башкирии» (2019). Живёт и работает в Уфе.

МАКСИМОВ, Игорь Павлович (1921-2017) – писатель и педагог. Родился в Иркутске. В 1922 г. семья переехала на станцию Аксаково Белебеевского р-на БАССР, а в 1932 г. отец, а затем все члены семьи высланы в спецпосёлок Ермотаево Белорецкого р-на Башкирии. Окончил Белорецкое пед. училище, а затем Магнитогорский пед. ин-т. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной Звезды и медалями «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». 40 лет проработал учителем русского языка и литературы в средней школе села Тукан Белорецкого р-на. Печатался с 1985 г. в газетах «Белорецкий рабочий», «Урал», в журналах «Сутолока» и «Бельские просторы». Автор сборника рассказов «Тихая проза» (1997), книг: «Письма из Ермотани» (2002), 2-е издание (2010), «Там, где вечно дремлет тайга» (2015). Лауреат премий им. Я. Хамматова (2004) и С. Злобина (2013). Умер в посёлке Тукан Белорецкого р-на. ***37-40, 75-77, 84, 124-125, 197-200***

МАТЮШИН, Сергей Иванович (1943-2012) – прозаик, переводчик. Родился на станции Весляна пос. Чернореченский Коми АССР. В 1968 г. окончил Калининский гос. мед. ин-т, по окончании которого работал врачом-стоматологом в г. Салавате БАССР. В 1999-2001 гг. – врач клиники «Тридент» в Москве. В 1981 г. заочно окончил Литературный ин-т им. А.М. Горького в Москве. Публиковался в журналах: «Урал», «Север», «Уральский следопыт», «Крещатик», «Бельские просторы», «День и ночь», «Звезда», «Смена», «Москва». Автор сборников рассказов: «Черемуховая долина» (1981), «Ветреный день», «Случай с Волковым», «Белый вальс» (1985) и др. Лауреат республиканской лит. премии им. С. Злобина (2012). Почетный гражданин г. Салавата. Умер в Салавате. ***84***

МИННЕБАЕВ, Ринат Ягфарович (р. 1964) – график, преподаватель. Родился в Уфе. В 1986 г. окончил худграф БГПИ. Преподаёт в Уфимском училище искусств. Принимал участие в этнографических и археологических экспедициях в Монголии, Хакасии, Бурятии, Тыве, Киргизии и на Южном Урале. Работает в стиле digital-print, в стиле фотографики, полимерной гравюры, в металле. Его картины хранятся в БГХМ им. М.В. Нестерова, в музеях и галереях России, Италии, Китая и США. Засл. художник РБ (2006), засл. деятель искусств РТ (2010), член Междунар. Академии графики (Санкт-Петербург) с 2004 г. Лауреат гос. респ. молодёжной премии им. Ш. Бабича (1998).

МУРЗИН, Константин (р. 1950) – сварщик-вахтовик, автор стихов и прозы. ***131-135***

МУХАМЕТДИНОВ, Булат Анварович (р. 1963). В 1985-86 гг. воевал в Афганистане. Печатался в «Вечерней Уфе» и журнале «Сутолока». ***147-151***

НЕФЁДОВА (урожд. Рыбченко), Тамара Ивановна (1951-2005) – уфимский журналист, писатель, художник. Родилась в поселке Хадабулак Читинской обл. Работала и умерла в Уфе. Засл. работник культуры РБ (2001), член Союза журналистов (1978), Союза художников (1995). Окончила БГУ (1972), Моск. полиграф. ин-т (1986). С 1973 г. – сотрудник газеты «Веч. Уфа» (в 2002 г. – зав. отделом). Автор книг: «Пляска святого Витта» (1992), «Гостиный двор» (1999), «Мариинка» (2000). В последние годы жизни работала над проектом «Родина Аксакова». Лауреат премии им. Ш. Худайбердина (2005).

ОШНУРОВ, Андрей (р. 1965) – программист, бухгалтер, автор и исполнитель собственных песен. Родился и живёт в Уфе. ***285-286***

ПАРФЁНОВ, Евгений (р. ?) ***101-103***

ПИЗОВ, Моисей Григорьевич (1905-1962) – преподаватель, литературовед. Родился в белорусском местечке Дрисса в семье бедного еврейского сапожника. В 1930 г. окончил филфак Иркутского университета. Продолжил учёбу в аспирантуре Ленинградской академии искусствознания. По окончании академии работал в Куйбышевском пед. институте. С 1937 г. перевёлся в Уфу, в БГПИ им. К.А. Тимирязева. В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию «Проза М.Ю. Лермонтова и западноевропейская романтическая литература первой половины XIX века» в эвакуированном в Уфу Институте литературы АН УССР. В 1950 г. был арестован и до 1954 г. отбывал срок в лагере под Иркутском. После реабилитации в 1956 г. до конца жизни работал зав. кафедрой русской и всеобщей литературы БашГУ. Похоронен на еврейской части Сергиевского кладбища в Уфе. ***215-220***

ПРАВДЮК, Михаил (р. ?) – автор стихов. Окончил филфак БашГУ. ***141, 300***

РАКУШЕВ, И. В. (р. ?) ***115-116***

РАМАЗАНОВА, Гюльназ Гилемдаровна (р. 1960) – преподаватель, литературовед. Родилась в Уфе в семье известного башкирского поэта, литературоведа, переводчика Г.З. Рамазанова. Окончила 39-ю гимназию, в 1983 г. – филфак БашГУ. С 1986 г. работает на кафедре русской литературы БГПУ им. М. Акмуллы. В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию в Московском областном пед. ин-те им. Н.К. Крупской на тему: «Жанровое своеобразие эле-

гий Н.М. Языкова». В 2012 г. защитила докторскую диссертацию в Московском гос. обл. ун-те на тему: «Журнал «Московский наблюдатель»: эстетическая позиция и литературные публикации». Автор статей, монографий и учебных пособий по русской классической литературе и журналистике первой трети XIX века, современному литературному процессу и русскоязычной литературе Башкортостана. ***3-10***

РОЗЕН, Джек (р. ?) ***293-295***

САИТОВ, Эрнст Миниахметович (1936-2004) – засл. художник РФ (1999), народный художник БАССР (1990). Родился и умер в Уфе. В 1968 г. окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Работал в технике офорта, литографии, линогравюры, акварели, рисунка и в книжной иллюстрации. Преподавал рисунок и композицию в Уфимском училище искусств и УГИИ. В 1980-85 гг. был председателем правления Союза художников Башкирии, в 1981-86 и в 1996 гг. – секретарь правления Союза художников РСФСР. Лауреат республиканской премии им. Г. Саляма (1974).

САЙФУЛЛИН, Марсель (р. ?) – учащийся выпускного класса Башкирско-турецкого колледжа. ***142-143***

САМОСЮК, Ольга Александровна (р. 1958) – график. Родилась в Уфе. В 1983 г. окончила худграф Магнитогорского пед. института. Член Союза художников РФ с 1993 г. Работы хранятся в БГХМ им. М.В. Нестерова, в музеях и галереях России, Украины, Югославии, Болгарии, Румынии, Италии, Франции, Германии, Израиля, Китая, Турции, Японии, Польши, Чехии, США, Канады, Финляндии и др. стран.

СМИРНОВА, Светлана Алексеевна (р. 1950). Окончила уфимскую среднюю школу № 3, библиотечный техникум, училась на филфаке БашГУ. Публиковалась в республиканских СМИ, в сборниках и альманахах Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и др. Автор пяти книг. ***56-57, 200-202, 345-350, 381-384***

СОЛОВЬЁВА, Елена (р. ?) ***222-223***

СТОЛЬ, Анатолий (р. ?) ***66-67, 225-228***

ТЕРЕГУЛОВ, Айрат Рауфович (р. 1957) – художник-график. Родился в Уфе. В 1985 г. окончил худграф БГПИ. Участник более 30 персональных выставок. С 2015 г. – директор Башк. гос. худож. музея им. М.В. Нестерова. Засл. художник РБ (2004) и РФ (2014). Лауреат премий им. Г. Саляма (1990) и Салавата Юлаева (2016).

ТОНКОНОГИЙ, Игорь Валерьевич (р. 1958) – художник-график. Родился в Стерлитамаке. В 1980 г. окончил худграф БГПИ. В 1993 и 1994 гг. работал по приглашению в Англии, где состоялись три его персональные выставки. В 1998 г. посетил с персональной выставкой США. С 2006 г. – главный редактор журнала «Рампа».

УРАЗБАЕВ, Вадим Наильевич (р. 1961) – кандидат химических наук, предприниматель. Родился во Франкфурте-на-Одере в Германии. В 1983 г. окончил химический факультет БашГУ. С 1987 по 2005 гг. работал старшим научным сотрудником Института органической химии Уфимского научного центра РАН. С 2005 по 2009 гг. – директор ООО НПП «Орбиталь». С 2009 по 2014 гг. – директор ООО «ПолиграфБланкДизайн». Выступает в местной печати со статьями по проблемам культуры. Живёт и работает в Уфе. ***189-191***

ФАЙЗУЛЛИН, Юлай (р. ?) – башкирский художник.

ФАТТАХУТДИНОВА, Майя Спартаковна (р. 1958) – искусствовед, переводчик, член Союза театральных деятелей (1992), засл. деятель искусств РБ (2003). Родилась в Уфе в семье геолога, главного учёного секретаря БНЦ УрО АН СССР С.Г. Фаттахутдинова. После окончания УГИИ (1983) работала звукооператором Башк. театра кукол. С 1989 г. зав. музыкальной частью Моск. театра детской книги «Волшебная лампа», с 1995 г. – Башк. театра кукол, в 2005-15 гг. редактор отдела прозы журнала «Бельские просторы». Автор около 10 научных работ, музыки к 18 спектаклям, более 70 текстов стихов и песен. В 2007 г. перевела на русский язык книгу П. Томпсон (Е.В. Маяковской) «Моё открытие Башкортостана». Лауреат Респ. творческого конкурса журналистов (2007). ***40-43, 127-131***

ФЁДОРОВ, Григорий (р. ?) – автор рассказов, опубликованных в журнале «Сутолока». ***79-81, 138-140***

ФРОЛОВ, Игорь Александрович (р. 1963) – прозаик, лит. критик, журналист. Окончил Уфимский авиационный институт. Служил в Советской армии, воевал в Афганистане (500 боевых вылетов, орден «За службу Родине в ВС

СССР» III степени). Зав. отделом прозы журнала «Бельские просторы», член Союза писателей России. Печатался в газетах «Истоки» (Уфа), «Литературная Россия», журналах: «Знамя», «Новый мир», «Сутолока» (Уфа), «Бельские просторы», «Урал» (Екатеринбург), «Уральская новь», «Корифей». Финалист премий И. Белкина и И. Бунина (2008). Лауреат премии журнала «Урал» в номинации «Критика» (2010). Живет в г. Уфе. ***52-56, 92-94, 209-214, 351-367, 398-402***

ХАКИМОВ, Фаиз (р. ?) ***152-154***

ХУСАИНОВ, Айдар Гайдарович (р. 1965) – поэт, прозаик, переводчик, драматург, публицист. Родился в селе Кугарчи Зианчуринского района РБ. Член Союза писателей России. В печати публикуется с 1985 г., в 1991 г. вышла первая книга стихов «ОЭ!..» («Китап»). В 1995 г. окончил Литературный институт им. М. Горького, работал журналистом в различных уфимских изданиях. С 2002 г. руководитель литобъединения «УФЛИ», основатель литературного течения уфацентризма. Автор многочисленных публикаций в республиканских, российских и зарубежных изданиях, коллективных сборниках, восьми книг стихов и прозы, более десяти пьес. В 2012-2019 гг. – главный редактор газеты «Истоки». Входит в состав редколлегии литературного журнала «Крещатик» (Мюнхен). Составитель сборника литературной критики А. Касымова «Критика и немного нежно» (2007). В 2003 году газетой «Вечерняя Уфа» объявлен человеком года за прозаический перевод башкирского народного эпоса «Урал-батыр». Живет в г. Уфе. ***19-22, 105-115, 136-138, 367-379, 386-396***

ШАГАБУТДИНОВ, Филарет Хадиевич (р. 1947) – рос. график и живописец, член Союза художников с 1977 г., засл. художник РБ (2014). Родился в деревне Ахмерово Аургазинского р-на БАССР. В 1966 г. окончил Уфимское училище искусств. Некоторое время проживал в Сибири, преподавал в художественной школе. В 1974 г. вернулся в Уфу. В 1998 г. стал преподавателем Уфимского училища искусств. Участник республиканских, зональных, российских и международных выставок.

ШАГАЛОВ, Андрей (р. ?) ***83***

ШАЛУХИН, Станислав Петрович (1952-2002) – поэт, журналист. Родился и умер в Уфе. Окончил БашГУ. Работал преподавателем, журналистом. Печатался в республиканской периодике с 1970-х гг. В 1990-х гг. работал в газете «Ленинец», был участником литературного объединения при газете. С 1999 г. – редактор отдела поэзии журнала «Бельские просторы». Его перу принадлежат книги «Посвящение», «Душа, идущая ко мне», «Сны о дожде» и другие. Лауреат премии журнала «Бельские просторы» за 2002 год. ***260-269***

ШАМАРОВА, Светлана Ильинична (р. 1963) – кандидат филол. наук, доцент. Работала преподавателем английского языка в Уфимском гос. университете экономики и сервиса. ***295-299***

ШАУЛОВ, Сергей Михайлович (р. 1949) – доктор филологических наук, профессор кафедры романо-германской филологии и зарубежной литературы БГПУ им. М. Акмуллы. Родился в г. Небит-Даге Туркменской ССР в семье служащих. Окончил факультет романо-германской филологии Кубанского университета (1972) и аспирантуру Воронежского университета (1982). С 1974 по 1990 гг. был членом КПСС. Преподавал в Кубанском университете (1972-76), Павлодарском пед. институте (1982-95), Башк. пед. университете (1995-2018). Печатается как литературовед с 1975 г. Автор стихов, монографий и статей по немецкой литературе и творчеству В.С. Высоцкого (в соавторстве с А. Скобелевым). ***288-293, 396-398***

ШАУЛОВ, Сергей Сергеевич (р. 1980) – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской, зарубежной литературы и издательского дела филфака БашГУ. Сын литературоведов В.В. Борисовой и С.М. Шаулова. Трижды лауреат студенческой премии им. С.Т. Аксакова. Вместе с Б.В. Ореховым организовал Назировский сайт. Автор статей по творчеству Ф.М. Достоевского, С.Т. Аксакова, Р.Г. Назирова. В 2019 году переехал в Москву. ***286-287***

ШАФИКОВ, Газим Газизович (1939-2009) – башкирский поэт, прозаик, драматург, публицист. Родился в г. Фрунзе Киргизский ССР в семье учителей. После окончания БашГУ в 1962 г. работал в газете «Ленинец», консультантом Союза писателей БАССР. Автор сб. стихов: «Рожденные в седле» (1971), «Водораздел» (1983), «Формула Канта» (1996), драм: «Хадия», «Пещера», «Черный иноходец», «Урал-батыр», книг: «Последняя вспышка лампы» (1986), «И совесть и жертвы эпохи» (1991), «Дыхание жгучее истории» (1998), романа «Расстрел» (1999). Заслуженный деятель искусств БАССР (1989), лауреат Гос. премии РБ им. Салавата Юлаева (1992), премии им. Акмуллы. Кавалер ордена Салавата Юлаева. ***304-307***

ШИБАЕВА, Вера Михайловна (1949-2000) – художник декоративно-прикладного искусства. Родилась в посёлке Привокзальный Свердловской обл. В 1985-88 гг. училась в Уфимском филиале Моск. худож.-промышленного училища им. М.И. Калинина. Член Союза художников (1993). Работала в области худож. куклы и фотографии. Участник персональных и международных выставок. Умерла в Уфе.

ЮДИН, Андрей Иванович (р. 1969) – уфимский поэт. Родился в Уфе. Образование среднее специальное. Публиковался в газетах «Ленинец», «Истоки», «Вечерняя Уфа», в журнале «Бельские просторы», литальманахах «Мост»

(Санкт-Петербург) и «Сутолока» (Уфа). Лауреат премии журнала «Бельские просторы» (2008). ***47-51***

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Кальпиди, В. Записки из захолустья // Уральская новь. – Челябинск, 1998. - № 2.
2. Касымов, А. Вид на библиотеку XXI века из Центральной городской библиотеки : [о вручении литературных премий за 1997 год газеты «Вечерняя Уфа» и журнала «Сутолока» и о сотрудничестве писателей и журналистов с библиотеками Уфы] // Веч. Уфа. – 1998. – 4 марта.
3. Касымов, А. Чайная церемония с лауреатом : [о церемонии награждения молодого писателя И. Фролова литературной премией газеты «Вечерняя Уфа» за 1996 год в акционерном обществе «Теастан»] // Веч. Уфа. – 1997. – 25 марта.
4. Колобродов, А. [Рец. на кн.: Александр Касымов. Улетающий Обломов. - Уфа, 1997; Игорь Фролов. Смотритель. - Уфа, 1997] // Волга. – 1998. - № 5/6.
5. Курицын, В. Малахитовая шкатулка-2 // Октябрь. – 1997. - № 12.
6. Лапина, А. Бытовой роман с поэзией // Новая Сибирь. – 1998. - № 7.
7. Сафронова, А. Сутолока : литературный журнальчик. 1997, № 4, 5 // Волга. – 1997. - № 9/10.
8. Шафиков, Г. В звоне Сутолоки новой : [о выходе рус. литературного журнала «Сутолока» и опубликованных в нём стихах А. Банникова] // Веч. Уфа. – 1997. – 20 нояб.

СОДЕРЖАНИЕ

Рамазанова Г. Типомания, или Свобода от канона ……3
СУТОЛОКА: литературный журнальчик ……..11
1997 год ……12
№ 1 ……12
№ 2 ……31
№ 3 ……47
№ 4 ……66
№ 5 ……86
№ 6 ……...104
1998 год ……...124
№ 7 ……...124
№ 8-9 ……147
№ 10-11 ……193
1999 год ……...225
№ 12 ……225
№ 13-14 ……259
СТАТЬИ ……...302
Касымов А. Чайная церемония с лауреатом ……303
Шафиков Г. В звоне Сутолоки новой ……...304
Касымов А. Вид на библиотеку XXI века из Центральной
городской библиотеки ……307
Кривошеев А. Идолология и эстетик: (О поэзии и концепции журнала «Сутолока») ……..….309
ПОЭЗИЯ. ПРОЗА ……...344
Поэзия ……..345
Игнатенко С. «Я унесу с собой отсюда…» ……..345
Смирнова С. Сутолока; Памяти Александра Касымова ……345
Проза ……351

Фролов И. Негасимов и другие ……351
Хусаинов А. Случай Александра Касымова ……367
ВОСПОМИНАНИЯ ……...380
Смирнова С. О том, как появился на свет уфимский журнальчик «Сутолока» ……..381
Кудашев А. «Сутолока» дала нам шанс ……...384
Глуховцев В. Наш «первый тренер» ……385
Хусаинов А. История литературного журнала «Сутолока» ……..386
Шаулов С. Вспоминая Касымова ……..396
Фролов И. Первый ……..398
Авторский указатель ……..403
Библиография ……..414

«СУТОЛОКА»
Литературный журнальчик
1997-1999 гг.

Редактор-составитель: А.Г. Касымов
Редактор-составитель републикации: П.И. Фёдоров
Корректор: Т.В. Петросян
Дизайн обложки: А.В. Кондров
Компьютерная вёрстка: А.А. Словохотов

Подписано в печать 25.10.19. Формат 60x90/16
Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman
Усл. печ. л. – 9,62 Тираж 100 экз.
Заказ № 16/19

Отпечатано в издательстве А.А. Словохотова
450052, Уфа, ул. Аксакова, д. 72